

Анатолий Кузнецов
НА “СВОБОДЕ”

АНАТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ НА “СВОБОДЕ”

Беседы у микрофона
1972 — 1979



издательство **астрель**

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
К89

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко

Издание осуществлено при техническом содействии издательства АСТ

Кузнецов, А.
К89 На “Свободе” : беседы у микрофона, 1972 – 1979 / Анатолий Кузнецов. —
М.: Астрель : CORPUS, 2011. — 640 с.

ISBN 978-5-271-36288-0 (ООО «Издательство Астрель»)

Анатолий Кузнецов родился и вырос в Киеве, где во время оккупации он стал свидетелем массовых расстрелов в Бабьем Яру. Этот опыт лег в основу его самого знаменитого произведения — “Бабий Яр”. В августе 1969 года А. Кузнецов попросил политического убежища и остался в Великобритании. Его имя в СССР перестало упоминаться, книги были изъяты из магазинов и библиотек. В Лондоне А. Кузнецов работал на Радио “Свобода” и вел еженедельную программу в рубрике “Писатель у микрофона” (всего в эфире прозвучало 233 беседы), создав ряд образцов так называемой “исповедальной публицистики” и оставаясь при этом в русле созданной им литературной традиции. И в этом жанре он нашел себя. По словам одного из коллег, “в Лондоне кончился Кузнецов-беллетрист, кончился в силу редкостной беспощадной требовательности к самому себе, но родился Кузнецов-публицист”, автор блистательных, необыкновенных бесед, составивших эпоху в работе “Радио “Свобода”.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-271-36288-0 (ООО «Издательство Астрель»)

- © Анатолий Кузнецов (наследники), 2011
- © А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2011
- © ООО “Издательство Астрель”, 2010
- Издательство CORPUS ®

Содержание

Вступительная беседа	9
Якобы истины	17
Собрания — орудие и манометр послушности	25
“Интернационал”	33
Как умер фильм “Мы, двое мужчин”	41
Тени внешнего мира	48
Труд писателя там и здесь	56
“Если бы...”	63
Серпастый, молоткастый	70
Страх	77
Из моего опыта агитатора	84
Ясная Поляна и КГБ	91
Голод	98
Золотые клетки	105
Когда-то будет смешно	112
Судьба уцелевших людоедок	119
Удивление	126
Эффект закрытой двери	133
Свобода говорить	140

Одержимые	146
Рождение одного анекдота. <i>Беседа 1</i>	153
Рождение одного анекдота. <i>Беседа 2</i>	160
Рождение одного анекдота. <i>Беседа 3</i>	166
Растоптанные судьбы	172
О насилии	179
Сколько раз я умер?	186
40-летие Литературного института	193
Им неинтересно	200
Крылатые слова	207
Занимательная география. <i>Беседа 1</i>	214
Занимательная география. <i>Беседа 2</i>	221
Комплекс пленного	228
Несколько мыслей о коммунизме	235
Дезинформация по секрету	242
Заколдованные круги	249
Вопросы развития скульптуры	254
Организованность	261
Схемы и жизнь	268
Цензура	275
Время — судья	283
Опасная власть	290
Оппозиция литературы	297
Совесь. <i>Беседа 1</i>	304
Совесь. <i>Беседа 2</i>	311
Совесь. <i>Беседа 3</i>	318
Совесь. <i>Беседа 4</i>	324
Совесь. <i>Беседа 5</i>	331
Совесь. <i>Беседа 6</i>	338
Встречи с читателями	345

Телескрин. <i>Беседа 1</i>	352
Телескрин. <i>Беседа 2</i>	359
Телескрин. <i>Беседа 3</i>	366
“Советский человек”	373
Жизнь и убийство	380
Двуличие	386
Второстепенные детали	393
Не умеющие жить	400
Раздутые конфликты	407
Самовзвинчивание	413
Горячий камень	419
Не умеющие жить	425
На космические темы	431
Тысячи флагов	437
Преступление в Виннице. <i>Беседа 1</i>	442
Преступление в Виннице. <i>Беседа 2</i>	448
Сто десять миллионов	454
Сучок и бревно	460
Могила Карла Маркса. <i>Беседа 1</i>	466
Могила Карла Маркса. <i>Беседа 2</i>	472
Могила Карла Маркса. <i>Беседа 3</i>	478
Неправда как принцип	484
Про Фому и сельское хозяйство	490
Рождественский разговор	496
Многолетний сон. <i>Беседа 1</i>	502
Многолетний сон. <i>Беседа 2</i>	508
Многолетний сон. <i>Беседа 3</i>	514
Многолетний сон. <i>Беседа 4</i>	520
Словарь имен	526
Хорошая нынешняя молодежь	532

Мост и шпион	538
Закономерности социализма. <i>Беседа 1</i>	544
Закономерности социализма. <i>Беседа 2</i>	551
“Поднятая целина”	557
“Не было этого!”	563
Откуда они берутся?	569
Особенности советского языка	576
Размышления о книге	582
Откуда берется земля. <i>Беседа 1</i>	589
Откуда берется земля. <i>Беседа 2</i>	595
Искусство жить в обществе и большевистская непримиримость	601
Размышление о счастье	606
Приливы и отливы	613
Все для человека. <i>Беседа 1</i>	620
Все для человека. <i>Беседа 2</i>	627
После болезни	633

Вступительная беседа¹

Работая над романом “Бабий Яр”, я подсчитал, что за два года немецкой оккупации Киева к своим четырнадцати годам я совершил столько преступлений, что меня надо было расстрелять двадцать раз. Об этом в романе есть глава: “Сколько раз меня нужно расстрелять?”

По немецким приказам того времени, например, грозил расстрел за выход на улицу после шести часов вечера. Многих застрелили. И я выходил, но не попался на глаза патрулям, мне повезло.

Был другой приказ, процитирую его:

Все имеющиеся у штатского населения валяные сапоги, включая и детские валенки, подлежат немедленной реквизиции. Пользование валяными сапогами запрещается и должно караться так же, как недозволенное пользование оружием.

1 Анатолий Кузнецов прочитал на “Радио “Свобода” 233 беседы, большая часть которых публикуется в этом сборнике.

То есть расстрелом. Но я валенок не сдал, иначе бы не в чем ходить, и две зимы носил, за какое пользование меня и теоретически и практически надо было казнить, как и за невыдачу еврея, моего приятеля Шурки, помощь беглому пленному дядьке Василию, неявку на регистрацию в четырнадцать лет, побег от угона в Германию; наконец, просто за антигерманские настроения.

При этом я не был еще членом партии, комсомольцем, подпольщиком, не был евреем, цыганом, не имел голубей или радиоприемника, не совершал открытых выступлений, не попался в заложники, а был *обыкновеннейший*, рядовой, незаметный, маленький человечек в картузе. Но, если скрупулезно следовать установленным властями правилам, по принципу “совершил — получай”, то я уже двадцать раз *не имел права жить*.

Далее в романе следовало размышление, которое цензура почти целиком убрала, приведу его по полному изданию “Бабьего Яра”, вышедшему теперь на Западе:

Я живу упрямо дальше, а преступления катастрофически множатся, так что я перестал их считать, а просто знаю, что я — странный, но не пойманный преступник.

Я живу почти по недоразумению, только потому, что в спешке и неразберихе правила и законы властей не совсем до конца, не идеально выполняются. Как-то я проскальзываю в оплошно не заштопанные ячейки сетей и ухожу по милости случая, как по той же милости мог бы и попасться. Каждый ходит по ниточке,

никто не зависит от своей воли, а зависит от случая, ситуации, от чьего-то настроения, да еще в очень большой степени — от своих быстрых ног.

В книге “Воспоминания” вдова поэта Мандельштама, погибшего в застенках НКВД, пишет, что ее не постигла судьба мужа только потому, что ее выгнали из квартиры, она перестала мельтешить перед глазами и затерялась:

Меня спасла случайность. Нашими судьбами слишком часто управляла случайность, но в большинстве случаев они были роковые и случайно приводили людей к гибели.

Поэт Мандельштам написал стихотворение, высмеивавшее Сталина. Нет, не опубликовал, просто написал. За это страшное преступление он и был убит.

При тоталитарном строе человек вообще не может прожить, не совершая преступлений в том или ином смысле. Или он сопротивляется этому строю, нарушает его свирепые предписания — и тогда он преступник перед строем, или он выполняет, служит строю — и тогда еще хуже, тогда он действительно преступник, против человечности. Что делать старому доброму служаке, если ему приказано травить детей в душегубке? Не травить — сам туда пойдешь. Травить — встает призрак Нюрнбергского процесса...

Все без исключения граждане тоталитарной страны неизбежно должны выбрать из дилеммы одно. Третьего — не участвовать, уйти, отгородиться — не дано; это третье является преступлением, и серьезным, с точки зрения строя, по знаменитому большевистскому принципу: кто не с нами, тот против нас.

Поняв все это, я потому и перестал считать свои преступления и только возношу благодарность Небу, что живой.

В 1948 году мне шел девятнадцатый год. Я написал гротескную пьесу — сатиру на сталинский строй. Там действовали железные Феликсы, они ходили монолитной когортой по идеально прямой линии, состоявшей из сплошных зигзагов, Ленин вертелся в гробу, Сталин хлопал крыльями, народ безмолвствовал и тому подобное.

Стихотворение Мандельштама было обнаружено. Мою пьесу не обнаружил никто. Но интересно, что бы со мной было, случись тогда в нашей квартире обыск по какому-нибудь поводу, — был бы приговор к расстрелу или всего лишь на двадцать пять лет? Пьеса была злая, написанная в упоении, одним духом. Позже я ее сжег.

В комсомол я был принят “скопом”, когда учился в балетной студии при Киевском оперном театре. Нас, пятнадцатилетних балетных мальчиков и девочек, привели в райком на бульваре Шевченко и в каких-нибудь полчаса пропустили через приемный конвейер. В 1949 году, на двадцатом году моей жизни, я, кипя яростью, решил, что не буду участвовать в комедии, творящейся вокруг. Снялся с учета в райкоме, сказал, что уезжаю в Хабаровск, получил на руки учетную карточку — и уничтожил ее вместе с комсомольским билетом. Легко решить — не участвовать. Но как?

В 1952 году я работал на строительстве Каховской ГЭС, там проводили 100-процентную комсомолизацию, и я вторично “скопом” оказался в комсомоле. Мы все под диктовку написали заявления: “прошу”, “обещаю быть”, “выполнять заветы”, потому что если все это делают, а ты один нет, то изволь объяснить, а ну объясни, что ты имеешь против...

Это теперь, бывает, и объясняются. Но в 1952 году не объяснялись.

Со всей трезвостью я увидел тогда, что обречен жить в обществе, где не погибают те, и только те, кто глубоко в себе погребет свое искреннее лицо. Бывает, так глубоко погребет, что уже и сам потом откопать не может...

Конечно, я *утаил* от родного комсомола, что уже был в нем, как утаил и дальше, вступая в партию, поступая в институт, в Союз писателей. Иначе студентом не быть, ни одно мое произведение никогда бы не увидело света; наконец, и за границу бы не пустили, и никогда бы я не убежал от этого невероятного строя.

Но уже на Каховской ГЭС я узнал от комсорга стройки, что, оказывается, не один я такой “изобретатель”, что по стране разыскиваются *сотни тысяч* беглых комсомольцев, “мертвых душ”, их вылавливанием занимается целый аппарат. Угроза быть пойманным нависла надо мной, с нею я жил далее семнадцать лет.

Шансы, что меня выловят, увеличились, когда я стал писателем, оказался на виду. Достаточно было какой-нибудь балерине в Киеве вспомнить, как мы вместе вступали в комсомол, тогда как во всех биографических справках на моих книгах и вплоть до Литературной энциклопедии значится, что я вступил в ВЛКСМ на Каховской ГЭС. К счастью, балерины меньше всего думают о ВЛКСМ.

Мне повезло, хотя многих ловят. Правда, с годами суровость наказания по данному делу уменьшилась до малого: кроме скандала, объяснений на собраниях и бюро, может быть — исключения из партии и испорченной карьеры, мне в шестидесятых годах ничего худшего не грозило.

Худшее грозило, если бы в яснополянском лесу вдруг начались без моего ведома земляные работы в том месте, где я хранил закопанными некоторые свои рукописи. Я писал в них все, что думал, вынашивая смутные планы размножения их фотоспособом. Это уже не были грешки комсомольской молодости, но даже без натяжки их можно было бы квалифицировать как зрелые, обдуманнные действия во вред существующему государственному строю. Но земляных работ не было, канав не рыли, деревья не сажали — пронесло.

Сколько сейчас сидит людей в лагерях Мордовии за попытки бежать! Ленинградский поэт, член Союза писателей Анатолий Родыгин пытался переплыть границу в Черном море. Мой однофамилец Кузнецов Эдуард и вся группа, пытавшаяся захватить самолет. Матрос Кудирка, перепрыгнувший на американское судно и возвращенный... Не повезло людям, фатально не повезло.

А двум парням-художникам удалось переплыть Черное море поперек на надувной лодке, сейчас они живут в Нью-Йорке. Про себя могу сказать, что рассматриваю как большую удачу то, что никто из пограничников в Шереметьевском аэропорту не обратил внимания на отдувающийся карман моего пиджака, когда я шел на посадку в самолет, отлетающий в Лондон. Карман был полон фотопленок с переснятым архивом всей моей жизни, в том числе и рукописей, зарытых в яснополянском лесу.

Другое дело: чем закон, предусматривающий заключение в концлагерь за желание жить не в СССР, а в другом месте, — чем этот закон принципиально отличается от запрета выходить на улицу после шести часов? А вот при Сталине отправляли в Сибирь за опоз-

дание на работу, за сбор колосков. Сейчас, кажется, не отправляют? Нелогично, однако. За пение песен под гитару — нужно отправлять, за рассказанный анекдот — обязательно. Было это, все было...

Прочитаю еще одно размышление из “Бабьего Яра”.

Сегодня одна двуногая сволочь произвольно устанавливает одно правило, завтра приходит другой мерзавец и добавляет другое правило, пятое и десятое, и Бог весть сколько их еще родится во мгле нацистских, энкавэдистских, роялистских, марксистских, китайских, марсианских мозгов непрошенных благодетелей наших, имя им легион.

Но я хочу жить! Жить, сколько мне отпущено матерью-жизнью, а не двуногими дегенератами. Как вы смеете, какое вы имеете право брать на себя решение вопроса о моей жизни: сколько мне жить, как мне чувствовать, когда мне умирать?

Я хочу жить долго, пока не останется самых следов ваших.

В самом деле, если жить достаточно долго, то можно видеть, как законы меняются. И пугала перестают пугать. Кажется, страшнее кошки зверя нет, а кошка возьми да и умри. Вот дожились же мы — о чудо! — до того, что за ношение валенок уже не расстреливают. Также после шести часов выходить на улицу *можно*. Даже в полночь можно, это не преступление. Более того, хоть и не рекомендуется, но *можно* опоздать на работу, собирать колоски, а антигерманские-антифашистские настроения не только можно, но *похвально* иметь.

Но! Антисоветских — нельзя. Проживать без прописки — нельзя. Бежать в Австралию очень нельзя. Иметь мнение, что американцы обогнали советских в космосе — категорически нельзя. Иметь вообще любые взгляды, отличные от взглядов газеты “Правда”, — преступление.

За это преступление генерал Григоренко сегодня медленно умирает в сумасшедшем доме. Андрей Амальрик находится в магаданском концлагере. Судьба тысяч подобных “преступников” угнетает меня...

Но все же искра оптимизма зреет. Как видим, за давностью лет, а главное, за полным исчезновением некоторых законодателей, многие преступления уже не рассматриваются как преступления, приговоры по некоторым полностью аннулированы, как с теми валенками или колосками...

И так, грешным делом, думаешь иногда: а вдруг мы доживем до такого дня и привалит такое невиданное счастье, когда вообще все подобные приговоры... аннулируются?

11 ноября 1972 г.

Якобы истины

Горьковские ранние пробы пера — “Песня о Буревестнике”, “Песня о Соколе” — мы в школе заучивали наизусть, вот это самое: “Над седой равниной моря гордо реет Буревестник, черной молнии подобный...” И на экзаменах с вдохновением и придыханием выкликали: “Рожденный ползать — летать не может!”

Гипнотическая сила авторитета великого писателя была так велика, что я, например, лишь где-то лет в тридцать пять, перелистывая книгу “Крылатые слова”, вдруг подумал: но почему? Почему рожденный ползать летать не может?

Человек, например, самой природой рожден, пожалуй, именно ползать по земной поверхности. Начиная от Дедала и Икара он мечтал летать, пытался летать — и полетел; сегодня летает на Луну. Я представил себе Горького, стоящего со своим изречением при первом полете братьев Райт: “Рожденный ползать — летать не может!” Очень забавно, если принимать изречение в буквальном, чисто физическом смысле.

Но с переносным смыслом — не лучше. В переносном оно звучит еще более странно. Сам Горький —

Алеша Пешков — был рожден именно ползать в жизни; достаточно прочесть его “Детство”. Что говорить, сотни великих людей рождались, казалось, ползать: Шекспир или Ломоносов, Чехов или Циолковский (смотри серию “Жизнь замечательных людей”).

Изречение полностью годится лишь для теории врожденной преступности: это она утверждает, что если индивидуум родился с преступной наследственностью, так называемый “преступный тип”, то его ничто не исправит. Но сама же советская идеология клеймит эту теорию как мракобесную. Почему же у неудачного, неверного, наконец реакционного изречения вдруг выросли крылья? Только по недоразумению?

Нет, конечно; всему есть свое основание.

Когда вы заполняете сорок тысяч анкет на все случаи советской жизни, обязательно отвечаете на вопрос: “Происхождение”. Трудный пункт, опасный пункт. В первые лет тридцать советской власти — вообще роковой. Рабоче-крестьянское происхождение — свой. Из интеллигентов или буржуазии — враг. Таких после революции автоматически лишали прав, они назывались лишенцами. Вот это они и есть, “рожденные ползать”. Дави их! Враг определяется по происхождению изумительно и легко — и уничтожается без малейшего зазрения совести, как скорпион, тарантул, пресмыкающийся гад, с ним и дети — семья его: не укусили, так укусят, взлететь до высот революции все равно не смогут.

Никого не смущало, между прочим, что многие вожди революции были происхождения буржуазно-интеллигентского, и не смущало в первую очередь самих вождей: они, видимо, прекрасное исключение, только подтверждающее махровейшую теорию врож-

денной преступности (мракобесную!), на которой фактически построили новое общество.

Она вызвала неисчислимые бессмысленные жертвы, загубленные жизни. Неписаная, негласная, просуществовав целых полвека, продолжает и сегодня процветать. Ну вот хотя бы — совсем свежий пример. В кампании против Солженицына советская печать торжествующе “уличила” его в происхождении из зажиточной семьи. Не важно, что он-то сам вырос в беде и нужде, а вот были, оказывается, еще далеко до революции — предки! “Происхождение”! Вот оно где собака зарыта, вот почему он критикует и шипит, как тот горьковский Уж, на достижения гениальных Соколов из разных крылатых семей, вроде грузинских сапожников.

Якобы истина, безобидно выскочившая из-под бойкого пера начинающего, заучивается в школах, таким образом, не по недоразумению. Она попала в точку, весьма пригодились, работает — и принесет, я думаю, еще немало зла.

Вероятно, не меньше, чем другие крылатые слова Горького: “Надо уважать человека! Не жалеть... не унижать его жалостью... уважать надо!” Их произносит Сатин в пьесе “На дне”. Громкие, эффектные слова, настолько эффектные, что закрадывается подозрение.

Да! Надо *уважать* человека, этот призыв актуален и сегодня и вечно. Ну, а жалеть, так уж совсем и не надо? Жалость — это унижение?

Заглянем во все словари русского языка. Понятия “жалость” и “унижение” окажутся не ближе, чем буква “Ж” от буквы “У”.

Жалость — это прежде всего сочувствие; это участие, сострадание, разделение беды и горя, наконец это проявление доброты и человечности.

Жалеет мать свое дитя. Ушиблось, заплакало, прибежало к маме, она пожалела, только пожалела, — и помогло. Может, матери не надо жалеть детей, не унижать их жалостью? Уважать надо! Так в советских детдомах и уважают, и выходцы из детдома всю жизнь потом с любовью вспоминают какую-нибудь — не воспитательницу! — а уборщицу тетю Пашу, которая не знала теории, что жалеть нельзя, и к которой бегали уткнуться в колени, благо если она была.

Жалеют бабы свежую вдову, получившую похоронку с фронта. Нет, не надо жалеть, пусть хоть утопится, но не унизим ее жалостью! Жалеет муж жену, рожаящую в муках, — не жалеи, ибо ее не уважаешь. Жалеет жена мужа, уставшего от неприятностей, заболевшего, — нет, отойди прочь со своей жалостью, я не нуждаюсь в ней, ибо она меня унижает, в соответствии с Горьким, том такой-то, страница такая-то.

Это же нужно было такое, извините... ляпнуть. И пошло, привилось, вгрызлось в самые души, в мораль целого общества. До этой “истины” Горького никому в голову не приходило, что жалость — это плохо. Весь Достоевский стоит на призыве к сочувствию, на том, что человека нужно жалеть. В этом мире так мало жалости, так вот же давайте объявим ее еще и преступной.

Неумной, жестокой эпохе же в самую точку пришли эти разглагольствования босяка с театральных подмостков. И не жалеют! Только погоняют человека, только рыкают да цыкают на него и с детских лет самого учат огрызаться: “Не жалеите меня!” Не жалеют женщин: пусть таскают шпалы и рельсы, укладывают бетон в Братские ГЭС, вот оно, наше *уважение* к женщине. Не жалеют ни старого, ни малого: плохо тебе,

страдаешь? Борись! А жалости не дожدهшься, ибо общество тебя уважает. Для этой безжалостности даже создан термин: “социалистический гуманизм”.

В недавно вышедшем фильме “Белорусский вокзал” старый генерал произносит на поминках, как ему кажется, наивысшую похвалу покойному: “Нет, он не был добреньким. Он не жалел никого, и он имел на это право, потому что в первую очередь он был безжалостным к себе”.

Какая дичь... Ну и не жалея себя, черт с тобой, да другие-то, другие-то при чем?.. А может, человека *одновременно* и уважать и жалеть надо? Откуда это немыслимое противопоставление сочувствия — уважению? Это все равно что заявить: “Не кормить человека — учить его надо”. А может, и кормить надо, и учить?

Такую-то нелепость, и я бы не побоялся сказать: преступную, — вкладывают в детские головы во всех школах СССР, при этом Горькому накрепко приклеивается ярлык великого гуманиста.

Ему, как великому гуманисту, принадлежат “крылатые слова”: “Если враг не сдается — его уничтожают”, которые если в качестве мрачного казуса упоминаются в западной литературе, то обычно с прибавлением эпитета “кровожадные”, а то и “людоедские”.

Враги бывают разные. Пушкин — враг Бенкендорфа, Пушкин не сдается, Пушкина нужно уничтожить. Гумилев — враг Ленина, Гумилев не сдается, Гумилев расстрелян. В Горьком Сталин увидел врага — взял и отравил. В соответствии с горьковским же призывом. Какое великолепное обоснование подарил “великий гуманист” любому варварству, любому террору, как гениально просто: враги не сдаются — убивай их.

И никому в голову не придет поинтересоваться: а почему, собственно, иные враги не сдаются? Даже чисто теоретически есть и такая вероятность, что они умнее, выше тех, кто требует от них сдачи. Может, прежде чем лепить девять грамм свинца, приостановиться и разобраться, хоть для интереса, почему он, обреченный смертник, не сдается? Почему он идет на костер, а не сдается? Почему он упрямо кричит: “А все-таки она вертится!”? А может, она, Земля-то, и в самом деле вертится, и он прав, а мы сами — дураки? А если вопрос нельзя так быстро разрешить — он говорит “вертится”, а мы “не вертится”, — так займемся совместно вопросом и проверим это дело экспериментально? А уж если нельзя и экспериментально проверить, так за что ж человека-то резать, если он думает иначе, чем мы, а доказать ничего нельзя; может, просто оставить его, с его особым мнением, в покое, на худой конец?

В том беда, что все фанатичные преобразователи мира очень подспудно, пусть даже глубже, чем спинным мозгом, но знают, что они преступники, и чем сильнее это чувство, тем больше казней “врагов”. Чем больше казней, тем сильнее чувство. И это дорожка без возврата, ведущая к помешательству ума, а не к признанию правоты противников. Тут-то и нужен, очень нужен авторитетный “гуманист”, который без тени сомнения заявит, что врагов резать надо, и что это единственно правильно, и что это — хорошо.

Приходит на память высказывание Томаса Карлейля, английского мыслителя, в его книге “Этика жизни”, что беды, какие способен наделать фальшивый писатель, не поддаются подсчету.

Нет, я ни в коем случае не задаюсь целью зачеркнуть Горького. Вообще я говорю сейчас не о его лите-

ратуре, его значении. Я говорю только о том, что *анти*литературно. Не о Горьком — писателе, а о Горьком — изрекатель. На мой взгляд, безответственном.

Эта безответственность развернулась во всей своей силе, когда Горький взялся за обоснование и введение метода социалистического реализма, иными словами — метода сознательной лжи.

Горький начал с того, что разделил правду на “правду добрую” и “правду злую”, то есть правду, помогающую жить, и правду, мешающую жить. Может быть, и так, остановись он на этом, но он сделал совершенно сногсшибательный вывод: следовательно, тяжелая правда вредна и: “Не нужна нам такая правда, которая камнем ложится на крылья”.

Далее все логично: значит, нужно говорить народу только о положительном, пишите о светлом, радостном, ростках коммунизма, а на задворках да вглубь копать запрещено, ибо это ложится камнем на наши крылья. И пошла писать губерния. Подобно “социалистическому гуманизму” родилась и “соцреалистическая правда”, великий писатель разъяснил как на ладони, что так нужно — и хорошо.

...Между прочим, правда все-таки одна.

Хорошая ли, плохая ли, веселенькая или ужасная, но только упорно и отважно доискиваясь ее, именно какая б она ни была, двигалась и движется людская цивилизация. Если же кому-то правда ложится камнем на крылья — ну что ж, можно бы сказать: грош цена таким крыльям.

Что же это тогда за крылышки такие у целого общества, что их надо оберегать и умолчаниями, и ложью, и гекатомбами пострелянных “врагов”, и сетью концлагерей, и сумасшедшими домами для инакомыс-

лящих, и ГПУ — НКВД — КГБ, и танками, и межконтинентальными ракетами с ядерными боеголовками?

И на всех этих эклектических подпорах, на всем циклопически-бездарном сооружении этой клетки для всего человеческого — висит на шпиле нечто общипанное и сдохшее, несмотря на все отчаянные инъекции, это вот она и есть, та самая “правда”, отобранная под красно-розовый цвет, легкая для крыльев, как мыльный пузырь.

До того запутались во лжи — установки меняются как перчатки, старые книги изымаются, учебники собственной истории постоянно переделываются, страницы в энциклопедиях заменяются, газеты прошлых лет страшно взять в руки, собственные речи лучше забыть, — до того изолгались, что нет выхода, кажется, а любой проблеск правды все рассматривается как угроза, смертельная угроза.

На одном собрании Союза писателей в 1969 году я своими ушами услышал: “Правда, товарищи, — это только то, что полезно делу коммунизма”. У меня ноги подкосились. Не знаю, был ли опубликован этот шедевр мысли. По всей вероятности, должен. Советская печать сейчас на все лады высмеивает изречения китайских маоистов. Ну а как быть со своими?

18 ноября 1972 г.

Собрания — орудие и манометр послушности

Мы недавно встретились с Анатолием Павловичем Федосеевым, крупным советским ученым, оставшимся недавно на Западе, и, между прочим, он говорит:

— Анатолий Васильевич, а ведь что-то мы с вами давненько собрания не посещаем.

Я подумал: действительно, с лета 1969 года, когда я уехал в Лондон, и по сегодняшний день я *не был ни на одном собрании*.

Западному человеку про советские собрания объяснить невозможно: он почти не понимает, ему не с чем сравнить. Допустим, по окончании смены закрывают проходную и никого не пускают домой, потому что объявлено собрание по принятию новых соцобязательств. Если бы такое сделали в Англии, рабочие могли бы фабрику разнести — и были бы правы, потому что это посягательство на свободу человека. Силой сгонять на собрание можно лишь подневольных. Но повседневность в СССР невозможно представить без постоянных принудительных собраний.

Где-то я читал описание чувств казнимого, когда его везут на колеснице к эшафоту. Он думает: еще про-

ехать целых три улицы, почти полчаса ехать, еще есть целых полчаса жизни. Старая легенда рассказывает, что когда-то казнили аристократку во Франции, палач почему-то промахнулся, она разрыдалась и благодарила палача за то, что подарил ей еще минуту жизни. Мы только перед лицом смерти по-настоящему понимаем, что такое отпущенное нам время.

Перебираю в памяти, сколько тысяч часов бездарным образом я осовело отсидел, отстоял, отмаялся на собраниях, как пропадало время жизни, одной-единственной, в которое можно было бы читать, ездить, писать, наслаждаться миром, поспать, наконец, — и то лучше...

Право, тошнит, когда вспоминаешь эти карикатурные священнодействия, где все известно наперед, неискренне, фальшиво, живые люди голосами роботов вещают какие-то шаманские формулы: “Поступило предложение... для составления проекта резолюции... избрать комиссию в составе... огласить, принять...” Словно бредешь через безнадежное, нескончаемое болото. Что это? Зачем? Кому это надо? Очень надо.

Советских людей пытаются собраниями не из какого-то неумного садизма. Собрания — мощное орудие поддержания человеческой послушности или, как ее завуалированно называют, дисциплинированности. В хорошем дисциплинированном коллективе на собраниях сидят все 100 процентов — это “здоровый” коллектив. Если собрания зияют пустыми стульями, коллектив “нездоровый”.

То, что 100 процентов достигнуты запираанием выходов или тем, что гардероб не выдавал пальто, не так важно. Вы же не стали ломать двери, драться с гардеробщицей и качать права, значит, вы послушны — во всяком случае, в достаточной степени.

Одновременно институт собраний является для руководства как бы четким манометром, одного взгляда на который достаточно, чтобы знать, на каком уровне находится внутреннее общественное давление. Когда вы обалдело сидите пятый час на каком-нибудь отчетно-выборном собрании, не тешьте себя иллюзией, что эта бессмыслица отживает свой век и скоро отомрет. Вы отнюдь не участвуете пассивно в бессмыслице. Самим своим присутствием вы *демонстрируете свою послушность*, являясь как бы молекулой стрелки на всесоюзном манометре. Убирать такой рычаг и такой манометр из машины никто не станет. Могут смениться десять составов Политбюро, но собрания останутся.

Человек приучается к ним с раннего детства, и они сопровождают его до гроба. Пионерские собрания, классные собрания, повестки дня, протоколы, регламенты — этому обучают уже в школе. Дети в школе должны слушаться старших, поэтому они легко привыкают к новой игре: классный руководитель сам наметил старосту, но все подняли руки и как бы добровольно-свободно его выбрали.

Попутно дети обучаются партийно-советскому диалекту, этому шаманскому языку, без которого не сделаешь карьеры. Вот образец резолюции пионерского собрания девятилетних детей с оригинала, который я привез из СССР:

...свято выполнять “Торжественное обещание юного пионера”, “Законы юных пионеров”, соблюдать “Правила поведения для учащихся”. Знать памятные места, связанные с именем Ленина, с именами выдающихся деятелей Коммунистической партии, и другие историко-революционные места в нашем горо-

де... Знать о славных трудовых делах и победах труженников нашего города и имени передовиков производства...

Сколько миллионов школьных тетрадей идет на такие протоколы и во сколько миллионов детских голов закладываются подобные “ростки”! Приученный выбирать по указанию старосту, выросший гражданин уже не удивляется комедии выборов в Верховный Совет.

Один мой приятель в Советском Союзе иронически сравнивал хождения на собрания с хождением в церковь. Отучив большинство масс от хождения в церковь, советская власть, возможно, действительно попыталась заполнить опустевшее место. Но наполняла его совершенно иным содержанием. Между церковной заутреней и предвыборным собранием, конечно, полная пропасть.

Потому что в церковь каждый идет, если этого хочет. В молитве человек переживает глубокие эмоции, он прикасается к чему-то высочайшему и иррациональному, уходит, как правило, очищенным, умиротворенным или просветленным, а не выпотрошенным, вымученным, полным досады за украденное время. В церкви человек общался с самим, в горних высях, Богом, а не с раскормленным секретарем парткома, который сделал карьеру доносами, отгрохал себе вторую дачу, вчера распинался за бога — Хрущева, сегодня обливает его помоями и распинается за бога — Брежнева. За кого он будет распинаться завтра, требуя того же от всех? Нет, на собрания за просветлениями не ходят.

На собрания идут, чтобы делать карьеру или чтобы не лишиться того, что имеют; чтобы избежать наказаний, проработок; чтобы от тебя отстали, наконец.

Хотя последняя форма типа “Иду, иду, только отцепитесь” достаточна (отцепятся!), в выигрыше человек не будет. Он все же взят на заметку как “пассивный” и может быть уверен, что при раздаче премий, путевок, огородов или дефицитных апельсинов он в список не попадет.

Для этого нужно быть “активным”, и активность начинается именно с собрания. Можно с уверенностью сказать, что 90 процентов советских карьер начинались с активности на собрании. Это его подсобная функция — выявлять готовых служить охотников. Не надо искать, сами напрашиваются, причем дорога постоянно демократически открыта для каждого.

Проси слова и начинай громко говорить на диалекте: “Товарищи! Вдохновленный решениями 325-го съезда нашей родной Коммунистической партии, наш сплоченный коллектив борется за повышение, перевыполнение, укрупнение, раздробление, приложив все свои навыки и умение, в преддверии всенародного праздника выборов...”

Набор слов несложен, состоит из легко тасуемых блоков, его легко заучит и малограмотный. Нужно, однако, не забыть произносить не “вы́боры”, а “выбо́ра́”, как и ряд других тонкостей, ибо они доказывают твою способность держать нос по ветру. Все прекрасно знают, что надо говорить “вы́боры”, но вся партия говорит: “выбо́ра́”.

Известно, что Хрущев не умел грамотно произнести два главных слова эпохи: коммунизм и социализм. У него выходило “камунизм” и “сицилизм”. Вся элита страны, министры, академики, генералы и адмиралы, вся партия до последнего секретаря деревенской ячейки в три члена — “заизькали”: “Камунизм, това-

рищи! Сицилизм, товарищи!” Сняли Хрущева — и наваждение как рукой сняло. Сейчас нужно произносить мягкое “г” с украинским акцентом. Гоголевский сюжет.

Произнеся с трибуны собрания набор ни к чему не обязывающего словоблудия, за один только *факт говорильни*, человек попадает в “актив”, во всяком случае путевку в дом отдыха, в палату на восемь койкомест, на четырнадцать дней, он шансы получить имеет.

Но если сквозь трущобы диалекта он еще внесет предложение или сведет с кем-то личные счеты, сославшись на призыв партии повышать бдительность, — тут даже президиум может насторожиться и приподнять бровь. Такой активист особенно ценен, он может подняться до самой *номенклатуры*. Лет через десять он даже заслужит честь поездки туристом за границу, в Болгарию. В служебной характеристике выездная комиссия, рассматривающая кандидатуру его, обязательно отыщет строки: “Принимает активное участие в общественной жизни. Выступает на собраниях с деловыми предложениями”.

Если же в вашей характеристике напишут: “Не посещал собраний”, то вас не возьмут даже в управдомы, разве что в охранники бани.

Самая непонятная для нормального человека и кажушаяся ему дивным парадоксом черта собраний в СССР заключается, конечно, в том, что повестка дня, то есть то, что эти собрания якобы должны рассматривать и решать, не имеет никакого, или почти никакого, значения. Дела, конечно, решаются в кабинетах, а не на собраниях, потому собрания так скучны. Их можно было бы сделать приятнее. Например, тоже *обязательные* демонстрации 7 ноября и 1 мая менее мучительны,

если не льет дождь: все же музыка играет, потолкаешься, “ура” покричишь, Микояна увидишь.

Но для проявления дисциплины человек обязан сделать не то, что ему приятно, а как раз наоборот: ему не хочется, а он делает. И чем противнее дело, тем ярче видна дисциплина. Так что, видимо, собрания не только не исчезнут, но и свирепая форма их не может измениться без коренных изменений в самой сути строя.

Из всей однообразной шеренги собраний, которые я отсидел в моей жизни, выделяются два своей необычностью. Одно происходило в Литературном институте, когда исключали из партии самого директора института Петрова — за моральное разложение. Это было частью очень нашумевшего в свое время дела министра культуры СССР Александрова. Как в песне Галича, зал орал “Давай подробности!”, и сухонький, крохотный старичок Петров дрожащим голосом каялся: “Потеряв моральный облик... я встал на путь... гнусного морального разложения... совращения молодых девушек...” И очень плакал при этом. Все равно его исключили, и он канул в неизвестность.

На другом собрании, в Тульском областном издательстве, публичное раздевание потребовалось уже не от одного, а от всех. Был поставлен вопрос о воспитании детей. Каждый должен был встать и рассказать: о своей домашней жизни, об отношениях в семье, на каких основах в ней зиждется воспитание подрастающего поколения, какие имеются пробелы и недостатки в свете последних решений партии по вопросам усиления идеологической борьбы...

Люди вставали, бормотали, что они читают дома вслух важнейшие постановления, водят детей на исто-

рико-революционные фильмы и следят за усвоением ими основ политграмоты... Что Оля и Коля получили в школе двойки на прошлой неделе, но благодаря настойчивой воспитательной работе...

И жевали, жевали, и каждый врал и знал, что другой врет, у людей были такие жалкие, униженные, забитые лица; это собрание показалось мне самым длинным в жизни, под конец его уже никто не ощущал и горечи или стыда или крохотных остатков затоптанного достоинства — просто ничего.

О своей жизни в ссылке Пушкин писал:

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.

Но! Он не ходил на собрания.

30 ноября 1972 г.

“Интернационал”

Гимн “Интернационал” относится к самым распространенным на Земле песням. Созданный поэтом-коммунаром Потье и композитором Дегейтером и исполненный впервые в 1888 году на рабочем празднике в Лилле, он быстро приобрел необычайную популярность среди рабочих Франции, Бельгии, оттуда распространился по земному шару.

С “Интернационалом” совершался Октябрьский переворот в России, после чего он двадцать семь лет (до 1944 года) был гимном советского государства. Сегодня он является гимном маоцзэдуновского Китая и гимном всех коммунистических партий. Слова его припева: “С “Интернационалом” воспрянет род людской” — частично исполнились. “Воспряла” статистически значительная ЧАСТЬ рода людского — около трети его.

Главный смысл “Интернационала” излагается в первой же строфе. Другие лишь развивают ее.

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный

И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилия мы разрушим
До основания, а затем
Мы наш, мы новый мир построим, —
Кто был ничем, тот станет всем.

Когда это вдохновенно поют большие массы людей, да еще с оркестрами, да еще вставая или маршируя, согласитесь, что мороз может пробрать по коже.

Мощные эмоции несомненно благородного порыва “Интернационала” охватывают самые глубины людских душ, могут вести на подвиги, на жертвы, на смерть. Сложные политико-экономические построения марксизма получили в “Интернационале” переложение на ясный и простой язык, доступный грамотному и неграмотному. Большие массы людей, даже не прочтя ни одной книги, считали и считают себя коммунистами уже потому, что полностью согласны и с несколькими лозунгами и словами “Интернационала”.

Случалось в истории не раз и не два, что некоторые, казалось бы, несомненно благородные песни при детальном рассмотрении оказывались заблуждением, нонсенсом или шаманством. Приходит вдруг час, когда всем становится странно: как это вообще можно было петь?

“Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей юности полет. С песнями борясь и побеждая, весь народ за Сталиным идет”, “В бой за Родину, в бой за Сталина!” — от этих песен в не так далекое время у многих мороз шел по коже, кипели благородные чувства.

В марте 1953 года, когда умер Сталин, один мой знакомый журналист, плача, сказал: “Сколько пре-

красных песен теперь не станет!” Горе его было искренно и велико.

В песнях есть колдовская сила, способная побуждать нас как к добру, так и ко злу, гипнотически представив его добром, и в последнем случае человек под песню может пойти на такое, на что, трезво мысля, никогда бы не пошел. Аналогично тому, как пьяный, разоряясь, дерясь, убивая, всегда ощущает себя безгранично правым, а протрезвясь, может быть потрясен тем, что так уверенно кричал или творил.

Отвлекаясь от эмоциональной (и, на мой взгляд, главной) стороны “Интернационала”, спокойно в него вдумавшись, вдруг ощущаешь тоже что-то вроде потрясения. Давайте внимательно разберем эти слова: “Весь мир насилия мы разрушим...”

Благородно и правильно. Не так ли? Мир насилия не должен существовать. Его следует заменить миром справедливости. Как? Разрушим. Чем? Насилием же. Было бы совсем точно: “Весь мир насилия мы насильем же разрушим”.

Историческая практика доказала, даже с лихвой доказала, что революционное насилие всегда страшнее, кровавее, более жестоко, чем мир, который оно уничтожает. Революционеры уверяют, что это явление краткое, вынужденное, только на период разрушения. Оставим это на их совести. Та же историческая практика доказывает, что насилие, родившись, уже не прекращается, пока его не сменит другое насилие, и так далее, без конца. В самом лучшем случае революция заменяет старый мир насилия равноценным ему новым миром насилия.

Весь и вечный корень зла — именно в методе насильственного разрушения. Видимо, все-таки зло невозможно уничтожить злом же. Здесь кроется фаталь-

ная закономерность, которую чувствовали и видели многие, от Христа до Толстого и Ганди, но с которой абсолютно не желают считаться все революционные реорганизаторы мира — и все до единого, с последовательностью поистине удручающей, берутся переделывать мир все теми же и теми же методами, в общем-то, каменного века, методами звериными.

Вероятно, в конце концов уставшее от крови человечество когда-нибудь поймет, что если зло вообще можно чем-либо уничтожить или ограничить, то разве только добром. До тех пор возможно одно только нагромождение жертв.

“Весь мир насилия мы разрушим до основания...”

Поскольку весь старый мир есть мир насилия, то “Интернационал” призывает сломать его целиком, действительно до основания, до последнего кирпича и гвоздя, чтобы сделать все заново. Неужели только для красного словца сказано это лихое “до основания”? Все-таки это гимн, программа для миллионов.

В создававшейся тысячелетиями людской цивилизации накоплено множество ценностей, и призывать к разрушению всего до основания есть трагикомическая нелепость. Вместо “весь мир насилия мы разрушим до основания”, может, было бы умнее сказать “насилие в мире мы прекратим” или что-то в этом смысле. Но это уже два совершенно разных смысла.

Октябрьская революция показала, что лозунг “Интернационала” понимается и выполняется буквально. Бессмысленно ломались, разрушались, жглись исторические, культурные, материальные ценности. Это исторические факты.

Пожилые люди, видевшие это своими глазами, подтвердят, что в те времена серьезно дебатировались во-

просы полного сношения железных дорог, заводов, домов — на том основании, что они созданы миром насилия, а для подлинного строительства нового мира нужно все начать сначала, с пустого места. Это тоже исторический факт, о котором стыдятся упоминать в советской истории. У Ленина и его правительства хватило здравого смысла обуздать горячие головы, но анекдотический призыв гимна как пелся, так и поется себе, как ни в чем не бывало.

Сложное дело разрушать, но стара как мир истина, что это-то как раз самое легкое. Не нужно много ума, чтобы разрушить. А что затем?

“...А затем мы наш, мы новый мир построим, — кто был ничем, тот станет всем”.

Да, обнадеживающая и приятная перспектива для того, кто был “ничем”. А те, кто был “всем”, что с ними?

На этот счет “Интернационал”, кроме “разрушим до основания”, дает довольно ясные руководства к действию: “Лишь мы, работники всемирной великой армии труда, владеть землей имеем право, но паразиты — никогда! И если гром великий грянет над сворой псов и палачей, — для нас все так же солнце станет сиять огнем своих лучей”.

Иными словами, для всей этой своры, которая была “всем”, в новом мире места под солнцем нет. Они списываются в расход, их место занимают те, кто был “ничем”. Следовало бы не оставлять недосказанности: “Мы новый мир построим: кто был ничем, тот станет всем, а кто был всем, тот станет ничем”.

Но в таком виде заявление почему-то вызывает улыбку. Гимн становится несколько смешным. Потому что при недосказанности все выглядит так благо-родно и прекрасно, а стоит поставить точку над “i” —

и встает вопрос: так что же тогда, собственно, изменяется? В принципе, обыкновенный грабительский передел? Имущие становятся неимущими, неимущие становятся имущими.

Нет, возражают революционеры, в новом мире все будут равны. Все, да не все: уже за исключением той части общества, над которой “грянул гром”, либо поставленной к стенке, либо переведенной в категорию “ничто”, изгоев, с распространением изгойства и на потомство их. Лишенцев и врагов народа, по советской терминологии.

Таким образом, в принципе, на смену старому миру привилегированных и бесправных приходит новый мир привилегированных и бесправных. Все — наоборот, и столько шума ради такого банального результата? Это, повторяю, бывало, начиная с каменного века и во все века: убивали князьев и садились на их места, свергали королей и занимали трон, и говорили при этом громкие слова, и пели песни, благословляющие разбойный передел. Не ново это под луной.

“Нет! — возмущенно закричит любой коммунист. — В этот раз ново именно то, что на место прежней элиты не садится новая элита, а все трудящиеся разделили равноправно блага и трон. А это демагогия”.

Думаю, сам Ленин отдавал себе в ней отчет, обещая каждой кухарке управление государством. Жизнь доказывает, что каждая кухарка все-таки не может управлять государством. Равноправно-безлично самоуправляющееся общество — абстракция. Из массы кухарок моментально выделяются такие, которые только управлением и занимаются, а остальные как готовили щи в старом мире, так готовят их и в новом. Не все общество, а лишь эти выделившиеся в элиту кухарки за-

нимают место прежних, тех, кто был “всем”, практически для них единственно и произошел переворот.

Далее уже частности. Кто половчее, не теряя времени поживился. Правящие кухарки щедро раздают второстепенные блага остальным, менее удачливым кухаркам. При всех переворотах власти происходит передел благ и раздача наград. Жизнь стабилизируется уже под новой “сворой псов и палачей”, но начинать приходится от пункта, более далекого от благополучия, нежели раньше, поправляя разруху, заново создавая растоптанное и сожженное при грабеже.

Даже через полстолетия после переворота люди в СССР живут на безобразно низком уровне по сравнению со странами, где продолжали трудиться и в разбойные переделы не ввязывались.

Заколдованный и безнадежный круг. Закон неумиротворенности зла злом неумолимо вступает в силу в момент вынесения первого революционного смертного приговора, в момент, когда перо теоретика выводит: “Экспроприация экспроприаторов”, что абсолютно точно переведено народом на людской язык: “Грабь награбленное”.

Потому что массы, подстрекаемые к убийству и грабежу, независимо ни от каких теоретически прекрасных мотивировок, становятся не чем иным, как убийцами и грабителями прежде всего. Их ведут убийцы и грабители прежде всего. Когда поубивают всех, кого хотели убить, возьмут, все что хотели взять, — окровавленные руки уже не годятся для строительства добра.

Преступление не может быть оправдано никакой благородной целью. Достоевский гениально показал это в “Преступлении и наказании”, из-за этого он так раздражает всех революционных насильников. Они не

хотят согласиться, они не верят. Подняться до высоты подлинного добра — это ведь нелегко, это верх мудрости и человечности. Злобность, убийство, насилие — наше звериное наследие. Как-то неловко думать, что интеллектуальные люди Маркс, Энгельс, Ленин, задумав преобразовать мир, не нашли ничего лучшего, как выбрать в качестве орудия как раз самое в человеке низменное. Мол, это есть наш последний и решительный бой, так уж и быть, прольем еще один раз реки крови, зато потом, уж поверьте, будет очень хорошо.

Нет, не будет.

16 декабря 1972 г.

Как умер фильм “Мы, двое мужчин”

У меня была однажды захватывающая работа в кино, счастливая в смысле удовлетворения от ее процесса. Результат получился, правда, курьезный, возможный только в советском кино. Мне многого не жаль, своих книг не жаль — в каждой была доза фальши, — а вот кинофильм “Мы, двое мужчин” по моему сценарию, этот фильм жаль. В нем фальши не было, редчайший случай...

Когда киевская студия имени Довженко предложила мне сделать сценарий из рассказа “Юрка, бесштанная команда”, я в восторг не пришел. По мнению кинозрителей, это одна из худших студий страны, она специализировалась на пропагандно-сентиментальных картинах, взяв все самое неудачное из так называемых традиций Довженко.

Александр Довженко был противоречив, он мог гениально снять правду, но тут же истолковать ее с самым пошлым ходульным пафосом. Он вошел в историю мирового кино не благодаря, а несмотря на идейность, доказав, однако, что талант и безвкусица, к сожалению, вполне совместимы.

Обидно тем более, что в жизни, как человек, по крайней мере под конец ее, Довженко казался обладающим

большим тактом, деликатным, скромным, похожим на Чехова. Я с ним был знаком незадолго до его смерти, правда, в период опалы, отверженности, что важно. Я работал на Каховской ГЭС, а Довженко жил там, вынашивая свою “Поэму о море”. Образовался маленький литературный кружок, которым поручили руководить мне. Довженко, совершенно одинокий и очень несчастный, приходил “на огонек”, горячо обсуждал стихи и рассказы членов кружка, и, признаться, я обязан ему многим: он поддерживал малейшие крохи человечности в моих писаниях и деликатно-неотразимо убивал фальшь, пафос или мелодраму. Тем более для меня загадка, как именно все это он позволял самому себе. На киевской студии он посадил большой яблоневый сад — и насадил стиль идейной патетики, выродившийся в карикатуру у его учеников.

Мой рассказ “Юрка, бесштанная команда” не имел политики. Это — о шофере-забуддыге, которому случайно пришлось заботиться о ребенке, и в грубой хамской душе пьяницы вдруг пробудилась человечность, то есть сюжет совершенно не для студии Довженко. Но сценарий я написал. На обсуждении у дирекции и режиссеров были странные, растерянные лица, но под конец они потеплели, и их вдруг проняло — вместо того чтобы “зарубить” безыдейный, не соцреалистический материал, его взволнованно и почти заговорщически одобрили. Один режиссер Параджанов попытался все же свернуть к традициям Довженко: предложил, чтобы герои заехали в Канев, возложили цветы на могилу Шевченко, ветер дует им в лица, играет музыка, и слеза выступает на глазу у забуддыги. Я отказался.

Никто из знаменитостей сценария не взял: тот занят фильмом историко-революционным, тот — о маяках-животноводах. Параджанов только что закончил тогда “Те-

ни забытых предков”, свергнувшие в ужас Министерство культуры. Потом эта картина приобрела мировую славу. Но тогда она была запрещена, разрешена, снова запрещена, пошла третьими экранами под сурдинку и, кажется, лишь чудом избегла судьбы умереть на полке.

Параджанов взял было мой сценарий, который я называл “Мы, двое мужчин”, но быстро отказался по двум причинам. Одна — я не соглашался добавить патетики. Другая смешная — на студии сварганили ленту “Бухта Елены” о нахимовцах, вбухали уйму денег, но недотянули до уровня даже самого последнего сельского проката, и вот Параджанову предложили спасти ее: перемонтировать, доснять — без указания в титрах фамилии, пообещав за это квартиру на Брест-Литовском шоссе. Он жил очень скверно, взялся за “Бухту Елены” и получил квартиру.

Так все счастливо сложилось для сценария, потому что его взял никому ни известный режиссер, работавший до этого в театре, немолодой, спокойный, работающий Юрий Семенович Лысенко. Главную роль он поручил Василию Шукшину, малоизвестному тогда актеру. Съёмочная группа канула куда-то в провинцию на все лето, ибо фильм требовал сплошь натуральных съемок по селам, дорогам и маленьким городкам.

И потому, что снимали не в павильонах, а в натуре, для массовок и многих ролей не занимались громоздкой выпиской профессиональных актеров из Киева, а брали колхозниц, торговков, пенсионеров, кто и какой встретился, — случилось чудо. Съёмочный аппарат снял *жизнь*.

Причем съемки обошлись дешево до смешного, самый экономный фильм студии. Он же оказался безукоризненной правдой искусства.

Группа вернулась, показала отснятый материал, и он произвел на дирекцию впечатление шока. Это невозмож-

но было исправить, как “Бухту Елены”, это нужно было либо принимать целиком, либо снимать все сначала. Обратно говоря, как если бы в мастерскую по изготовлению первомайских транспарантов Илья Ефимович Репин принес картину “Бурлаки” или “Крестный ход”.

Но у студии был перманентный скандал с замужними, не доведенными до проката лентами, миллионные перерасходы. Посовещавшись, повздыхав, принялись за попытки пририсовать бурлакам беззаботные улыбки, привесить на барку плакат “Первый хлеб — государству!”.

Этот период работы ножницами я уже не вспоминаю тепло, то была экзекуция, конечно. Обрубили, обкорнали, вырезали самое сочное, однако жизнь так и не удалось загнать в плакат. Еще я вспоминаю, как рабочие люди, влюбленные в картину, не помнили о часах, сидели ночами, если надо — в воскресенье, по сто раз бились над каким-нибудь пустяком, пока он не получался, и радовались тому, как дети, говорили: фильм, конечно, не выпустят, но надо хоть раз в жизни сделать что-то для своего удовольствия.

И Лысенко и я, мы видели, что дирекция уже расчищает для картины место на полке. Но тут начался период, очень краткий, когда вдруг стало модно либеральное отношение к литературе — апогеем его была публикация “Одного дня Ивана Денисовича”. В Киев заехала влиятельная в киномире особа, главный редактор журнала “Искусство кино”, сообщила сенсационные новые веяния, посмотрела нашу картину — и пришла в восторг. Она написала хвалебную статью, которую целым подвалом дала сама “Правда”, поверив, конечно, на слово, потому что картину почти никто не видел, она еще не была готова.

Статья в “Правде” была для студии Довженко ударом грома. Мы не знали, что и подумать, нас поздравляли. Из

грязи — в князи. Известно, что мнение “Правды” — закон. Немедленно второй удар грома: “Мы, двое мужчин” вместе с фильмом “Знакомьтесь, Балугев!” выдвигается от СССР на Московский международный фестиваль.

Это был тот самый фестиваль, на котором первый приз получил Феллини за “Восемь с половиной”, на экране в СССР не показанный.

Все произошло так скоропалительно, что едва приготовили для фестиваля копию и из всей группы успели приехать в Москву только режиссер и я.

Фестиваль начался феерическим появлением на сцене целой демонстрации — группы, создавшей “Знакомьтесь, Балугев!”: актрисы в ослепительных платьях, цветы, вспышки, овации в честь советских деятелей кино, а мы с Лысенко сидели на балконе и лихорадочно думали, где достать напрокат костюм и бабочку, хорошо, что нам представлять не сегодня.

Пошел сам высочайше идейный, вершина социалистического реализма кинофильм “Знакомьтесь, Балугев!” — о положительном коммунисте-хозяйственнике, прокладке трубопровода, с перевыполнением заданий, с борьбой за досрочное выполнение пятилетки...

На фестивалях аплодируют по ходу фильмов в лучших местах. Этот фильм прошел при гробовом молчании зала. Когда он кончился, жидкие вежливые аплодисменты ознаменовали полный повал. Я взглянул на членов жюри, у иностранцев были по-детски ошеломленные физиономии, а председатель жюри Григорий Чухрай прятал глаза.

Стало ясно, что у “Балугева” нет шансов даже на какую-нибудь поощряющую премию и, естественно, честь кинематографии страны может быть спасена только вторым фильмом. СССР как организатор единственный получил право на показ двух фильмов.

Здесь произошла история, подробностей и объяснения которой я толком не знаю и по сей день. На доске объявлений Кремлевского дворца съездов, где происходил фестиваль, оказалось приколото кнопками маленькое объявление: “Вместо фильма “Мы, двое мужчин” от СССР будет демонстрироваться фильм “Порожний рейс”.

Бабочки не понадобились. Мы с Лысенко из князей обратно вернулись в грязи. Моментально нас стали сторониться, как зачумленных. И к кому мы ни кидались — к Григорию Чухраю, к начальнику главка кино Баскакову и так далее, — никто ничего не мог объяснить более внятно, чем “поступило такое мнение”.

Мы пришли к заключению, что после провала “Балуева”, вероятно, встревоженный отдел культуры ЦК только теперь кинулся просматривать второй, до сих пор шедший в тени, фильм “Мы, двое мужчин” — и охнул: разве можно представлять СССР картиной с какими-то бабами в ужасных платках, сопливыми детьми, халатно неотремонтированными дорогами; частные гуси, самогон, понимаете, и ни слова о ведущей роли партии, хотя бы для приличия.

Возможно, за промашку кому-то попало по первое число, но тихо. Корреспондентов пресс-бюро удовлетворяло ответом: заменили картину на более сильную. “Порожний рейс” по сценарию Сергея Антонова, надо сказать, был неплохой, скромный, человечный фильм, но с натяжкой его можно было квалифицировать и как фильм о борьбе за темпы социалистического строительства. Он благополучно получил, хотя бы уж из одной тактичности к стране-организатору, бронзовую медаль.

Там конфликт в том, что шоферы занимаются приписками рейсов, а излишки бензина сливают в лесу. Западные члены жюри, не знакомые с социалистическим

хозяйствованием, видимо, конфликта не поняли. Член жюри от Италии, седой старичок, осторожно спросил у Чухрая: “Да, очень хороший фильм, но зачем они выливали бензин, он же стоит деньги?” Чухрай долго втолковывал ему, но старичок, кажется, все равно не понял. Однако медаль дали.

Фестиваль прошел для хозяев трудно. Фильм Феллини “Восемь с половиной”, конечно, был на десять голов выше других, но, когда пришло время огласить результаты, оказалось, что разражается скандал. Жюри разделилось пополам. Шесть западных членов, включая Стенли Крамера и Жана Маре, были за Феллини, естественно, а шесть из социалистических стран — против. Чухраю как председателю выпало выбирать, какой стороне отдать свой решающий голос.

Шло время, зал и фойе гудели, а Чухрай, красный, мокрый и несчастный, метался между ложей жюри и телефоном, спрашивая у самых верхов, какое ему иметь мнение. Тогда взбешенные Крамер и Маре пригрозили, что уезжают и огласят эту историю на весь мир, и “поступило мнение”: отдать гран-при Феллини. “Восемь с половиной” затем показали только избранным в Доме кино и Союзе писателей, а жюри следующих Московских фестивалей набираются теперь обдуманнее.

А наши “Двое мужчин” пошли в третьестепенных кинотеатрах — и умерли. Я не уверен, что уничтожены копии и негатив, как изъяты и уничтожены по библиотекам мои книги. С литературой легче: рукопись есть собственность автора, копии, фотокопии можно сохранить. Коробки с кинофильмами — собственность государства, и если они гибнут — то уж гибнут безвозвратно.

23 декабря 1972 г.

Тени внешнего мира

У Платона, в седьмой книге “Республики”, есть аллегория о людях, которые, прикованные цепями, сидят в пещере всю жизнь. Внешнего мира они никогда не видели. Из скрытого за поворотом входного отверстия проникают слабые отблески дневного света, и когда случайно перед входом пройдет человек или животное, на стене перед узниками, как на экране, движутся смутные тени. По ним они могут строить догадки, что делается в мире, — это все, что им дано.

Аллегория Платона трактует об общей трудности познания бытия. О большинстве его тайн мы либо вообще не имеем представления, либо судим по смутным отрывочным теням. По ним, конечно, трудно либо невозможно составить верное представление о том, что происходит за стенами, либо — хуже всего — создается представление абсолютно ложное.

Так называемый научный подход к действительности всегда опирается на факты. Бальзак говорил: “Глупо, как факт”. Говорил не мистик — реалист, собравший в своих книгах большую галерею фактов жизни. Каждый факт, сам по себе, не значит еще ровно ниче-

го, как мелькнувшая смутная тень на стене. Не выглянув за пределы своей пещеры, мы практически никогда не увидим всего или хотя бы решающего комплекса явлений, микроскопической частью которого явился данный факт.

Вообразим, например, что в Платоновой пещере быстро пронеслась по стене одна тень, за ней вторая. Факт? Да. И странно будет выглядеть тот толкователь в пещере, который безапелляционно заявит: “Видите, в том мире все гоняются один за другим и пожирают друг друга”.

Все возможно; может, даже как раз это и были тени преследователя и жертвы, хотя и это не значило бы, что мир только из них и состоит. Но, может, это была забава; может, погоня любовная; может, соревнования наперегонки; может, пробежали две лошади, два страуса, два перекаати-поля; миллион вероятностей.

Как часто, однако, мы оказываемся в положении того толкователя, едва лишь что-нибудь увидим. Одни это делают бессознательно, в силу ограниченности и слепоты. Другие — сознательно, потому что так выгоднее. Увидел факт, истолковал его наиболее удобным для себя образом — и доволен и спокоен. Людское общество кишмя кишит мудрецами, у которых готов ответ на все. Если они сами верят, что способны объяснить все, — это типы неумные. Если они сами знают, что объясняют ложно, — это обманщики, злостные, чтобы не сказать преступные.

Может быть, не хватит года, чтобы только перечислить факты, которые объяснялись и объясняются советскими официальными толкователями сознательно ложно. Опровергать советскую дезинформацию — это, вероятно, сизифов труд, и я не представляю себе,

сколько могло бы понадобиться десятилетий, чтобы в обществе перестали ощущаться ее последствия.

Механика дезинформации поразительно примитивна: вас лишают другой информации, вот, в общем, и все.

Любой взятый наугад пример из тысяч и миллионов подобных.

Каждый человек в Советском Союзе знает, что Максим Горький — верный ленинец, друг Ленина, боец за советскую власть и тому подобное. Вот что писал Горький в 1917 году:

Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти, о чем свидетельствует их позорное отношение к свободе слова, личности и ко всей сумме тех прав, за торжество которых боролась демократия... рабочий класс не может не понять, что Ленин на его шкуре, на его крови производит только некий опыт, стремится довести революционное настраивание пролетариата до последней крайности и посмотреть — что из этого выйдет? Рабочий класс должен знать, что чудес в действительности не бывает, что его ждет голод, полное расстройство промышленности, разгром транспорта, длительная кровавая анархия, а за нею — не менее кровавая и мрачная реакция.

Поголовное истребление несогласномыслящих — старый, испытанный прием внутренней политики российских правительств. От Ивана Грозного до Николая II-го этим простым и удобным приемом борьбы с крамоллой свободно и широко пользовались все наши политические вожди — почему же Влади-

миру Ленину отказываться от такого упрощенного приема?

Вообразив себя Наполеонами от социализма, ленинцы рвут и мечут, довершая разрушение России, — русский народ заплатит за это озерами крови.

А ведь время показало, как был прав еще в самом начале, в 1917 году, именно *этот* Горький, в статьях, которые должны были бы составить том в полном собрании его сочинений, если бы такое в Советском Союзе существовало. Такой Горький в СССР засекречен. А между прочим, кровь его пополнила предсказанные озера.

Бесподобной по своей наглости была песня-дезинформация Лебедева-Кумача, созданная в середине 30-х годов, в самый разгар террора: “Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек”. С одной стороны, человеческой особи это вдалбливалось ежедневно, с утра до вечера. С другой стороны, она, эта вконец окосевшая особь, действительно *не знала* никакой другой страны, отгороженная бронированными стенами от мира.

Хотя стены к сегодняшнему дню кое-где проржавели, официальные советские толкователи комментируют тени, проникающие из внешнего мира, все на том же уровне: “Видите, в том мире все пожирают друг друга”.

У меня теперь есть возможность сравнивать факты западной действительности и то, что о них тут же пишет советская печать. Сперва это ошарашивает, потом забавляет, потом привыкаешь ничему не удивляться, как ничему не удивляются служащие вытрезвителя или сумасшедшего дома. Я сказал: “Сперва это ошарашива-

ет”. Потому что до полного переселения на Запад и некоторого срока жизни здесь я, до этого даже как-то выезжавший туристом, в общем знавший, естественно, цену советской информации, оказывается, все равно не знал подлинной глубины дезинформации! Сам того не ведая, противясь всем естеством, на многие ее крючки попадался и висел на них, как карась.

Ограничусь двумя примерами. Страшный призрак безработицы, висящий над каждым человеком на Западе. Это же — факт. Не советская печать — *западная* печать без конца об этом пишет, а советская только цитирует. Цитатам, как факту, я верил. Не я один такой. В 1971 году остался на Западе крупный ученый, Герой Социалистического Труда Федосеев, он говорил и в интервью, и мне лично в беседе: “Я думал, что при западной безработице придется мне туго, но, может, как-то, хоть сторожем, на кусок хлеба заработаю — и ладно, главное, что на свободе”.

Один из камней в стене между СССР и западным миром — это разный смысл, вкладываемый в одни и те же слова. Например, “выборы”, “гуманизм”, “демонстрация”, “бедность”, “паспорт”. Англичанам, например, для жизни у себя в стране паспорт не нужен, как неизвестна им и прописка. Слово “паспорт” у них значит то, что в Советском Союзе значит “*заграничный* паспорт”.

Здесьняя “безработица” — это нечто такое, что во много раз лучше того, что в СССР называется “отсутствием безработицы”. Здесь газеты ломаются от приглашений на работу, повсюду объявления, соблазняющие приличной зарплатой. Но как в Советском Союзе человек с дипломом, с квалификацией, случается, месяцами, а то и годами ищет работу *свою*, в данном месте, с

зарплатой повыше, — так, в принципе, ищут ее и здесь. Только здесь не требуется ни прописка, ни социальное положение, ни допуск спецотдела и тому подобное. Только в СССР специалист, не желающий ехать в другой город или село и не поступающий срочно маляром на ближайшую стройку, называется капризным человеком, а здесь он называется безработным. В СССР он не получает, естественно, ничего, а здесь он получает пособие по безработице, которое практически равно полному заработку его работающего коллеги в СССР. Если слово “безработица” употреблять в его западном понимании, то трудно найти другую мало-мальски развитую страну, где бы была такая свирепая безработица, как в СССР. И даже без пособий по безработице.

Таким оказался факт, который казался мне безоговорочным, тень которого я лично ясно видел на стене.

Другой пример: бесплатное медицинское обслуживание. Оно, конечно, только в СССР, сколько об этом там кричится. Лечение на Западе разорительно, не по карману, только богатые могут позволить себе болеть. Признаюсь: собираясь бежать, думал я: “На Западе болеть себе не позволю. Это страшнее всего, не дай бог!” Не по голым словам я знал, опять по выдержкам из иностранных источников. Приехал в Англию, живу более трех лет — конечно, болел. Медицинское обслуживание в Англии бесплатное. Без крика. Очередей в поликлиниках не видел. Проходил рентгены, кардиограммы, анализы — делается это блестяще и моментально. За лекарства по рецепту врача платил какие-то, скорее символические, гроши, как за билет в автобусе. Это было со мной самим, я ошалело смотрел и не верил глазам. А где же лечение не по карману? Есть, сколько угодно. Это то, о чем СССР уже забывает: частные вра-

чи, частные клиники. Личная палата всем с телевизором, коврами, цветами, царский уход. И это я тоже видел: навещал одного знакомого, который не захотел лечиться *массово*, считая, что ради здоровья денег не нужно жалеть, особенно если они есть. Возможно, он прав.

И еще, уже в порядке казуса, расскажу один случай, опять имеющий отношение ко мне и потому, так сказать, из первых рук.

КГБ заставил некоторых людей писать мне письма — то с проклятиями, то с призывами вернуться, а одно заключал мрачное предсказание, что я погибну через полгода, что я никому не буду нужен: “Они ж сами смеются над тобой. Мне показывали карикатуру на тебя в “Спектейторе” — вот до чего ты докатился”.

“Спектейтор” — один из самых солидных английских журналов. Действительно, на обложке одного из его номеров была помещена моя физиономия в виде шаржа. Человеку в СССР показывали не подделку. Факт? Безусловный. Как не поверить своим глазам? Показали бы мне — я бы тоже поверил. Но показывавшие знали, да только не сказали одного “пустяка” — что это отличительный стиль “Спектейтора”: помещать на обложке каждого номера то, что называется дружеским шаржем — на человека, который чем-то особенно известен в данный момент — президент ли, министр, общественный деятель и так далее. Попасть на обложку “Спектейтора” — редчайшая честь, которая бывает разве что один раз в жизни. Такой чести, признаться, я не ожидал.

Человек, написавший мне письмо, — далеко не глупый, стреляный, но я точно знаю, что он и по сей день уверен, что в КГБ ему показывали злую карикатуру на меня. Факт. Тень на стене.

Прежде я довольно самоуверенно полагал, что хотя многого не знаю, но в самом принципе ориентируюсь в жизни и событиях верно. Что если я выйду за стены родимой пещеры, я встречу, конечно, массу нового, но это будет лишь количественным увеличением того, что я знаю и на чем стою. Когда стали пачками рушиться фикции, обманы, шоры на глазах, которые, оказывается, насквозь пронизывали то, на чем я стоял, со мной произошел какой-то качественный переворот.

На четвертом году жизни в Лондоне я, кажется, могу сказать, что от моих прежних представлений не осталось в чистом виде почти ничего.

6 января 1973 г.

Труд писателя там и здесь

Когда я учился в Москве, в Литературном институте на Тверском бульваре, там, кроме марксизма, политэкономии или языкознания по Сталину, преподавались несколько дисциплин литературных: теория стиха, теория прозы, труд писателя.

Последний курс — “Труд писателя” — читал профессор Цейтлин, ныне уже покойный, — сухонький, замкнутый старичок, который скрупулезно выбрал, казалось, все, что можно, — не о том, *что* писатели всех эпох писали, а *как* чисто технически они это делали.

Один любил держать ноги в тазу с холодной водой, другому требовались гнилые яблоки в ящике стола. Один писал сидя, другой — лежа, а третий — только стоя. Одни писали по утрам, другие только ночью. Одни ждали вдохновения, к другим оно являлось в процессе работы, а третьи его вообще не признавали. Лекции были разбиты на разделы: “Бытовые условия писателя”, “Стол писателя”, “Влияние местности на работу писателя”. Там было собрано все, за исключением, по-моему, работы писателя в условиях диктатуры — и работы писателя в изгнании. Этого мы не проходили.

Недостающий раздел насчет диктатуры мы, его слушатели (а мы — то были Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Анатолий Гладилин, Лина Костенко, Юнна Мориц, а также наш сокурсник Владимир Фирсов), вынуждены были постигать каждый в силу своего разума. У одних, как у Ахмадулиной, Гладилина или Костенко, это кончилось работой в стол, отверженностью, травлей. Другие, как Евтушенко, сперва акробатически лавировали на лезвии ножа, а кончилось чем-то похожим на панельную торговлю собой. Третьи, как Фирсов, не мудрствуя лукаво стали обыкновенными погромщиками и фашистами.

Мне же, грешному, судьба уготовала перейти к разделу “Работа в изгнании”, который мы тоже не проходили. Сейчас я мог бы пополнить курс профессора Цейтлина большим количеством материала, точного, неожиданного, выстраданного, потому что этот раздел оказался для меня лично самым потрясающим из всего, что вообще было в моей жизни. Кардинальным настолько, что, прибегни я к банальной литературшине, его можно было бы считать не продолжением, а просто началом другой, иной жизни.

С момента посадки в самолет 24 июля 1969 года, в Шереметьевском аэропорту, курсом Москва — Лондон, новое обрушилось на меня, и продолжает обрушиваться, лавиной. По-польски говорится: “Цо задужо, то нездорово”. Если полжизни дышать спертым, бедным на кислород воздухом и вдруг оказаться на берегу океана, то от свежего воздуха можно угореть, заболеть, обожжет легкие. Только здесь я узнал от старых, опытных эмигрантов, что почти каждый вырвавшийся из СССР на Запад должен “переболеть”, бытуют даже термины: резкий пере-

пад давлений, “кессонная болезнь”, “культурный шок”. Одни подвержены этому больше, другие меньше, мне же, как вижу теперь, было уготовано испить эту чашу “кессонной болезни”, “культурного шока” сполна, может, даже больше, чем сполна. Вероятно, потому, что в СССР я принадлежал именно к категории, которая называет себя работниками культуры. Я, естественно, ожидал — и свежего воздуха, и перепада в культурном уровне. Но сногшибательных размеров всего этого, ножниц, которые настолько, оказывается, расходятся, что трудно вообразить, когда и как они могут сомкнуться, — вот этого я не ожидал. Со мной случился означенный “культурный шок”.

Начать с того, что вот уже четвертый год живу в Англии — но не опубликовал ни одной новой книги. Я выпустил “Бабий Яр”, но он написан раньше, в СССР, теперь лишь опубликован в полном виде.

Любопытно, что, когда я остался в Англии и вдогонку мне, кроме газетных статей, полных терминологии вроде “Иуда, родину продал”, была пущена волна писем и от якобы “простых советских читателей”, и от близких людей, — в них после вариаций “Тебя ждет осиновый сук”, “Ты умрешь под забором” следовало несколько странное предсказание: “Писать ты уже не сможешь”.

На месте главы КГБ товарища Андропова я бы этих авторов “Иуды”, “осиновых суков” и “заборов” гнал бы в шею: плохо работают. Бездари. А вот на человека, предсказавшего, что советский писатель писать на Западе не сможет, рекомендую обратить внимание — и премировать его хотя бы путевкой в спецсанаторий “Торячий камень” в Пятигорске.

Узнать бы у способного работника, из каких посылок он исходил? Впрочем, поставлю сто против одного, что главной причины он не знает.

Говорят о губительной оторванности от родины, корней, родных берез и языка; о предательстве священных идей коммунизма; о зверином оскале капитализма, наконец... Все это болтовня, вздор.

Когда Герцен или Горький уходили в эмиграцию, поляк Конрад стал мировым писателем в Англии, испанец Пикассо навсегда оставил Испанию, а турок Назым Хикмет эмигрировал в Москву (последний случай, видимо, вообще абсолютно похвален?), то никто не вспоминал об оторванности от родных корней, берез, пальм или баобабов.

В священные идеи коммунизма теперь и в ЦК КПСС никто, пожалуй, не верит всерьез. Оставим их, эти идеи, бог уж с ними, оставим их армянскому радио, Мао Цзэдуну и Энверу Ходже.

Насчет звериных законов Запада — я их наблюдаю четвертый год, теперь не с чужих слов, а сам могу сказать: дай бог нашей инквизиторской, феодально-крепостнической стране когда-нибудь не то что превзойти — приблизиться к современному уровню духовной и материальной западной жизни. Погодите с сияющими вершинами, скажите, в каком столетии хоть крепостное право-то отмените?

И сказать крепостному, который из такой страны не уехал легально, а должен был тайно бежать, как из концлагеря, — сказать такому беглому крепостному писателю: “Ты без нашей колючей проволоки не сможешь писать”, — согласитесь, это все-таки нужно было додуматься.

Главная причина более серьезная, трудная, прозаическая: это беспросветная отсталость и провинциаль-

ность наших так называемых советских писателей и всей их литературы, я же имел несчастье к этой кунсткамере принадлежать.

Я, например, состоял членом Союза писателей СССР. Но писатель и член Союза писателей СССР — это вещи не только разные, но, как сказал бы Пушкин, *несовместные*. Достоевский или Лев Толстой не могли бы быть членами союза. Достоевского бы ни строки не печатали и не приняли бы уже за один общечеловеческий гуманизм, а Толстой — тот бы сразу заявил: “Не могу молчать!” Александр Солженицын, перед которым преклоняется мир, из Союза писателей изгнан. По советской терминологии он, собственно, “лицо, не занимающееся общественно полезным трудом”. Тунец-де. О расстрелянных не говорим.

Я же был довольно прочным членом Союза писателей СССР, со всеми вытекающими из этого последствиями. Последствия таковы, что мне на Западе пришлось элементарно переучиваться. Во многом — начинать с начала, с азов. Пока официальная советская литература толкалась на пустыре соцреализма, мировая литература куда-то со скрипом шла — и что-то находила. Но мы-то, на Тверском бульваре, у нас в деревне, этого *не проходили*. В некоторых областях я почувствовал себя на Западе так, как почувствовал бы себя сельский учитель арифметики, перенесенный в центр космических исследований и уполномоченный сделать обыкновенные расчеты траекторий полета Земля — Луна — Земля.

Покидая СССР, я переснял свои рукописи на пленки и думал: если удастся побег, то уж я все это первым делом напечатаю. От издателей отбоя не было. Прежде всего мой литературный агент попросил список, и я составил только для начала список из семи

книг, в общем готовых, только перевести с пленки в машинописный вид.

Да, из этого списка я выполнил номер один — полный “Бабий Яр”. Это было единственное, что более или менее стоило сделать, и то не обязательно. Сегодня я бы все прописал заново, вычистив хвосты моих былых советских представлений.

Затем я приготовил вторую книгу, сюрреалистический роман “Тейч Файв”, успел, к несчастью, опубликовать в журнале отрывок из него... и осекся. Это был момент, когда я и увидел, что я еще не писатель, а только *бывший член СП СССР*. С “Тейч Файвом” было банально-примитивно. Почитали рукопись один, другой, в меру хвалили, но сказали, что это, в общем, на уровне подражаний Замятину и Оруэллу. Я писал это в глубокой тайне, по ночам, в своей квартире в городе Туле и понятия не имел, что какие-то Замятин или Оруэлл вообще существуют на свете. Сегодня могу сказать, что называться современным русским писателем и не знать, что существовали Замятин и Оруэлл, — это все равно что называться поэтом, не зная, что ли, что были Лермонтов и Блок, мучительно изобретать паровоз, не зная, что по дорогам бегают тепловозы и электровозы. Я, благословенный советский писатель, в своей благословенной Туле, работая с риском по ночам, изобрел велосипед, причем по конструкции хуже, чем те, которые в Лондоне сотнями пылятся по магазинам, 8—11 фунтов штука. 8 фунтов — это дневной заработок водителя лондонского автобуса. Да.

Это лишь один штрих из сотен. Общая картина гораздо сложнее, но для меня важнее всего оказалось конечное открытие: что мы в СССР, “деятели культуры”, находимся на *такой* ступени невежества, нет, я

этого не ожидал. Три года я непрерывно учусь и пытаюсь наверстать. Сегодня несколько новыми глазами просматриваю привезенные из СССР свои рукописи — и почти не могу понять: как это было можно такие наивные, окоселые, китайские вещи всерьез думать и писать, как драгоценность переснимать, везти через границу... Можно было и не переснимать. Этот эклектический сумбур имеет разве лишь цену сырья. Чеховских записных книжек, откуда можно выбрать детали, фразы... Еще — благодатный материал для психолога, социолога, философа, не знаю кого еще, кто вздумал бы исследовать странный, перекошенный отросток рода “гомо сапиенс”, вида “гомо советикус”, подвида “советский письменник”, если это интересно, если это вообще кому-то нужно...

Как видите, трудный случай. Я благословляю судьбу за то, что она привела меня в сегодня. Если она была так добра ко мне, то, может, отпустит еще и времени жизни? Ах, как хотелось бы успеть. Я-то ведь пишу, каждый день пишу, а наутро перечитываю и вижу: нет, не все клочья шерсти сошли, и вот клоч, и вот, я сгорю со стыда, если с таким выйду на люди. Впервые в жизни ощущаю, что работаю действительно по-настоящему, это очень счастливое ощущение, кто однажды испытал его — верните его хоть десять раз в клетку, он будет десять раз бежать или погибнет, но жизнь и работа по прежнему, по-советски, для него уже невозможна.

13 января 1973 г.

“Если бы...”

Тридцать девять лет одиннадцать месяцев и пять дней из моей жизни прошло в Советском Союзе. Сегодня я об этом сожалею. Детство, юность, молодость, зрелость — какие годы!..

Однажды, в Тарусе, был я в гостях у Константина Георгиевича Паустовского. Между всем прочим, он сказал, что принимается за книгу, своего рода фантастическую: он хочет написать о своей жизни — но не такой, как она сложилась в действительности, а какой она *могла бы* сложиться, будь у него воля располагать собой.

Меня поразили тогда тоска, горечь и безнадежность, из которых только и могла возникнуть такая мысль. Написанная от всей души, подобная книга могла предназначаться только “в стол” уже хотя бы по одной той причине, что жизнь Паустовского, как и всех современников, могла бы сложиться иначе, будь у них воля располагать собой, — при условии, что не произошел бы захват власти большевиками в 1917 году — и всей последовавшей диктатуры.

Вообще-то, если подумать, то, наверное, на всем земном шаре среди умственно полноценных людей не

так много найдется таких, которые не кривя душой скажали бы, что их жизнь сложилась именно так или хотя бы в общем так, как они и хотели.

У нас у всех, без исключения, происходят большие или меньшие разрывы, ножницы между тем, как хотелось бы, и тем, что вышло. Жизнь любой индивидуальности — цепь усилий, непрерывная борьба между “хочу” и “могу”, между “хочу” и “получается”. Но, старая как мир, эта прописная истина нуждается, по-моему, все же в некоторых уточнениях.

То неведомое нечто, которое в людской речи принято называть словом “судьба”, может дать человеческому “хочу” с самого начала большие возможности для осуществления или же, наоборот, наложить совершенно непреодолимые и безнадежные препятствия.

Грубо говоря, “хочу не иметь забот о завтрашнем куске хлеба” имеет совершенно разные шансы для реализации у принца и у нищего, у новорожденного в семье академика и у новорожденного уборщицы. Чтобы реализовалось “хочу быть рекордсменом в спорте” судьба одному новорожденному дает фору, сто очков вперед, а другому, родившемуся калеккой, не дает ни фору, ни надежды.

Если взглянуть на историю цивилизации в таком аспекте, то она есть не что иное, как непрерывный бунт человека против такого положения вещей. И вот удивительно: некоторые, казалось бы абсолютно неодолимые препятствия человек все-таки научился устранять. Шансов реализовать “хочу выздороветь от туберкулеза, не заразиться оспой, чумой, холерой” у человека сегодняшнего в миллионы раз больше, чем у жившего в Средние века. Выяснилось также, что множество неодолимейших препятствий создаем мы сами, единствен-

но из недомыслия. Шансов реализовать свое “хочу не быть рабом с веревкой на шее, которого, как скот, продают на базаре”, у римского раба IV века до нашей эры практически не было. У любого новорожденного сегодня римлянина таких шансов сто процентов.

У советской девушки 50-х годов шансов ходить по улице без скандала в мини-юбке или брюках — таких шансов практически не было. И вдруг сегодня, на тебе, оказалось, что страшные, ужасные, неодолимые препятствия тому были дутыми, как мыльный пузырь.

Когда я оглядываюсь теперь на свои тридцать девять лет одиннадцать месяцев и пять дней жизни в СССР — я не знаю, смеяться мне или плакать: да ведь это была жизнь среди сплошных баррикад, надолбов, заграждений, стен, лабиринтов, препятствий, столь же дутых и искусственных, как карточные домики, юмористических до анекдота, но — и тут анекдот превращается в какую-то патологическую трагедию — объявленных священными, неприкосновенными и, главное, денно и нощно охраняемыми циклопическими средствами силы — от кулака до водородных бомб.

Прописка. Когда я пытался недавно объяснить одному англичанину, что это такое, он слушал долго, внимательно, с интересом, как слушают рассказ путешественника об обычаях племени мумбо-юмбо — и под конец, когда я был в полной уверенности, что он понял, он спросил: “Но почему все население так старается выполнять эту чушь?” — “Потому что за нарушение правил прописки сажают в тюрьму”. — “А!” — сказал он.

Этот разговор возник из появившегося в английских газетах сообщения, что Солженицын не получил развода со своей бывшей женой и поэтому не имеет права проживать в московской квартире со своей новой

семьей, с маленькими детьми, а может их только навещать время от времени, приезжая на поезде со своего места жительства за столько-то миль от Москвы. У меня такое впечатление, что большинство англичан так и не поняли ничего в этой галиматье.

Дело в том, что в английском языке прежде всего нет точного эквивалента советскому слову “прописка”. Употребляют слово “реджистр”, что значит “регистрироваться”, “заносят в список” и еще много значений, вплоть до “сдавать на хранение багаж”. Регистрируются в списках избирателей, записываются младенцы в метрическую книгу. Но еще: “ту би он зэ реджистэ” — значит “быть взятым на заметку”, “находиться под подозрением”. И все.

Именно в последнем смысле мой знакомый и пытался понять неприятности, связанные с пропиской у Солженицына. Он у властей находится под подозрением и взят на заметку. Но если он хочет жить с семьей, с детьми, то неужели так трудно перенести регистрацию подозреваемого лица из одного полицейского участка в другой?

Англичанин сперва не мог понять, у него не укладывалось в голове, что в СССР “взяты на заметку” все без исключения, миллионы жителей — и при каждой смене места жительства они испрашивают разрешения в полицейских участках, министерствах, ЦК и далеко не всегда могут его получить, и что у подавляющего большинства людей шансы жить в Москве или другом крупном городе практически равны нулю, и что каждое перемещение жителя внутри страны фиксируется во множестве бумаг, а также печатями в его паспорте.

Англичанин слушал, но по глазам его я раз или два заметил, что он борется с искушением принять меня за

вруна. Но вы знаете, я сам, после трех лет жизни в Лондоне, вдруг вспомнив какую-нибудь деталь советской жизни, вроде вот этой самой прописки, ловлю себя на том, что как-то не верится уже, что ли: неужели было? Неужели это я стоял в очередях в паспортные столы, в домоуправлениях, заносился в какие-то подворные книги, заполнял какие-то листки прибытия, убытия, мне ставили какие-то штампы “Пописан сроком до...”, это мучительное “сроком до...”. Чтобы разрешили жить в Москве, помню, добрался до самого ЦК КПСС, как уже известный писатель, до самого заведомо культуры ЦК Поликарпова, и он на меня страшно наорал и лишь милостиво разрешил жить в Туле, Рязани или Ставрополе. Вот вам три пункта на выбор. Я пробормотал: “Тула”, и так судьба в лице советской власти и товарища Поликарпова определила мне место для пребывания на земном шаре. Право, фантазмагория какая-то...

В Англии прописка не существует, как и не существуют паспорта в советском их понимании. Когда я впервые снял квартиру в Лондоне, выходящую окнами на Гайд-парк, мне долгое время как-то прямо чего-то не хватало, беспокоило, будто я что-то забыл, пока не понял: я живу без прописки. И у меня буквально врожденный, инерционный страх, что я что-то *нарушаю*. Я спросил всех, кого мог: “Не надо прописываться или хоть где-то отметить?” — “Не надо”. — “А если я поеду жить... в Ливерпуль? Тоже ничего не надо?” — “Тоже ничего не надо. Билет на поезд, ну и деньги на жизнь”. — “А на Пикадилли тоже каждый может снять квартиру?” — “Сколько угодно, только дорого”.

Можете улыбаться, но тогда я снял квартиру на Пикадилли, в самом центре, единственно из одной, видимо, жадности, где прожил полгода — и убедился,

что по воскресеньям, когда магазины закрыты, центр Лондона становится безлюден и пуст — туда в основном приезжают работать, покупать, развлекаться, но истинный англичанин стремится жить ближе к природе, да хорошо бы в собственном доме с садом, а не среди каменных громад, в бензиновом чаду. Оказывается, проблемы перенаселения большого города решаются естественно, без баррикад, арестов или стрельбы: высокая квартплата, охота тебе платить — плати, еще хочешь губить здоровье — губи.

И дальше, когда я наконец окончательно поверил, что слово “прописка” для меня так же мертво, как, скажем, “черта оседлости”, “место ссылки” или “101-й километр”, я купил дом подальше от центра, небольшой, но в три этажа, с садом, гаражом. Живу в нем второй год — и хотите верьте, хотите нет, — но не знаю до сих пор, где ближайший полицейский участок. Кто ко мне приходит, ночует, живет, или, может, я уеду в Австралию на пять лет и сдам внаймы свой дом — никому, может быть, нет до этого дела, никого не надо ставить в известность. Думаю, что если бы я разыскал все-таки полицейскую контору в нашем районе, пришел и сказал: “Запишите, пожалуйста, что теперь по такому-то адресу проживают такие-то”, они бы, пожалуй, приняли за чудака, шутника или... больного на голову.

Так-то с этой “пропиской”, самого слова и понятия которой в нормальном мире и среди нормальных людей просто нет, которая так преследует, мучает, портит, иногда просто перечеркивает человеческую жизнь в Советском Союзе, но это же штрих, один-единственный штрих из числа третьестепенных, пришедшийся к слову при речи о препятствиях — которые создает судьба, а которые создают умные градоначальники.

Константин Паустовский умер, так и не написав задуманной книги. Я тогда думал: придет мой час, умру и я, как он, не только не прожив так, как бы хотелось, но даже в воображении, в фантазии этого не пережив, потому что за такое сочинение я, знаю, не буду даже браться. Прожить жизнь прикованным к веслу галеры гребцом, а потом в старости вообразить, как бы прошла жизнь, если бы не эта галера, это весло, эта цепь, если бы да кабы... о-о, это слишком страшно.

“Что кому на роду написано, то и сбудется” — лукавая поговорка, потому что если на голову падает кирпич, кто проверит, кто подтвердит, что именно это, оказывается, было написано. “От судьбы не уйдешь” — то же самое. Пусть “написано на роду”, пусть “судьба”, однако если бы это не поддавалось фатально никаким уж усилиям, то мы сегодня, собственно, ходили бы в звериных шкурах? Вымирали бы целыми городами от чумы?

Есть диаметрально противоположная поговорка: “Человек — хозяин своей судьбы”. Если бы в нее вставить “частично” или “в какой-то определенной степени”, то я с ней бы, может, и согласился. Но с обязательным примечанием: “За исключением Советского Союза, где, как известно, с хозяевами покончено, и судьба каждого на руки ему не выдается”.

27 января 1973 г.

Серпастый, молоткастый

Верить ли Маяковскому, когда он описывает, какое впечатление производил за границей его советский “серпастый, молоткастый” паспорт:

Я
достаю
из широких штанин
дубликатом
бесценного груза.
Читайте,
завидуйте,
я —
гражданин
Советского Союза.

Он принадлежал буквально к считаным единицам, выезжавшим из изволавшейся, изголодавшейся, потрясаемой террором ЧК страны, и для таможенных чиновников серпастый, молоткастый, кровавого цвета паспорт был, безусловно, настораживающей редкостью. Такой настораживающей редкостью сегодня для советских таможенников является, я полагаю, паспорт ки-

тайский. Если человек из маоцзэдуновского Китая въезжает в Советский Союз, к тому же не дипломат, к тому же один, то?.. Знак вопроса.

Я могу хорошо себе представить сегодняшнего молодого китайского поэта из хунвейбинов, который по возвращении написал стихи о китайском паспорте: как ошалело брали его в руки насмерть перепуганные “советские ревизионисты”, как змею, как бомбу, с концовкой вполне по Маяковскому: “Читайте, завидуйте, я гражданин Китайской Республики Мао Цзэдуна”.

Советский внутренний паспорт — темного землистого цвета, с отпечатанным черной краской гербом, и поскольку абсолютное большинство населения за границу не выезжает ни разу в течение всей жизни, а стихи о советском паспорте все изучают в школе, то описанная Маяковским красочная книжка представляется чем-то вроде художественного образа, существовавшего в прошлом, давно, как залпы “Авроры”, если они вообще были. Так, по крайней мере, представлялось мне, пока где-то к годам тридцати своим я не получил в дрогнувшие руки это полуреальное чудо, оказавшееся, к моему потрясению, и красным, и серпастым, и молоткастым!

Ах, как же он сделан, советский заграничный паспорт! Землистый внутренний паспорт выглядит перед ним как задрипанный профсоюзный билет. Нежно-салатные бесчисленные страницы для виз, с водяными знаками, как банковские денежные знаки. Большая твоя прямо художественная фотография, которую, когда я сказал, для чего она мне нужна, охотнорядский фотограф делал как ювелир, и сдавать-то этих фотографий для заграничного паспорта надо было ни больше ни меньше — двенадцать штук. Оказалась приклеенной одна. Где одиннадцать остальных — значит, пони-

май. Драгоценность выдается за несколько часов до отъезда и тотчас по возвращении подлежит сдаче, погружаясь в таинственные секретные сейфы. Получаешь обратно унылый, как наша жизнь, внутренний паспорт — и конец сказке. Причастился — будя.

Лично я не замечал в глазах заграничных чиновников, бравших мой паспорт, ни ужаса, ни озабоченности, а скорее какую-то смесь сожаления, досады, может — холодноватого сочувствия. В гостиницах его брали официально-неприязненно: бедность советских, поселяемых в самых дешевых каморках, известна. В бухгалтериях издательств стран народной демократии, где я получал гонорары за переводы моих книг, листали паспорт и отслюнивали купюры с той же подхалимской внутренней ненавистью, как и в советском Управлении по охране авторских прав отсчитывают Софронову сто тысяч перспективных, сами имея 90 руб. месячного оклада.

Повсюду за границей советский человек узнается без паспорта — по провинциальному виду, как колхозник в Эрмитаже, по ошалелому выражению лица — и постоянному подозрительному ожиданию провокаций. “Кто это такие? Ах, это русские? А-а!” Все понятно. Серпастые. Молоткастые.

Но настоящую горечь, боль и стыд я, как русский серпастый, испытал в Будапеште. О, этого я не забуду. После 1956 года, за исключением официальных лиц, венгерский народ русских игнорирует. Вы ходите как бестелесная тень, сквозь вас смотрят, вас не слышат, вы не существуете.

Вечером мы с коллегой запутались и принялись спрашивать дорогу. Люди проходили так, словно бы и не к ним обращались. Коллега, к счастью, знал немецкий и всюду, в магазинах, в музее, обращался по-не-

мецки, а я рта не открывал, это помогало, к нам относились нормально. “Скажите, пожалуйста, где улица Ленина?” — спросил он и теперь по-немецки. Венгр окинул нас взглядом и отдельно ответил по-русски: “Нэ панимаю”. Безнадежно мы прошли несколько шагов и прочли на углу табличку: “Улица Ленина”.

Когда я осторожно стал интересоваться следами пуль на зданиях и где похоронены убитые 1956 года, за официальной вежливостью чиновников проглянуло что-то человеческое. Неделью я просил одного венгра назвать мне хотя бы кладбище. Он поверил в мою искренность и согласился туда провести. Словно прорвало плотину: стал совершенно другой человек. Рассказал мне о восстании такие вещи, о которых я понятия не имел. Что Будапешт в 1956 году был разрушен больше, чем в войну. Что советские танки шли по телам не останавливаясь: дети ли, женщины. Что если из дома раздавался выстрел, артобстрелом прямой наводкой уничтожался этот дом, соседний с ним слева и соседний с ним справа. На кладбище, он сказал, будем ходить молча. Ни одного русского слова, иначе женщины могут растерзать.

И мы пришли на огромное кладбище, ровные ряды могил, и на всех до единой памятники, на всех до единой цветы, и часто — фотографии юных интеллигентных лиц и надписи: “Такой-то, 18 лет, студент консерватории. Пал за Отчизну такого-то числа 1956 года”; “Такая-то, 20 лет, детский врач. Пала за Отчизну...” Горели свечи, и множество женщин действительно сидели у могил, подсаживали цветы, поливали деревца... Молча мы обошли кладбище, за воротами мой спутник сказал, что это лишь часть, что власти пытаются освободить кладбища от таких могил, массово вырывают и перевозят за город. “Как позволяют это “Пал за Отчиз-

ну”?” — спросил я. Это был целый бунт. Категорически запрещено, и тем не менее *на всех* до единой могилах люди вырезали эти слова. И власти замолчали.

Я побывал и на центральном кладбище “Керепешитемето”, где похоронены Бела Кун и другие коммунисты. Помпезные безвкусные памятники, неухоженные, среди сора, который никто не подметал. Неподалеку демонтировали памятники “Пал за Отчизну” и разрывали могилы, перенося останки жертв за черту города.

Советских военнослужащих в Будапеште не видно. Если им нужно по служебным делам — одеваются в штатское. Мощные военные силы стоят кольцом вокруг Будапешта, всегда в боевой готовности, но в казармах, невидимые, почти не выходя в увольнительные, чтобы не мозолить глаза. Но когда мы потом ехали по стране, я увидел на горизонте много столбов дыма, и, когда приблизились, оказалось, что это не дым, а пыль, поднятая гусеницами танков. Видимо, маневры, — и они шли прямо по полям, посадкам, картошке, оставляя развороченные трассы. Наши краснозвездные, серпастые, молоткастые танки, топчущие поля чужой страны. Я сказал: “Прости меня. Я русский, но это не я, это не мои танки”. — “Народ не делает разницы, — сказал он. — Русские — значит, оккупанты”.

Я сам жил под оккупантами в Киеве, знаю, что это такое, и знаю, что для нас не было разницы между “немец” и “оккупант”. Я бывал в Риге и Таллине, где чувствовал себя представителем оккупантов, и миловидные эстонские девушки-продавщицы не отвечали в магазине на мои вопросы, смотрели сквозь меня, а жители “не знали”, где улица Ленина, улица Советская, улица Коминтерна...

Единственное место, где я чувствовал себя хорошо, — это была Чехословакия. Я побывал там дважды

и второй раз жил долго, продлевая сколько можно срок, влюбленный в Прагу и пражан. Это было накануне событий 1968 года. Единственно в Чехословакии меня, русского, встречали улыбками, открывали двери домов и души, просили расписаться на стенке, на память. Пресса писала сногшибательно смелые и умные статьи, в кино шли прекрасные, полные правды жизни фильмы. Из театров, экспериментирующих на все лады, я не вылезал и бродил по Вацлавской площади до четырех часов утра. Другьям-чехам я говорил: “Это у вас временно. Это кончится, и скоро”. Они смеялись.

Своим предсказанием этим гордиться мне нечего. Я был советский человек, рожденный и выросший в СССР (а в таком случае много ума не нужно, чтобы знать, чем кончаются проявления вольного духа). Услышав, что советские танки вошли в Чехословакию, я увидел моментально столбы пыли на горизонте, и картошку, летящую с траков танков на полях Венгрии, и свечи на могилах “Пал за Отчизну”. Знаю, что сегодня ходил бы по Праге как оккупант, сквозь меня смотрели бы как сквозь пустое место и на вопрос, где Вацлавске наместе, заданный хоть по-французски, оглядев меня, ответили бы: “Нэ панимаю”.

В блаженную Болгарию русские “братушки” едут отдыхать не по заграничным паспортам, а по туристским каким-то гибридам и питают иллюзии, что это единственная страна, где их еще любят, до сих пор помня Шипку. Я жил в Болгарии три месяца. Я видел, с какими прищуренными глазами болгары наблюдают нашествие жадных советских туристов на магазины, как эти массы, подобно саранче, приезжают отъедаться, упиваться, роскошествовать по льготным для СССР, но отнюдь не для Болгарии тарифам. На Золотых Пе-

сках ночью я однажды брел один среди отелей, в одних из которых было нормально — значит, здесь иностранцы с Запада, а в других внизу, в ресторанах, орали, визжали за длинными столами “организованные группы” советского провинциального парт- и профактива с бочкообразными женами, на которых платье спереди висит на шесть пальцев выше, чем сзади. “Пусть всегда будет мама!” — орали, упившись. Потом вскочили на стол и принялись гарцевать “барыню”. У себя дома этого не позволено, чтоб “барыню” на столах, а в оккупированной стране можно. Я смотрел с улицы сквозь стекла на это, и, честное слово, хотелось провалиться.

Смуглый болгарин быстро вошел в ресторан, не знаю, может, он был служащий его. С ненавистью ткнул пальцем в топчущихся на столе: “Сойди!” — “Ну чаво, чаво?” — “Сойди!” Нехотя, злясь, они слезли с затоптанной скатерти.

“Это не я, — говорил я себе слишком часто. — Я русский, но это не я, и это не русские. Это серпастые, молоткастые”. В войну весь мир изумлено спрашивал: “Как могло случиться, что народ, давший миру Гёте, Шиллера, стал угрозой цивилизации?” Неужели всерьез разгорается борьба за сомнительную честь, какой изумленный вопрос правильнее сейчас: “Как могло случиться, что страна, давшая миру Достоевского, Толстого...” — или: “Как могло случиться, что страна с тысячелетней культурой, давшая миру Конфуция...” — и так далее?

И раньше, а сегодня уж и подавно, вернее было бы написать в стихах о советском паспорте: “Смотрите и не завидуйте...” Так — будет соответствовать действительности, до которой мы дожились.

24 февраля 1973 г.

Страх

На днях один мой знакомый в Лондоне рассказал, что к нему обратился молодой актер с просьбой, довольно неожиданной. Этому молодому актеру досталась роль в пьесе из советской жизни — роль простого, обыкновенного человека, придавленного страхом. Он не может войти в образ и просит консультацию.

Нет, он понимает, конечно, страх такого типа, как во время стихийного бедствия, землетрясения, например; страх человека под дулом револьвера, который направил на него бандит в темном переулке; страх преступника-убийцы или ограбившего банк, который прячется, зная, что за ним охотится полиция.

С одной стороны, страх перед опасными несчастными случайностями в жизни; с другой стороны, страх перед поимкой и наказанием за явное совершенное преступление.

Но он не может понять и прочувствовать то, по-видимому, чисто восточное состояние, когда человек, не убив, не украв и так далее, тем не менее не может позволить себе быть естественным, должен всю жизнь очень обдуманно, осторожно высказываться, скован

вечно, хронически, до гроба — и бледнеет от страха уже при одной мысли, что в любой момент, в любую секунду жизни он не гарантирован от того, что “придут”, “будут проверять”, “чистить”, “обыскивать”, засекут, что он сболтнул лишнее, заподозрят его в неподозрительных убеждениях и мыслях. Вот *этот* страх.

“То есть я умом как-то это осмысливаю, — говорил молодой актер. — Но сам этого никогда не чувствовал, я как-то с детства рос, учился, жил *не боясь* и не могу вообразить, наверное, как живущий на экваторе не может вообразить, как это: замерзнуть от мороза. То есть он может заглянуть в холодильник, подержать в руках кусок льда, и все же это не то. Я не боялся в жизни, как вы, меня не арестовывали, не сидел в лагере... Просто отчаяние берет, до чего благополучная, бедная опытом жизнь”.

Слушая эту историю, я ощутил какую-то горечь или безнадежное чувство зависти. Имея по самые уши этого самого “опыта”, о котором он тоскует, я бы охотно отдал его именно за самую “бедную”, благополучную, рядовую жизнь *без страха*. Как пораженный на всю жизнь полиомиелитом, не задумываясь, променял бы свои костыли и весь свой опыт калеки на возможность быть просто здоровым.

Именно такими глазами калеки от рождения я смотрю на живых, естественных детей и молодежь в Англии — какие они свободные, раскованные, не пуганные — и думаю: “Везет некоторым!” А они, конечно, недовольны, имеют претензии к жизни, недостаточно осыпавшей их испытаниями.

Это у Гоголя Собакевич сокрушается, что имеет железное здоровье: ни разу в жизни не болел, ни малейшей простуды хотя бы. А Чичиков думает: эх его, нашел на что жаловаться...

Да, попробуй такому никогда не болевшему объяснить, что такое болезнь. Ты, пролежавший всю жизнь в больнице. Да, если хотите, все наше общество в СССР больно. Страхом. Да так, что уже и забывается и не представляется: как же иначе можно, и вообще бывает ли? Именно поэтому молодые советские актеры, играя дерзких персонажей в пьесе западного автора, изображают их как нарушителей-вольнодумцев, которых вот-вот арестуют. Это очень смешно. Вольнодумцем на Западе вольно быть. Каждому. Если хочет, пусть себе вольнодумствует, а мы слушаем: кто знает, может, и дельное что-то скажет, — но это же естественно, безобидно, нормально и банально. Никому в голову не приходит, что это *страшно*.

В первые времена моей жизни вне Советского Союза я ловил себя на мысли: “Боже, что это я говорю, разве можно такое вслух говорить?!” И тут же потрясенно вспоминал: “Можно. Можно все”.

Как изголодавшийся, я накинудся на эту дивную, невероятную возможность, так сказать, пировал, объедался, пробовал на все лады — ничего, кроме перспективы, что за тобой установится репутация невыносимо говорливого, да и только. Я бы, не боясь, сравнил это с бегом на длинную дистанцию после сорокалетнего лежания в постели с парализованными ногами.

Все без исключения люди, оставившие СССР, с которыми я говорил на эту тему, подтверждают, что с ними было то же самое: они, так сказать, поначалу слишком много, в кавычках, “бегали”, “прыгали”, удивляясь, что это возможно, что это получается, — и тогда, спрашивается, зачем и как же это было можно жить до сих пор прикованным, так сказать, к “постели”.

Я чувствую, что должен подкрепить это примерами, потому что, помню, вольнодумные герои западных пьес казались мне ужасно смелыми, значит, и я сам все-таки не понимал, что значит полная естественность и свобода самовыражения. Ну вот сегодня я напишу плакат: “Премьера Великобритании Хита надо утопить в Темзе, парламент разогнать, министров судить. Да здравствует коммунизм! Да здравствует анархия! Да здравствует рабовладельческий строй! Ввести в Англию пять миллионов хунвейбинов!” — ну я не знаю, *все, что угодно*. Пойду по улицам, пойду и буду две недели стоять у входа в парламент и говорить в пользу своих тезисов непрерывно. Возможно, в конце концов меня уже будут показывать туристам находчивые гиды как достопримечательность: “А тут стоит человек, который считает, что Хита нужно утопить в Темзе. Послушаем, у него очень любопытные аргументы”.

Англичане любят серьезную классическую музыку. Перед началом концерта с Бетховеном или Чайковским в программе билет достать невозможно. Тем не менее время от времени устраиваются разные концерты, как мы бы в СССР сказали, экспериментальные, и множество слушателей подходят к ним именно с принципом: “Послушаем этого автора концерта для мотоцикла с оркестром консервных банок, возможно, у него какие-то любопытные аргументы”. На днях такой концерт передавался по телевизору, и надо сказать, в самом деле любопытно. По телевизору устраивается интервью с коммунистом на тему, почему он считает, что в Англии должен быть коммунизм. Устраиваются открытые дискуссии на любую тему, где каждый говорит, что ему в голову взбредет, бывает спор, крик, бывает хохот. Еще я видел как-то интервью с гомосексуа-

листом и лесбиянкой, на полном серьезе, они очень спокойно, без страха, конечно, с достоинством высказывали перед всеми телезрителями страны свои *любопытные аргументы*. И так далее, без границ. Неинтересно — переключите телевизор на другой канал. Ничего не случится, мир не рухнет, земля вертится, никто премьер-министра в Темзе не топит, кто хочет быть коммунистом — тот им является, а кто хочет быть гомосексуалистом — тоже. “Каждый развлекается по-своему”, — сказал черт, садясь на сковороду голой задницей. Или более прозаически, известный принцип: “Живи сам, как считаешь нужным, и дай такое же право другим”.

Нет, в 1917 году некая группа в России сказала: “Живите все так, как мы считаем нужным. А несогласных — уничтожим”. И этот странный, на мой взгляд, дикий принцип, неумный принцип повлек за собой неисчислимые, ненужные беды, жертвы, кровь, садизм — вот что самое худое. Я говорю о самом принципе: “Живи только так”. КАК? — это уже следующее. Возможно, что это красиво, лихо выглядит. Но ведь мы же люди, такие разные. Один любит маршировать в компании — другой отшельник-индивидуалист. Мне говорят: “Электрифицируем весь твой быт”, — а по мне, ну ее к лешему, эту электрификацию, а вдруг я люблю жить в лесной или горной жизни со свечкой и сверчком? Нет, не имеешь права. Не понимаешь, что счастье — есть наша власть плюс электрификация всей страны и всех, — в расход тебя, к стенке. Так, пойдя по дорогам, полным благих намерений, общество, конечно, пришло в ад насилия.

Террор революции, террор после революции, террор коллективизации, террор лет тридцатых, террор

лет военных и послевоенных — жизнь поколений и поколений в непрерывном страхе. При достаточно долгом сроке он может превратиться во врожденный. Я думаю, что как, например, заяц, вынужденный постоянно спасаться, со страхом рождается, так, в принципе, можно выработать в течение ряда поколений инстинкт общественного страха не благоприобретенный, а уже врожденный. Думаю также, что этого не случится. Но упорные опыты продолжаются. Как сам бывший подопытным сорок лет моей жизни, могу сказать, что избавление от рефлексов страха благоприобретенных — не врожденных еще! — не приходит сразу, быстро и безболезненно. Это длинный, трудный процесс. Сохраняются остаточные явления. “Пуганая ворона и куста боится”. Медленно она привыкает не бояться куста, но стоит случайно хрустнуть ветке — и страх на месте. Всегда ложный, странный и непонятный для глядящих со стороны ворон непуганых.

Я уже сказал, что ловил себя на страхе: “Боже, что это я говорю? Как меня сейчас не сцапают?” Около года у меня проходил страх проживания без прописки. То есть пока я думал и понимал, что живу теперь в обществе, где самого понятия прописки не существует, все было вроде нормально, но я не мог понять, что меня подспудно беспокоит. Оказывается: что именно живу вот просто так, без штампа о прописке.

По сегодняшний день еще не могу безразлично пройти мимо полисмента. Это нужно, во-первых, знать, что такое британский полисмен — это верх симпатичности, корректности, помощи, авторитета, и, кстати, они не вооружены. Ничем. В Англии детей не пугают полицией. Но я, с детства милицией пуганный, вечно подлежавший, ни с того ни с сего, “про-

верке документов”, столько раз хватавшийся и отпус-
кавшийся опять-таки ни с того ни с сего, для провер-
ки, — я сегодня прохожу мимо английского бобби,
внутренне дрогнув, приняв независимый, “невиноватый” вид, и это происходит прежде, чем головой успею сообразить: *с чего???* Это рефлекторно во мне происходит. С годами слабеет, но медленно. Так после войны с отчаянными бомбежками я не мог спокойно слышать грозный вой пассажирского самолета в небе. Прошло лет, пожалуй, через пятнадцать-двадцать.

“Испытание страхом, — пишет вдова Мандельштама в книге воспоминаний, — одна из самых страшных пыток, и после нее люди оправиться уже не могут”. Это очень обидно, неумно, что над такой деликатной, уязвимой, тонкой организацией, как человек, кто-то находит нужным проделывать пытки. Не среди нас уже, но среди детей наших детей будут ли молодые актеры, которым окажется трудно вжиться в образ странного, подавленного хроническим страхом, скованного и вечно настороженного советского человека XX столетия?

17 марта 1973 г.

Из моего опыта агитатора

Мой дед Семерик Федор Власович, бывший рабочим, слесарем-канализатором на киевской обувной фабрике № 4, ненавидел Ленина, Сталина, большевиков и их, как он выражался, “босяцкую власть”. В день “всенародных выборов” он поднимался в пять утра — и к шести ноль-ноль был у дверей избирательного участка, чтобы проголосовать одним из первых.

В темноте топталась на морозе перед закрытыми дверями большая толпа. Без четверти шесть начинался митинг, выкрикивались краткие речи и здравицы. Затем торжественно распахивалась дверь, и право первого голоса предоставлялось какому-нибудь заранее намеченному ударнику-передовику, его фотографировали для газет, по радио гремели радостные песни. Дед, изо всех сил работая локтями, проталкивался, чтобы получить бюллетень и опустить его в урну, и затем бежал в очередь к летучему буфету: там давали сардинки. А иногда даже двухсотграммовые пачки масла. Пришедшим позже масла не хватало, а оставались только слипшиеся конфеты “подушечки”.

Второй причиной активности деда как избирателя было желание отделаться, и с плеч долой. Потому что

уже с семи часов утра во все двери тарабанили агитаторы: “На выборы!”, и тарабанили и не отставали до тех пор, пока где-то часам к одиннадцати утра не поступали реляции: проголосовало 99,99 процента избирателей, так-то лихо это делалось в добрые старые времена.

Сногшибательная либерализация в послесталинскую эпоху распустила избирателя до того, что, бывает, последний голос отдается в пять, шесть, а то и семь часов вечера. По квартирам начинают ходить и гнать лишь в полдень. Дают поспать. Это ведь всегда воскресенье. Цифру проголосовавших иногда оглашают в 99,97 процента, а то даже и 99,93. Однако сардельки в буфете, как и прежде, кончаются в первые же часы.

В последних трех или четырех “всенародных праздниках выборов” я участия не принимал, спал спокойно, игнорируя даже сардельки, и никто не тарабанил в мою дверь. Вся хитрость в том, чтобы загодя вычеркнуться из списка избирателей. Незадолго до выборов, забежав в избирательный участок, я говорил, что уезжаю, и получал открепительный талон, с которым можно голосовать в поезде, на пароходе, в любом пункте, где его предъявишь. Талон этот рвется в мелкие кусочки.

Много раз я слышал, как люди ругаются с агитатором, пришедшим подгонять. К иным агитатор прибегает тарабанить в дверь несколько раз, и ему, бывает, выкрикивают обидные, необдуманные слова со ссылками на какие-то законы, права гарантированные и пр.

Не надо ругаться с агитатором; он человек подневольный, лишенный воскресного отдыха и виноват разве лишь в том, что хотел бы поскорее уйти. Уйти же он не может, пока не проголосует последнее закрепленное за ним лицо. В агитаторы добровольно не ходят; агитатором быть приказывают. Чаще всего это студенты.

В мою бытность студентом в Москве мне регулярно объявляли, что я — агитатор. Лично я не знал ни одного студента, который бы полез в бутылку и отказался из идейных соображений. Ну откажется, исключат из института, на его место назначат другого, только и делов. Считается, что агитаторы перед выборами проводят бурную кампанию агитации по квартирам. Действительно, получив список закрепленных за ним квартир, студент бывает в каждой из них по одному разу. И, робея, стыдясь, уточняет список проживающих, напоминает о дне выборов — и только его и видели. Дальше начинается великая всенародная липа. Пишутся отчеты, сколько бесед и на какие трепещущие темы — “Единство партии и народа”, “Выборы в самой свободной стране”, “Голосуйте за блок коммунистов и беспартийных”, — сколько этих самых бесед проведено по квартирам, при невиданной активности избирателей. А вы живете и даже не знаете, как вы были активны. Отчеты эти никогда не проверяются, потому что начальство лучше, чем кто-либо другой, знает, что они — липа.

Самая-то неприятность начинается, конечно, именно в день выборов, когда, за исключением этой формальности, люди имеют воскресенье, а голодный студент-агитатор — нет.

В одной из аудиторий института, отведенной под “комнату агитаторов”, у нас висели по стенам расчерченные на квадратики ватманы с номерами избирателей. У каждого агитатора свой ватман, и на нем вычеркиваются номера проголосовавших, о чем все время сообщают из комнаты для голосования. Как игра в лото. Вы видите, что у вас еще не проголосовало восемнадцать номеров. Руководитель бригады агитаторов отда-

ет приказ: “По квартирам!” И вы бежите по всем восемнадцати номерам, звоните, тарабаните и просите. Через час у вас осталось шесть номеров. “По квартирам!” Вы бежите, снова звоните, стучите, просите. На вас злобно орут. Еще через час вы уныло видите, что все те же шесть остаются, а ваш коллега радостно кричит: “У меня все!!!” Все завидуют счастливцу, который может уйти. К пяти часам вечера у вас остается два. Один пьян в дрезину, но “сейчас придет, уже обувается”. Другой уехал с утра за город и еще не вернулся, возможно — забыл. К шести часам вечера — уж радости-то, радости! — пьяница проголосовал. Докладываете об уехавшем в тайной надежде, что его скостят. Не тут-то было: достать из-под земли, живого или мертвого. Идете еще раз на квартиру, уточняете, куда он уехал, и отправляетесь на вокзал. Приезжаете в Одинцово или Апрелевку, ищите по адресу, находите дом, который заперт, и соседи ничего не знают. Поздним вечером возвращаетесь на избирательный участок, надеясь на какое-нибудь чудо. Тупо сидите, уже без надежды, до полуночи, когда урны опечатывают — тоже еще одна из формальностей, неизвестно зачем. Потому что тут же они будут открыты, на столы вываливаются все эти тысячи фиговых бюллетеней с единственной фамилией на каждом, и избирательная комиссия возьмется за труды.

Труды эти заключаются в следующем: разгладить листки и сложить в стопки. Тщательно отобрать такие, на которых фамилия зачеркнута, заменена, вообще что-либо написано, антисоветский ли лозунг, неприличное слово ли, или нарисован чертик. Это все квалифицируется как “испорченные бюллетени”, сжигается и заменяется равным количеством бюллетеней чистых. Затем всю

ночь эта гора макулатуры тщательно считается, и к ней опять добавляются чистые бюллетени ровно в таком количестве, чтобы получилась цифра, согласованная с райкомом партии: один раз это будет 99,98 процента. Другой раз — для разнообразия — 99,96 процента.

Известно, что на каждом участке для проформы непременно устраиваются из занавесок так называемые “кабины”, где даже есть чернильница и ручка. Наблюдатели от КГБ скрупулезно берут на заметку каждого, кто заходит в кабину и тем более долго в ней задерживается. Быть замеченным — вот единственный результат захода в кабину. Написанное на бюллетене, будь это хоть целый политический манифест, дальше комиссии не пойдет, не изучается, а просто игнорируется до того, что, как правило, даже не поступает в КГБ, чтобы узнать авторов по почерку. По крайней мере я ни об одном таком случае не знал, хотя много членов избирательных комиссий и в разные времена по секрету выдавали мне “государственные тайны” о подсчете бюллетеней. Под утро они вознаграждаются скромным банкетом с пьянкой по случаю окончания работы.

Значение кампании и церемониала выборов для периодического подтягивания дисциплины масс, конечно, ясно как день, как и то, что никто никого не выбирает, а просто проводится некий ритуал. Суетой комиссий и агитаторов-погонял поверяется, находится ли в должном рабочем состоянии кнут, а легкими дозами дефицитных пряников, сарделек или апельсинов поощряются наиболее активные, голосующие с раннего утра.

Но, признаюсь, мне не совсем понятно значение всего, что после опечатывания урн происходит при закрытых дверях: эта совершенно бессмысленная, по-мо-

ему, работа по пересчитыванию, отбиранию, пополнению, сжиганию. Кому нужны, в какие хранилища поступают и каких потомков способны убедить эти горы девственно чистых, из-под типографской машины бюллетеней? Делается ли эта часть циничной комедии для того, чтобы укреплять дисциплину уже в самих блюстителях дисциплины? В этом вроде бы нужды нет. Их дисциплина проявилась бы гораздо эффективнее, если бы, скажем, содержимое из урн вываливать сразу прямо в костер, вокруг которого они бы стояли с обнаженными головами и хором пели “Интернационал”. Но они считают, балансируют, мухлюют всю ночь — должен же быть в этом какой-то смысл? Или его нет? Похоже, они что-то делают такое, что еще недоступно моему пониманию.

Как, например, и то, зачем в Советском Союзе время от времени проводится перепись населения. Это какой-то пережиток прошлых веков, когда не то что сам царь, но и иной помещик не знал толком, сколько у него точно душ. Население Советского Союза все до последнего человека находится на учете в милиции — раз, в избирательных списках — два, как минимум.

Однажды в жаркий день я выкупался в останкинском пруду в Москве, а, оказывается, это запрещено. Меня вытащили из воды и забрали в Останкинское отделение милиции, а документов при мне не было. Записали со слов фамилию, имя-отчество, год рождения, где прописан (а тогда я был прописан в Киеве на Куреневке). Стали куда-то звонить. Через полчаса получили подтверждение, что такой-то, такого-то года рождения и прочее действительно проживает в Киеве по указанному адресу. После чего меня выпустили. Как видим, всесоюзный паспортный стол, выдающий в

полчаса справку о любом гражданине страны. Система, способная вызвать восхищение. Спрашивается, зачем тогда комедия переписи? Тоже для дисциплины, как и выборы, и прочие комедии?

В кабину для голосования я лично не заходил ни разу в жизни. Те, кто заходил, рассказывают, что их, случается, придерживают у урны: “Покажите бюллетень”. Эта мера мне понятна, она логична и целиком в духе общей картины.

Наряду с показателем дисциплины выборы являются показателем полного презрения власти к массам.

Если бы даже был полный рай во всем, скрупулезно исполнялись статьи конституции и законов, но существовала бы только одна эта ложь — советские “выборы” в их существующей форме-ритуале, — то и одного этого для меня было бы вполне достаточно, чтобы считать любые разговоры о советской демократии циничной болтовней.

24 марта 1973 г.

Ясная Поляна и КГБ

Ясная Поляна — и КГБ, два понятия, на первый взгляд совершенно несовместимые. Мемориальный дом-музей Льва Толстого; пашни, где он пахал; калиновый луг, где косил; холмик могилы в глухом лесу. Что уж, казалось бы, здесь делать Комитету государственной безопасности? Сегодня, по крайней мере.

Раньше было что? Раньше были толстовцы. Непротивлявшиеся злу, опасные враги, многих из них расстреляли. Сейчас еще остались — но считанные единицы. Я столкнулся с одним из них совершенно случайно и только потому об этом знаю.

Был очередной толстовский юбилей, и из Москвы и Тулы в Ясную Поляну съехалось множество важных чинов. Раскормленные, в дорогих пальто, барашковых шапках, взгромоздясь на веранду, говорили речи, казенные слова, потом под стрекотанье аппаратов кинохроники возлагали венки, толпясь вокруг могилы, как стадо носорогов. Было холодно, снежная метель, поэтому всё это провернули поскорее и наконец дорвались до банкетного зала, оборудованного в старом доме Волконского, где уж зажевали всласть и, не стес-

няясь, напихивали в карманы отменные яснополянские яблоки.

Я должен был присутствовать при всем этом, так сказать, по долгу службы, как представитель организации тульских писателей. До банкета выдержка у меня была, здесь кончилась. Решил уехать. Площадь перед воротами была забита “Волгами” и “Чайками”, которые потом должны были всех увезти. Я пошел на остановку рейсового автобуса Щекино — Тула, это в полутора километрах от Ясной Поляны, и сквозь метель увидел, что ухожу не один. Впереди прокладывал по снегу следы какой-то оборванный, закутавшийся по бабьи мужичок. Догнал я его на остановке, разговорились, потом в автобусе вместе доехали до Тулы, он оказался довольно глубоким стариком и рассказал так.

До революции он и его жена стали членами общины толстовцев, которая решила поселиться на свободных землях Казахстана. Обрабатывали землю все сообща, всё имели общее и жили строго по толстовскому учению. Таких общин было довольно много, по его словам. С приходом революции началось много неприятностей. Но в целом они держались вплоть до организации колхозов. Колхозам воспротивились. Собственно, у них было более чем колхоз — коммуна, но не коммунистическая, а толстовская, и большая идейная разница, потому они подпали под рубрику врагов. Часть арестовали и сгноили по лагерям, остальные рассеялись, но продолжали оставаться толстовцами в личной жизни, как бы подпольно. Во время войны, следуя завету “Не убий”, мужчины отказались идти в армию, и все они были расстреляны. Старика по годам не призывали, но расстреляли троих его сыновей. Жена тогда умерла. Сейчас их осталось, может, десяток-другой,

стариков в Казахстане, и вот к юбилейной дате они сложились и послали одного в Ясную Поляну положить на могилу Толстого пучок сухих цветов.

Он ехал более недели, добрался вчера вечером; пользуясь метелью, не замеченный милицией, остался в усадьбе на ночь, просидел на могилке до утра, поглядел еще казенные торжества, очень уж замерз, спешил обратно в Казахстан, мечтая на вокзале и в поезде отогреться.

Меня тогда это потрясло. Среди общих бед трагедия толстовцев прошла незамеченной, так, еще, оказывается, одна щепка при рубке дров.

Доживающие последние могикане, конечно, не представляют никакой угрозы государственной безопасности, и сеть КГБ покрывает Ясную Поляну по другой причине. Она становится вполне логичной, если вспомнить, что Ясную Поляну ныне посещают иностранцы.

Любопытно, что по пути из Москвы в Ясную Поляну иностранцам приходится пересекать запретный город Тулу. Они этого не замечают, потому что автобус или машина идет через город, в том числе и мимо знаменитых оружейных заводов, без остановки. Правда, иногда там на полигонах производятся испытания скорострельных пушек, от которых дрожит земля, и туляки любят рассказывать такую шутку.

Едущие в Ясную Поляну иностранцы слышат канонаду и спрашивают, что это за завод. Экскурсовод отвечает: это сахарный завод, для повышения благосостояния и прочее. А почему такая стрельба? — Это колют сахар.

Сперва, поселившись в Туле, я не знал, что она закрыта для иностранцев, из-за этого был озадачен, даже

обижен одним происшествием. Мне позвонил писатель Валентин Катаев, сказал, что везет на своей машине в Ясную Поляну американского писателя Митчелла Уилсона, и просил меня проводить и все показать. Я сразу же пригласил в гости к себе домой, на что Катаев что-то пробормотал без энтузиазма, и когда они приехали в Тулу, то даже не хотели подъехать к моему дому. Я вышел на шоссе, к какому-то столбу, где меня и подхватили в машину. В Ясной Поляне выяснилось, что иностранец не может ходить по ней без “квалифицированно-го” экскурсовода, так что мне показывать не пришлось, приставили даже двоих. Невесело плетясь позади, я слышал, как один из этих квалифицированных шепотом отдавал распоряжения: организовать представитель, из оранжереи букет цветов, в кабинет директора — малину. Яснополянские рабочие вручили растроганному Уилсону букет, в директорском кабинете он покушал из вазочки малины. Сколько я ни приглашал на обратном пути — только один квартал от шоссе, и вот мой дом, — Катаев говорил, что уже нет времени, что куда-то опаздывают, и не заехали, и не шепнул мне тогда, что инструкция такова, а я обиделся.

Часто бывая в Ясной Поляне, я познакомился с ее работниками, узнал, что там, в доме Волконского, есть комнаты для приезжих научных работников, которые обычно зимой пустуют. И на одну зиму мне разрешили поселиться в такой комнате, рядом с библиотекой, я там думал спокойно писать роман.

Заходили ко мне сотрудники музея, пили чай, вели разговоры, дальше больше, а потом одна сотрудница вдруг призналась, что ее приставили следить за мной, выпытывать и доносить о каждом слове. Один из якобы “научных сотрудников” музея — офицер КГБ, и

фактически он — хозяин Ясной Поляны, и все, от директора до экскурсоводов, перед ним отчитываются, его задания выполняют. Здесь постоянно бывают иностранцы, могут быть их контакты с советскими, вплоть до передачи и получения каких-нибудь материалов или информации. То, что я здесь снял комнату, — подозрительно. Она должна писать обо мне отчеты, от нее требуют факты.

— Что ж, давайте попробуем вас выручить, — озадаченно сказал я, — давайте сочинять отчеты вместе.

И дальше — до конца дней своих не прощу себе этого, — по глупости своей я ее и подвел. Обедал я в кафе при входе в усадьбу, и там ко мне подсаживался, бывало, этот “толстовед в штатском”, когда он опять подсел и начал задавать всякие вопросы, я посмотрел ему прямо в глаза и сказал:

— Слушайте, путем чисто логических умозаключений я понял, что вы из органов и что я вас интересую. Давайте как мужчина с женщиной. Что вы хотите знать? Задайте вопросы прямо — и я честно отвечу. И вам будет легче, и мне.

Он растерялся, смутился, забормотал, что лично я его не интересую, как можно, я вообще вне подозрений, но вот у меня в Москве знаменитые знакомые, а они ведут себя странно, и вообще мое окружение какое-то такое... и так далее. (Их всегда интересует ваше “окружение”.)

Пообедав, мы пошли к дому Волконского, где он пригласил в свою рабочую комнату, тараторил о книгах, о лыжах, даже звал в гости домой, “жена будет очень рада”, — а я обратил внимание, что в комнате много проводов, контактов, переключателей. “Это столько аппаратуры?” — спросил я. Он смущенно за-

улыбался, развел руками. Он сыграл такого простецкого рубаху-парня, а я поверил. Ничего подобного, оказывается, он был очень взбешен. Он сделал *свои* умозаключения. Сотрудница была затерроризирована, созналась, уволена с “волчьей” характеристикой, долго скиталась без работы. Я бежал из Ясной Поляны, как из зачумленного места, доходили до меня слухи, что он еще долго там бушевал и допрашивал всех. Зимой — мертвый сезон, у него было много свободного времени, а тут со мной провал. Кагэбисты не любят провалов. Я стал для музея персоной нежелательной.

По приглашению Иностранной комиссии Союза писателей приехал из Японии молодой переводчик, который перевел на японский язык мой роман “Бабий Яр”. Он позвонил из Москвы в Тулу и радостно сообщил, что ему дают машину для поездки в Ясную Поляну, по пути он хотел бы повидаться, конечно. Я подумал: интересно, что из этого получится? И очень подробно объяснил, как в Туле подъехать к моему дому, чтоб дальше поехать вместе, я покажу музей. Напрасно я ждал несколько часов. Но вечером раздался звонок: японец звонил из уличного автомата в Туле. Он был совершенно расстроен — ему дали какого-то немыслимого шофера. Сколько он ни кричал, шофер привез его не ко мне, а прямо в Ясную Поляну. Когда он хотел отсюда сообщить об этом недоразумении, ему сказали, что это невозможно, связи нет. Сейчас они уже в обратном пути, битый час ездят взад-вперед по главной улице Тулы, он объясняет шоферу, как подъехать, но тот ничего не понимает, куда-то звонит из автоматов, спрашивает и не может найти дороги. Я сказал: “Стойте на месте, сейчас приеду”. Но не успел я надеть пиджак, как “Волга” с японцем остановилась под окнами.

Пробил-таки! Шофер, видимо, долго звонил в КГБ, спрашивая, что делать.

Гость у меня пообедал; шофер — этакий белобрысый, улыбающийся рубаха-парень, — конечно, тоже; внимательно слушая все, о чем мы говорили. За девять лет жизни в Туле это был единственный удивительный случай, когда иностранцу удалось заехать ко мне домой на целый час. Потом другие рассказывали, что ездили через Тулу в Ясную Поляну и пытались мне звонить. Но им говорили, что мой телефон не отвечает.

5 мая 1973 г.

Голод

В свое время, работая над книгой “Бабий Яр”, я не смог найти ни одного немецкого документа, за исключением самого первого обманного приказа евреям города Киева явиться с вещами в район товарной железнодорожной станции.

В течение двух лет лагерь смерти в Бабьем Яре проходил в немецкой хозяйственной документации под названием “Баукомпани” — “Строительная компания”, но и эти бумаги были уничтожены. Наконец, отступая из Киева, фашисты раскопали рвы, сожгли трупы и пепел развеяли. Далее, уже в послевоенное время, по решению советских властей Бабий Яр был превращен в озеро, а когда плотину прорвало, засыпан по самые края с помощью огромного количества техники. Ни документальных, ни вещественных доказательств не осталось. Тем не менее события в Бабьем Яре удастся восстановить не только в общих чертах, но и с огромным количеством подробностей, от первого до последнего дня.

Не знаю, сохранились ли в советских секретных архивах какие-либо документы относительно голода

1932–1933 годов на Украине и Кубани. Организованный на Украине десятилетием раньше Бабьего Яра, этот акт геноцида, выполненный примерно в те же два года, по своим масштабам, однако, был во множество раз больше гитлеровского: ряд исследователей приходит к цифре жертв от голода в 7 миллионов человек.

По своим масштабам в столь сжатые сроки, как и по организации, причем — что следует подчеркнуть — в абсолютно мирное время, безо всякой войны, это был, на мой взгляд, самый крупный акт геноцида в человеческой истории.

Можно полагать, что в архивах КПСС, тогда ВКП(б), и в архивах чекистских — ГПУ, НКВД, КГБ — должна быть документация, касающаяся этого акта. В какой мере она уничтожалась, что сохранилось, увидит ли свет — покажет отдаленное будущее. Но это не так уж существенно. Несколько хуже, по-моему, то, что, по мере ухода из жизни старших поколений, очевидцев и современников трагедии, новые поколения советской молодежи часто не знают и не подозревают, какой рекорд наряду с другими рекордами поставлен на родине.

Мне лично во время великого голода было всего четыре года, но это первое по-настоящему яркое, осмысленное впечатление, с которого началась моя жизнь, и, видимо, я тоже могу в определенной мере отнестись к современникам. Когда я рассказывал о голоде молодым советским людям или даже людям моего возраста, но родившимся и выросшим не на Украине, они часто слушали удивленно, не веря, потому что ни о чем подобном не слышали, не подозревали — значит, этого, возможно, не было, или если было уж, то что-то незначительное.

Нужно отдать должное работе советского Министерства правды (употребляя термин Оруэлла), и иногда упорно приходит в голову малооптимистичная мысль, что, по-видимому, теоретически, по крайней мере, можно какие-то, даже самые крупные, события из истории стереть. Стереть так, что не останется ни в семейных преданиях, ни в легенде даже. Может, при активном содействии способствующих обстоятельств, совсем не такие большие нужны временные сроки, как кажется, и смена всего каких-нибудь двух-трех поколений.

Это, конечно, идеальная мечта общественных преступников, заматающих следы: остаться чистыми перед историей и в будущем, но обычно сокрытие или извращение исторических фактов удастся лишь на какой-то срок. Эта “программа-минимум” диктатуры вполне удовлетворяет: для нее главное, чтобы нужная ложь жила сегодня, сейчас, поддерживая ее. Эта конкретно-практическая задача, судя по полувековому опыту в СССР, выполнима.

Для идеального сокрытия правды и установления лжи навсегда не хватает ряда идеальных же условий. Например, полной согласованности следующих друг за другом руководств. Чтобы они не разоблачали предшественников и не выбрасывали их мумии из мавзолеев. Но самое главное: нужно единообразное и централизованное общество на всем земном шаре, то самое, о котором мечтал Маркс. Если бы идея о всемирной революции осуществилась и все человечество оказалось охвачено одним общественным строем, то эксперименты с исторической правдой, сокрытия и искажения ее навсегда, пожалуй, имели бы много шансов на успех. Без таких условий эксперименты с правдой не только недолговечны, но и удаются в пределах ограниченной

и то в какой-то степени затравленной местности, пусть это даже одна шестая часть земного шара под названием Советский Союз, что, впрочем, надо отметить, тоже рекорд, и тревожный.

Пока на Земле будут разные общественные устройства, разные мировоззрения, разные люди, историческая правда будет существовать.

Сегодня, несмотря на сорок лет советского, образно говоря, развеивания пепла по ветру, события сталинского голода 1932–1933 годов восстанавливаются не только в общих чертах, но и с огромным количеством деталей и, можно сказать, от первого до последнего дня.

Правда, когда, живя в Советском Союзе, я начал втайне собирать сведения о голоде, я наткнулся на глухие стены. Чаще всего те, кто что-то знал, видел, уцелел, — предпочитали молчать.

Я перед этим сталкивался с упорным молчанием свидетелей даже гитлеровских преступлений. Единственная известная спасшаяся свидетельница первых расстрелов в Бабьем Яре 41-го года, выбравшаяся из-под трупов, из полузасыпанной ямы Дина Прончиева вначале ничего не желала рассказывать. Это понятно, если вспомнить, что и сегодня евреи, приходящие в Бабий Яр, всегда должны считаться с возможностью ареста. Из более чем десятка оставшихся в живых заключенных, сжигавших трупы в 1943 году, участников восстания в Бабьем Яре, только четверо согласились мне все описать. Другие живут, работают, но на темы Бабьего Яра говорить отказываются категорически. Это, подчеркиваю, свидетели гитлеровских преступлений. Что же говорить о свидетелях 1933 года?

Однако на Западе я был поражен количеством выраввшихся из СССР фактов, свидетельских показаний,

и газетных корреспонденций, и фотографий, многочисленной литературы на эту тему. Одним из первых людей, с кем я познакомился в Англии, был старый известный публицист Малькольм Магаридж, который в 1933 году был корреспондентом в Советском Союзе, наблюдал картины голода своими глазами, и его корреспонденции в английской печати едва ли не первыми сообщили миру о не поддающейся воображению, поистине апокалиптической трагедии на Украине. Были другие западные корреспонденты, их материалы и снимки сохранились. Мир знал. Сразу же, уже тогда. Правда и то, что многие не поверили: слишком это не укладывалось в голове, не вязалось со сказочным представлением о счастливейшей первой в мире стране “освобожденного труда”. Затем пошли появляться живые свидетели. Десятки, сотни. Особенно много их выбросила война.

У меня сейчас дома на отдельной полке собралась довольно порядочная литература о голоде, от тонких брошюр до увесистых томов, и одно время у меня, признаться, расшатались нервы от изучения ее. Это не книги, это не бумага — это крик, это обжигает, раскрой только на любой странице. Я понимаю неверивших западных скептиков: в это трудно поверить, нормальному цивилизованному человеку просто невозможно поверить. После гитлеровских фабрик смерти с газовыми камерами и печами, по-видимому, можно поверить и не в то еще. Но в 1932–1933 годах, задолго до гитлеровского апокалипсиса, это было ново. Во времена Сталина происходила такая знаменитая кампания по установлению приоритета и в радио, и в лампочках, и в паровых машинах, паровозах и пароходах, достойно запечатлевшаяся наконец в народном анекдотичес-

ком выражении “Россия — родина слонов”. История восстановит, однако, другой, тогда не упоминавшийся, но как раз самый главный приоритет партии Ленина — Сталина, и, в отличие от других нереальных и фиктивных, он-то, к сожалению, действителен и слишком реален.

Многим людям в Советском Союзе до сих пор в голову не приходит, а другим если и приходит, то только в виде немыслимой, жуткой догадки то, что для мира является непреложным фактом: что в деле геноцида, в деле массового уничтожения с исчислениями на миллионы гитлеровские фашисты шли **ВСЛЕД** за большевиками. Я бы так сказал: Гитлер был эпигоном и Ленина, и в особенности Сталина, весьма самонадеянным и не в такой степени хитрым, из-за чего Сталин, одно время так с ним друживший, впоследствии отнюдь не подарил ему портрета с надписью “Победителю ученику от побежденного учителя”. Он мог бы, впрочем, надписать: “Бездарному ученику от непобедимого учителя” — в дни, когда Гитлер кончал с собой в подземной канцелярии.

Это не может служить даже микроскопическим оправданием, но в качестве микроскопического ключа к какой-то грани феномена это, может, и подойдет. История показывает, что Гитлер направил всю машину уничтожения на *иноплеменных*, в этом есть определенная дикарская логика, прослеживающаяся еще от палеолита, каменного века. У нас же уничтожались *свои*... Да еще кто? *Трудящиеся* люди — в данном случае голодной смертью 33-го — самые главные труженики народа, крестьяне с черными от мозолей руками, ограбленные и обманутые до предела самими же почему-то вдруг возмутившимися и разъярившимися убийцами.

Сперва пообещать этим рукам “Земля и воля — народу”, и благодаря этому обещанию совершить этими руками переворот, и удержаться в нем, а затем забрать и землю, и плоды, и волю, превратив людей в фактических государственных крепостных (какими бы красивыми словами ни называлось это крепостное право), возмутиться, что люди его не хотят — и начать их уничтожать, — нет, такого, кажется, не бывало, вот это был действительно вклад в развитие марксизма, вообще в историю, и — приоритет.

После таких событий, как вообще в результате коллективизации, утверждать которую понадобилось *таким* способом, — кто-то надеется, что советское сельское хозяйство дождется “крутого подъема”? Еще в XIX веке как божий день было ясно, что крепостной труд непроизводителен. В XX веке, чтобы его ввести, погубили столько миллионов ни в чем не виноватых крестьян — и женщин, и стариков, и детей... Это всё были живые люди. Как сказано: “Имена их Ты, Господи, знаешь”.

12 мая 1973 г.

Золотые клетки

Если бы у меня была вторая жизнь, чтоб начать все сначала и, главное, учиться сначала, — я бы, наверное, посвятил ее музыке. Теперь уже перестал, а прежде временами бывало жалко, что родился далеко от мира музыкального: у нас на Куреневке главной музыкой был похоронный оркестр, и если где-то вдруг раздавалось буханье барабана — боже, что это был за праздник, детишки сбегались со всех переулков, и я с ними, с радостными воплями: “Похороны! Похороны!” — я плелся почти за каждой процессией до самого кладбища именно ради музыки, от которой сладко гудело внутри, мороз шел по спине от ударов медных тарелок.

Случись тогда фортепьяно, может, жизнь сложилась бы иначе, но ни у нас, ни у кого вокруг фортепьяно не было. Единственное, которое я видел в детстве, находилось в школе, запертое расстроенное пианино, на котором, конечно, играть строго запрещалось. Да потом еще во время оккупации я наткнулся в пустом доме на разбитое в щепы — топорами или кувалдами — пианино, — по-видимому, так немецкие солдаты по пьянке развлекались, — и сидел при нем несколько

дней, чуть не плача, пытаюсь восстановить часть клавиатуры, да пришла новая воинская часть, заняла дом, и мне пришлось убраться. По-настоящему смог добраться до фортепьяно в возрасте, когда уже было слишком поздно. Это просто так, к слову, что если бы да кабы, была другая жизнь.

А если бы да кабы была третья жизнь, я бы всю ее пропутешествовал по океанам и морям, четвертую бы рисовал картины, пятую бы отдал математике, тринадцатую бы пропил, но даже сотую или тысячную жизнь мне бы не пришло в голову отдать борьбе за власть. Скажем, вызвал бы меня Всемогуший Бог, поставил перед собой и сказал: “Я все раздал, осталось тут вот несколько судеб: распоследнего нищего бродяги, дикаря в джунглях, сошедшего с ума изобретателя перпетуум-мобиле, колхозника из артели “Путь к коммунизму” — и вождя Советского государства, вот все, что осталось, выбирай”. Я бы схватил все, что угодно: бродягу, дикаря, колхозника, только уж — увольте! — не судьбу вождя.

Собственно, социальное положение, так бы сказать, пост, занимаемый человеком в обществе, — это что-то вроде одежды, что ли. Он имеет отношение к счастью — к подлинной душевной гармонии со спокойной совестью, с полнотой ощущений радости бытия (вспомним, как это бывает в детстве: радость просто бытия!). А вот социальный “пост” имеет отношение к подлинному счастью, по-моему, такое же, как одежда к здоровью. Под расшитым золотыми галунами кафтаном может скрываться и немощное и несчастное тело. К здоровью-то кафтан имеет отношение, если элементарно хранит от холода, не стесняет, не душит, ну пусть еще, пожалуй, не уродует, а украшает, но на

этом точка. Если бы кому-нибудь предложили всю жизнь ходить в резиновом водолазном скафандре, в маске и дышать через трубку, — думаю, любой бы отказался, будь тот скафандр хоть выстелен изнутри панбархатом, а снаружи обвешан золотом и бриллиантами. Вечно, до могилы — в скафандре, дыша через трубку? Предпочту любые лохмотья, предпочту вообще ничего, сделаю себе передник из соломы. Да, конечно же предпочитаю быть дикарем в джунглях, чем любым вождем, фюрером, начальником гестапо, заведующим тайным спецотделом, секретарем обкома, начальником концентрационного лагеря, председателем Союза советских писателей, каким был когда-то при Сталине Фадеев, но конечно же пуще всего — самым главным диктатором.

Смешные, очень смешные люди. Видят, как блеснит у кого-то на животе золото, и думают, что если у них у самих заблестит, так станет хорошо, и тело станет здоровым, и счастье привалит, и вот идет великая борьба — толкотня, резня, взаимоубийство, растаптывание соперников — за что? За скафандры! Революция, ура — скафандры дают! Умер, задыхаясь в золотой клетке, вождь — ура, место освободилось! Сделали государственный переворот, скинули очередного волонтариста — спешите, идет передел скафандров! Скажете, не так?

Клеткой делается вообще-то всякое выдающееся место, “пост” в обществе: хоть главного конструктора ракет, хоть мировой кинозвезды. Оно, как бросающаяся в глаза одежда в бриллиантах, как мундир, на котором нет уже места для орденов, — само по себе, а счастье, как здоровье по отношению к личности, само по себе, в общем-то. Мировая кинозвезда Мэрилин Мон-

ро покончила с собой. С точки зрения бриллиантов и золота — чего бы, казалось, не хватало? Не грозила даже ничья месть, как покончившему самоубийством в своей золотой клетке Александру Фадееву. Я бы три недели валялся в ногах у Бога, умоляя его не карать меня, не давать мне судьбы Фадеева, — хотя внешне это сперва кажется “из другой оперы”, — но и судьбы, скажем, Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина, Владимира Ленина, Феликса Дзержинского, того самого, которого Владимир Маяковский предложил для “делать жизнь с кого”. Тогда, значит, и самого Владимира Маяковского, который делал-делал жизнь с Дзержинского, да в расцвете лет пустил пулю в лоб. Идите, идите себе от меня прочь, такие советчики, как и с кого делать жизнь. Хуже всего же не советчики, а уже прямые приказчики: приказом с приложением печатей и револьвера, подписывают тебе делать жизнь так, а не этак, вот тебе скафандрик, вот тебе линия, топай... от таких дай бог унести ноги, что бывает трудно и стоит жертв, даже если и минет посланная вслед пуля.

Говорю не о том, что выдающееся положение противоречит счастью непременно, отнюдь нет. Я говорю только о случаях противоречия. Но их, впрочем, так много, что случаев обратных, случаев, когда человек, в результате огромных усилий, и кафтан золотой носил, и подлинно гармонически счастлив был, — таких случаев так мало, что скорее они исключения, так мне кажется. Потому что это самое, как говорится, положение обязывает. У меня есть свой небольшой опыт, который позволяет судить не отвлеченно-теоретически. В Советском Союзе я было “выбился” в ряд писателей известных. То несравнимо было, конечно, с катастрофической известностью, например, Евтушенко, но все

ж поначалу в новинку, признаюсь, меня тешил, как ребенка новая игрушка, мой новый, такой эффектный кафтан. Потом тысячи писем, обязанность выступать на читательских конференциях, быть где-то делегатом, отвечать в интервью, всегда находиться в таком ответственном состоянии начали меня тяготить, раздражать, далее угнетать. Я был знаком с одним знаменитым актером, лицо которого по кинофильмам знает страна. Ходить с ним по улице, ехать в метро, троллейбусе — это нечто неопишное: все глядят. Вообразите жизнь, когда на вас все время глядят, глядят, глядят, в конце концов это превращается в пытку, в кошмар. Под душем приятно помыться, но — всю жизнь непрерывно находиться под душем? Так можно с ума сойти.

Когда окидываю взглядом тот период моей жизни, стараюсь припомнить, что было там хорошее, лучшее, когда я был хоть урывком, хоть какое-то мгновение действительно счастлив, — мне вспоминается река Воронка под Тулой, яснополянские леса. Я заплывал там на лодке в глухие заросли, ложился на берегу в густую траву, смотрел в небо, просто как живое существо. Это было самое лучшее. Самым худшим была обязанность однажды присутствовать в Кремлевском дворце на съезде писателей, это было грустно. Я совсем не стремился быть делегатом, меня “делегируют” и в какие-то комиссии включили, и я, словно волоча на себе тонны тяжестей, доплелся до Кремля, вошел, отдал в гардероб пальто, сто раз предъявил документы и делегатский билет, занял место в зале... И когда началось избрание почетного президиума, политбюро ЦК КПСС (бурные аплодисменты, все встают), я почувствовал себя так, как, наверное, чувствует себя водолаз, когда в скафандр прекращается подача воздуха. Я встал, шатаюсь

вышел в дверь, забрал из гардероба пальто, вышел на Манежную площадь, и мне стало лучше. Чем дальше отходил, тем лучше пульсировала кровь. Поехал на Курский вокзал, купил тут же билет до Симферополя, в поезде продолжало делаться лучше, лучше. А когда на другой день маршрутное такси Симферополь — Ялта миновало перевал и вдруг открылось искрящееся безграничное море, я прямо-таки чуть не заплакал от счастья. Не думал, чем расплачусь за бегство со съезда, — просто было плевать. Бродил себе, ел горячие шашлыки на набережной, смотрел Воронцовский дворец, в котором когда-то, окруженный охранами и холуями, жил в золотой клетке Сталин. Думал: Сталин — но это же было разнесчастнейшее существо, если подумать. Ни секунды без страха, что тебя перехитрят или убьют. Ни шага без заботы об охране. Ни мгновения спокойной совести. Не ездил даже никуда. Не побывал не то что на Канарских островах, но даже на Золотых Песках в братской Болгарии. Какая добровольная каторга за право насмешить мир своей патологической манией величия.

Моя покойная бабушка говаривала: не дай бог, как снимают в газету, потом висит твоя физиономия на гвоздике в уборной... Мне пришлось это вспомнить, когда я остался в Англии и мои фотографии пошли по полосам газет. Я к этому испытанию не был готов, отвечал на все интервью, считая бестактным отказываться, скоро заметил, что мои нервы трещат по всем швам, на меня глядят люди в метро. Это давным-давно прошло, но при одной мысли о том времени меня передергивает и в желудке бурно повышается кислотность. Окидывая взглядом последние годы в Англии, спрашиваю себя: а что же было *здесь* лично мое лучшее? Про-

шлым летом копал в саду ямы, клал фундамент, строил небольшую оранжерею, косил траву на сено, в оранжерее зацвели цветы... Теплыми ночами спал в саду на сене. В “Золотом теленке” Остап Бендер и его спутники заночевали однажды в деревне на сеновале, пили парное молоко, и Остап сказал: “Молоко и сено... Что может быть лучше? Всегда думаешь: это я еще успею, еще много будет в моей жизни молока и сена. А на самом деле никогда этого больше не будет. Так и знайте: это была лучшая ночь в нашей жизни, мои бедные друзья. А вы этого даже не заметили”. И правда, вскоре Паниковский умирает. Остап, добыв миллион, отнюдь не сделался счастливее... Может, я чего-то не соображаю или как-то нелепо устроен, но я смотрю на этих великих властелинов, приказчиков и насильников с их орденами, печатями и револьверами и не понимаю: *зачем* им самим это все? А они от этого *счастливы*? Не верю! Живя в СССР, я у некоторых из них так прямо и спрашивал: “А вы счастливы?” Отвечали фразами, как из передовой “Правды”: а как же, борюсь за светлое будущее, за народное благосостояние, счастье в борьбе — и косились, почему не вытаскиваю блокнота, почему не записываю. Очень странная категория людей, и странный их мало веселый мир.

23 июня 1973 г.

Когда-то будет смешно

В очень интересном, вызвавшем много толков кинофильме югославского режиссера Макавеева “Тайны организма” рассматривается между всем прочим явление коллективной истерии и истерического поклонения толп. В фильм включены кадры из кинохроник: поклонение Мао Цзэдуну, он на трибуне, а миллионы толпы взвизгивают в едином порыве, жуткий организованный и выстроенный в квадраты неисчислимый муравейник. Показано поклонение Сталину: массы восторженных людей шпалерами вдоль стен зала в Кремле бешено аплодируют, гремит величественная музыка, и из-за поворота выходит Он, в кителе, сидящем на нем как на манекене, в своих штанишках с лампасами, выступает медленно, слегка сам похлопывая в ладошки, а на дистанции метра полтора-два, строго соблюдая субординацию — кто чуть вперед, кто на полшага назад, кто в хвосте — этакая ОЧЕНЬ продуманная группа, Политбюро. Солнце и группа спутников. Гений и сподвижники. Лучшие существа всех времен и народов, ум, честь, совесть эпохи. Лаврентий Берия, конечно, среди них, и Молотов, и Каганович, и Суслов, и Мико-

ян, ах, какая группа, и так же медленно выступают, и тоже похлопывают в ладошки — а толпа под стенами аж лопается, аж, как говорится по-украински, “аж гопки стае!”.

Надо было видеть, как в этом месте хохотал сегодняшний зрительный зал. Не нужны сатиры, карикатуры, гротески — никому, пожалуй, не под силу выставить божество в смешном виде лучше, чем это сделало оно само. А ведь он продумывал, наверное, эти свои спектакли, сколько подготовки, режиссуры, костюмировки, даже грима! — а в результате только смех на будущие века.

Зал вторично взрывается хохотом, когда появляются кадры из знаменитейшего когда-то советского фильма “Клятва”. Похороны Ленина, Красная площадь, тысячные толпы в бездне отчаяния от утраты. Сталин на трибуне каким-то образом ровно на бюст выше членов ЦК — всех, табуретку ему или бочонок подставили, что ли? Ведь он низенький был. А те в свою очередь выше масс, этакая точно размеченная мизансцена пирамидой, кто на сантиметр выше, кто на бровь ниже, в соответствии с рангом, отведенным “Кратким курсом истории ВКП(б)”. Какие-то Бухарины, Зиновьевы, конечно, отсутствуют — их не было. Был только Сталин. Все взоры устремлены на Сталина. Ему тяжело. В горле застыли рыдания. Он произносит слова клятвы Ленину. И только он их произносит, все начинаютживать: всем становится сразу ясно, что жизнь продолжается, что хоть и без Ленина, но она в надежных руках. Гремит торжественная музыка. Каким-то мистическим образом над толпой разворачивается и возносится чуть не на половину Красной площади алое знамя с портретом Ильича (так на сценах оперных театров оно возно-

сится на проволоках). И здесь шедевр, вершина сталинского киноискусства, кадр: русская женщина с изможденным лицом, с сединой в волосах, этакая символическая родина-мать с плакатов времен войны, держит в руках письмо, конверт с надписью “ЛЕНИНУ”. Не успела донести, не вручила. Вдруг ее осеняет мысль. Сперва робким, а потом все более уверенным движением она протягивает конверт Сталину. Крупно: “ЛЕНИНУ”. Протягивается — Сталину. Актер, играющий Сталина, на секунду ломается, изображает непонимание, оглядывается на соратников. Всем своим бравым видом соратники как бы говорят: “Да!” И Сталин принимает письмо в собственные руки. Апофеоз. Массы ликуют. Зрительный зал хохочет до слез.

А ведь кино это вышло в дни моей юности, я ведь помню, как оно принималось на полном серьезе. Попробовал бы кто-нибудь фыркнуть или прыснуть. Кто все понимал — для того это было так страшно, что не до смеха. И истерически поклоняющаяся толпа — она плакала на этом фильме от умиления. Как потом плакала и душила себя на сталинских уже похоронах.

Я лично близко знал одного пожилого человека, который в кинотеатре плакал при демонстрации обязательного киножурнала “Новости дня”. Жена его говорила, что с ним прямо стыдно ходить в кино: только начинают показывать все эти выплавки стали и комбайны, он уже хлюпает носом — не может без радостных слез видеть достижения нашей такой великой, такой могущественной страны. Когда показывали Сталина, его просто душили слезы счастья, до неприличия, хоть из зала выходи. При этом их семья с двумя детьми множество лет скиталась по чужим углам, ожидая очереди на фантастически недостижимую квартиру, и получила

ее, квартиру, только при Хрущеве, когда моему знакомому пора было выходить на пенсию. Старик как-то странно спокойно принял разоблачения культа личности, но от слабости своей не избавился: теперь он во время киножурнала всхлипывал и корчился, когда показывали Хрущева. А показывали Хрущева почти в каждом киножурнале. А какие слезы стал пускать старик, когда они еще приобрели телевизор! Если он жив и поныне, представляю себе, сколько носовых платков он смочил, когда недавно партбилет номер один вручили Ленину Владимиру Ильичу, а партбилет номер два — Брежневу Леониду Ильичу...

Даже Сталин до такого не додумался. Вершиной сталинских фарсов, по-моему, была мумификация Ленина. Будущий русский историк, не исключено, будет писать об этом примерно так:

...поскольку Бог и религия были упразднены, а с ними и поклонение старым святыням, мощам и проч., было решено ввести поклонение личности умершего председателя ВЦИК Ульянова (Ленина) и его мощам. Труп был набальзамирован и выставлен в особом архитектурном сооружении, не совсем правильно названном Мавзолеем: в скрупулезно точном смысле слова это была все-таки Кунсткамера. В отличие от бывших поклонений с богослужениями, целованием раки с мощами, труп в данной Кунсткамере был выставлен именно лишь для обозрения. Простояв в длинной очереди, толпа проходила мимо трупа и смотрела на него. Следуя примеру Москвы, в Болгарии набальзамировали и выставили в Софии для обозрения своего местного покойника, некоего бюрократа по фамилии Димитров, но шире эта безвкус-

ная мода не пошла, если не считать попытки в 1953 году пополнить московскую Кунсткамеру вторым трупом — Иосифа Джугашвили (Сталина), который вскоре, однако, был изъят.

Будет ли в будущем смеяться наш кинозритель при виде кадров советской хроники, показывающих очередь в Мавзолей и осмотр массами мумии бывшего председателя ВЦИК? Думаю, да. Прочий мир над этим давно посмеивается. Более того, в самой своей стране Ленин стал персонажем целой блестящей серии ленинских анекдотов. Это страшный для ленинской партии признак, гораздо более страшный, чем может показаться. С другой стороны, это и обнадеживающий признак, говорящий о том, что, несмотря на полувековое попираание здравого смысла, этот здравый смысл в народе все равно не умер.

Возможно, когда-нибудь каким-то издателям покажется интересным переиздать фотоспособом образцы советской прессы для любителей исторических анекдотов или для тех, кто откажется верить в то, что это было. Для такого историко-анекдотического переиздания годится любой экземпляр газеты “Правда”, особенно, скажем, за 1937 год. Очень лихо выглядела бы подборка речей Хрущева, начиная с 30-х годов, в которых он сперва восславляет Сталина, разоблачает врагов народа и требует их казни, потом разоблачает Сталина и реабилитирует врагов народа посмертно, потом фотография на первой полосе “Правды”, ярко помню: “Никита Сергеевич Хрущев вручает орден Ленина верному ленинцу Леониду Ильичу Брежневу”. Объятия, поцелуй, затем краткие скромные информашки об уходе Хрущева по состоянию здоровья и — о смерти пенсионера.

Разве можно выдумать что-нибудь законченное, сатиричное лучше, чем выдумывает это сама жизнь? А точнее, чем выдумывает хронически больная манией величия Коммунистическая партия? А что, если эта болезнь самая настоящая? Ведь только больные маньяки так смешны, как тот гоголевский Поприщин. Эти невероятные монументы, этот страдавший от несознательных птиц Сталин-колосс на Волго-Донском канале, так что держали охрану, стрелявшую птиц, чтобы не садились на него; эти, если помните, Метрополитен имени Кагановича, кондитерская фабрика имени Микояна, все эти Сталинграды, Ворошиловграды, родильные дома имени Берия — сегодня это все смешно, как выходки умалишенных, считающих себя Наполеонами.

Совершенно так же являются смешными, а для врача — просто обычными признаками недомогания, нуждающегося в лечении, заявления, например, типа: я — ум, честь и совесть эпохи; я — мудрее всех; я — передовее всех; я — рулевой, кормчий, водитель, учитель, светоч; я — выше всех, дальше всех, быстрее всех, глубже всех, сильнее всех... Вы только представьте себе, что вы слышите такой поток заявлений, — не усомнитесь ли в здоровье заявляющего? Но ведь мы это слышим. Каждый день. Десятки лет непрерывно. В любой газете, любом журнале, радиопередаче, на докладе, по телевизору, на собрании пионеров и на сессии Академии наук данные заявления партии должны быть приведены. Партии — значит, группы людей, не богов, нет, людей; у каждого там энное количество начального, среднего или высшего образования, свои способности, свои заскоки, свои глупости, свои недостатки... И вдруг: мы — ум эпохи, мы — честь эпохи, мы — светоч... и так далее, и так далее. Окститесь!

Подлинно умные люди никогда не кричат о своем уме! Люди, у которых есть совесть, — не орут на всех перекрестках, что у них самая большая на свете совесть! Простой жизненный опыт показывает, что кричат о себе и своих достоинствах как раз в обратных случаях.

Представьте, как все это будет смешно, когда перестанет быть грустным. Миллионам современников было не до смеха, потому что им приходилось проживать от рождения и до смерти при такой странной ситуации. Добро бы простое словоблудие, можно было бы перетерпеть. Однако из слов следуют дела: “Я умнее всех, значит, подчиняйтесь мне и делайте только то, что я укажу”. Это уже была беда.

Одной из лучших книг русской сатирической литературы я считаю “Историю одного города” Салтыкова-Щедрина. Возможно, она будет кем-нибудь продолжена. Градоначальники новой, советской эпохи высыпали, как из рога изобилия, на десять таких книг готовых фактов, не нуждающихся даже в обработке.

Ох, как еще посмеется будущий зрительный зал...

30 июня 1973 г.

Судьба уцелевших людоедок

В этом году во многих западных странах, в Англии в том числе, была отмечена печальная сорокалетняя годовщина великого голода 1932–1933 годов, голода неестественного, на богатейших землях Украины, Кубани, Дона, не в результате неурожая, стихийных бедствий, а обдуманно организованного и проведенного партией большевиков, под руководством Сталина, чтобы заставить крестьян пойти в колхозы.

Абстрактная, бумажная идея, что стоит крестьянам организоваться в колхозы, как придет всеобщее благоденствие, изобилие и счастье, — эта идея была выдумана людьми, которые никогда в своей жизни не посеяли горсти зерна и не прикасались к плугу. Может быть, они хорошо умели бы делать что-нибудь другое, а не реорганизовывать сельское хозяйство. Но, как сказал Крылов, “беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник”. Нашей земле фатально не повезло в том смысле, что ее проблемы принялись решать совершенно не способные к этому сапожники.

То, что они оказались фанатично самоуверенными и захватили в свои руки оружие, все силы принужде-

ния, — обусловило всенародное бедствие, я думаю, сейчас уже можно говорить уверенно, самое крупное в истории нашей.

Разные ужасы времен татарского ига, садистские выходки умалишенного на троне, скажем, Ивана Грозного, иго крепостное и так далее вплоть до расстрела демонстрации 9 января — все это из сегодняшнего дня с его багажом последнего полувека представляется чем-то вроде частных выходок, “пробы пера”. Там, раньше, число погибших жертв определялось десятками, сотнями, тысячами — при советской власти счет жертвам ведется десятками и десятками *миллионов*.

Жертвы коллективизации в этих миллионах составляют малую часть. Голод 1933 года, в свою очередь, был лишь эпизодом всей коллективизации и лишь один унес до семи миллионов жизней. Было ли в истории что-нибудь подобное? Мы до сих пор еще как следует не осознаём, что это такое, что произошло, что это случилось в нашей стране вообще.

Великий голод, бывши в ту пору ребенком, я частично помню сам, рассказывал отец, о чем у меня есть глава в полной книге “Бабьего Яра” под названием “Людоеды”. Обезумевших от голода крестьян-людоедов отец расстреливал сам, он говорил, что их не судят и в заключение не отправляют. Недавно я прочел воспоминания Семена Пидгайного, который был заключенным Соловецкого лагеря в 30-е годы. Во время войны он бежал на Запад, и его показания вышли книгой под названием “Недострелянные” в 1949 году. Оказывается, мой отец ошибался, вернее, всего не знал. Часть людоедов все же в лагеря попала. Я хочу прочесть одно место из книги “Недострелянные” в моем собственном переводе с украинского языка оригинала.

Предметом разговоров, происходивших в тюремных камерах, была Голгофа. Так называлось урочище с высоким холмом в центре, на том холме в свое время еще в XVIII веке монахи выстроили церковь и скит, назвав все вместе Голгофой в память распятого Иисуса Христа. В свое время спасались там подвижники-монахи, а в наше время в этой церкви-Голгофе поселено было 275 старух, молодых и девушек — украинок-людоедок. Очевидно же, что темой разговоров было не то, что эти женщины — людоедки; никому и в голову не приходило как-либо оценивать этот факт массового людоедства 1932–1933 годов в стране процветающего социализма. Факт людоедства на Соловецких островах никого не поражал, ибо собственно на островах людоедство было постоянным явлением начиная с 1929 года... Такие дела, как убить и съесть себе подобного, за 65-й параллелью постепенно входили в быт и рассматривались лишь как более или менее оригинальный способ добывания еды...

С 1929 года, со времени так называемого “произвола”, на Соловках были зарегистрированы десятки людоедских дел, а с 1932–1933 годов — сотни, еще более их осталось нерегистрированными. Лишь с 1934 года в этом были приняты решительные меры, а главное — без конвоя с 1934 года никто почти не ходил. Когда целые группы уголовников убегали с пунктов, где они были поселены, или из разных изоляторов и им не удавалось бежать с острова, а они оставались в лесах и зарослях, создавали бандитские ватаги — эти ватаги, собственно, были осуждены на голодную смерть в лесу, и когда не могли добыть ничего иного — ловили каждого смертного и без особых церемоний съедали. Я встретил некоторых из этих героев живыми и здоровы-

ми уже, правда, на материке, они совершенно спокойно рассказывали, как в свое время разных “штыпов” и “осмадеев” раскурочивали и поджаривали.

Так что именно потому в наших бараках никто не искал моральной оценки сути того, за что сидели эти 275 людоедок. А разговоры вертелись в плане, как бы добраться до этих женщин, как бы с ними переспать и так далее. (...)

Сашка-Интеллигент — Александр Семенов, специалист по женской обуви, “профессор-сапожник”, как говорил Сашка о себе, однажды запротестовал и заявил, что он не имеет никакого интереса к тем украинкам-людоедкам, и если бы кто-нибудь имел счастье их принимать, когда привезли их на Соловки, — он никогда бы в жизни не отважился подойти к ним, стань они теперь хоть писаными красавицами.

— Ребята, — говорил Сашка, — ежели бы вы их видели! Я, братцы, уже пятнадцать лет по тюрьмам и лагерям, а такие привидения видел впервые... Я тогда был бригадиром бригады грузчиков в порту — имел сорок лбов и жил, сами знаете, правильно жил — мешок “направо”, ящик “налево”, с матросами связь имел... но скажу вам по совести, что как зашел нарядчик и крикнул: “Сашка, давай в порт с бригадой — баб принимать”, — так у меня сердце только ёк, ёк! А ребята как змеи. В три минуты уже на “Северных воротах” были, бежали всю дорогу. Прибегаем. На причалах “Ударник” стоит, на палубе — Иван Иванович, начальник третьей части, словом, все шишкототатели. Тихо вокруг, так, словно не людей, а картошку привезли.

Иван Иванович ходит по палубе, что-то говорит, слышно — сердится, а другой за ним по пятам и что-то доказывает.

— Давай все на корабль!

Мы все выскочили на палубу. Иван Иванович к нам:

— Так что, братва, придется разгрузить трюм, только осторожно — ценный груз нам прислали. — И захохотал, а те, что с ним были, так и ложились от смеха.

А из трюма, братцы, чую, несет жутким запахом. Я уже догадался. Лезу первым, за мной и хлопцы мои. Братцы, что я там увидел, ну, словом, мы уже видели всякое, но такого... На что у меня сердце камень, а как глянул, ах вы, гады, думаю, вы хохочете, хевра вонючая!.. Не люди, братцы, трупы — мертвецы. (...) Сплошная загибаловка. Из Архангельска их, оказалось, везли десять дней в трюме из-под угля. Не то люди, не то чурки с глазами. Беру первую в каких-то отрепьях, поднять хочу, но вижу, что мертва, и слышу от живых и от хлопцев, что рассыпались по трюму, что в трюме, видимо, больше мертвых, чем живых. Быстренько поднимаюсь на палубу — а начальство подальше, в кормовую часть отошло — запах им не по вкусу, кричу им, гадам:

— Начальнички! Сперва мертвых или живых выносить?

— Живых, — говорит Иван Иванович. — Мертвых пусть везут туда, откуда привезли.

И хлопцы начали носить. И такой, братцы, смрад с корабля пошел, что в целом порту дышать не стало чем. Все почти они были больны на дезинтерию, а в таком рванье, что ни за что не узнать и кто они. Трое из наших плюнули и не стали носить. Не было сил продержаться пять минут в трюме, а их, бедолаг, там десять суток держали. Я сам раза два “в ригу съездил”, но скажу вам, сам не знаю, почему у меня к ним такая жалость появилась, что как увидел, что двое из моих

по-свински их швыряют, подошел и сам при начальстве съездил по мордам. А это увидел Иван Иванович, да ко мне.

— За что ты их, — говорит, — Семенов?

— Чтобы, — говорю, — с людьми по-людски обращались.

А он, братцы, сверкнул на меня, сплюнул и говорит:

— Тоже мне людей нашел ты, Семенов. — И ушел с палубы.

Триста пятьдесят живых вынесли, из них было 275 женского пола и 75 мужского. Кто из них был молодой, кто стар, кто дитя — трудно было распознать. А сто одиннадцать, братцы, — уже не знаю, какого они были пола, — осталось мертвых. Из тех, что вынесли, может, пара десятков тако-сяко ногами передвигались, прочие лежали как дрова.

Выносили мы их, клали прямо на подводы и подводами везли в баню, а как всех уже вынесли, Иван Иванович объявил благодарность и велел выдать каждому по пайке хлеба и пачке махорки за ударную работу.

Начальник конвоя из “Ударника” требовал, чтобы Иван Иванович забрал мертвых, а Иван Иванович говорил, что он прикажет проверить живых, и тех, что скоро умрут, присоединит к мертвым, и пусть убирается со своим грузом на все четыре стороны. И такое, братцы, между ними пошло, что вот-вот за петельки схватятся. Тогда Иван Иванович как вызверился, как крикнул: “Начальник УРЧ, вернуть всех на корабль, я отвечаю!”

Ну, тут уж, братцы, начальник конвоя сразу на полтона ниже, и через какие-нибудь полчаса “Ударник” с мертвецами вместо Архангельска в Кемь пошел. А в бане еще пятеро мужчин и две женщины умерли,

а всех остальных в Кремль, в первую роту, под лазаретом поместили, а где-то уже в октябре перевели женщин на Голгофу, а мужчин на Зайчики.

“Так начинали соловецкую карьеру, — пишет автор, — украинки-людоедки”. Далее их перевели из Голгофы на Муксольму. И все.

След обрывается.

Я не подвергаю сомнению ни показания Пидгайного, ни, в его пересказе, слова Сашки-Интеллигента, бригадира грузчиков. Такое, собственно, не выдумаешь. Вы бы, например, выдумали?

Один мой знакомый в Москве давал мне совет: “Толя, удивляйтесь! Запомните: когда вы перестанете удивляться, это будет значить, что вы состарились”.

Я сейчас все глубже вникаю в историю советского периода и не то что удивляюсь — *изумляюсь и изумляюсь*. Если мой москвич прав, то, боюсь, изучающий советскую действительность имеет шансы не состариться никогда.

15 сентября 1973 г.

Удивление

Прошлую беседу я закончил советом одного моего московского знакомого: “Удивляйтесь! Когда вы перестанете удивляться, это будет значить, что вы состарились” — и своим замечанием, что изучающий советскую действительность в таком случае имеет шансы никогда не состариться.

Я старательно удивляюсь всю мою жизнь, но как-то всегда задним числом. Когда что-то происходит, не удивляюсь, а потом, когда оно в прошлом, — смотришь в изумлении: неужели это было? Да не приснилось ли?

Может, то, о чем дальше скажу, кому-то покажется мелким. Видите ли... корка хлеба — это мелко или нет? Моя бабушка, пережившая на своем веку голоды, нужды, войны и терроры, приходила в ужас, если видела на земле валяющийся, выброшенный кем-то кусок хлеба. Она считала это святотатством. Я с ней согласен. В свое время сам голодный до бреда, обыскивая казармы, после постоя солдат, взвизгивал от счастья, находя заплесневелую корку. Почему же на этой земле, сегодня переполненной недоедающими, голодающими, где-то умирающими в прямом смысле голодной смертью, вы,

которому так повезло, просто повезло — что у вас мусорное ведро полно выброшенными черствыми кусками, будете считать мелочью разговор просто о хлебе?

...То не была война или революция, когда все летит вверх тормашками, то было стабильное мирное время, год 1938-й. Мы с дедом занимали очередь часов с пяти-шести вечера. Я очень любил быть в очереди первым. Если мы приходили и у окна подсобки нашего куреневского гастронома уже стоял какой-нибудь человек, я просто горевал, я ненавидел его, и уж очередь тогда теряла единственную свою прелесть, превращаясь в полную каторгу.

К наступлению темноты в очереди уж было человек сорок-пятьдесят, и ладно, если ночь была не холодная, а если мороз, то уж танцевали-танцевали, ну и, конечно, закутывались как чучела — и с ватными одеялами, бывало, приходили. Ближе к рассвету косяком тянулись чудачки, воображающие, что это и есть самое время оказаться в голове. Оказывались они в добром хвосте. Но к восьми утра получалось, что и они мудрецы, потому что подлинный хвост очереди уходил к концу квартала и за его угол, в невидимую даль. А мы с дедом стоим первыми, крепко уцепившись за подоконник. Потому что вокруг набралось столько жмущихся, виснувших нахалов, плотная толпа у окна. Вот приходит милиционер, наша надежда, кое-как уплотняет, хотя всех отогнать не может: все, оказывается, “стояли”.

Блаженный миг, когда за окном начинаются постукивания, шорох. Снимается изнутри дубовая ставня. Продавец открывает окно. Наши судорожно протянутые руки со смятыми рублями и давно приготовленным, чтоб без сдачи, числом копеек. Сзади жмут, изо

всех сил цепляюсь за подоконник, милиционер орет, осаживает, я, зажатый, оказываюсь приподнятым от земли, вишу, не касаясь ее ногами, все внимание сконцентрировано на протянутой руке. Вот продавец берет у меня деньги. Хлоп! — стограммовая пачка масла у меня в кулаке. Барахтаясь изо всех сил, вырываюсь из давки. О, великий момент!

Если бы существовал какой-нибудь прибор — показатель человеческой радости, то, подсоединенный в тот момент ко мне, он остановился бы на делении, на котором он в другие времена останавливался, скажем, в момент публикации моего первого рассказа, в момент получения квартиры, в момент прихода телеграммы о рождении сына или в момент первой самостоятельной поездки за рулем собственного автомобиля, но также — абсолютно сравнимо — в момент съедения мною первого после войны пирожного в одна тысяча девятьсот сорок шестом году, покупки новых галош год спустя или — в какой-то степени — добычи литра молока в городе Туле на рассвете одного из январских дней 1961 года у бабки с бидончиком, перехваченной на подступах к Центральному тульскому рынку.

Да, бесстрастный прибор показал бы степень моей радости во все перечисленные моменты примерно одинаковую, и я не шучу, а отмечаю факт, перед которым сам в изумлении останавливаюсь. Это надо объяснить.

Голод был не только во время войны, но — на Украине — долго еще после войны. Лето 46-го мы с матерью, помню, спасались редиской, которой щедро засадили каждый клочок земли у хаты, и ели ее мисками на завтрак, обед и ужин. Я писал короткие рассказы и вдруг получил стипендию от Министерства просвещения — “для одаренных школьников”, 150 рублей. Сего-

дня это было бы эквивалентно рублям пяти, наверное. Но когда я получил их в кассе Министерства, вход с бульвара Шевченко, и прошел один квартал до Оперного театра, я чувствовал себя фантастически богатым. На углу у Оперного театра в киоске с газированной водой и папиросами были выставлены в окне пирожные — жалкие военные пирожные на маргарине и сахарине. И тут я купил одно, на что ушла, если не ошибаюсь, чуть не половина стипендии, и тут же осторожно откусил, и оно стало расходиться во рту, и я чуть не потерял сознание от вкуса, стоял, пошатываясь, и держал эту кашку во рту, слегка пошевеливая и помешивая языком, долго-долго не проглатывая. Я, счастливейший, ел его, наверное, час, это пирожное, и буду помнить его до смерти.

Калоши. Ходил я тогда в немыслимых дырявых ботсах, сделанных из какой-то дряни, твердой, как фанера, и такой же промокающей. Вдруг разнесся слух, что в универмаге на углу Крещатика и Ленина будут давать калоши. Так как все детство и отрочество мои прошли в очередях, я уж знал, что делать. Пришел в шесть вечера, но оказался уже где-то десятке в пятом. Это было в марте примерно, ночь не морозная, но сильно слякотная, мокрый снег так и лепил, а я из глупого пижонства одеяла не взял. К утру в очереди было более тысячи. Но самое трудное: универмаг открывался в десять часов. К этому времени я посинел, позеленел, побелел и был едва жив. Был пятидесятым, а как начали пускать десятками, то дай бог чтобы вошел пятидесятым.

Но часам к одиннадцати милиция отсчитала-таки и меня в десятке, и повели нас, сердешных, счастливиков, крепко державшихся друг за друга, таких возбуж-

денных, через двор, заднюю дверь — и внутрь универсама. Боже, как там было тепло — в раю и то, должно быть, не так тепло. И резиновый райский запах калошного отдела. У прилавка оказалось, что моего номера уже нет, остались на два номера больше, схватил, естественно, не задумываясь, господи, новенькие, блестящие, как черное зеркало, с красной подкладкой калоши, да набить в носки газет, да надеть на бутсы — и любая слякоть не страшна, живи счастливо, живи, обеспеченный на много лет. Нет, это все-таки был подлинный, великий у меня в жизни момент. Не преувеличиваю, здесь все точно.

А с литром молока в Туле, вероятно, не все точно. Там тоже была радость, но — испорченная злобой, горьким сарказмом. То тоже не была война или революция, тогда мы мирно перегоняли Америку по мясу и молоку. В Тульской области вырезали коров и лосей в лесах. Моему сыну, грудному ребенку меньше года, нужно было молоко. У жены грудного молока не оказалось, он вырос на искусственном питании, на этих всяких кашках, которые варятся три часа. Гречневая крупа нужна была — невероятный дефицит. Гречку нам достала в селе и прислала мать. А за молоком я на рассвете ездил на базар, а когда был по делам в Москве, то вез из Москвы и молока, и других продуктов, сколько мог поднять на две руки. И вот несколько дней не доставал молока. Бабулек с бидончиками ловил на подходах к базару, шестьдесят — семьдесят копеек литр. Плевать, я готов был дать любые деньги, но чтобы оно было. Но его нет, вот нет в природе. И когда на какой-то четвертый рассвет, безрезультатно потолкавшись: в одной кучке — опоздал, другую — проворонил, больше никто не несет, больше нет, я уже не знал, что и де-

лать, рыскал уже безнадежно час или больше, — и вдруг еще одна запоздалая бабка с бидончиком! У меня руки дрожали, когда она кружкой наливала мне литр в мой бидончик. Больше не дала, справедливая: “Литр в одни руки, всем надо, родненькие”.

Нес это молоко домой, летел как на крыльях, я, член Союза писателей, тогда уже автор миллионных тиражей “Продолжения легенды” Анатолий Кузнецов, и был счастлив, как в юности, тогда, купив калоши. Но притом уже и зол был, и враг же советской власти вызревал — это тоже.

Постоянно курсируя из Москвы в Тулу, я мог всегда сравнивать. Москва и еще несколько городов — это, конечно, баснословные очаги изобилия в сравнении с остальной огромной и необъятной провинцией, из которой и состоит-то, в общем, страна. Были в Туле многосотенные очереди за пачкой маргарина в одни руки, нет, не масла, как в 1938 году в Киеве, а маргарина — это году в 1965-м. Одну зиму развозили и распределяли по спискам жильцов в каждом доме хлеб. Несколько лет из мясных продуктов в продаже была только “китовая колбаса”, из кита, значит, нечто очень странное, не рыба, не мясо...

И вот об удивлении. Иногда теперь в лондонском магазине в каком-нибудь неотразимом продовольственном продмаркете меня охватывает грусть, которая прямо душит, от которой нечем становится дышать: Россию вспоминаю бедную. Или вот: уж четвертый год каждое утро, находя под дверью две бутылки молока — здесь молоко не ходят покупать, его развозят по утрам под все двери, — я хоть чуть-чуть, но удивляюсь всякий раз, опять и опять находя эти две бутылки молока. Открываешь дверь — стоят. С ума сойти.

К моей знакомой приехала в Лондон из СССР сестра-еврейка, выпустили. Невозможно было поверить, что они сестры. Одна — нормальный человек, другая — убогая, забитая, испуганная, нищенски одетая, с каким-то судорожным, специфически советским взглядом. Конечно, в первый же день пошли смотреть город. Дошли до первой витрины — и стоп. Нет, то не были тряпки, то была витрина мясного магазина. Сестра из Советского Союза говорит: “Это ненастоящее, это на картоне”. Сестра лондонская: “Нет, это мясо настоящее”. Я сам до Лондона и вообразить бы не смог, какие чудеса искусства можно создать из витрин мясных магазинов, это неопишимо, не хватит слов и сравнений. В конце концов они зашли в магазин, чтобы убедиться, что мясо настоящее. Сестра лондонская извинилась перед продавцом и попросила разрешения потрогать, объяснила, что эта дама только что из СССР, не верит и тому подобное. Продавец решительно ничего не понял.

Это самое знаменитое: на вопрос дочери “Ваше представление о счастье?” — Маркс ответил: “Борьба”. Да, и я, и я свидетель: советский человек переживает столько радостных моментов, добывая в борьбе калоши. Чем еще недовольны? Всюду, приходя к власти, коммунисты открывают такую лавину возможностей для борьбы и радостей побед — казалось бы, на пустом месте, казалось бы, там, где ну уж ничего не выжмешь, скажем, в мужских галстуках, что поводов для удивления, вероятно, хватит и нам, и внукам, и правнукам нашим — последним особенно удивительно будет, зачем это все было нужно?

22 сентября 1973 г.

Эффект закрытой двери

Однажды я крутил приемник и случайно поймал необычное интервью по канадскому радио. Интервью было взято у сумасшедших в психиатрической больнице города Квебека.

На вопрос “Как вам тут живется?” один больной ответил так: “Раньше было плохо. Директор запрещал выходить за ворота, были сторожа, запоры, мы бегали через забор, нас ловили, наказывали. Потом старый директор ушел на пенсию, пришел новый, убрал стражу и открыл ворота. Так что мы теперь никуда не убегаем. Когда открыта дверь, кто же будет убежать?”

В Англии довольно часто у меня бывало ощущение, словно я просыпаюсь. Оглядываюсь на разные события в своей жизни — и как-то трудно, почти невозможно, что ли, поверить, что они были. Кажется, что некоторые вещи по размерам своей нелепости могли бы только присниться — но ведь были. Свежо предание, но верится с трудом. Хотя бы, скажем, мой *побег* — побег из Советского Союза.

В “туманной Англии”, как ее называют, — туманной, кстати, не больше, чем Ленинград, — ясную сол-

нечную погоду люди ценят. Лето на побережье Англии примерно такое, как на Рижском взморье, то есть если приходят жаркие солнечные дни, их надо использовать тут же, немедленно, потому что неизвестно, что дальше Бог пошлет.

И так в один из дней этим летом, встав утром, я пошел вниз взять за дверью бутылки с молоком и утренние газеты, увидел, что небо чистое, без единого облака, тут же отложил все, что было намечено, бросил в машину газеты вместе с полотенцем, термосом и бутербродами — и через час с лишним был на отличном, почти безлюдном пляже на берегу Ла-Манша, там, где в него широким устьем выходит Темза. Тишина, мир, покой, искрящееся, нагретое солнцем море. Неподвижный автомобиль, раскаляющийся на солнце, стоит в траве, уставясь фарами вдаль на горизонт, за которым где-то там — Франция. Для полноты идиллии не хватало разве лишь белеющего паруса одинокого. Лениво я потянулся к брошенным в песок газетам, машинально посмотрел на дату — и тут увидел, что именно в этот день, ровно четыре года назад, я прилетел самолетом из Москвы в Лондон.

В такой хороший день, на этом вольном берегу, при той нормальной человеческой жизни, к которой я уже привык, мне показалось особенно невероятным, не укладывающимся в сознании, что хотя бы и вот эта простейшая из простейших вещей — скажем, взять и в любой момент поехать позагорать на берегу Ла-Манша — была мне абсолютно недоступна всего лишь несколько лет назад. Что я, лично, почти сорок лет жил на земле, по границам огороженной колючей проволокой и строжайше охраняемой, дабы никто не мог шагу ступить дальше ее так называемых “священных рубежей”, — но я бы их назвал постыдными.

Неужто не в глупом сне, не в какой-то нелепой беллетристической выдумке мне, чтобы пересечь эти священно-позорные рубежи, понадобилось долго, трудно готовиться, филигранной игрой усыплять подозрительность сторожей, рисковать при срыве загреметь в концлагерь, но главное — принести в жертву возможность вернуться обратно, — словом, побег трудный и сложный, побег по всем правилам, побег через ужасные препятствия, поистине маниакально нагроможденные на пустом месте.

До XX века человеку запрещалось покидать строго установленные границы его местонахождения, насколько я понимаю, в трех случаях: если он был раб, или крепостной, или заключенный преступник. После победы Октябрьской революции в России родилась четвертая, на мой взгляд сногшибательная, форма: человеку запрещено покидать такие-то рубежи только потому, что он внутри этих рубежей родился.

Наиболее законченную, кристальную форму идея обрела при Сталине: человека, убежавшего из страны, даже за границей часто настигала и убивала сталинская тайная агентура; если в СССР оставалась семья беглеца, она немедленно расстреливалась без суда. Выразительная иллюстрация ко всем красивым словам марксистско-ленинского учения о царстве свободы для всех.

Обуреваемый нездоровой завистью, Гитлер в свое время перенимал сталинские методы для своего “тысячелетнего” царства, в котором — я сам тому в юности был свидетелем — о свободе, раскрепощенном духе и гуманизме очень много, красиво говорилось. Более подробно у меня об этом есть в романе-документе “Бабий Яр”. В нем многие места в равной степени касают-

ся “благодеев” коммунистических, как и “благодеев” гитлеровско-фашистских. Например, я писал о мальчишеских своих переживаниях в полном запретах, разгороженном и перегороженном немецко-фашистском мире. Но писал это в 60-х годах в мире советском, задыхаясь от горечи и тоски снова и именно так же. Это было одно из многих иносказаний, умышленно без точного адреса. Я прочту это место, из второй части романа:

Невыносимое ощущение духоты; молчаливый мир; багровые полосы по небу. Я почувствовал себя муравьишкой, замурованным в фундаменте. Весь мир состоял из сплошных кирпичей, один камень, никакого просвета, куда ни ткнишь головой — камень, стены, тюрьма... Это же вдуматься: земля — тюрьма. Кругом запреты, все нормировано от сих до сих, все забето-нировано и перегорожено, ходи только так, живи только так, думай только так, говори только так. Как это, зачем это, кому надо, чтоб я рождался и ползал в этом мире, как в тюрьме? Настроили заграждений не только для муравьишек — для самих себя! И называют это жизнью?

Я знаю, что после моего побега КГБ допрашивал моих близких, друзей, коллег, начальников, поручителей и так далее, и так далее: мол, как это так, что задумал бежать и никто не знал, да зачем задумал бежать, да почему бежал?

А вы прочтите это место, у вас там в моем пухлом “деле” должны быть непременно экземпляры “Бабьего Яра”, из библиотек изъятого, но для внутреннего пользования оставленного. И отчеркните это место каран-

дашом. Задолго до побега я более чем в трех миллионах экземпляров своей книги объяснил причину, может, даже больше для самого себя, чем для кого иного. Именно в процессе работы над “Бабьим Яром” меня окончательно задушила тоска подневольной, закрепощенной человеко-единицы, заживо погребенной среди ваших нелепых запретов, стен, директив, кар вперемишку с принудительными юридскими ритуалами.

Перед тем как выпустить на две недели, под строгим присмотром, в Англию, в убедительную командировку для сбора материалов о втором съезде РСДРП, меня вызвали в ЦК КПСС, где замначотдела культуры Мелентьев устроил форменный допрос относительно моего рассказа “Артист миманса”. А ведь правильно чувал товарищ Мелентьев, только не ту улику взял в руки. Возьми он “Бабий Яр” и прочти некоторые места с особенно повышенной бдительностью, он бы понял, что советского человека, дошедшего до *такой* степени тоски, нельзя выпустить за границу не то что на две недели, но и на две минуты.

Недавно мне попался на глаза афоризм: “Тяжелая судьба — навсегда оставить родной край, но еще тяжелее — вообще не иметь возможности оставить его”.

Надо же, чтобы среди множества ненужных, неразумных тяжестей и сложностей правители обрушили на жизни людей в так называемых социалистических странах еще и эту тяжесть. Со стороны эти страны с Советским Союзом во главе выглядят какими-то анахроническими средневековыми крепостями, ошетилившимися пиками, с наглухо забаррикадированными крепостными воротами, самоосадившимися, взвинтившимися от постоянного напряжения, и душатся один на другом людишки за стенами, а не позволено носа

высунуть, кто же в дыру выскочил — ату его, ату, собаками травить. Сколько одних сторожевых собак содержится в СССР и сколько они съедают мяса? И это не против американских империалистов, израильских агрессоров или захватчиков с Марса. Они натренированы против СВОИХ людишек.

Знаете, в конце концов, просто по-людски — это оскорбительно. Да, беря изолированно уже хотя бы только один-единственный запрет свободного передвижения, я нахожу жизнь при нем неприемлемой, а сам запрет в высшей степени оскорбительным для человеческого достоинства. Да, рабы древних времен, да, крепостные Средневековья, заключенные преступники всех времен характеризуются ограничением свободы передвижения, но даже не буйных, по-видимому, больных новый директор Квебекского сумасшедшего дома не счел нужным мучить и возбуждать видом наглухо запертых ворот.

В Советском Союзе до тех пор, пока не будут открыты ворота, нужно срочно изъять книги, например, Горького, что ли, где написано, что “Человек — это звучит гордо”. Эти слова должны быть государственной тайной, их нельзя сообщать населению. Потому что заключенный человек — это не гордо.

Я не могу представить себе, что бы произошло в Англии, если бы здесь ввели систему прописки, по всем берегам протянули колючую проволоку, вспахали пляжи, поставили прожектора, радары, миллионы военнослужащих и собак с целью не позволять жителям свободно жить внутри или свободно ездить за границы. Англичане бы решили, что это уже конец света. Осадное положение, холера, война миров по Уэллсу — ну тогда еще понятно. Но чтобы в мирное время, ни с

того ни с сего... Это мы, в СССР, не ошеломлены, не потрясены до глубины души лишь потому, что и рождаемся, и вырастаем, и старимся, и умираем за проволокой. А как же иначе? Разве бывает иначе?..

Вот именно что бывает — самое смешное, что на земле, в большом Божьем мире, вне СССР — ничего не происходит. Государства не рассыпаются; иностранных шпионов проникает столько, сколько и положено; патриотизм не меньше, а больше; за границу ездят не много; а больше всего меня, помню, поражало, что множество англичан предпочитают проводить отпуск в Шотландии, совсем не стремясь куда-то ехать далеко, или... язык не поворачивается сказать такую нелепость: *бежать* из родной страны. Потому что “когда открыта дверь, кто же будет убегать?”.

29 сентября 1973 г.

Свобода говорить

Я хорошо помню — и, пожалуй, это никогда не забудется, — как, после того как я оставил СССР, в первое время жизни в Англии довольно часто меня останавливала мысль: “Что я говорю? Разве можно такое вслух говорить?” Рефлекторная, самозащитная, типичная мысль советского человека.

Затем, в следующую секунду, — несколько изумленное осознание: но ведь ты уже не ТАМ; теперь МОЖНО говорить слух, все... Неужели ВСЕ? Да, если имеешь такое желание. Это долго не хотело укладываться в голове.

В течение почти всего первого года моей жизни в Лондоне знакомые и незнакомые собеседники, бывшие когда-то советскими людьми, но давно живущие на Западе, словно сговорившись, вдруг посреди беседы задавали вопрос: “А вы не испытываете сейчас страх: “Что это я говорю?” Видимо, в моей тогдашней манере говорить, может, вплоть до самого звука голоса, было что-то, выдававшее новичка, который и испуган, и наслаждается возможностью говорить все — но говорит так, словно всякий раз бросается в холодную воду. Получив ответ, что да, испытываю этот инстинктив-

ный страх, очень довольные они, сообщали: “Мы все это испытали. Все без исключения. Это пройдет”.

Прошло. Осталось неприятное воспоминание. Осталось недоумение: почему на таких-то и таких-то территориях земной поверхности человек рождается, проживает жизнь и умирает, так никогда и не узнав полной и естественной возможности поговорить — такой же, собственно, элементарной, как есть, пить, ходить, дышать, что ли?

Во время войны существовал приказ о светомаскировке, вызванной необходимостью затруднить ориентировку бомбардировочной авиации противника. И советская и немецкая стороны за нарушение светомаскировки карали чрезвычайно жестоко, вплоть до расстрела. Нужно было плотно занавешивать все окна, без малейшей щели. Никаких уличных фонарей, конечно. На фарах автомобилей — плотные крышки с узкими прорезями-щелочками, сквозь которые слабо подсвечивалась полоска перед радиатором. Владение карманным фонариком чуть ли не равно владению оружием. Вся земля, города и веши — все по ночам в кромешной тьме.

Пришел конец войне, и приказ о светомаскировке был официально отменен. Казалось, что мир вдруг засиял. Я, пятнадцатилетний мальчишка тогда, по вечерам выдумывал какие-нибудь предлоги, чтобы лишний раз выйти на улицы, ходить при свете, наслаждаясь, смотреть с холмов на сияющий огнями мир. На сегодняшние мерки: какое уж там сияние! Разруха, электростанции взорваны, ток лишь для заводов и транспорта, лампочки вполнакала, редкие уцелевшие уличные фонари, а в окнах домов керосиновые лампы, да коптилки, коптилки. Но каким это казалось сиянием!.. Первое время было непривычно, даже страшно зажигать коптилку при открытом окне. Чирка-

ешь спичку и инстинктивно оглядываешься: окна занавешены ли? В следующую секунду — радостное сознание: *можно*. Такое счастливое время наконец пришло, что можно жечь свет какой хочешь, сколько хочешь, за это не арестуют, не расстреляют. Но поначалу было ощущение, словно в холодную воду бросаешься...

Примерно *такое* ощущение испытываешь и когда после советского бесконечного, одного лишь единственно и известного тебе от самого рождения “затемнения” свободы говорить попадаешь в “незатемненный” мир и обнаруживаешь, что здесь о таком приказе не слышали, и, значит, он для тебя отныне тоже отменен.

Мое сравнение хромает. Военная светомаскировка — логична и оправдана как временная мера, как чрезвычайная мера объявленного в исключительно опасный момент *осадного положения*.

Но в Советском Союзе эта чрезвычайная мера — отмена насущных, элементарных свобод — постоянна. Так, словно все существование советского государства сводится к бесконечному, перманентному осадному положению.

Пожалуй, лишь основательно посмотрев и сравнив, как естественно и нормально живет остальной мир, начинаешь понимать, что в Советском Союзе, собственно говоря, не жизнь, а какое-то постоянное чепэ.

Может, глубокие старики еще помнят, что не всегда было так, но подавляющее большинство живущих уже родилось под завывания сирен, облавы и прочие меры Чрезвычайного положения, иной жизни не знают, а зачастую иной жизни просто уже и не мыслят.

Чепэ началось с революции и Гражданской войны, продолжилось и превратилось в патологическую норму, официально объяснимую и мотивируемую доводом: *враги*. Враги внутренние, враги внешние. “Среди нас

ходит враг”, “Мы в окружении врагов”. Вот и все теоретическое обоснование для непрекращающегося осадного положения в течение вот уж более чем полстолетия.

На это можно было бы элементарно возразить, что в таком случае всем без исключения народам мира тоже нужно ввести у себя осадное положение. Помилуйте, какая страна не имеет внутренней оппозиции? Какая страна не имела трудных, трагических моментов в своей истории, войн со внешними врагами? И любая, без исключения, страна мира, от самой большой до самой маленькой, могла бы себя накачивать: “Мы в кольце врагов, мы должны быть в постоянном чепэ, ввести чрезвычайные законы, отдать приказ о светомаскировке!”

Кстати, я не вижу особенной логики в том, что светомаскировка, не в переносном, а в прямом смысле, в Советском Союзе не соблюдается сейчас. Что упразднены КПП — контрольно-пропускные пункты — со шлагбаумами при въездах в города, на дорогах и поперек улиц, с поголовной проверкой документов у всех проходящих и проезжающих. Если смертельной опасностью для государства явилась бы отмена таких чрезвычайных осадных мер, как запрещение свободных выборов, собраний, демонстраций, забастовок, свободного передвижения, практически военной цензуры, военно-судорожной бдительности и разгула следающе-карательных органов и так далее; если любая критика в адрес государственного строя или его представителей расценивается как идеологическая диверсия, как провокация, сеющая смуту на руку врагу, то в условиях такого напряженного, опасного чрезвычайного положения совершенно недопустимо то, что города освещены, промышленные объекты не замаскированы, не закамуфлированы, что контрольные пункты не вылав-

ливают шпионов, что по ночам не установлены дежурства на крышах, что города не окружены кольцами надолбов, ежей и рвов. Это же все головотяпство.

Я прежде не подозревал, до каких, оказывается, неправдоподобных размеров накачивается взвинченность в советском обществе. Вообразите себе спокойно плавающих уток на пруду, на озере, на реке. Мирная картина. Но в селе Руднево Тульской области я видел совхозный утятник, где на выбитом огороженном плацу сидели чуть ли не она на одной 28 тысяч уток и их плохо кормили. Они кричали — так, что не слышно было человеческого голоса; давили друг друга, были в постоянном движении, клевали слабых — этот кошмарный утятник я описал, не без намек на наше общество, в романе “У себя дома”. Но, видя явление, я, повторяю, не подозревал подлинной его степени. Нужна, видимо, дистанция, нужны годы.

Если мы каким-то образом вырываемся из советского общества в мир нормальный, мы производим странное впечатление: суетимся, кричим, повышенно возбудимы. Нужно долго успокаиваться, избавляться от судорожности, страхов, учиться многим элементарным человеческим вещам чуть ли не с азов. Как, например, вот этому самому: говорить себе беззаботно все, что ты на самом деле думаешь, и не вздрагивать при этом: “О Боже, что это я говорю”.

Если разбирать узко-политически, с учетом исторически сложившихся обстоятельств, в общем, научно (я бы сказал, “научно” в кавычках), то патологическое отсутствие свободы говорить в Советском Союзе объясняется, конечно. И первопричинами, и факторами, и посылками, и следствиями.

Но если так подумать по большому счету: зачем, живя на свете только один-единственный раз, да еще так

коротко, имея столько естественных несчастий, вроде болезней, голода, холода, всяких личных бед и смерти в конце, — мы еще вынуждены колотиться об эти искусственные стены: упаси бог не так ступить, упаси бог не так выполнить, упаси бог не то сказать?.. Нет, я этого не понимаю. И “осадного положения” в Советском Союзе не понимаю, и чрезвычайных мер во всей их простоте пещерной свирепости. Но ведь это же, в конце концов, глупо так одну-единственную жизнь переводить.

Это в одинаковой степени касается и тех, кто такие порядки завел, их поддерживает, — и тех, кто их вынужден терпеть. Это палка о двух концах. Если одни, видите ли, пожизненные заключенные, другие — пожизненные надзиратели за ними, да ведь к месту-то заключения первых привязаны и последние! Бытовые условия у них получше? Дополнительный паек, кобура на поясе и свободное субботнее посещение кино в соседнем поселке? Боже, какое счастье! И плакат через весь фасад жилдома номенклатурного руководства: “Человек создан для счастья надзирателя, как птица для полета”.

Более четырех лет прошло, как я покинул Советский Союз, и мне сейчас уже нужно усилие сознания для отчета себе в том, что то, что я сейчас говорю, — по советским меркам наказуемо. Попробовал бы я так говорить, скажем, на собрании Московского союза писателей или в кружке слушателей в парке культуры имени Горького. Вы, кто сквозь глушение сейчас с трудом слушаете меня, — вы остерегаетесь, как бы кто не узнал, что вы — не говорите это, нет, — только слушаете это. Это все так странно, так нелепо. Дико.

6 октября 1973 г.

Одержимые

Карл Маркс был одержим идеей всемирного объединения пролетариата и его революции. Ленин был одержим идеей революции. Дзержинский был одержимым бойцом революции. Коммунисты — это люди, одержимые идеей коммунизма.

Русское слово “одержимый” прежде имело совершенно точное и одно-единственное значение: “бесноватый”. Так оно и трактуется в старых словарях. В новых словарях это значение сохраняется, в этом можно убедиться, открыв наугад любой, но уже параллельно со значением “целиком поглощенный”, “целиком захваченный”, и в этом смысле слово “одержимый” стало бурно применяться как выражение высшей похвалы и восторгания различными возбужденными до истерии, фанатическими личностями.

Издающиеся в СССР биографии выдающихся революционеров пестрят этим словом: все они были одержимые. Настоящий, передовой советский человек, конечно, одержим идеей построения коммунизма, преданностью партии и ненавистью к врагам.

Враги, однако, не одержимые; они, по прежней традиции, “бесноватые”. Фюрер Адольф Гитлер был конечно же “бесноватый фюрер”. Сегодня мы можем прочесть о беснующихся китайцах, о беснующихся израильских сионистах. В свое время, когда так популярна была песня “Москва — Пекин” со словами “Сталин и Мао слушают нас”, китайские коммунисты Мао Цзэдуна были исключительными, прекрасными, одержимыми людьми. Однако выяснилось, что они бесноватые.

Фидель Кастро, с пеной у рта произносящий многочасовые речи и фанатичным демоном свирепствующий на злосчастном острове, — кто он? Этот вопрос совершенно ясен: в зависимости от того, как он относится к Советскому Союзу. Сейчас он благородно одержимый, но если бы он оказался прокитайским или каким-нибудь иным ревизионистом, всплыла бы истина, что это бесноватый психопат и тиран.

Бесноватые-то, в общем, несчастные люди. Их надо лечить, осторожно изолировать и помещать в спокойную обстановку, чтобы помочь очнуться, прийти в себя.

К несчастью, граница между простой увлеченностью, энергичным функционированием от обилия здоровья и молодых сил и больной бесноватой одержимостью — граница эта очень слабо выражена, и разница замечается обычно слишком поздно, когда прежний симпатично увлеченный, а теперь уже фанатично беснующийся субъект успевает заразить большее или меньшее число окружающих, которые по законам возникновения коллективной истерии начинают бесноваться вместе с ним. Превысив критическое число, эти одержимые являются основным и активным взрывчатым материалом в революциях, войнах и других обще-

ственных катаклизмах, которыми пестрит человеческая история.

Я вполне серьезно думаю, что таким психическим явлениям, как фанатизм и коллективная истерия, наука до сих пор уделяет непростительно мало внимания. Между тем эти явления приобретают (и в последнее время, кажется, все чаще) настолько грозные эпидемические размеры, что порой начинает казаться поставленным под угрозу само существование человечества на Земле.

Одни фанатики беснуются или, если хотите, одержимы идеей нивелировки всех в каком-то муравейнике, всемирной казарме, где пайки у всех равны, правда, с маленькой оговоркой: для того чтобы наступило такое голубое царство равенства, братства и свободы, нужно сперва вырезать ту четверть, треть или половину человечества, которая идти в него почему-то не согласна.

Является вдруг другой фанатик и заявляет, что нет, все не так — в царстве счастья достойны жить те, кто родился членом только одной избранной нации или расы, а вырезать надо всех остальных.

Сперва такие вещи скребут бешено скачущим пером на бумаге, потом провозглашают “вдохновенно” молотящими, брызгающими слюной языками с трибун. Дальше — действия, конечно.

Кто сегодня отправит всемирную панихиду по диким, бессмысленным жертвам XX века, по какой-то энной части миллиарда человек, убитых не эпидемиями, не несчастными случаями, не раком, а исключительно и единственно в прядке попыток осуществить теоретические буйные фантазии *одержимых* личностей?

Панихида не может быть отправлена хотя бы уже и по той причине, что счет не закончен, что он, собствен-

но говоря, может быть, только начат. Только недостаток сил или неуверенность в своих силах сегодняшних “одержимых” сдерживает их, но надолго ли? Это же не в фарсе и не в анекдоте властитель страны с тремя четвертями миллиарда населения уверенно заявляет, что он не остановился бы перед уничтожением хотя бы и двух третей человечества, чтобы оставшаяся треть уж организовалась в соответствии с идеями, которыми он одержим. Другие думают то же, но не выбалтывают. Ах, не хватает абсолютного, похлеще водородных бомб, совсем уж неотразимого оружия, чтобы кому-нибудь только одному бы в руки. Того чуда, на которое Гитлер рассчитывал и ждал, сопротивляясь до последнего.

Однако разве на создании водородной бомбы закончился триумфальный прогресс науки?

Мне кажется, что благополучие на Земле, если даже не вообще само продолжение разумной цивилизации, зависит от того, насколько люди поймут, что “одержимым” не стоит верить и нельзя допускать, чтобы они захватывали и силу и власть. К сожалению, одержимостью продолжают восхищаться, а в странах, где одержимые взяли власть, там она просто культивируется. Одержимый в одном духе со своим бесноватым фюрером работник, солдат, тюремщик — это же лучший работник, лучший солдат, лучший тюремщик. Это качество стараются привить ребенку чуть не с пеленок, школа воспитывает на образах и образцах знаменитых одержимых. Какие идеалы, например, для советского школьника? Павел Корчагин и Павлик Морозов, Александр Матросов или советские камикадзе типа Гастелло? Обратите внимание: говорят, что японские летчики-смертники — камикадзе — были оболваненные, несчастные самураи-фанатики. Но советские

самоубийцы-смертники вроде Матросова и Гастелло — это совсем другое дело, они герои, это образцы для молодого поколения. Евгений Евтушенко недавно выступил с поэмой, прославляющей Александра Матросова. Я его с этим поздравляю.

То же самое с историей родины: лучшие из лучших в русской истории людей были одержимые чем-нибудь — объединением ли земель, укреплением ли мощи, а потом революционными идеями, конечно.

Любой школьный учебник с гордостью сообщает о Белинском, что у него была кличка Неистовый Виссарион, как по существу неистовыми были и все другие революционные демократы, вплоть до завершения процесса торжеством неистовых большевиков. А ведь кличка Неистовый во времена Белинского имела совсем не положительное значение! Да не только тогда, но даже и сегодня еще синонимами слова “неистовый” являются: “бешеный”, “необузданный”, “дикий”, “исступленный”, “безумный” и “остервенелый”.

Итак, исступленные, остервенелые, одержимые поклонники одержимого ухитрились отрицательную кличку превратить в похвалу, а понятие неистовства возвести в добродетель. Кажется, оттуда идут корни катастрофической эпидемии неистовства и одержимости, постепенно, начиная с середины XIX века, охватившей некую часть интеллектуальной России. Одержимость, или беснование, стала модой, хорошим стилем, признаком прогрессивности: эта вздымающаяся от взволнованного дыхания грудь, эти сверкающие глаза, звонкий вдохновенный голос, святые высокие слова. Объединяющие и возбуждающие песни. Лозунги. Клятвы. “Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой”. “Безумству храбрых поем мы песню”.

Отсюда прямой мост к Александру Матросову или к той вдохновенной разругавшейся комсомолке, которая приветствует съезд: “И мы отдаем партии все наши силы и способности, а если понадобится, то и жизнь”, — неременная часть ритуала, как вообще всего официального всесоюзного театра, на спокойный и трезвый взгляд кажущегося очень странным: люди, оказывается, не просто работают, но — вдохновленные призывами, решениями, директивами, полные решимости, во всенародном порыве и подъеме, горячо откликнувшись, в общем, одержимо и неистово, остервенело.

А как они клеймят! Возмущенные до глубины души, гневно протестуя, как один человек, со сверкающими ненавистью очами, еще более неистово, еще более остервенело, чем работают. Правда, в отличие от послеволюционных лет, эта одержимость у подавляющего большинства сегодня лишь видимая. Народ устал от одержимых, как ни стараются его искусственно взвинчивать на тысячи ладов — от запугивания желтой опасностью до этих самых поэм о Матросове.

Одержимость фактически давно обанкротилась, но ее продолжают раздувать, можно сказать, уже с профессиональной деловой настойчивостью. В мире театра нечто подобное отличает плохих, неспособных актеров и на актерском жаргоне носит название “примус”. Если кто-то начинает неестественно, театрально “голосить”, изображать страсти, пыхтеть по принципу “дышите глубже, вы взволнованы”, ему говорят: “Что ты накачался, как примус? Выпусти воздух”.

Окидывая взглядом события последних исторических ста лет в России, затем в СССР, изумленно видишь, как явственно качали этот самый примус, пере-

ходя всякие красные черты, пока он не лопнул, латали и продолжали качать, и уж ни сил, ни возможностей никаких нет, а все долбят: “Дышите глубже, вы взволнованы, вы вдохновлены, вы в едином порыве, беззаветно одержимые, неистово преданные, остервеняйтесь”. Так и хочется, с искренним сочувствием, посоветовать: да утомнитесь, выпустите воздух-то.

Нет таких проблем, которые для своего решения требуют истерической взвинченности. Наоборот, одержимость — самый скверный советчик при решении принципиальных вопросов. Опыт достаточно показал, что самыми мрачными палачами в XX веке проявили себя именно фанатики. Да, одержимые, неистовые, вдохновленные, несгибаемые и так далее, и так далее. Неужели мало? Куда вы продолжаете толкать людей?

В ответ на это слышу одержимый грохот неистовых глушилок.

13 октября 1973 г.

Рождение одного анекдота

Беседа 1

Кто выдумывает анекдоты? Я всегда усиленно пытался выяснить это, но до сих пор не встретил лично ни одного человека, который бы положил руку на сердце и доказал, что такой-то известный анекдот придумал он.

И все же рождение одного анекдота, получившего широкую, даже мировую известность, кажется, я могу проследить уверенно, потому что хотя и не выдумал его, но, как говорится, был при сем.

Возможно, вы знаете этот анекдот. Тульский секретарь Союза писателей в докладе гордо сообщает о бурном росте писательских сил за годы советской власти: теперь в Туле и области насчитывается двадцать восемь писателей, тогда как до революции был только один, Лев Толстой.

Последние девять лет моей жизни в Советском Союзе я был прописан в городе Туле и состоял как раз одним из членов ее грандиозного Союза писателей, а началось все с того, что у меня не было прописки.

В 1960 году я закончил Литературный писательский институт, и в паспорте автоматически кончилась временная студенческая московская прописка. Выпуск-

ники Литинститута обладают такой роскошью, как освобождение от принудительного распределения, там, скажем, на Сахалин или в Коми АССР. Некоторые женятся, другие дают крупную взятку (что, кстати, очень опасно и сложно), чтобы получить постоянную прописку в Москве, третьи уезжают туда, откуда приехали, домой.

Я к тому времени стал членом Союза писателей, моя повесть “Продолжение легенды” оказалась популярной, издавалась миллионными тиражами, была переведена примерно на 35 языков, и редакция журнала “Юность” с Валентином Катаевым (тогда) во главе решила ходатайствовать, чтобы мне дали постоянную прописку в Москве.

Официально немосквичу добыть таковую столь же трудно, как верблюду пройти сквозь игольное ушко. Тем не менее многие тысячи ежегодно ухитряются пройти через это ушко, кроме взяток, еще по следующим каналам: по вызову, подписанному не ниже, чем союзным министром, далее, если человек имеет престарелых, нетрудоспособных родителей или близких в Москве, нуждающихся в его помощи, и в-третьих, вступающему в законный брак с москвичом или москвичкой. Правда, вот недавно случай с Солженицыным показал, что даже этот закон писан не для всех: и жена и дети Солженицына в Москве, а самому ему жить с ними не позволили.

Родных или близких в Москве я не имел. Моя мать жила в Киеве на Куреневке, в комнате шестнадцать квадратных метров, в полуразваливающейся хате, и вернуться туда мне было трудно хотя бы потому, что я уже был женат на студентке (немосквичке), такой же бесприютной, как и я, и мы со дня на день ожидали ребен-

ка. По скольким клетушкам и подвалам, разным нелегально сдаваемым комнатам мы покочевали, платя иногда до 50 рублей в месяц, — рассказать, это была бы целая эпопея.

Валентин Катаев избрал главный официальный путь и вошел в Министерство культуры с письмом, чтобы оно исходатайствовало в ЦК КПСС позволение на московскую прописку мне, ну как специалисту, что ли. Как я убедился потом много раз, самые высокие начальники в СССР, вплоть до членов Политбюро, львиную долю своего времени решают подобные частные вопросы: кому дать квартиру, а кому дачу, кому дать пропуск в закрытые спецмагазины, кого пустить в заграничную командировку, вплоть до устройства элитных детей вне конкурса в институт. Собственно, вещи, которые мог бы решить самый последний писарь в канцелярии, они почему-то вершат сами, и я подозреваю, это потому, что им импонирует быть такими всемогущими распорядителями даров.

Однажды киносъемочная группа, в которой был и я, увидев в киобудке главка коробки с фильмом Феллини “Сладкая жизнь”, попросила разрешения посмотреть. Уйму времени этим занималась масса высокопоставленных чиновников, и выяснилось, что это невозможно без позволения самого министра культуры Фурцевой. Только она в каждом отдельном случае решает, какое заграничное кино и какой аудитории демонстрировать. Был затребован список, и она лично утвердила группу в шесть человек. Нас по списку впустили в просмотрный зальчик, заперли за нами дверь на замок — и показали “Сладкую жизнь”. Прошу прощения за отступления, но мне кажется, что все это — довольно любопытно. Причем это не анекдот.

Те, кто читал книгу Светланы Аллилуевой “Только один год”, узнали, например, что вопрос о том, может ли жена отвезти прах умершего мужа в Индию, решал не кто иной, как член политбюро ЦК КПСС Суслов, а когда запретил, то потом — чуть ли не все Политбюро. Тот же Суслов корпел над чтением моей рукописи “Бабьего Яра”, чтобы решить, может это журнал “Юность” напечатать или нет. Однажды ради минутного дела я сидел в кабинете секретаря Тульского обкома более часу, потому что он постоянно отрывался телефоном, по очереди выбивал номер в гостинице приехавшему чиновнику, устраивал в ясли ребенка местного художника, трезвонил в прокуратуру, чтобы замяли дело нашкодившего сына директора комбината, далее надо было выписать кому-то для дачи оцинкованное кровельное железо, выделить обкомовский грузовик для перевозки кому-то мебели из квартиры в квартиру. Подумать только, какие самоотверженные государственные мужи, если при этом они ухитряются принимать еще решительные меры по крутому подъему сельского хозяйства, либерализации общественной жизни или вводу танков в Чехословакию. Ведь денно и ночно только и делают, что раздают beneficia или отбирают.

Итак, я вдруг получил по моему делу с пропиской вызов ни больше, ни меньше, как в сам Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза — на аудиенцию к самому начальнику отдела культуры Центрального комитета товарищу Поликарпову. А ведь, так подумать, могут ноги подкоситься от мысли, что на время этой аудиенции по вопросу, разрешить ли прописку в Москве некоему студенту-выпускнику, вся культура государства должна была, так сказать, отодвинуться и подождать.

Знаменитый 5-й подъезд ЦК на Старой площади. Вооруженная охрана при входе, при лифте, по этажам. Тщательная проверка документов, пристальная сверка фотографии с лицом, выписка разового пропуска после проверки по книге, точный маршрут по молчаливым пустым коридорам, ни шагу в сторону, напряженное ожидание на краешке стула в гробовой тишине приемной, и наконец секретарша торжественно пропускает за дубовый дверной тамбур в необъятный кабинет.

В том кабинете можно было бы свободно устроить спортивный зал для игры в баскетбол. Далеко на другом конце его, у противоположной стены, сидел за столом человек, и пока я долго шел по ковровой дорожке от дверей к нему, он что-то кричал. Постепенно до меня дошло, что это он кричит на меня. И стал разбирать некоторые слова: что писателей в Москве как нерезанных собак. Что всем, видите ли, подавай только Москву. Что товарищ Екатерина Алексеевна Фурцева правильно недавно привела в пример товарища Шолохова, который живет в гуще народа, на Дону. (Пример, мягко говоря, сомнительный, потому что в своем роскошном имении, окруженный поварами, горничными, садовниками и прочими холоуями, Шолохов живет “в гуще народа” лишь в таком смысле, как некогда, скажем, граф Шереметев, и в Москву прилетает когда ему вздумается, как говорят, персональным самолетом.) Но возразить бы я не мог, потому что Поликарпов, все больше самовоспламеняясь, орал, не давая мне открыть рта.

Кто знает, может, его возбудил кто-то передо мной или телефонный звонок, может, он был уже готов сделать мне благодеяние, но тут, разозлившись, обрушился на меня, и то, что меня угораздило подвернуться в

такой момент, сразу диаметрально могло изменить мою судьбу.

Накричавшись вдоволь, как наставник на нашкодившего ученика, он буркнул: “Садитесь” — и вынес приговор: “Сейчас у меня в Москве ни одной свободной квартиры нет. И не предвидится. Я вас отправляю на периферию”.

Я получил наконец возможность говорить — и сказал, что, вероятно, это какое-то недоразумение, потому что я просил не квартиру, а только позволение на прописку. Жилье я найду себе сам, буду снимать и на квартиру не претендую, более того, и в будущем обязуюсь не просить.

— Прописка без наличия жилплощади не дается, — наставительно сказал он. — Если вам дать прописку, значит, надо давать и квартиру. А частным образом сдача квартир в Москве не разрешена.

“Уж мне-то лучше знать”, — подумал я. И сказал, что у меня есть друзья, которые поделятся со мной жилплощадью; наконец, я недавний строительный рабочий, подыщу, скажем, какой-нибудь пустующий чердак и сам себе выстрою в нем отличную мансарду, только бы позволили.

Это его вдруг рассмешило:

— Вы с ума сошли. Вы писатель, вас могут посетить иностранцы и потом напишут, как в СССР писатель ютится на чердаке! И не думайте даже. Не позволим.

— Я построю себе домик в пригороде, — ухватился я за последнюю возможность.

— Нет, — отрезал он. — Вот из разных мест секретари обкомов просят прислать писателей. В Рязани мало, в Ставрополе мало, в Туле нет ни одного. Тула, Рязань или Ставрополь, выбирайте.

Ни в одном из этих городов я прежде не бывал, не представлял их.

— Тогда мне все равно. Пусть будет Тула, — пробормотал я.

Как я потом жалел, что мой безразличный язык не сказал: “Пусть будет Рязань”. В Рязани в те времена жил не известный никому учитель Александр Солженицын, что-то ночами писал. Кто знает, как бы иначе многое повернулось в моей жизни, окажись я с ним в одном литературном кругу. А так я был настолько уже сыт общением с так называемыми советскими писателями, что подумал: “А может быть, даже к лучшему, что не позволили остаться в Москве”. Может, потому и сказал “Тула”, что там их — ни одного.

Поликарпов велел секретарше дать телефонограмму в Тульский обком и отметил на моем разовом пропуске время ухода. Так я отправился на постоянное местожительство в город Тулу.

27 октября 1973 г.

Рождение одного анекдота

Беседа 2

Я прибыл в Тулу в промозглый, туманный зимний день, и когда поехал с вокзала в город каким-то совершенно допотопным трамваем, сердце у меня упало. Город был грязный, унылый, ободраный, косые разваливающиеся дома на кривых улочках, дымный промышленный воздух. Люди казались болезненными, забитыми, ужасно одетыми, все сплошь почему-то в черном. Часто попадавшиеся на улице солдаты среди них казались вырядившимися франтами.

Мне вспомнился лесковский Левша, подковывавший “аглицкую” блоху в своей тульской хибаре, вросшей по окна в землю, и город, казалось, на 80 процентов на сегодня состоял из таких хибарок. За каждым подслеповатым окошком виднелись занавесочки или гераньки — жили люди, и уму непостижимо, где в этом скоплении развалюх могли разместиться 400 тысяч человек — столько населения насчитывает Тула.

Заглянул в один-другой продовольственный магазин — и охнул. По сравнению с Москвой пусто, шаром покати. В отделе молочном — одни закаменевшие кубы сыра. В отделе мясном — ржавая, распадающаяся “сельдь

тихоокеанская”. В магазин под названием “Колбасы, копчености” стояла ужасающая очередь человек на тысячу, с давкой, свистками милиции. И поперек улиц единственные яркие пятна — кумачовые транспаранты: “Перегоним США по производству мяса и молока!”

Обком помещался в одном из двух лучших зданий на центральной улице — бывшем губернском управлении. Напротив — бывшее дворянское собрание, теперь Дом офицеров. При входе в обком — охрана, но только одна, на лестнице, люди шли чередой, проверялся лишь партийный билет, но тщательно, со сверкой фотокарточки и оборотом страницы с отметками об уплате членских взносов. Вопрос “К кому идете?” не последовал. В обком может входить всегда и любой, обладающий партийным билетом, это уже как бы постоянный пропуск. Что чрезвычайно существенно, как я понял в следующий же час.

Прежде всего, тут же, в гардеробе, киоск с газетами и книгами. Сборник стихов Вознесенского — в Москве с огнем не найдешь, купишь только из-под полы. Тут — лежит свободно. “Неделя” опять же стопкой, “За рубежом”, а в киосках “Союзпечати” их расхватывают в какие-нибудь десять минут.

В приемной мне сказали, что секретарь еще не приехал, и посоветовали пока пойти в столовую. Столовая помещалась в просторном полуподвальном помещении, меню скромное, но все поразительно дешево. Никогда не встречал таких дешевых. Людей было много, все довольно жадно ели, но я обратил внимание, что здесь не только едят, но главным образом набирают с собой в авоськи, кошелки. Даме рядом со мной официантка принесла пять десятков сырых яиц, и та их старательно запаковала в сумку. Другие брали по несколько

бутылок молока, кефира, сардельки килограммами, по две-три сырых курицы. Все это так судорожно-жадно.

Я понял, почему не закрываются двери обкома, так популярного среди широких масс тульских коммунистов. Зачем-то про себя дал слово, что если буду жить в Туле, ноги моей в этом полуподвале обкома больше не будет. И надо сказать, сдержал слово в течение следующих девяти лет, но руки надорвал, возя из Москвы все — от риса и пшена до булок “городских” и ветчинно-рубленой колбасы. Мне-то хорошо, я не служил, что давало возможность таких поездок. Всякий раз, приезжая потом из Тулы в Москву, я чувствовал себя так, словно попадал в сказочный рай изобилия. Невероятно: в Москве яблоки продаются прямо в магазине, 1 рубль 40 копеек кило, яйца бывают по 90 копеек. В Туле яблоко можно было увидеть только на базаре, где грузины привозили — по 3—5 рублей кило. Яйца только у бабок, и то не всегда, бывало, поднимались до 3 рублей десятков. И я сколько раз видел, как обыкновенные тульские люди покупали одно яблоко, два яйца — не для себя, для больного. Сам вставал в пять часов утра и бежал с бидончиком к базару, чтобы уже на подходах перехватить бабку с молоком — для ребенка каждый день надо было.

Первым секретарем Тульского обкома был тогда Хворостухин, пожилой, казавшийся простоватым человеком, несколько флегматичный, что не вязалось с его положением единовластного владыки области, по размерам и населению равной доброй европейской стране.

Не думаю, чтобы он читал хоть строку, написанную мной, или вообще когда-нибудь слышал мою фамилию, но он принял меня как живого классика. В Советском Союзе великий писатель не тот, кто пишет гениально, а тот, кого одобрил ЦК; в моем же случае поступил звонок от самого начальника всесоюзной культуры.

Усадив в мягкое кресло, часа два Хворостухин рассказывал мне о делах в области; я узнал, что жилищный кризис в Туле сейчас в десятки раз больше, чем до революции, но план предусматривает крупное жилищное строительство. Есть масса недостатков, но сейчас все силы коммунистов и актива области, а также его лично брошены на то, чтобы догнать и перегнать Америку. Может быть, он думал, что я тут же начну писать новый роман “Секретарь обкома” — как некогда Кочетов?

Потом перешел к делам литературным. На тульской земле всегда были большие литературные традиции, были писатели. Всего в одиннадцати километрах — Ясная Поляна. Лев Толстой.

— Но после Толстого, — сказал печально секретарь, — писателей в Туле больше нет, так что поселяйтесь, милости просим, нужна будет помощь — поможем, нужен совет — приходите в областной комитет за просто. Хотите — завалим вас приглашениями на все заседания, собрания, слеты. Хотите — забудем о вашем существовании, сидите, работайте, пишите.

Я робко сказал, что писание, в общем-то, требует сосредоточенности и что меня бы больше устраивало последнее. Он едва заметно поморщился, но поднял трубку и велел соединить его с председателем горисполкома.

— Хворостухин говорит. Слушай, к нам приехал писатель, поселяется у нас. Хороший писатель. Надо дать квартиру, из фонда. Какую двухкомнатную, ты с ума сошел? Три комнаты, не меньше. — Он оторвался от трубки: — Три комнаты вас устроит?

Я ошалело моргал глазами.

— Нет, ты уж сам с ним поезди, посмотрите, подберите. Так давай, подъезжай.

Через несколько минут я сидел в машине с председателем горисполкома, и мы ехали выбирать квартиру в лопающемся от жилищного кризиса городе Туле. Тульский мэр извинился, что в настоящий момент нет ни одной свободной квартиры в старых, еще дореволюционных отличных барских домах, с высокими потолками. К сожалению, все сплошь современные клетушки-малогабаритки, но осталась одна в облторготделовском жилдоме, торговцы — дошлый народ, отгрохали себе еще в прежнем, сталинском размере и окружились магазинами — “Хлеб” в самом доме, “Гастроном” напротив, “Овощи” во дворе.

Я был молодой, начинающий, это был мой первый робкий шаг в ряды мощной когорты советской элиты. Переступив порог этой первой же квартиры, не стал больше смотреть. В ней меня и прописали. Никогда, однако, не забуду момента получения ордера. Огромная очередь и толпа в темных коридорах горисполкома. Люди отстаивали годами. В двухкомнатные квартиры вселяются по две семьи. В давке у стола, где выдают эти сказочные ордера, крик и плач: вот многодетной семье после восьми лет ожидания в очереди дают однокомнатную квартиру. Толпа раздвинулась при появлении мэра со мной. Небрежное: “Оформите товарищу номер тридцать пять в облторготделовском” — и все оттеснены от стола. Я даже не вижу ни одного недоброжелательного взгляда. Это ведь нормально, в порядке вещей. Делопроизводитель угодливо, чуть не виляя хвостом, каллиграфически выписывает мне ордер. До сих пор никто не спросил у меня даже о количестве членов семьи. Мне не нужно было даже формально иметь бумажное заявление. Я да жена и еще не родившийся ребенок. В две минуты мне выписали ордер. Вручили ключ.

Нет, я, конечно, не швырнул этот ключ им в лицо, не сжег ордер на спичке. Я даже нетерпеливо поехал

скорее, отпер пустую, казавшуюся необъятной мою теперь квартиру, бессильно сел на пол прямо в прихожей — и всплакнул, припоминая все трущобы и общежития, по которым мы с женой ютились легально и нелегально, боясь всех комендантов, прячась от милиции.

О, за всем этим, что я рассказываю, кроется огромная и интересная гамма чувств, логических зигзагов, и самобичевания, и принятия, и философии типа “Так было, так будет во все времена”.

Вот весь мир удивляется, что случилось с великим бунтовщиком Евтушенко или как мог Шостакович подписать письмо, клеймящее академика Сахарова? Я-то знаю... хорошо.

А вот человека, который бы, исходя из побуждений совести или идейных соображений, отказался в Советском Союзе от трех- или четырехкомнатной квартиры вне очереди, — я такого лично не встречал, не знаю.

Когда я поехал в Москву укладывать чемоданы и кому-то похвастался квартирой, среди бесквартирных, детных писателей разнесся сенсационный слух, что в Туле писателям по три комнаты дают. Немедленно в Тулу ринулись желающие. И секретарь обкома действительно самым первым успевшим дал по малогабаритной, но трехкомнатной (ничего не поделаешь, сам установил стандарт) квартире, а потом, вероятно, сообщил в Центральный комитет, что все, литература у него укомплектована, хватит. Вместо одного члена Союза писателей в Туле оказалось пять.

Пять перьев, по Маяковскому, — пять штыков, это уже союз. И состоялась торжественная организация Тульского отделения Союза писателей. О ней я расскажу в следующей передаче.

3 ноября 1973 г.

Рождение одного анекдота

Беседа 3

На торжества по случаю организации новой и великой тульской советской литературы из Москвы прибыла большая группа руководителей Союза писателей РСФСР с Леонидом Соболевым во главе. Писателей в Туле было пять, а организовывать их приехало, если не ошибаюсь, человек пятнадцать.

Почему нет? Проезд за казенный счет, гостиница люкс, вкусные обеды, прогулка в Ясную Поляну плюс немалые суточные. Руководители Союза писателей получают колоссальные деньги по различным графам. Любая поездка на курорт или в гости к теще называется “творческая командировка” или “встречи с читателями”. Бездельничай, загорай, пьянствуй — все расходы оплачены, суточные капают. Отчет примитивен, должен включать слова “собран большой материал для романа там или поэмы”. Будут ли роман или поэма потом написаны, никого не интересует; несмотря на богатый собранный материал, они могут ведь и не получиться — творческая неудача.

За право ездить на различные “декады литературы” в Якутии, Грузии или Эстонии, житье по люкс-классу,

с банкетами, приемами, чемоданами привезенных подарков и покупок, идет борьба не хуже, чем между детьми лейтенанта Шмидта: в Якутию ехать никто не хочет, зато Грузия — непрерывный пир, Эстония — прибахлиться, и так далее.

Деньги можно получить просто так, ни за что. Достаточно написать: “Прошу безвозмездную ссуду на творческий период”. Это значит, писатель пишет эпопею. Написал ли он хоть первую строку, не спрашивается. С эпопеями тоже бывают творческие неудачи.

Творческие поездки в народ для изучения жизни перемежаются для разнообразия эпикурейским житьем в санаториях, то бишь Домах творчества: “Прошу бесплатную путевку на два месяца в Коктебельский дом творчества для работы над собранным материалом...” Одни предпочитают Дубулты на Рижском взморье, другие — Гагру (окна прямо на пляж). В Малеевке под Москвой отличный лесной воздух, летом грибы, зимой лыжи, пинг-понг опять же, чтоб сбросить жир. Для делового сочетания санатория с посещением редакций в Москве идеально подходит Дом творчества в Переделкине — двадцать минут на электричке.

Если советский писатель занял подходящий пост — а этих постов великое множество, — капает большая зарплата, и далее он может прожить жизнь, не написав более ни строки (за исключением разве своей подписи под бухгалтерскими ведомостями или письмами, клеймящими Солженицына), как богатый барин, даже на тот свет его проводят по первому или второму разряду на казенный счет, по графе “похоронные расходы”.

Делегация во главе с Соболевым истратила какой-то пустяк, несколько тысяч, по графе “организацион-

ная работа”. Сперва собрались в обкоме в узком кругу для распределения постов в Тульской организации. Мне предложили быть главой — ответственным секретарем, ставка 170 рублей в месяц и полное распоряжение по своему усмотрению всеми творческими командировками, всеми графами — до подарков на елку и похоронных расходов включительно.

Я уже говорил прошлый раз, как на предложение секретаря обкома завалить приглашениями или, наоборот, дать спокойно работать и как бы забыть о моем существовании огорчил его своим осторожным пожеланием второго. Поэтому здесь я тоже наотрез отказался от какого-либо, хотя бы микроскопического, поста. Это вызвало несказанную радость остальных, у них разрумянились лица, и они меня полюбили на много лет.

Обком утвердил расположение пяти писателей в новорожденном отделении Союза в следующей иерархии: Александр Лаврик — ответственный секретарь, Наталья Парыгина — заместитель ответсекретаря, Иван Панькин — уполномоченный Литфонда, то есть распорядитель материальных благ и кассир. Валентин Булгаков — ревизионная комиссия, проверяющая кассира. И Анатолий Кузнецов — я, член, то есть масса.

Был собран так называемый литературный актив Тулы и области, разные начинающие, пописывающие, газетчики и трудолюбивые графоманы, некоторые даже авторы книг о повышении надоев или исторических революционных событиях в Туле, выпускавшихся довольно обильно местным Тульским издательством вперемешку с плакатами-призывами перегнать Америку.

Обком предоставил просторный зал заседаний, который до отказа забили эти литературные силы, и на общем собрании единогласно избрали руководящий

состав союза, в точном соответствии с градацией, составленной накануне в обкоме. Все местные улыбались, заискивали и поздравляли новоизбранных, но про себя ненавидели их и за приезжими прочно и навсегда укрепили кличку “варяги”.

Они не без основания опасались, что новый союз теперь безраздельно наложит лапу на Тульское издательство, заберет на свои книги все лимиты бумаги и гононров, а их писания отодвинет в перспективный план. Никогда не забуду глаза главного редактора Тульского издательства Юдкевича, когда, еще в самый первый день — я еще был только один, — я зашел представиться, из вежливости, и сказал, что меня вот прислали жить в Туле. Его лицо побледнело и вытянулось, в глазах появился холод смерти. Уходя, я трижды поклялся себе ни строки никогда не предложить для печати в Туле.

На историческом собрании, однако, вдруг выяснилось, что забыли еще один пост. А стенгазета? Кто будет выпускать стенгазету в новом союзе? И тогда все начальники посмотрели на меня, и я, к своему отчаянию, был единогласно избран редактором стенгазеты.

Вы знаете, какое это приятное занятие. Я подумал, что если тут же молниеносно выпущу первый номер, то это зачтется и я смогу не выпускать следующего аж до 1 мая. Тут же в перерыве между заседаниями взял ватман, размахисто написал заголовок — то ли “Творчество”, то ли “Тульский литератор”, убейте, не помню, — проставил номер один — и заполнил все место просто шаржами и цитатами из произнесенных только что речей. Центральное место занимала карикатура следующего содержания.

Помня, как секретарь обкома жаловался, что до революции в Туле была большая литература, был Лев Тол-

стой, а после Толстого писателей нет, — я нарисовал грандиозную диаграмму. Слева очень низкий пункт, дата — 1910 год, количество писателей в Туле — один. Крутая головокружительная стрела вверх, дата — 1960 год, количество писателей — пять. Глава союза Лаврик с указкой в руке демонстрирует рост за пятьдесят лет.

Карикатура имела успех. Леонид Соболев увез свою делегацию в Москву, где они рассказали, как родился славный Тульский союз.

Пока история с разными вариациями, шлифуясь от рассказчика к рассказчику, дошла до Михаила Шолохова, в ней вместо не такой эффектной цифры “пять писателей” фигурировало уже, кажется, двадцать восемь.

На съездах партии во все времена, при всех генсеках Шолохов выступает от советской литературы с речью, пересыпаемой его так называемым “сочным” юмором и прибауточками. Это вносит разнообразие в свирепую казенщину, и осовелые делегаты ждут его речи, оживляются, охотно смеются и аплодируют, подмигивая друг другу: “Вот дает! Михаил Александрыч — этот уж покритикует, этот не пощадит...”

На XXIII съезде КПСС в числе прочего Шолохов использовал для своего конферанса и анекдот о росте числа писателей в Туле. Он выдал, “Правда” его речь напечатала.

Приехав в Лондон, я был удивлен: здесь этот анекдот знают. Встречаю людей из других стран, из Франции, из Америки — тоже знают. В руки далось это ускользающее и неуловимое: процесс рождения анекдота от самой первой искры, благодаря удачной случайности, что эту искру я-то сам, собственно, высек.

О нет, я не считаю себя автором анекдота. То была просто карикатура, из тех, над которыми улыбаются и

которые забываются. Я нарисовал в своей жизни тысячи карикатур, это было, как бы сказать, мое хобби. Ни я их не помню, ни кто-либо другой. Здесь нужно было, чтобы соль превратилась в законченный кристалл. Над шуткой, пусть не без яда, больше всех смеялся сам Лаврик, тульский ответсекретарь. В анекдоте же он хвастается бурным ростом числа писателей совершенно серьезно. Даже без необходимого увеличения цифры с пяти до двадцати с чем-то — анекдот еще не был бы готов. Это сделала шлифовка при пересказываниях, это то, что называют народным коллективным творчеством. Или в данном случае лучше сказать “массовым”, потому что несколько кощунственным было бы назвать литературные круги, шлифовавшие данный анекдот, народными.

Сплошным, перманентным анекдотом было не только рождение в Туле филиала СП, а и все его дальнейшее существование, как анекдотом вообще можно назвать весь Союз советских писателей. По отношению к подлинной литературе это даже не муха из крыловской басни: “Мы пахали”, это значительно хуже.

10 ноября 1973 г.

Растоптанные судьбы

Я уже давно убедился, что никакая писательская фантазия действительно не может соревноваться с жизнью по части выдумки. Когда-то я полагал, что это говорят для красного словца. В своих литературных ранних пробах старался изо всех сил выдумывать, иногда, может, получалось и оригинально, но подлинный успех у читателей всегда, и, пожалуй, даже без исключения, имело не то, что я выдумал, а то, что прямо, ни в чем не изменяя, описывал так, как оно произошло в жизни. Лучшие работы или куски из них у меня получались тогда, когда моя роль сводилась к двум простым вещам: увидеть и как можно ярче описать.

Впрочем, и то и другое не так легко, как может показаться, особенно второе — то есть ярко описать. У меня лично все мои профессиональные проблемы и трудности сводятся на 90 процентов именно к этому — к “обработке сырья” потому что это самое сырое жизнь непрерывно сыплет, как из рога изобилия.

Шла однажды как-то моя мать с базара, устала нести корзину и присела на скамью в скверике отдохнуть. На той же скамье сидела старая женщина с узелком, по-

видимому, ей было нехорошо, мать с ней заговорила, выяснила, что та простужена, что у нее нет ни жилья, ни близких, — привела к нам домой, накормила, и эта женщина жила у нас несколько дней.

Судьба ее весьма ординарна для советской действительности, но я тогда был буквально потрясен тем, что у нее нет паспорта и вообще ни единого документа — и никогда не было. Что она существует на этом свете *не зарегистрированная*, не учтенная среди нас, миллионов учтенных, формально не существующая.

Я был молод, а мать и эта женщина удивились, в свою очередь, моему удивлению: существует много, еще как много таких, неужели для меня это новость?

Я думал тогда, что, может, где-то в Индии еще такие вещи возможны, но чтобы в Советском Союзе... Фантастика, прямо какие-то современные мертвые души.

Давно, давно уже, во времена коллективизации и великого голода, эта душа была девушкой, дочкой в семье, объявленной кулацкой, посаженной в поезд и везомой куда-то на Север. На каком-то полустанке ей одной удалось из вагона сбежать. Больше она о своих не знает, хотя гораздо позже потом тайно бывала в родном селе, надеялась, что кто-нибудь вернулся, дал весть. Ничего.

Всю жизнь она кочует по людям — прислужой, нянькой, и ни разу милиция ее не засекла, и люди не выдали ее. Это же только подумать: и НКВД прочесывало, и война прошла, немцы приходили и уходили, и после войны четверть века — сколько на этой земле было проверок, облав, КПП, переписей — казалось бы, такими мелкими сетями сто раз была покрыта и перекрыта жизнь, а оказывается, абсолютно перекрыть нельзя. Выходит, так.

Не выдают ее, потому что она выгодна: денег не берет, служит только за кров и еду. С годами лишь все больше стали мучить болезни, а вот здесь без паспорта уже проблема: в поликлинику ведь не записаться. Она лечится травами. Сперва люди охотно ее берут: как же, такая выгодная и дешевая домработница. Потом начинают нервничать, опасаться, а пусть всего — что она у них в доме умрет. Тогда она ищет следующих.

Действительно, побыв у нас несколько дней, она через наших знакомых нашла себе новое пристанище и исчезла. А я тогда как-то не задумался и только сейчас, вспоминая ее, думаю: но ведь она таки где-то умрет. И что тогда делать с ее телом? Ведь и похоронить-то без сдачи паспорта или иных справок-документов невозможно. Или потихоньку заркоут где-нибудь в огороде? Наниматели ее не даром нервничали: возня с трупом, прямо уголовщина какая-то, еще такое может из этого получиться!..

Впрочем, почему я думаю? Ведь я же сам, своими глазами видел смерть подобной души. И как все это было просто, бог ты мой!

Мой покойный дед, Семерик Федор Власович, дожил до девяноста пяти лет, но в последние годы сознание у него было как у ребенка, и остались только спутанные обрывки наиболее ярких, ведущих черт характера. Так, он всю жизнь отчаянно бился за кусок хлеба, и его последние годы были отравлены ужасом, что он может умереть от голода. Он собирал корки, куски сахара, картошки, хранил в постели и под кроватью, временами делая ревизию, рассчитывая и деля. Потом ему пришла, ему казалось, совершенно спасительная мысль, и он заделался в нищие.

Дело в том, что целыми днями он сидел один: мать на работе, я на учебе, а он брал суму и отправлялся на базар или в церковь собирать милостыню. Из-за этого в доме были скандалы, мать кричала, что он ее позорит, люди подумают, что она не кормит несчастного старика. Давала ему деньги. Денежки-то дед хватал и прятал, а наутро, едва мать за калитку, он опасливо, проворно так семенит опять на промысел. Так он где-то нашел и привел в дом нищего старичка, которого мы прозвали Дедушка Слава Богу.

Это был совершенно уж бездомный и одинокий нищий дедушка, которого в жизни интересовало только одно: чекушечка. Если говорил правду, то тоже был кулаком и богато жил. Но ведь и наш дед ему тоже врал, что когда-то был очень богат. Говорил дедушка, что полжизни на Соловках просидел и выжил, слава Богу. И что он ничего у Бога не просит, живет, и слава Богу. Через каждые два-три слова у него было это, несколько радостно-изумленное: “Слава Богу”. Хлебца добрые люди подали — слава Богу! Лето пришло — слава Богу! Медячков насобирали, на чекушечку в гастроне хватили, слава Богу! Они с дедом подолгу рассуждали, спорили.

Дед считал, что все в мире плохо и идет к концу, как он выражался: “Ты посмотри, все рушится, все гниет и воняет!” На что старичок говорил: “Нет, Федор Власович, все еще хорошо, слава Богу!”, дед выходил из себя, кричал: “Ты дурак, ты ничего не понимаешь”. На что у старичка было всегда: “И слава Богу”. И поскольку старичку совсем негде было ночевать, дед милостиво позволил ему спать на деревянном сундучке, коротком, но старичок где-то подобрал доску, клал ее одним концом на сундук, другим на приступочку у печки и на

нее вытягивал ноги. Он недолго так роскошествовал. После одного спора дед так разозлился, что доску зло-вредно отобрал. Гость спал на сундуке скрючившись, ни капли не обидевшись: все слава Богу. Я так думал, что ведь это был, пожалуй, самый большой оптимист, какого только я видел в своей жизни.

На сундуке, так, скрючившись, он умер. Утром я услышал, как дед его тормошит: “Ну ты, вставай. Ты что, умер? А то я заявлю в милицию. Тьфу ты, умер!” Кряхтел, ворчал, взял клюку и пошел, по-видимому, действительно в милицию. Я быстро оделся, выглянул: старичок уже закоченел. Мать тогда всегда уходила на работу очень рано, затемно, ее не было. Я как-то растерялся. Совершенно не хотел иметь дела с милицией, пусть они сами разбираются — и выпшмыгнул из дома.

Дальше было так. Дед заявил, ему сказали, что придут, он вернулся первый, один. А за стенкой наши соседи, оказывается, слышали, как дед говорил: “Ты что, умер?” — и сосед тем временем пришел и снял со старичка ветхую шинель, в которой тот, перепоясавшись веревочкой, и ходил и спал. Дед явился и застал его на месте преступления, схватился за шинель, чтобы забрать себе, и они стали драться. Показался милиционер, сосед убежал, и шинель досталась деду. Дед показал об умершем: “Откуда я его знаю? Он пришел, он нищий, переночевать”. Этого оказалось вполне достаточно. Через полчаса милиционеры погрузили труп на телегу и увезли. Не думаю, чтобы они нашли на нем какие-нибудь документы. Так и я его помню: Дедушка Слава Богу, ни имени, ни фамилии.

Можете мне верить, можете нет, но посудите сами, можно ли это выдумать? Выдумать похлеще, чем выдумала действительность? Вот еще одна судьба, с кото-

рой я столкнулся случайно, сняв по объявлению комнату на Петровском бульваре в Москве. Платить надо было, по-моему, 45 рублей в месяц и вперед. Квартира была двухкомнатная, хозяйка жила в одной, другую сдавала. Я прожил недели две, пока не обнаружил удивленно, что в квартире проживает еще третье существо. Между ванной и кухней была крохотная кладовка, всегда закрытая. Однажды из нее послышался шорох, дверь открылась, и изможденная бледная какая-то женщина испуганно отшатнулась обратно, увидев меня. В кладовке, оказывается, помещался куций топчан, книги, горела слабенькая лампочка. Оторопело я сказал “здрасте”, но, пожалуй, еще неделя прошла, пока эта женщина перестала от меня прятаться. Нет, она жила законно и прописанная — более того, она была хозяйкина дочь. Год назад вернулась из заключения. Сидела за то, что была женой иностранца. Одно время, сразу после войны, были разрешены без всяких препятствий браки с иностранцами. Ей было восемнадцать лет, бегали с подружками на открытые вечера с кино и танцами в американское посольство (а американцы тогда были еще союзники по войне, великие друзья), влюбилась там в паренька — шофера посольства, и поженились. Он собирался ее увезти в Америку. Вдруг в одну ночь арестовывают всех русских жен иностранцев — и в лагеря. Мужья-иностранцы подняли шум, их немедленно повысылали, они протестовали, устраивали демонстрации перед советскими посольствами, потом понемногу все утихло. Только когда пришла пора хрущевских реабилитаций, этих несчастных женщин, кто, конечно, остался жив, выпустили, старых, с поломанными жизнями — этак ни за что ни про что. И реабилитировали.

Но в данном случае меня потрясла еще больше мать. Она, оказывается, была идейной коммунисткой и считала, что правительство правильно наказало ее дочь, даже не ожидала, что ее выпустят, и была ужасно недовольна, когда та явилась и пришлось восстановить ее прописку в квартире. Не верите? Повторяю: идейная и плюс еще жадная. Она же привыкла отдавать вторую комнату и от крупных денег не намерена была отказываться, поэтому позволила дочери жить только в кладовке — не то что без окошка, но хотя бы какой-нибудь дырки для вентиляции, так метра полтора в длину. Причем каждый день на нее шипела: “Чтоб ты сдохла! Когда ты сдохнешь!”

Я тогда, сам студент, уйдя из общежития, снял эту комнату, чтобы писать повесть “Продолжение легенды”. Сначала хорошо работалось, потом увидел, что живу среди какого-то кошмара. В четыре часа утра побросал рукописи и носки в чемодан и, хотя вперед было заплачено, выскочил из этой квартиры: сидел, ожидая первого троллейбуса, на скамеечке на Трубной площади и думал: вот о чем, должно быть, надо писать повести.

17 ноября 1973 г.

О насилии

Самым большим духовным потрясением последних дней было для меня прочтение статьи Солженицына “Мир и насилие”, опубликованной в норвежской газете “Афтенпосте”, перепечатанной во всем мире и вызвавшей много обсуждений. Я бы сказал, что она равна по своему значению таким, ставшим классическими, выступлениям писателей, как, скажем, “Я обвиняю” Золя или “Не могу молчать” Толстого. Имею в виду именно масштабность.

В статье, на мой взгляд, можно назвать истинно новой основную мысль Солженицына:

Движение “против войны” это далеко еще не все движение “за мир”. Противопоставление “мир — война” содержит логическую ошибку: целая теза противопоставляется *части* антитезы. Война есть массовое, густое, громкое, яркое, но далеко не единственное проявление никогда не прекращенного многоохватного мирового насилия. Противопоставление же логически равновесное и нравственно истинное есть: МИР — НАСИЛИЕ.

Вы знаете, как это бывает: кто-то скажет что-нибудь очень точно — и вы вскрикиваете: “Да, да! Я сам это давно чувствовал, только не умел выразить словами”. Одна из черт гения та, что он *умеет* выразить то, что другие, чувствуя, даже вплотную приближаясь, выразить не умеют.

Почему, почему были так противны мне, думаю я, все те многочисленные конгрессы в защиту мира, все эти движения борцов за мир, эти фотографии, где Александр Фадеев заседает рука об руку с патриархом в полном облачении, с крестом на груди. И настоятель Кентерберийского собора, и Бертран Расселл, и заслуженные кадровые энкавэдисты-кагэбисты в трогательном единодушии выпускают воркующего голубя Пикассо: “Летите, голуби, летите!..” Ведь святое дело! Миру — мир. Скандируем до хрипоты, выкладываем из выбеленных известкой камушков вдоль железных дорог. Вспоминаю: такая деталь была когда-то и у меня, грешного, в повести “Продолжение легенды”. Отыскал и вот процитирую, вызвав, вероятно, вашу улыбку, а ведь тогда это было на полном серьезе, в одна тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году, — мое описание Транссибирской магистрали:

Мелькают будки, разъезды, выложенные камнями звезды у верстовых столбов, иногда — лозунг “Миру — мир!”, “Братский привет китайскому народу”, “Догоним США по производству мяса и молока!”, и сотни путевых обходчиков в облаках поднятой поездом пыли протягивают нам вслед желтые флажки.

Вот он лежит передо мной, подлинный экземпляр тех лет, который я так, на память, прихватил с собой в че-

модане, уезжая в Лондон, страницы уже пожелтели. Стоп. Кидаюсь рыться в ящиках — ишу другой экземпляр, мой одноклассник, выпущенный ровно десять лет спустя, в 1967 году, тоже взял с собой в чемодан. Отыскиваю это место. Ага! Звучит вот как:

Мелькают будки, разъезды, выложенные камнями звезды у верстовых столбов, иногда — лозунг, что-нибудь вроде: “Догоним США по производству мяса и молока!”, и сотни путевых обходчиков в облаках поднятой поездом пыли протягивают нам вслед желтые флажки...

Но я не помню, просто не помню, чтобы я что-нибудь переделывал для этого одноклассника. Куда же делись лозунги “Миру — мир!” и “Братский привет китайскому народу”? Как интересно... если так пофантазировать, допустим, я бы по сегодняшний день оставался в Советском Союзе, вел бы себя хорошо, написал бы, значит, роман о Ленине или, на худой конец, о Красине, или Дзержинском, или Александре Матросове, подписался под посланием, клеймящим Сахарова, и вышло бы, пожалуй, уже минимум трехтомное собрание, куда “Продолжение легенды” должно было бы войти обязательно. И что тогда с этим местом? “Мелькают будки, разъезды, выложенные камнями звезды у верстовых столбов... и сотни путевых обходчиков...” Нет, ничего, даже ритм фразы совершенно не нарушается. Ну, это ладно — отступление.

Вот фантазия совершенно другого рода. Если бы, допустим на секунду, Гитлеру удалось осуществить свой план и образовалась бы некая гитлеровская евроафро-австрало-азиатская империя, поглотившая бы

(для оккупации и колонизации) такое количество арийских кадров, что уставший и объевшийся Гитлер заключил бы мир с оставшимся западным полушарием, отложив поглощение его на некоторое неопределенное время. Тут же бы, пожалуй, всплыла истина, что миру нужен мир. Пикассо или кто-нибудь другой нарисовал бы голубя. Люди такого типа, как Анджела Дэвис, Патриарх Всея Руси, доктор Геббельс или начальник Бабье-го Яра Пауль фон Радомский — очень важные люди, — единодушно воссели бы в президиуме Всемирного конгресса мира, а массы, надрываясь, скандировали бы на всех языках: “Мир”, “Мир”, “Миру — мир”. И уж можно не сомневаться, что и Нобелевская премия мира была бы присуждена тогда — кому?..

В сущности, ведь начальство любого концлагеря может со стопроцентной искренностью вешать лозунги “Мы за мир!”, “Мы против войны!”. Тысячу раз прав Солженицын! Противопоставление “война — мир” так же странно, как “ночь — сумерки”, “зима — заморозки”, “черное — серое”, “горячее — тепловатое”. Если на то пошло, то одним из самых миролюбивых явлений на свете следует признать тюрьмы. Тюрьмы между собой, кажется, и не воюют. Им главное, чтобы внутри в них сохранялся и порядок, и спокойствие, и мир — в общем, статус-кво. И, перефразируя известное стихотворение, если мы спросим у тишины, хотят ли — как заключенные, так и тюремщики — войны? — то, конечно же, нет. Не хотят.

Так мне становится понятным только теперь странное когда-то мне самому чувство антипатии ко всем тем упомянутым конгрессам и движениям сторонников мира. Мне, автору антивоенной до мозга костей книги, к примеру, “Бабий Яр”. По принятому в

СССР делению писателей часто называют “писатель сельской темы”, “писатель рабочей темы”. Я долго ходил в писателях “молодежной темы”, но после “Бабьего Яра” мне добавили титул писателя “антивоенной темы”. В 1968 году мне сообщили из Союза писателей, что я включен в число участников совещания писателей антивоенной темы в Ленинграде. В первый момент это показалось мне лестным, кроме того, давно нужно было по своим делам поехать в Ленинград — и я ответил, что буду. Потом с каждым днем мне становилось все противнее от мысли, что я поеду на это совещание. Я подумал: это потому, что мне противно брать командировочные, суточные, поселят там в люксах, будут банкеты, о-о, эти банкеты “писателей-гуманистов” за казенный, вернее народный, счет. Но я поехал в Ленинград на несколько дней раньше, сам по себе, остановился у знакомых, отказавшись таким образом от их материальных благ, и явился лишь к началу совещания.

Посмотрел на съехавшихся гуманистов, прочел пункты повестки дня, что-то вроде “Советские писатели в борьбе за мир” и так далее, — и вдруг почувствовал, что если останусь здесь еще пятнадцать минут, задохнусь, или со мной случится удар, не знаю, как это описать, но, очень сдерживая себя, отозвал в сторону руководителя совещания и сказал, что не могу участвовать, уезжаю. Первую секунду он смотрел изумленно, затем в глазах его появилась елейная ненависть, и он, многозначительно улыбаясь, сказал: “По-ни-маю”. Мне было все равно, я уехал. Сегодня я, вспоминая пораженно и, может быть, чуть-чуть облегченно, вижу причину.

А я все-таки не был писателем антивоенной темы. Вернее, тема “против войны” — это было у меня само

собой, как часть именно целого, более серьезного, чему война, как говорит Солженицын, “есть массовое густое, громкое, яркое, но далеко не единственное проявление”. Они ошиблись, сделав меня делегатом этого совещания: у меня ведь даже военных сцен нет в полном смысле, у меня ведь о том, как человека душат, душат, душат. Даже в обезглавленном цензурой тексте — это о том, как издеваются и душат, вот о чем это прежде всего.

Но я тогда не мог найти формулировку, я не умел. Судорожно листаю сейчас, отыскиваю ключевые места. Конец первой части, глава “Ночь”:

И я удивленно посмотрел вокруг, и с мира окончательно упали завесы, пыльные и серые. Я увидел, что... на свете нет ни ума, ни добра, ни здравого смысла — одно насилие. Кровь. Голод. Смерть.

Часть вторая:

Это такой ужас, когда умирает человек, даже самый старый, от болезни, естественно, нормально. Неужели этого естественного ужаса недостаточно, что люди изобретают все новые и новые способы искусственного делания смерти, устраивают все эти проклятые голоды, расстрелы, Бабы Яры?

В главе “Пять ночей и пять дней агонии”:

Я опять и опять, хоть убейте меня, не могу понять, почему на этой прекрасной, благословенной земле — с таким небом и таким солнцем, — в среде людей, одаренных умом, размышлением, не просто живот-

ных с инстинктами, но в среде мыслящих, понимающих людей возможно такое предельное идиотство, как война, диктатуры, терроры, все эти взаимные смертоубийства и садистские издевательства одних над другими?

Как мысль бьется вокруг одного, вокруг и около!..

Кончалась же книга словами: “Желаю вам мира”. Но, несмотря на такую правильность, точность, мне все время казалось, что в этой фразе — что-то не все. Я сделал потом так: “Желаю вам мира и свободы”. В таком виде и существует полное, западное, издание. И вот теперь Солженицын показывает логическую, вопиющую и всечеловеческую ошибку. Понятие “мир” — но ведь это и есть свобода от насилия, от насилия, в которое “война” входит только как одна из составляющих частей. Не знаю, как кого, а меня это побуждает не на шутку задуматься, и в первую очередь над своей собственной хромотой мышления, и, что куда важнее, — а сколько же еще нравственных ошибок мы, гордое, цивилизованное человечество, принимаем в простоте душевной за ясные, как день, аксиомы?

8 декабря 1973 г.

Сколько раз я умер?

Время от времени до меня доходят сведения, что я умер. Приехавшего в Советский Союз туриста из Англии вдруг кто-то из советских людей спрашивает шепотом, как и при каких обстоятельствах Анатолия Кузнецова убили агенты КГБ в Лондоне.

Находившиеся “в загранке” советские моряки спрашивали у одного моего приятеля, зачем американской разведке понадобилось убить Кузнецова. Он описал мне этот разговор во всех подробностях, они были поражены, что я, оказывается, жив, и тогда, обрадованно, передали мне горячий привет.

Выезжающие из СССР евреи тоже довольно часто спрашивают, при каких обстоятельствах я погиб; и я имею, если можно так выразиться, уже довольно внушительную коллекцию слухов, циркулировавших в самых разных городах Советского Союза, о моей смерти.

Довольно стереотипные, они раскладываются на следующие версии. Первая: агенты КГБ, как уже сказано, убили Кузнецова в Лондоне. Вторая: нет, наоборот, его убили американцы. Третья: убили сами англичане по политическим соображениям. Четвертая: уби-

ли просто бандиты, несчастная случайность. Пятая, кажется, самая количественно большая: погиб в автомобильной катастрофе. (Вероятно, здесь работают смутные отголоски автомобильной катастрофы, в которую попал в Италии Аркадий Белинков четыре года тому назад и вскоре после которой он действительно умер.) Ну и, наконец, самая кристальная, логичная, кому-то страстно желанная, по чьему-то мнению прямо-таки неотвратимая: Анатолий Кузнецов покончил с собой.

Иногда я так думаю, что среди массы сюрпризов, которыми щедро, как из рога изобилия, осыпала меня судьба, данный сюрприз (которого, кстати, я уж никак не ожидал и оказался к нему абсолютно не подготовленным), — данный сюрприз, пожалуй, особенно замечательный, утонченно-рафинированный, прямо-таки гурманский. Если бы это было раз-два, то можно было бы улыбнуться да и забыть. Но это повторяется с упорной систематической последовательностью чуть ли не с первого дня от моего выезда в Англию, вот уже пятый год. Знакомые и незнакомые люди считают долгом сообщать мне кажушиеся кому смешными, кому нелепыми, кому подозрительными слухи о моей смерти, так что, естественно, у меня накопилась и все растет эта оригинальная коллекция.

Это сегодня первый случай, что я решил немного о ней наконец поговорить, потому что, в конце концов, это довольно интересно. Вы поставьте себя на мое место: представьте, что вы все время узнаете, что вас убили или что вы покончили с собой, причем узнаете из месяца в месяц, из года в год, без конца. Что бы вы делали? Посмеивались? Игнорировали? Выступали с опровержениями? Коллекционировали?

Это несколько похоже на то, как если бы вы присутствовали на своих собственных похоронах, можете подглядеть реакцию близких и далеких, ревниво посчитать количество венков и восхищенно почитать надписи на них. Потрясенно увидеть, как те, кого вы считали неприятными и недоброжелательными к вам, вдруг с искренним горем кладут на вашу могилу цветы, а те, кого считали лучшими друзьями, торжественно забивают осиновый кол, и так далее.

Случай, по-моему, мне представился редкий, я сам по крайней мере наблюдаю его с интересом. При этом возникают естественные вопросы, на которые я не могу найти ответа. Почему именно я должен непременно умереть или покончить с собой? О других более или менее известных беглецах из СССР такие слухи, насколько мне известно, не циркулировали. О Тарсисе утвердилась версия, что он психически больной (в скобках: это неправда). О Светлане Аллилуевой — тоже, что она психически больная (тоже в скобках: абсолютная неправда). Об ученом Федосееве, об артистах Нурееве, Макаровой или Ашкенази даже и таких слухов не циркулировало, тем более о том, что их якобы убили или что они покончили с собой. Беря гораздо дальше, случаи, когда советская агентура действительно убивала политических противников, как, например, Троцкого, Бандеру, или когда кто-то действительно кончал с собой, как, например, Виктор Кравченко, я совершенно не могу припомнить, чтобы предварительно ходили какие-нибудь пророческие слухи об их смерти. Есть, однако, единственное исключение: Аркадий Белинков. Под конец 1969 года в Советском Союзе о нем пошли упорные слухи, что его убили. Они доходили до него самого, он их, как бы сказать, коллекциониро-

вал, как я сейчас свои, а потом вдруг нелепейшая и так и оставшаяся до конца непонятной автомобильная катастрофа, из которой он вышел хотя и весь переломанный, но живой, и все же последствия ее сыграли не последнюю роль, когда он вскоре умер в больнице от сердечного удара.

Что это — случайное совпадение, когда нелепые слухи вдруг взяли и оправдались? Вполне возможно. Очень может быть возможно. Но, согласитесь, какой-то крючочек сомнения все же зацепляется в сознании: почему упорные слухи о гибели циркулировали только об одном человеке, и, как на грех, именно о том, который вскоре действительно погиб?

Теперь, повторяю еще раз, поставьте себя на мое место. Вообразите, что эстафета нелепых слухов о смерти перешла аккурат на вас. При слабых нервах и некоторой вольности воображения можно, наверное, почувствовать себя персонажем детектива а-ля Агата Кристи. (Чтобы не оставить неясности, уточню, что я им себя не чувствую.) Свою коллекцию я собираю скорее с заинтересованностью филателиста или исследователя.

Но иногда при этом случаются такие обжигающие экспонаты, что ой-ой-ой. В качестве примера позволю себе описать только один из них.

В городке Киеве по-прежнему живет моя старенькая, наполовину ослепшая мать. Она совершенно одна. Конечно, посылаю ей посылки, письма, разные сувениры, но, главное, постановил отправлять ей по одной цветной открытке ежедневно, хотя бы с парой слов “жив-здоров”. Скрупулезно выполняю эту обязанность вот уж более четырех лет, так что у нее там скопились уже горы этих открыток, и к тому же еще все разные. Потому что на Западе к вашим услугам такое обилие от-

крыток с видами, сценками из жизни, цветами, стерео и так далее, что не хватит пяти жизней, чтобы их исчерпать. Читать буквы мать почти не может, картинки же смотреть может, и ей интересно. Особенно она любит рассматривать британскую королеву в разных нарядах, детей и пейзажи с видом на океан. Уверяю вас, посылать по открытке в день совершенно ничего не стоит, это становится просто рефлексом, открытки продаются на всех углах, почтовых ящиков — множество. А маме — все же веселее. Понимаю, что здесь поневоле я выгляжу как хвастающийся: мол, какой-де заботливый сын. На это замечу, что подлинно заботливый сын был бы сейчас при матери, присматривая ее старость, жалкие же посылки и открытки хоть каждый день — это крохи, к сожалению единственные, которые в моих силах.

Так что я все это объясняю лишь затем, чтоб было понятно дальнейшее. Однажды моя мать перестала получать открытки. Сначала ждала спокойно, потом начала волноваться. Вдруг к ней приходит домой совершенно незнакомая женщина и говорит примерно следующее: “Мария Федоровна, я пришла к вам с тяжелым известием, крепитесь, держитесь, бедненькая. Мой племянник работает в советском торгпредстве, приехал сейчас из Лондона и привез известие: ваш Толя покончил самоубийством, выстрелив в себя из револьвера”.

Можете представить, что было с матерью. Через несколько дней она послала письмо в Англию, как в никуда, “в самое главное министерство”, и я сейчас вам его процитирую, оно короткое:

Уже больше месяца нет от сына открыток. Ко мне приходила женщина и сказала, якобы ее племянник был в Лондоне и узнал, что мой сын застрелился...

Известий от него нет, это верно... Кто мне скажет, что с моим сыном?

Мать.

Письмо это, естественно, переслали мне.

Тут мать получила открытки — сразу за весь месяц. Похороненный, я для нее воскрес. Но довольно похожие визиты каких-то незнакомых дам с другими невероятными и жуткими известиями обо мне потом повторялись, не буду я уж их разбирать, но скажите только: как все это объяснить? Самодеятельная инициатива каких-то досужих идиотских баб? Или концевая часть, как это в СССР называется, идеологической *работы* чьей-то?..

Если на миг предположить, что последнее, то это не делает ему чести. Ну ладно, я ваш враг, называйте меня любыми нехорошими словами, делайте не знаю что, на то ваша служба, я понимаю. Но пасть до такой степени, придумать такой утонченный садизм — для кого? — полуслепой, одинокой, несчастной старушки, решительно ни в чем не виноватой, — это выходит за пределы моего понимания. Пока у меня нет неотразимых доказательств, что случаи с моей матерью не были случаями, а именно плановой акцией, я отказываюсь в это верить, как и не хочу верить в то, что вообще слухи о моей гибели или самоубийстве инспирируются, а не являются просто забавным зигзагом путей людской молвы...

Единственная посылка, единственно логичная: может быть, кто-то, какой-то бездарный философ в ведомстве товарища Андропова полагает, что подобными акциями враг будет нервирован, впадет в истерическое состояние, а там, гляди, враг и споткнется. Это не-

плохой метод по Остапу Бендеру — как он держал Корейко в постоянном напряжении: то нищий пристаёт: “Дай миллион!”, то телеграмма “Грузите апельсины бочками”. Но я, во-первых, не Корейко, а во-вторых, просто не решаюсь приписать себе такую честь: что, я до сих пор так важен и страшен?

Не верю. И лишь только на всякий случай могу напомнить, что в романе “Бабий Яр”, в главе “Сколько раз меня нужно расстрелять?”, я подсчитал, что к четырнадцати годам меня уже следовало расстрелять по существовавшим тогда законам минимум двадцать раз. После такой школы я уже как-то привык жить на этой земле преступником. При Сталине по существовавшим при нем законам меня тоже следовало расстрелять (я, например, написал тайно на него сатиру, порвал комсомольский билет и прочее). Сейчас на мне висят минимум десять лет концлагеря по ныне существующим законам за “измену родине”, или как там вы это квалифицируете? Из всего изложенного выше я, как писатель, могу извлечь довольно любопытный сюжет для новой главы “Сколько раз я умер?”. Гм... может быть, и напишу.

15 декабря 1973 г.

40-летие Литературного института

Не так давно отметил свой сорокалетний юбилей Литературный институт имени Горького при Союзе писателей СССР, расположенный в известном Доме Герцена на Тверском бульваре, 25.

Я узнал об этом из “Литературной газеты”, посвятившей этому событию довольно много места и фотографий, все это было полно обычной тенденциозной однобокости и пустозвонства.

Мне показалось нужным сделать хотя бы несколько комментариев.

Дело в том, что я учился в Литературном институте с 1954 по 1960 год, шесть лет, защитил в нем диплом, между прочим с отличием, похваляюсь. Моей дипломной работой была повесть “Продолжение легенды”. Что собой представляет Литературный институт, я, таким образом, знаю.

Это институт уникальный, в свое время он был организован Горьким как эксперимент, пожалуй, и за все сорок лет его существования среди литераторов не переставали соперничать две точки зрения. Одна — что такой институт абсолютно ни к чему, потому что на-

учить писать невозможно, что институт, готовящий писателей и поэтов, — просто абсурд. Другая — что институт не собирается готовить из кого-то писателя или поэта, но что он *помогает* таланту в образовании. Победила последняя. В дипломе, выдаваемом выпускнику, отнюдь не пишется “поэт” или “драматург”, а — очень расплывчатое, неопределенное: “литературный работник”, что предоставляет возможность быть кем угодно, от учителя сельской школы или корреспондента многотиражки до — теоретически — лауреата Нобелевской премии.

Правда, три советских гражданина, весьма разных, получивших Нобелевские премии по литературе, — Пастернак, Шолохов и Солженицын — Литературного института не кончали. Не кончали его многие ставшие известными советские литераторы, хотя бы, например, Андрей Вознесенский, учившийся в институте архитектурном. Мне понравилось напутственное слово замдиректора в первый день занятий на первом курсе: “Научить писать вас мы и не можем и не собираемся, но помочь вам отесаться и приобрести кое-какие знания — это в наших силах”.

Институт миниатюрный. На очное отделение ежегодно набирается только тридцать человек после рассмотрения конкурсной комиссией многих тысяч заявлений с приложенными литературными работами. Примерно половина из этих тридцати мест “забронирована” для “националов” из союзных республик и из стран Восточной Европы, которые вне конкурса командировются тамошними писательскими организациями, так что на оставшиеся мест пятнадцать отобрать подающие надежды таланты нетрудно. (Было бы, добавлю в скобках, если бы не... но об этом дальше.)

Всякий раз группа новопринятых получается до казуса разношерстная. Из далеких республик прибывают люди почти малограмотные, случайно или благодаря благу попавшие под разверстку, пишущие стихи типа “О, как прекрасен труд чабана во всенародном социалистическом соревновании!”. Те же десяток-полтора мест, которые предназначены для по-серьезному талантливых молодых, заполняются в разные времена очень по-разному. Критерий “подающий надежды” можно ведь толковать и так и так. В этом смысле человек, приложивший к своему заявлению в качестве образца своей работы, скажем, “Один день Ивана Денисовича”, не был бы принят в Литературный институт никогда, ни в какие времена. Вместо него место было бы занято тем, кто приложил бы “Секретаря обкома”.

Когда в Советском Союзе после смерти Сталина случилась оттепель, в Литературном институте тоже наступило очень осторожное потепление, и тогда почти парадоксальным образом, прямо чудом каким-то были приняты несколько десятков (в течение нескольких лет) действительно талантливых, по-настоящему многообещающих. Назову имена, которые потом стали известны каждому, кто всерьез интересовался литературой последних десяти-пятнадцати лет: Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Анатолий Гладилин, Юнна Мориц, Юрий Казаков, Лина Костенко, Геннадий Лисин-Айги, Леонид Завальнюк, Визма Белшевице. Я, например, всю жизнь буду считать, что мне очень повезло попасть в Литературный институт как раз в ту пору и со всеми ними учиться. Это был всего лишь проблеск между туч, три-пять лет, потом либеральность приемной комиссии кончилась, вернее, состав ее был изменен, и с конца 60-х годов по сегодня в Литин-

ститут опять принимают только потенциальных Кочетовых, Марковых или Ошаниных.

Либерализация тогда проявилась и в преподавании. В 1954 году мы начинали изучать историю по сталинскому “Краткому курсу истории ВКП(б)”, но к концу моей учебы он куда-то тихо и незаметно исчез. Языкознание мы проходили сперва только по гениальным трудам товарища Сталина в этой области, но под конец не только эти труды, но само имя Сталина исчезло из употребления. Мы, как гоголевские бурсаки, долбили наизусть евангелие советской литературы: статью Ленина “Партийная организация и партийная литература”, но и у учителей и у долбящих была при этом ирония в глазах. С иронией же в глазах профессора так разъясняли бездонную мудрость другой основополагающей статьи Ленина “Лев Толстой, как зеркало русской революции”, что у меня, например, на всю жизнь осталось к ней чувство грустной безразличности.

Другой способ, который мы раскусили не сразу, но, раскусив, приняли восторженно-изумленно: был такой преподаватель, отчаянно кричавший то, что как раз было вздором. Схематически это можно передать так. Он говорил: “Классическая русская литература до революции дала непревзойденные образцы, *но советская литература превзошла ее*. Толстой, Достоевский, Чехов достигли вершин мировой литературы, *но метод социалистического реализма — выше!!!*” И так далее. И наконец, третьи не мудрствуя лукаво призывали нас усваивать творческое наследие классиков, упирая на слова “мастерство”, “мастерство”. Всем этим людям, которые сквозь какофонию официозного треска лозунгов и лжи неизвестно зачем, просто, вероятно, в силу совести, ухитрились давать нам понять что-то, мой бу-

дет вечный поклон. Некоторые из них ныне глубокие старики, другие умерли. Их труд и их риск не пропали. Такая была, значит, одно время в Литинституте либерализация.

Я задумываюсь над этим явлением одновременно тогда появления сразу многих ярких талантов, едва лишь чуть-чуть дохнуло оттепелью. Явились сразу, как подснежники из-под снега. Последовавший новый мороз и трамбовка катками всех их задавили; но, оказывается, земля все-таки не промерзла насквозь, силы в ней есть, и семена в ней сохраняются. Случись весна — о, как они взойдут.

Сегодняшний Литературный институт в разгаре жизни не следует рассматривать всерьез. Это обыкновенное партийно-политическое учебное заведение с литераторским уклоном, готовящее литпропагандистов и ремесленников, они поставляют тот суррогат, который в советских журналах и издательствах занимает место художественной литературы в подлинном понимании этого слова.

Те случайные, как выяснилось, исключения получили все, как один, весьма тяжелую судьбу. Великолепная поэтесса Юнна Мориц, по последним известным мне сведениям, находится в сумасшедшем доме. Замечательный прозаик, в традициях Тургенева, Чехова, ученик Паустовского Юрий Казаков не принимается к печати уже много лет и как бы исчез. Геннадия Лисина-Айги знает только Запад, на родине его совершенно не печатают, он живет в свирепой нужде и затравлен. Визма Белшевице пыталась покончить с собой. Белла Ахмадулина, устав от травли, насколько я знаю, ушла в личное, ушла куда-то — как она уходила на лекциях политекономии, подперев щеку кулаком, отрешенно гля-

дя в окно и даже, кажется, не слыша, как профессор, надрываясь, кричит цитаты из Маркса и Энгельса.

У Анатолия Гладилина накопилось целое собрание отвергнутых сочинений, которые он зачем-то безнадежно продолжал писать, писать... Он живет в нищете, жена его сошла с ума, в довершение всего недавно, когда на Запад попала его книга “Прогноз на завтра”, его заставили казенно, пошло протестовать. Самая талантливая украинская поэтесса Лина Костенко, когда я последний раз побывал у нее еще в 1969 году, имела стол, заваленный неопубликованными рукописями, показывала гранки рассыпанной и невышедшей книги, после которой ни одна работа ее уже к набору не допускалась. Окруженная слежкой, с подслушивающими микрофонами в квартире, допрашиваемая в КГБ, она производила впечатление человека, дошедшего до последней степени нервного истощения. Это было тогда. Что с ней сейчас — не знаю, ибо из Киева о ней не проникает больше ни звука. Это — судьбы лучших, на мой взгляд, студентов Литинститута, старавшихся хотя бы больше или меньше сохранить честность и человечность.

Но самой кривой и мрачной судьбой я бы назвал судьбу Евтушенко. Я знал его семнадцать лет, еще с тех пор, когда он был тихим, никому не известным, застенчивым студентом 1-го курса. Он очень изменился, он кончил цинизмом. Евтушенко сейчас в больших чинах, облагодетельствован дачей в Переделкине, совершает турне по свету, пишет поэму о Матросове. Жаль. Когда-то это был самый талантливый из всех студентов; он действительно подавал надежды огромные, отнюдь не дутые, как некоторые теперь думают. Я не буду о нем говорить подробнее, у меня осталась паутинка надеж-

ды, что, может быть, когда-нибудь он сам это сделает; лучше, чем кто-либо другой. А просто я пытался напомнить о довольно трагических судьбах тех немногочисленных действительно талантливых людей, которые одно время действительно оказались в стенах Литературного института и о которых на юбилейных торжествах и в статьях “Литературной газеты” как раз-то и не было сказано ни слова.

22 декабря 1973 г.

Им неинтересно

В своей книге “Только один год” Светлана Аллилуева описывает сцену приема у одного из секретарей ЦК КПСС, Суслова. По распространенному на Западе мнению, Суслов считается главным идеологом советской коммунистической партии, следовательно — и страны.

Аллилуева просила разрешить ей поехать в Индию. Ее муж, индеец, коммунист Сингх, был тяжело и почти безнадежно болен, и в качестве, пожалуй, последней попытки спасти его она хотела свозить его на родину, где климат, может, оживил бы его или, наконец, просто “дым отечества”... На свою просьбу она тогда получила отказ: не пустили в поездку за границу.

Здесь никак нельзя не акцентировать того, что речь шла даже не о просто поездке, а поездке по делу, и если так подумать, то по делу, важнее которого, собственно, на земле нет: с целью попытаться спасти человеческую жизнь. Суслов в такой попытке отказал, Сингх вскоре умер. Но в данной беседе не будет речи о моральном, вообще о гуманистическом аспекте этого дела. Я хотел бы изложить несколько замечаний совсем о другом.

Меня потрясла заключительная фраза Суслова, когда беседа была уже официально закончена, отказ, и безапелляционный, состоялся и добавлять что-либо формально нужды не было. Это были слова уже просто так, после подведения черты, можно сказать кулуарные и искренние. Я процитирую запись Светланы Аллилуевой:

“Что вас так тянет за границу? — спросил он напоследок, как будто я просила пустить меня в туристское турне. — Вот вся моя семья и мои дети не ездят за рубеж и даже не хотят! Неинтересно!” — произнес он с гордостью за патриотизм своих близких.

Не знаю, как вам кажется, но мне думается, что данная фраза должна войти в историю. В качестве одного из ключей к пониманию советской действительности одна она может открыть больше, чем том политических или экономических разборов и выкладок.

Вообразим себе следующую ситуацию. В городе Берлине по две стороны от знаменитой Берлинской стены родились в двух одинаковых домах, в двух одинаковых семьях два одинаковых младенца. Дома стоят на расстоянии каких-нибудь сотен метров один от другого; географически — разница ноль градусов ноль минут, какая-то доля секунды.

И какая огромная, диаметральная, непроходимая разница в правах, возможностях, судьбе этих двух людских существ исключительно в силу того факта, что один появился на свет в одной точке земной поверхности, а другой — чуть-чуть правее.

Первый подрастет, и ему, допустим, захочется — и безусловно ведь захочется! — походить по свету, погля-

деть, что где и как оно делается. Охота к перемене мест, обследование окрестностей ближних и дальних, подыскивание для жизни наиболее приемлемого места — это закон природы для всего живущего, такая же естественная потребность всякого живого существа, как дышать, есть, пить, размножаться. Это *обязательной* частью входит в само понятие “жить”. Одному существу вполне достаточно передвижений небольших, другому требуются перемещения глобального порядка. Потребность здорового полноценного человека в передвижениях вообще безгранична. Происходили великие переселения народов, неисчислимое множество наиболее подвижных и любознательных Марко Поло, Миклухо-Маклаев, Магелланов, Пржевальских расширяли границы познанного.

И вот в свете этого наши два человеческих существа, родившиеся по разные стороны от какой-то нелепой стены, захотят тоже подвигаться. Один это сделает без особого труда; может, его занесет на другую сторону земного шара; может, он захочет посмотреть, что делается по другую сторону стены, — выполнив, правда, кучу разных досадных формальностей, он и это сделает.

Во-первых, это просто интересно. Во-вторых, а вдруг он найдет место, лично ему более симпатичное, чем дом под стеной, — он возьмет да и останется там жить. А потом поживет, вдруг увидит, что ошибся, переедет в другое место. Или увидит, что “всюду хорошо, а дома лучше”, — и вернется домой. Пожалуйста, все это в порядке вещей.

Его двойник, родившийся на пару сот метров правее, подрастет и обнаружит, что для всех его безграничных потребностей передвижения отведен вот такусенький пяточок “от сих до сих”, огороженный колю-

чими проволоками под высоковольтным напряжением, вспаханными полосами, минными полями. Сотни тысяч вооруженных до зубов охранников и сторожевых собак заняты единственно одним: “Не пущать!” Чего не пущать? Проявления закона жизни, естественной потребности, инстинкта. Не прихоти, нет, отнюдь нет — инстинкта. Это точно так же, как, скажем, запретить разговаривать. Поставить через каждые десять метров стража, и кто скажет слово — стрелять!

При таком нелепом положении живому нормальному существу остается одно из трех. Первое: послушная неподвижность до гроба, с воспаленным и щемящим до звериного воя, подавленным инстинктом. Второе: если этот инстинкт особенно велик — то смерть (в конце концов, есть же звери, которые в неволе жить не могут, умирают; нередко кончают с собой и узники в тюрьме). Третье: бежать. Любой ценой, любым путем. Одному удастся получить позволение на кратковременную вылазку за стену, он там, бывает, остается, другой бежит напролом. Большое число застреленных или искалеченных при попытке перейти Берлинскую стену — это ведь все *восточные* люди, не западные. Факт настолько очевидный и настолько не укладывающийся ни в какое понимание, что одного его, этого единственного факта, было бы достаточно для заключения, что здесь происходит что-то ненормальное, какая-то беда.

Пришельцы из другой звездной системы, угоразди их приземлиться аккурат на какой-нибудь социалистической пограничной полосе, увидя первым делом такой факт, переглянулись бы между собой и сказали: “А на этой-то планете разумной жизни пока нет, они еще в стадии дикости”.

И на богатом дикарском приеме у восточного короля пришельцев бы не удовлетворил ответ: “Наши людишки дураки, они не понимают, что родились в самом счастливом месте, потому пришлось построить забор и тратить, к несчастью, бешеные средства, чтобы подстреливать тех, кто бежит”.

На это ведь есть по-детски простое возражение: “Коль так, то не лучше ли им позволить убедиться на собственном опыте? Да вы их пустите, пускай себе идут, помыкаются, хлебнут горя, убедятся, что действительно были дураки, — и вернутся. Если правда, что у вас так хорошо. Зато, вернувшись, они будут вас вдвойне уважать, а не ненавидеть, как теперь. И бешеных средств тратить не надо, на эти средства лучше бы дома, там, или гостиницы построили, миллионы сторожей-дармоедов лучше бы сеяли хлеб или делали водопроводные краны; мясом, которое жрут сторожевые собаки, лучше накормить детей”.

Что бы на это ответил восточный король? Ну как вы думаете, что тут умному, нормальному, мудрому человеку ответить? А вот что он ответил: “Да что вы ко мне прицепились? Что вас так тянет за границу? Вот вся моя семья и мои дети не ездят за рубеж и даже не хотят! Неинтересно!”

Вот что, оказывается. Главному идеологу 250-миллионного народа “неинтересно”. Видимо, он начисто лишен одного из кардинальнейших людских инстинктов. Его в таком случае обидела судьба. Ему ведь в самом деле, ему искренне “неинтересно”. И он не может вообразить, что кому-то это почему-то интересно. Ну и, естественно, он делает логичный вывод: если уж ему, такому умному, самому главному идеологу, неинтересно, то другим уж и подавно должно быть неинте-

ресно. А у кого интерес есть — то это грех, нарушение, преступление.

Ничто не ново под луной. Было в истории много обиженных богом фанатиков, дорвавшихся до власти, которым было “неинтересно” то или это, а потому оно объявлялось запретным. Главным идеологам Средневековья были неинтересны мирские радости, развлечения, танцы, сжигали на кострах разных Эсмеральд как ведьм, а скоморохам вырывали языки. Одному чудаку недавно неинтересны были поиски в живописи и, посмотрев картины, которые были непохожи на те, понимать которые он научился по картинкам в начальной школе, он очень лаялся матом и обзывал почему-то художников “педерастами”, после чего просто взял да запретил рисовать то, что ему “неинтересно”. Это было в его власти, потому что тогда ОН был главным идеологом 250-миллионной страны. Самое печальное, что он был искренен, да, искренен. Он так искренне, так по-детски крепко верил, что он — умнее всех на этой земле.

Это была его ошибка. Не он был самый умный на Земле. Самый умный человек всех времен, всех народов всей истории человечества знаете кто? Мао Цзэдун. Не верите? А вы поезжайте в Пекин, спросите. Да, впрочем, я забыл, что вам ездить неинтересно. Когда никуда не движешься, ни с чем не сравниваешь, то так здорово, так убедительно, так неопровержимо становится ясно, что ты умнее всех, твой огород лучше всех, а твой дом и есть центропуп Вселенной, которая вокруг него оборачивается.

Не без внутреннего содрогания, но вполне логично я думаю следующее: ну хорошо, а что, если, не дай бог, главным идеологом человечества когда-нибудь

оказался бы человек импотентный, которому не то что там путешествовать неинтересно, а неинтересно — любить? Или слепой и ему неинтересно — смотреть? Или глухой и ему неинтересно слышать? Или неинтересно — черт возьми, ну, купаться? Ревматизм у него будет, радикулит, водобоязнь. Тогда, видимо, пограничников поставят на пляжи, на берега рек, морей и прочих водоемов? Это отнюдь не дикая фантазия. Если за границу путешествовать неинтересно, то почему в море купаться интересно? Почему для входа на пляж до сих пор не нужны визы, заседания специальных купально-выездных комиссий, специальные паспорта, анкеты с фотографией и так далее, и так далее. Предлагаю такие вопросы тем, кому еще не совсем НЕИНТЕРЕСНО мыслить.

29 декабря 1973 г.

Крылатые слова

Эту беседу я хотел бы начать чем-то вроде игры в загадки. Я буду читать цитаты из разных, совершенно случайно подвернувшихся печатных изданий, а вы попытайтесь определить — не сам источник, куда уж там, книг на свете миллиарды, — но хотя бы примерную область, хотя бы приблизительную тематику того печатного издания, откуда эта цитата взята.

Например, если я прочту: “В начале сотворил Бог небо и землю”, то, я думаю, даже самый неграмотный человек, даже ребенок скажет, по меньшей мере, что это — из какой-то книги религиозной, по-видимому. Правильно. Добавлю только по секрету, что это — первые слова Библии. Теперь начнем.

Вот такая цитата: “Жить стало лучше, жить стало веселее”. Тут нечего и гадать, это товарищ Сталин, как раз в тот период, когда расстрелы стали обычной повседневностью, от голода умерло 7 миллионов, в концлагеря было посажено 15 миллионов человек. Пожилые люди не дадут мне соврать: тогда эти крылатые слова звучали на всех перекрестках, и надо признаться, это все-таки лихо было сказано.

Теперь загадка чуть потруднее. Читаю: “Я хотел бы обнять своей любовью все человечество, согреть его и очистить от грязи современной жизни...” Кто бы это мог сказать? Очень хороший человек, Феликс Эдмундович Дзержинский, Железный Феликс, первый глава и основатель того учреждения, которое последовательно называлось ЧК, ГПУ, НКВД, а сегодня КГБ. Прекрасной Мечте Дзержинского не суждено было полностью осуществиться: он умер, так и не успев обнять своей любовью *все* человечество, но некоторую часть его, вы знаете, он все-таки обнял — и довольно-таки основательно согрел. Почему эти замечательные слова не высечены на пьедестале памятника Дзержинскому на Лубянке или хотя бы уж над воротами Лефортовской тюрьмы, что ли? Позвольте, я повторю для лучшего усвоения эту цитату, в которой все сказано так от сердца, что прямо из каждого слова каплет кровь: “Я ХОТЕЛ БЫ ОБНЯТЬ СВОЕЙ ЛЮБОВЬЮ ВСЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, СОГРЕТЬ ЕГО И ОЧИСТИТЬ ОТ ГЯЗИ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ” (Ф. Дзержинский, “Дневник и письма к родным”, издание 1958 г., Москва, стр. 126).

Теперь, после цитаты высокой и святой, я хочу привести мысль крамольную. “Наука и искусство могут добиться полного расцвета только при самой широчайшей свободе личности и свободе общества”. Полагаю, что если это написать на куске картона, выйти и усесться с ним, скажем, на ступенях Лобного места на Красной площади, то через пять минут вы уже будете в приемной отделения милиции. Но высказывание это принадлежит отнюдь не НТС или каким-то злобным агентам империализма, а опубликовано в газете “Правда” от 22 сентября 1969 года за подписью первого секретаря ЦК КПСС. Здесь, я полагаю, вы этого совсем не угадали, как не уга-

дали бы и работники милиции. А стыдно. Зато следующие выдержки — и по стилю и по мыслям — не представляют ни малейшей трудности. Читаю. Откуда это?

“С каждым днем богаче и краше становится жизнь нашей цветущей Родины, идущей в авангарде передового человечества в великой борьбе за мир и безопасность всех народов”, “постоянное повышение благосостояния трудящихся является одной из основных задач коммунистической партии и советского правительства”, “все советские люди повседневно ощущают эту работу в непрерывно растущем экономическом могуществе нашей страны”.

Ну как, уже угадали? Если нет, я еще прочту: “Империализм, как высшая стадия капитализма, принес с собой дальнейшее невиданное обнищание трудящихся всех капиталистических стран и огромные лишения для колониальных и зависимых народов. В широко известной работе “Положение рабочего класса в Англии”, вышедшей в свет в 1845 г., Ф. Энгельс так описывал...” Ну все, вы уже угадали. Это конечно же из поваренной книги, вернее “Книги о вкусной и здоровой пище” издания Министерства пищевой промышленности СССР, страницы 9–11, а еще, раз уж зашла речь, я рекомендую оттуда замечательный, простой рецепт на стр. 55 “Анчоусы с картофелем” или на той же странице “Икру кетовую и зернистую надо подавать в небольших салатниках или вазочках... украсить ветками зелени петрушки, гарнировать лимоном, нарезанным дольками, и отдельно подать сливочное масло. К икре подают маленькие расстегаи с начинкой из вязиги”. То есть, как я понял, грубо хлебать икру ложками прямо из бочек да заедать еще огромными расстегаями из вязиги — неприлично... О, там еще есть авокадо, стерляди, крабы,

ананасы, рябчики, гречневая каша!!! Сто разных блюд из рыбы!!! Удивительно, как это цензура пропустила?

Но беру с полки стоящую рядом более безобидную, совсем уж хорошую, несомненно полезную книгу и предлагаю узнать ее по следующим выдержкам:

Советская система... решает задачу всестороннего развития человека. Этому требуют интересы общественного прогресса, строительства нового, коммунистического общества, в котором люди должны гармонически сочетать духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Неуклонное повышение материального благосостояния народа, бурный рост всех отраслей культуры, совершенствование системы воспитания обеспечивают в социалистическом обществе небывалые условия для улучшения...

Ну и так далее. Нет, это не из другой поваренной книги, это из “Популярной медицинской энциклопедии” — статья о полезности физкультуры.

Чтобы облегчить вам разгадку следующую, наперед объявлю, что прочту выдержки из учебника для 7 класса, так что вопрос только в том, по какому предмету учебник:

В нашей стране под руководством Коммунистической партии построено социалистическое общество. СССР — первая в мире страна социализма... Мы выступаем против войны, за сохранение прочного мира во всем мире. У всех народов нашей страны одна цель — построить коммунистическое общество, приумножать славу и счастье советского народа, укреплять могущество социалистического государства.

Да. Вы угадали. Это — из учебника географии под редакцией К.Ф. Строева, издание 4-е, Москва, Учпедгиз. Неисповедимыми путями попал он в Лондон на барахолку, и я купил его для пополнения образования, но язык оказался довольно труден, вот, например:

Советский Союз — страна социалистического, самого крупного механизированного сельского хозяйства, которое имеет большие достижения в производстве зерновых и технических культур и в развитии животноводства. Создание наряду с могучей промышленностью процветающего, всесторонне развитого и высокопродуктивного сельского хозяйства — обязательное условие построения коммунизма.

Приходится по два раза перечитывать, чтобы понять, создание чего наряду с чем при каких достижениях в чем является условием построения неизвестно говоря чего? Бедные дети.

Так. Поваренную книгу мы уже узнали, о медицине тоже, география — значит, вот она, теперь для разнообразия — глубокая старина:

Ай тут старой-от казак да Илья Муромец, / Он скорешенько садился на добра коня, / Ай он вез-то Соловья да во чисто поле, / Говорил Илья да таковы слова: / — Тебе полно-тко свистать да по-соловьему.

Русские народные былины. Илья Муромец и Соловей-Разбойник. Скажи я, что это, допустим, из учебника по истории, вы поднимете меня на смех. Но погодите, я прочту другую выдержку:

Мы, советские люди, гордимся своей могучей отчизной. Нам бесконечно дорого и близко творимое нами настоящее, мы верим в свое светлое будущее, для нас дорого наше прошлое... Наш великий учитель Владимир Ильич Ленин завещал нам: “Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память...” (и прочее).

Откуда эта цитата, как вы думаете? Не стоит ломать голову, это из той же самой книги “Русские народные былины” — это комментарии к Илье Муромцу. Вот так.

Моя тема неисчерпаема. Советский язык и советские крылатые слова, возможно, дождутся еще своих исследователей. Мне же хотелось бы под конец прочесть что-нибудь хорошее. Вот — о любви.

...Любовь

Умна, как Сфинкс, чудесно-гармонична,
Как лира Аполлона. Чуть любовь
Заговорит, все боги начинают
Гармонией баюкать небеса.
На всей земле не встретите поэта,
Дерзнувшего приняться за перо,
Не обмакнув его сперва в прекрасных
Слезях любви¹.

Это написал Шекспир. Другой поэт, обмакнув перо в прекрасных слезях любви ли, или не знаю в чем, дерзнул и написал о любви куда поглубже:

1 Уильям Шекспир. “Бесплодные усилия любви”. Перевод П.И. Вейнберга.

В половой жизни проявляется не только данное природой, но и привнесенное культурой, будь оно возвышенно или низко. Энгельс в “Происхождении семьи” указал на то, как важно, чтобы половая любовь развилась и утончилась. Отношения между полами не являются просто выражением игры между общественной экономикой и физической потребностью. Было бы не марксизмом, а рационализмом стремиться свести непосредственно к экономическому базису общества изменение этих отношений самих по себе, выделенных из общей связи их со всей идеологией.

Конец цитаты. Это — высказывание Ленина. Надежда Константиновна Крупская перевела ее на более доступный язык:

Любовь надо понимать не только как удовлетворение здорового полового инстинкта. Необходимо, чтобы это чувство... связывалось с идейной близостью, со стремлением к единой цели, с борьбой за общее дело.

(Это цитата по советской книге “Мысли и изречения”, раздел “О любви”, стр. 266–268.) Вы обратите внимание, какой прогресс со времен Шекспира. Как говорится, “подумать только, до чего наука дошла”. А до чего еще дойдет! В 14-м томе сочинений Ленина на странице 268 читаем следующую крылатую мысль: “Ум человеческий открыл много диковинного в природе и откроет еще больше...”

Да, по-видимому, много, много диковинного нам предстоит еще увидеть.

26 января 1974 г.

Занимательная география

Беседа 1

В Лондоне не существуют киоски “Справочное бюро”. Да, вот эти самые киоски “Мосгорсправка”, “Ленгорсправка” и так далее, без которых немислим ни один современный советский город. Можете пройти Лондон вдоль и поперек и не найдете ни одной будки какой-нибудь “Лондонсправки”, хотя можете себе представить, что такое Лондон и как в нем трудно сориентироваться приезжему.

На вокзалах, в аэропортах, там, конечно, есть бюро информации о поездах, самолетах, билетах и тому подобном, но я говорю именно об этих универсальных, всезнающих справочных бюро, которые на 80 процентов, в общем-то, выдают справки, как отыскать нужную улицу. Еще в них же вы можете попытаться получить адрес или телефон живущего в городе человека — при условии точного указания фамилии, имени, отчества, года рождения и места рождения его. Подав заказ и заплатив, вы лучше отправляйтесь по магазинам, потому что работница в будке в свою очередь будет звонить куда-то и делать *там* заказ, а потом уж через какое-то изрядное время придет или не придет ответ. Никому это

не кажется странным: это же нелегкое дело — найти человека в современном многомиллионном городе. Представьте, нет ничего проще.

Расскажите об этом западному человеку — он недоуменно спросит сразу же: а почему вы не зашли, собственно, в телефонную будку? В первую попавшуюся будку, где рядом с телефоном-автоматом, вот в Лондоне в особых таких откидывающихся футлярах есть обязательно, как само собой разумеющееся, как нечто, без чего телефон-автомат вообще немыслим, — толстеннейшие четыре книги — адресно-телефонные книги Лондона плюс еще разные приложения, где более чем на трех тысячах страниц мельчайшим шрифтом напечатано все, ну все от “А” до “Z” — и люди, и магазины, и заводы, и тюрьмы. Да, только нужно знать, что “тюрьма” по-английски не на букву “Т”, а на букву “П”: “Призон” по-английски не на букву “Т”, а на букву “П”. Вот открываете третий том с буквы “П”, какая тюрьма вас интересует — Брикстонская? Холловейская? Пентонвилльская? — на странице 662 третьего тома идут “Тюрьмы Ее Королевского Величества”, эти самые “Призонс”, вы набираете номер и спрашиваете, как там себя чувствует ваш знакомый.

Тут же, без всякого перехода, тем же шрифтом идут адреса и телефоны людей, которым досталось иметь фамилии на “ПР”: мистер Призонт, миссис Призз, четверо Пристонов, две пристонских булочных и далее 268 человек по фамилии Причард. Таким образом, в любой будке за углом вы имеете весь лондонский адресный стол, и ждать не надо, подавать заказ не надо и платить не надо. Книги эти с педантичной регулярностью обновляются и перепечатываются ежегодно, являются бесплатными, периодически развозятся и подкла-

дываются под все двери всех квартир и учреждений Лондона, по одному следующему тому. Утром открываете так дверь — лежит книга на пороге, пришла пора, значит, сменить этот самый третий том с буквами от “L” до “R” на более свежий. Смотрим. Тюрьмы на месте? На месте. Причардов стало 269 — первое время я от этого прямо, прямо скажу, балдел. А со старыми книгами что делать? Выбрасывать? Неужто? Тома эти, собственно, по размеру больше томов Большой советской энциклопедии. Но еще раз подчеркиваю: бесплатно, развозятся под все двери, всем жителям, нужно им это или не нужно, не спрашивая. То есть все это делается на средства из каких-то там всеобщих налогов, но конкретно является бесплатным, как бесплатно медицинское обслуживание, бесплатно тушение пожара у вас в доме, спасение утопающих или бесплатно пользование лавочками в скверах и парках.

И вот признаюсь честно: я не мог, я не мог выбрасывать в мусор эти старые, такие толстые, красивые книги, я их копил. У меня все перепуталось, старые и новые, под телефонным столиком высилась гора этих кирпичей, и один знакомый лондонец однажды удивленно спросил, зачем мне это нужно. Я попытался объяснить. Он, наморщив лоб, попытался понять. Потом глубокомысленно заметил, что у меня это, вероятно, пройдет.

Прошло. Сегодня у меня под телефоном лежат четыре свежих тома плюс приложения.

Ну хорошо, это с адресами или телефонами. Но как же пройти по Лондону? Шлеп на прилавок две копейки: “Девушка, как попасть в Савельевский переулок, пожалуйста?” Нет такой девушки. Есть, на худой конец, полицейский — бобби, который, впрочем, так

пространно объяснит все на свете, что, кажется, всю жизнь ждал момента, чтобы кто-нибудь у него что-нибудь наконец спросил. Но это на худой конец. А на хороший — ну, на любом углу, в газетно-журнальном киоске купите карту, естественно. С покупки карты и путеводителей начинается свой первый шаг цивилизованный человек в любом цивилизованном месте. На картах Лондона вы найдете распоследний тупичок (по алфавитному указателю), всю паутину метро, школы и церкви, музеи и базары, Букингемский дворец и колонну адмирала Нельсона, вплоть до точного указания месторасположения всех городских общественных туалетов, что, согласитесь, в иные моменты жизни бывает и нужнее расположения колонны Нельсона.

Опять признаюсь и опять не смогу определить это иначе, как все тем же жаргонным словом: я балдел от английских карт. Это не карты, это поэмы. От всеобъемлющих атласов-энциклопедий, причем с разным уклоном: для автомобилистов одни, где особо будут выделены и расклассифицированы дороги с указанием ширины и даже покрытий, а железные дороги будут отмечены лишь незначительной паутинкой, так, для проформы. Для неавтомобилистов — другие, где, наоборот, ярко показаны железные дороги, аэропорты, пристани, паромы, пунктирами рекомендуемые пешеходные тропы; так вот, от этих всеобъемлющих атласов через разные атласы специально для рыболовов, или любителей пожить в палатке дикарем, или любителей старины там, красот природы — до подробнейших местных карт с масштабом 1 сантиметр — 100 метров, где показана каждая тропочка и дорожка и выведена каждая загогулина местного прудика-болота, выглядящего на этой карте внушительным Черным морем.

И вспоминаются поездки по Советскому Союзу. Едем, смотрим на карту: должен быть мост. Едем, едем, едем — моста нет. Зато уже город, до которого, судя по карте, добрый час езды, и вообще не совсем ясно, как мы по этой дороге могли в него попасть?

Совсем не так уж давно самой свежей картой Москвы, если не ошибаюсь, была карта Москвы дореволюционной. При Иване Грозном сориентироваться по Москве с помощью карты было парой пустяков по сравнению с серединой XX столетия. Расположение Манежной площади, Савельевского переулка и тем более общественных туалетов есть стратегическая тайна, и поэтому подробные карты наших городов не выпускались, а были и выстроены эти “Справочные бюро”, эти хранители и обладатели тайны. Тому, кто никогда не стоял часа полтора этак в длинной очереди к справочному бюро у какого-нибудь вокзала в час прихода сразу нескольких поездов, чтобы узнать, как проехать к Савельевскому переулку (и заметьте: как проехать, а не где находится. Где находится — этого бы не сказали, а только скажут, как проехать); или кто, набрав “09”, не слышал в ответ: “Справок по частным телефонам не даем”; или кто, доверчиво отправившись в поход по карте к месту знаменитой исторической битвы, упирался вместо того в ракетную базу, — тому не представить, не понять всей филигранной сложности и глубины советской жизни.

Единственной доступной для всеобщего обозрения и восхищения картой в Москве была некогда схема Метрополитена имени Кагановича, иногда даже с лампочками, зажигавшимися при нажатии кнопок. Но это была именно схема, так что враг по ней не мог бы догадаться, скажем, о расстоянии между указанными

пунктами. Правда, и заблудиться в московском метро враг не смог бы — как в двух соснах после привычных ему дремучих лесов метрополитенов, скажем, лондонского или парижского. Зато какая архитектура! Зачем, правда, не совсем понятно: почему тогда трамваи не делались с пилястрами, хрустальными люстрами, а стенки троллейбусов не отделаны уральским мрамором? Но народ восхищался.

Не в пример Берии, Кагановичу удалось пережить снятие своего имени с метро, колхозов или сапожных артелей. Некоторые художественные мозаики и панно в метро заштукатурены или замазаны известкой. Схемы с лампочками остались. И была наконец выпущена в середине 50-х годов карта Москвы. Ее расхватали. Последующих миллионных тиражей не хватало.

Обладатели этой карты, вы берегите ее, сохраните ее для потомства! Размерами примерно с пол квадратного метра, она могла бы быть, однако, вдвое, втрое, даже впятеро меньше. Редкими дорожками были указаны основные артерии города: улица Горького, Садовое кольцо, Красная площадь и другие самые главные площади и улицы, но между ними совершенно пустые, обширные светло-зеленые квадраты, секторы, так, словно, это план лесной местности, кое-где пересекаемый редкой сетью глухих дорог.

Вот интересно: я тогда был в восторге от этой карты. Наконец-то я смог понять хотя бы в общих чертах, как же она устроена-то, Москва! Это же подумать только: такую государственную тайну вот взяли и выдали, подарили народу, не побоялись, что при этом узнают враги. Это после того, как я собственными глазами в году 52-м видел на площади Свердлова следующую сцену: паренек, по всей видимости провинциальный при-

езжий, сфотографировал “ФЭДом” Большой театр, подошел милиционер, попросил аппарат, открыл его, тут же вытащил пленку и засветил ее. Но не арестовал, нет. И аппарат вернул. Это после того-то, как при посадке в самолет на любой внутрисоюзной линии и сегодня вы обязаны сдать стюардессе или пилоту фотоаппарат, если он у вас есть, и на его футляре химическим карандашом напишут ваше имя, а по окончании рейса вернут. Вы разве этим удивлены? Вы бы раскрыли рот от изумления, если бы во время рейса кто-то вытащил из-под полы фотоаппарат и через окно самолета начал фотографировать — уж он бы загремел, голубчик, схватили бы похлеще, пожалуй, чем воздушного пирата.

А тут вот, в начале второй половины XX века, вдруг выпустили карту главных улиц Москвы. Выпустили карту главных улиц Ленинграда. Выпустили карту главных улиц Киева, правда с сильными искажениями. Тут я, как коренной киевлянин, сразу увидел и пробелы, и несовпадения, и названия, проставленные не у тех мест, к которым они относятся. О нет, по этой карте на нашу Куреневку враг не попал бы! Он бы попал на Приорку, сукин сын. И Бабий Яр черта с два ему найти. Но и этот, достигнутый сегодня прогресс — это Эльбрус, Монблан и Эверест по сравнению с другими вещами о которых хочу сказать в следующий раз. А пока закончу маленькой простой задачей: ну, например, достаньте сегодня карту города Тулы.

9 февраля 1974 г.

Занимательная география

Беседа 2

В прошлой беседе я говорил о советской мании секретности в области географических крат, о том, какие на Западе выпускаются фантастически подробные карты любой страны или ее части, города или поселка, а в Советском Союзе лишь в середине 50-х годов нашего века была выпущена до смешного общая схема лишь главных улиц Москвы, и хотя с той поры все же наблюдается некий прогресс, я предлагал попробовать сегодня достать карту города Тулы.

Той самой Тулы, которая — исторические оружейные заводы Демидова, самовары, гармони, битвы, осады Тульского кремля и подавление в нем армии Болотникова. В Туле имеется единственный в СССР специализированный музей оружия. Наконец, в одиннадцати километрах от Тулы — Ясная Поляна, куда через Тулу проезжают сотни тысяч туристов. Именно — через Тулу, но без задержки в ней, хотя, казалось бы, не город, а находка для туриста. Для своих туризм в Тулу нежелателен: хотя весь город чуть не каждую ночь слышит, как испытываются новейшие виды оружия, все же это — стратегическая тайна. Для иностранцев Тула — вообще

закрытый город, как закрыто для них, пожалуй, 99 процентов территории СССР, так что о Туле я буду говорить не как о частности, а как о типичном примере, который я встречал повсюду, но в Туле я просто долго жил и знаю предмет подробнее.

Так вот, карт расположения улиц города Тулы вы не найдете. В 1968 году Тульским областным издательством была выпущена, однако, карта Тульской области, размерами так, может, чуть побольше обложки журнала “Огонек”. Туляки просто ахнули — одни от восхищения, другие от ужаса: что же теперь будет? Теперь каждый враг без труда узнает, где находится поселок Ревякино, а где находится станция Свинская. Простите — не то ударение, я оговорился, она называется Свинская. До сих пор ни на одной карте мира, ни в одной энциклопедии, ни в одном справочнике не было этой Свинской, это была страшная военная тайна, и вдруг на тебе, Тульское областное издательство выдало ее врагу с головой; за такие вещи при Сталине, пожалуй, без разговоров к стенке.

О нет! Не такие уж безголовые люди выпускали впервые за советскую историю карту Тульской области. Будучи как писатель профессионально близко связанным с Тульским издательством, я был в числе и первых счастливых обладателей этой карты, которую моментально расхватили, и так же мимоходом, случайно узнал ужасные секреты — секреты ее издания.

Во-первых, она была совсем не подробнее тех карт, что предлагаются школьникам в “Географическом атласе СССР”. Или пусть лучше так: почти не подробнее.

Но, во-вторых, когда оригинал карты был готов, специальный человек от органов сел над ним — и все передвинул. Ревякино — на десять километров к восто-

ку, Свинскую, наоборот, настолько же на запад. Дороги он перестроил вправо и влево от тех мест, где они действительно находятся, некоторые существующие убрал, а некоторые несуществующие пририсовал. После этого карта и отправилась в печать. А ведь занимательная география, не правда ли?

И это уже ведь делалось в годы, когда над Землей вовсю давным-давно летали спутники, которые почти все — шпионы, которые фотографируют каждый клочок земной поверхности, так что можно различить старое, выброшенное на свалку ведро!

Осмелюсь заметить, что все карты СССР — неправильные. Что я убедился в этом на своем опыте, путешествуя, не находя того, что обозначено, и находя то, чего не ожидал. Но вот вопрос, от которого, если хорошенько вдуматься в него, так, пожалуй, и волосы могут зашевелиться на голове: в век спутников-шпионов, а зачем это так делается? Что это? Ну искажение истории, перевертывание фактов, сознательная идеологическая ложь, или когда гения русской литературы, лауреата Нобелевской премии называют врагом русского народа, фашистом, власовцем, там, или жидом — это хоть и с трудом, но можно понять. Не простить, но понять. Понять во всяком случае какую-то злую внутреннюю логику, цель этого.

Но вот когда станция Свинская переносится на карте на десять километров к западу — вот это что?.. А какая здесь цель в сегодняшнюю эпоху? Я пытаюсь себе представить психологию личности, психологию ума, из недр которого может исходить такой приказ — и, знаете, передо мной открывается бездна... А может, это космическая пустота, которая, собственно, и есть бездна?

Погодите, что спутники? Чтобы знать, где находится Ревякино, совсем не обязательны спутники. Любой человек, участвовавший в войне, подтвердит, что в 41-м, 42-м, 43-м годах достать немецкую карту советской территории — это была мечта каждого командира, потому что на советских воинских, то есть не понарошку, а по-серьезному, для войны предназначенных картах, все было сдвинуто, искажено, из стратегических соображений замаскировано и запутано, и воевать с такими картами было трудно. На немецких же было обозначено все у нас точно, чуть не до каждого колодца и столба. Спрашивается, для кого же обман-то, ради чего? Вот это и есть бездна, перед которой я стою, бесильно опустив руки.

Лишь один краешек ее, самый краешек, я понимаю. Неправильное изображение государственных границ СССР. Тут злая логика есть. Вот возьмите любую туристическую карту Черноморского побережья, вообще любую карту, где есть город Батуми, и попытайтесь по масштабу определить расстояние от Батуми до границ. Получится километров шесть, ну от силы десять. Неправда. Около двадцати пяти.

Однажды черт занес меня по батумскому пляжу слишком далеко, и меня схватили пограничники. Проконвоировав километров пять, привели на заставу, за которой, похоже, была граница. После тщательной проверки доставили обратно в Батуми, но лишь гораздо позже я узнал, что то была не граница, а фальшграница, не застава, а фальшзастава, и не пограничники, а, собственно, фальшпограничники. Километрах в шести от Батуми устроена действительно как бы граница и все как по-настоящему. Но дальше простираются еще семнадцать километров советской территории, и уж

там, дальше, действительно настоящая граница. Люди, пытающиеся бежать из страны, преодолев первую границу или проплыв ее морем, выходят на берег в полной уверенности, что они уже на турецкой территории, — а их тут-то и встречают наши доблестные пограничники.

Так что искажение на карте границ для запутывания своих же пытающихся бежать — в этом логика есть, даже есть, если хотите, определенное — такое носорожье — остроумие. Да, остроумие, конечно, но со станцией Свинской-то как быть? От которой хоть месяц скачи, ни до какой границы не доскачешь? Тут не то что носорожьего, тут и птеродактильего остроумия вроде нет.

Далее, города, которых нет на карте, не те, из броских заголовков “Комсомольской правды”, нововыстроенные, которых еще нет на карте, а существующие десятки лет, секретные, номерные, города-привидения. Они прекрасно известны всему свету, от Пентагона до контрразведки Саудовской Аравии, однако в самом СССР они — страшная тайна. Об этом чудесно написано в книге Владимиров “Россия без прикрас и умолчаний”, изданной на Западе: “На берегу полноводной таежной реки, в окружении великанов-сосен, лиственниц, пихт и кедров вот уже двадцать лет стоит прекрасный город, не обозначенный ни на одной географической карте. Этот город, куда более комфортабельный, чем сама Москва, не имеет даже названия — только номер”. Живя еще в СССР и будучи сотрудником журнала “Знание — сила”, Владимиров побывал в этом городе-призраке, разговаривал с учеными, работающими в нем, и в его пересказе они выглядят довольно неглупыми людьми.

Он не задал им вопроса, который на его месте и я бы, вероятно, не додумался задать. Такой вопрос может возникнуть у человека, вероятно только подышавшего свободой, как говорится, как бы опомнившегося, как бы немного пришедшего в себя. Такой вопрос: не чувствуют ли они, эти блестящие, эти умные ученые, всей... нет, не нелепости, не комичности, а — оскорбительности положения, в котором они, не без своего, естественно, согласия, обречены прожить свою — одну, единственную жизнь?

Да, и для станции Свинской оскорбительно, что картографическое-географическое общество КГБ общается с ней так по-свински, и для блестящего ученого-атомщика оскорбительно, что он, в сущности, хотя и покупает ананас в спецмагазине спецгорода по системе спецснабжения, но он при этом — как бы несуществующий призрак. Для всего земного мира он — не индивидуальность, не личность, не имя, а некий Икс, не существующий в городе-призраке “Номер”. Несуществовавший, он даже обречен быть похороненным на несуществующем кладбище этого несуществующего города. Рассекретят потом одного Королева, главного конструктора, а его, неудачливого, даже тут и после смерти не рассекретят. Не будет такого, как нет и не было, не было ничего. Это страшно грустно. И это, да, оскорбительно. Особенно в свете того, что день и ночь в небе “серебряной лодочкой” американский спутник плывет и все себе на карточку снимает. Кого запутали, пошто надели дурацкие колпаки, эти балахоны привидений, и на Свинскую и на академиков? Отыскивая сейчас место в книге Владимирова об этом городе, я взял ее с полки, открыл и увидел, что, оказывается, делал на полях пометки, когда читал

ее впервые, еще года четыре тому назад. Напротив главы четвертой под названием “Опасная наука”, где и описан этот город-призрак, стоит мое замечание, о котором я совсем забыл, но написано явно моей рукой: “Я бы повесился в этом городе”.

Вероятно, от тоски? От оскорбления? От несуществования?

Однажды, будучи гораздо помоложе, я как-то раз зимой “учудил”. На лыжах любил я ходить на длинные дистанции. Как-то мимоходом купил в “Спортоварах” светящийся компас — и вдруг с таким мальчишеским озорством подумал: “А вот сумею я пройти в одну ночь по азимуту тридцать пять километров от Киева до деревни Литвиновка?” Определил я по карте прямую: Пуща-Водица, дальше леса, леса и только по пути одна замерзшая речка Ирпень. Доехал трамваем до Пущи-Водицы и пошел через леса в ночь на лыжах. Изматывали глухие чащи, думалось о волках, но вдруг — о чудо! — неведомая, крепко убитая, точно, точно в моем направлении дорога. Такой по карте совершенно не предвиделось, я лихо заскользил по ней, как ветер, и вдруг панически затормозил, чуть не упал: дорога вела в концлагерь — колючие проволоки, вышки, прожектора. Ох и крюку же пришлось дать из-за этого сияющего лагеря, потом вносить поправки в свой азимут, поэтому я не понял, почему вышел не на деревню Литвиновка, а на деревню Рыкунь, добрых километров семь правее, лагерь ли меня так сбил, или на карте по стратегическим соображениям деревня Рыкунь обозначена как Литвиновка? Тогда это меня совершенно не удивило. Это я сейчас удивляюсь.

16 февраля 1974 г.

Комплекс пленного

Существует термин “комплекс пленного”. На войне случается, что иногда даже весьма отважный солдат, попав в плен, через несколько дней, а то и через несколько часов оказывается полностью подавленным комплексом пленного.

Словно и не было вчерашнего энергичного, находчивого, агрессивного воина и забияки: глаза у него потухли, руки повисли, как неживые, плечи сгорбились, а в лице и всей наружности — апатия.

Я помню, как во время войны говорили: не “ведут пленных”, а “пленных гонят”. Пленные — это не группа энергичных людей. Пленные — это стадо.

Не знаю, изучают ли где-нибудь в военных академиях это явление всерьез, отражено ли оно в каких-нибудь руководствах по управлению пленными людскими массами, но во всяком случае те, кто берет в плен и управляет пленными, знают его практически.

Причем любопытно, что сами удачливые победители, такие безгранично властвующие над стадом пленных, такие brave диктаторы, садисты и охальники, на поверку оказываются (перевернись вдруг события и

попади они сами в плен) наиболее быстро впадающими в комплекс пленного.

Наряду с исключениями, только подтверждающими правило, тому есть тысячи и тысячи примеров. Какой-нибудь эсэсовский штурмбаннфюрер, бывший вчера начальником концлагеря смерти, разряжавший пистолет в людские затылки с простой деловитостью прихлопывания хлопушкой мух, — бог и царь, властитель жизни и смерти, теоретик и ледяной кристалл силы, отваги, решения — вдруг попав сам в разряд пленных, терял человеческий облик с особой скоростью, опускался особенно низко, до состояния червя, или “шакала”, как заключенные называют таких в советских лагерях. Кто читал “Один день Ивана Денисовича”, безусловно, запомнил “шакала” Фетюкова, который был крупным советским тузом когда-то, богом и громовержцем — не подступись! А в лагере оказался самым жалким, до гнуса ничтожным пресмыкающимся, шакалящим двуногим, первым кандидатом в трупы.

А те, такие грозные, теоретики и практики массового террора в революцию и после нее, одним росчерком пера подмахивавшие смертные приговоры сотням и тысячам, — когда пришла пора на них, оказывались ничтожествами, блеющими от страха, с первого же момента во всем признающимися, сыплющими всех и вся, лишь бы продлить существование своей шкуры, шакалящими хлебную корку, лижущими миски и ворующими у соседа окурок.

Так умозрительно иногда жаль, что мы не знаем в подробностях любопытных последних недель, дней и минут, скажем, таких великих героев, как Ягода, Ежов, тот же Берия. Отнюдь не для щекотания мстительного чувства, а именно — для интереса. Хотя, наверное, и от

некоторой мстительности трудно удержаться любому человеку, которому ничто человеческое не чуждо.

Даже Солженицын в одном месте “Архипелага ГУЛАГ” признается, что не может удержаться от несколько нехристианского все же чувства, представляя себе, как по заплеванному полу лезет на свое место под нарами бывший великий прокурор республики, организатор всех вопиющих, диких процессов еще при Ленине, изобретатель показательных процессов при Сталине товарищ Крыленко, затем по логике советского террора сам же оказавшийся врагом народа и пущенный в расход. Мало сохранилось о нем, всего лишь моментальный кадр, деталь. Прочитирую это место из Солженицына:

Иванов-Разумник пишет, что в 1938 г. он сидел с Крыленко в одной камере в Бутырках, и место Крыленко было под нарами. Я очень живо это себе представляю (сам лазил): там такие низкие нары, что только по-пластунски можно подползти по грязному асфальтовому полу, но новичок сразу никак не принаровится и ползет на карачках. Голову-то он подсунет, а выпяченный зад так и остаётся снаружи. Я думаю, верховному прокурору было особенно трудно принаровиться, и его еще не исхудавший зад подолгу торчал во славу советской юстиции. Грешный человек, со злорадством представляю этот застрявший зад, и во все долгое описание этих процессов он меня как-то успокаивает.

Конец цитаты. Неплохо, а?

А почему бы в воображении не схулиганить? А могли бы вы, например, представить, что сломайся в ма-

шине какой-либо винтик — и под нары вот таким образом пополз бы, скажем, сам товарищ Сталин? Вы подумайте. Можете себе представить? Я могу, очень просто, очень выпукло и ярко, объемно это могу себе представить.

Могу себе представить громкий показательный судебный процесс под председательством, ну, скажем, Бухарина, на котором Иосиф Сталин признается, что был агентом международного империализма. Врага народа Сталина-Джугашвили — к расстрелу. Демонстрации и восторженные кличи масс. Слова в песнях на ближайшие десятилетия такие: “Бухарин — наша слава боевая, Бухарин — нашей юности полет. С песнями борясь и побеждая — за Бухариным народ идет!” Даже вполне складно. Вместо Царицына — Бухаринград, Волго-Донской канал имени Бухарина. Почему нет? Почему — нет?!

Во время войны жила такая народная мечта: победив Германию и поймав Гитлера, посадить его в клетку и возить по городам. Воображению это очень ярко представлялось. А любопытно бы вел он себя в клетке, особенно если кормить его сырой картошкой или через день баландой из свеклы, как в Дарницком концлагере военнопленных. Гитлер, подавленный комплексом пленного, — это было бы любопытное зрелище, может, и кровь холодящее в жилах. Сталину в ожидании приговора просто отвести бы место под нарами, как вот его коллеге и исполнителю Крыленко, и, знаете, в несколько дней был бы не Сталин — стал бы простой, типичный, лижущий миски шакал Фетюков.

Все это фантазии. Вслед за грешным Солженицыным меня, грешного, тоже несколько утешает, но уже в данных случаях несколько другое: я считаю, что самые

жуткие кары, похуже клеток или ползания под нары, эти странные человеческие типы, вроде Гитлеров, Сталиных и им подобных, устраивают себе сами. Свою жизнь они не проживают вольно, гармонично и счастливо, но смертельно грызутся в свалке, только клочья и куски мяса летят от растерзанных противников — сверхнапряжение сил, ни сна ни отдыха без бдительности, морда все время в чужой крови — фу-ты ну-ты, это один-единственный срок, отпущенный тебе, на этой такой интересной зелено-голубой Земле-планете, с таким бездонным синим небом, сверкающим Солнцем — ухлопать этот срок таким бездарным питекантропским, ихтиозаврским способом — по-моему, это такое несчастье, такая кара, хуже которой и выдумать нельзя. Так что даже не важно, попадают ли они там в клетку или под нары или не попадают: они сами наказывают себя больше любой меры в *любом* случае.

Хуже для тех, кто не такие, как они. Кто не хочет переводить таким дурацким способом свою, данную ему лично, жизнь. Почему ОНИ должны при этих выродках мучиться, страдать, гибнуть — совершенно непонятно.

Является ли это обязательным законом общественного бытия? Совсем нет: известна масса примеров, когда облеченные властью сами живут и дают жить другим. В течение больших исторических периодов целые государства, народы благополучно живут сами и дают жить другим. Наоборот, нелогичностью, пережитком диких нравов наших обросших шерстью прапредков, аномалией в цивилизованном мире следует считать явление, когда и сами не живут, и другим не дают.

Ладно бы уж с такими любителями, если бы они отделились своей узкой компанией, отгородили бы се-

бе кусок земли колючей проволокой да и грызлись бы там между собой всласть. Именно сами, те, для кого счастье — борьба. Следуя их логике, в таком случае самыми счастливыми на свете следует считать пауков в банке. Ну вот отделяйтесь себе в банку да и боритесь. В конце концов, каждый развлекается по-своему, как сказал черт, садясь на сковороду.

Но ведь им, этим людям-чертям, подавай непременно весь мир: чтобы все вокруг, хотя бы они или не хотят, а вот боролись, вот плясали на сковороде вместе с ними. Что за нахальство, что за самоуверенность! И, пользуясь беспечностью других, непониманием, обманом ли, возникшей ли сутолокой, эти одержимые бесы (по определению Достоевского) берут огромные массы как бы в плен. Да, в плен.

Что, если взглянуть на многие исторические события и под таким углом зрения? Чем была Октябрьская революция, как не ловким взятием в плен огромных масс бывшей империи России?

Если для отдельного отважного воина подавление комплексом пленного происходит буквально в считанные часы, то для народов срок этот, естественно, длиннее, измеряется считаными годами. Так и было. Так и было.

Психология комплекса пленного, насколько я знаю, никем подробно не изучалась в применении к целым народам. А аналогия заманчива, настойчиво напрашивается.

Да и в плен-то иногда идут не обязательно от безвыходности положения, а — как в избавление, прельщенные агитацией, знаете, как к сияющим вершинам будущего. Гитлеровские листовки, помню, призывали, отправляясь в плен, пароль не забыть — и иметь при себе котелок с ложкой.

В 1917 году, отчаянно скандируя пароль “Власть Советам, земля и воля народу!”, гремя котелками и поднятыми ложками, массы так горячо, так радостно шли в плен к ленинцам-большевикам. А когда обнаружили себя в обыкновенном лагере, с крепкой деятельностью ЧК — ГПУ — НКВД, — тут-то (цитирую признаки, которые привел в начале) “глаза потухли, руки повисли, как неживые, плечи сгорбились, а в лице и всей наружности — апатия”. Типичный комплекс типичного пленного.

На что надеется личность, охваченная комплексом пленного? Что откуда-то когда-то, может быть, придет сверху или со стороны конец какой-то плену. Или ни на что не надеется, это уже законченная форма.

Люди, повидавшие наиболее жестокий плен, свидетельствуют, что те, кто поддавался комплексу пленного целиком, — не выживали. Единственный, пожалуй, способ пережить плен — это изо всех сил стараться комплексу пленного не поддаваться. Не как данный термин, а как сама мысль, идея — это, кстати, постоянно повторяется в “Архипелаге ГУЛАГ” Солженицына: не поддаваться. И сам он, Солженицын, — живое тому доказательство и пример.

23 февраля 1974 г.

Несколько мыслей о коммунизме

Не задумывались ли вы когда-нибудь над очень известным определением Ленина: “Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны”? А не испытывали ли вы при этом какой-то неловкости? Или какого-нибудь смутного недоумения? Если да, то это хороший признак, говорящий по крайней мере о неуверенной способности самостоятельного мышления.

Я-то в свое время покочевал по так называемым великим стройкам коммунизма, был молодым и вдохновенным их строителем. И надо сказать, на всех этих Братских, Каховских и прочих ГЭС, на самых видных и ключевых местах, а чаще вдоль всей возводимой плотины — по одной гигантской букве на колонне арматуры, от берега до берега поймы реки — горели эти ленинские слова о коммунизме и советской власти “плюс электрификация всей страны”. И у меня лично тогда они ни малейшей неловкости или недоумения не вызывали.

Я их понимал. Я был с ними согласен до такой степени, что готов был, как Матросов, закрыть собственным телом прорыв воды в плотине, случись такой. Это я сейчас не понимаю. Стараюсь напряженно и недо-

уменно понять, как же это тогда я их понимал. Как святую истину. Безапелляционно. До готовности пожертвовать жизнью ради них. Так я их НЕ понимал, я в них просто слепо верил.

Формально говоря, советская власть стоит — и прочно — более половины столетия, и давно электрифицирована вся страна, вплоть до таких казусов, что электроэнергию некоторых гигантов, как Братская ГЭС, было некуда девать. Но до коммунизма парадоксальным образом становится все дальше. В среднесоветском представлении сегодня до него в десятки, а то и сотни раз дольше, чем казалось в исходной точке, в 17-м году.

Вместе с множеством других высказываний, со временем оказавшихся, мягко говоря, нелепыми, лозунг Ленина о коммунизме — электрификации всей страны сейчас потихоньку ушел в тень. Выяснилось, что дело вовсе и не в электрификации, что замена, скажем, керосиновой лампы электрической, даже при наличии самой безудержной советской власти, никакого коммунизма не дает. Так же как и сооружение хоть десяти миллиардов прокатных станов, доменных печей или поголовная запись всех в Осоавиахим. Помните этот популярнейший марш: “Все выше, и выше, и выше” — и там слова: “Нам вместо рук даны стальные крылья, а вместо сердца пламенный мотор!”? Вместо сердца пламенный мотор — это довольно любопытно, что же в таком случае с головой? Песня об этом умолчала, а жаль, какой прекрасной еще одной строчки она оказалась лишена, ну, скажем, к примеру: “И репродуктор вместо головы”.

Ленин был бы не дальше и не ближе к истине, если бы изрек и другое, допустим: “Коммунизм есть совет-

ская власть плюс автомобилизация, трамвайзация и троллейбусоизация всей страны”. Сколько там тысяч тракторов ему нужно было для полного подъема сельского хозяйства? Я помню, однажды газета “Правда” в простоте душевной гордо похвасталась, что теперь у нас есть тракторов что-то раз в 50, что ли, больше, чем мечтал сам Ленин. И даже цензоры не заметили всей убийственной сатиры, вытекающей из этого сообщения.

Даже насчет репродукторов было бы важнее и правильнее: “Коммунизм есть советская власть плюс еще единственно радиотрансляция по всей стране”. Но уж совсем верно, неопровержимо и практически осуществленное во всю мощь — это: “Советская власть плюс *чекизация*, или, говоря по-современному, *кагэбизация* всей страны”. Бросьте, что вы, какая там электрификация, она, как всякий комфорт, только развращает людей. Вот кагэбизация — это оказалось действительно первое, главное и решающее условие для строительства коммунизма.

Однажды в Англии я разговорился со старым поляком, который сообщил, что провел шесть лет в Советском Союзе, так что я могу говорить по-русски, он прекрасно понимает. Когда же мы попробовали перейти на русский язык, оказалось, что он знает его лишь в весьма узких, специфичных пределах: “Стой! Руки вверх! Ложись! Шаг вправо, шаг влево — считается побег. Стреляю без предупреждения”. Это — тот главный словарный запас из всего великого и могучего русского языка, который, в отличие от фальшивой трескотни, стал действительно весомым, реальным и ведущим в обществе, объявившем, что оно строит коммунизм.

Сотни тысяч заключенных, строивших Беломорканалы и Волго-Доны, страдали и умирали под двумя

дивными крайностями. С одной стороны, “стреляю без предупреждения” — это действительно реально, с другой стороны, эти сияющие лозунги о коммунизме — электрификации всей страны. Нет, подумать только: какой странный, фантасмагорический, перекошенный мир!

Дальше. Несмотря на столько шума, жертвоприношений, триллионы триллионов раз повторяемую, как заклинание, заветную *цель* всех усилий, никто в этом обществе, ни единая душа не знает толком, собственно говоря, что же *конкретно* строится.

Любой ребенок в детских яслях уже знает, что “мы строим коммунизм”, но что такое коммунизм? А это “когда будет очень хорошо”. Прожив жизнь в полном хаоса и судорог этом непрестанном строительстве и стоя одной ногой во гробе, человек, собственно, знает о коммунизме ровно то же самое: что это когда-то для кого-то каким-то образом “будет очень хорошо”. Этот факт мне кажется самым поразительным во всем этом “деле построения коммунизма”. Разные расплывчатые намеки вроде “не будет эксплуататоров и эксплуатируемых” или “от каждого по способностям, каждому по потребностям” — ведь это же общие слова, просто выраженное иной лексикой то же самое “будет очень, очень хорошо”. Но лихо сказано, например: каждому “по потребностям” — но скажите мне, где пределы людским потребностям? Если перед человеком их не ставят или сам человек себе их не ставит, то границ человеческим потребностям нет. По-видимому, все-таки даже если “от каждого по способностям”, то “каждому по ограниченным потребностям”. Тогда кем ограниченным? До каких размеров ограниченным? И отвечают: “Ах, бросьте, вы не понимаете, тогда все будут такие сознательные,

тогда этот вопрос даже не встанет, тогда все будет так хорошо”. Вот и весь ответ. Это я только так, лишь слегка прикасаюсь для примера, что не существует никакого, как бы сказать, чертежа и ни полстроки конкретных расчетов величественного здания коммунизма, которое тем не менее вот уж скоро полтора-два десятилетия как объявлено целью и массой любителей-строителей и с каким-то судорожным энтузиазмом — возводится! Что же возводится — никто не знает. Это невероятно!

Классическим примером бестолкового строительства была до сих пор, собственно говоря, Вавилонская башня. Но мне кажется, что у ее строителей имелись хоть и примитивные, но чертежи какие-то, расчеты, какие-то конкретные параметры. Ну, например, совершенно точно была определена высота Вавилонской башни: аккуратно до купола неба, а не расплывчатое “все выше, выше и выше”.

В отношении отсутствия чертежей и плана коммунизм посрамлен и превосходит Вавилонскую башню, и боюсь, что в будущем слово “коммунизм” останется лишь нарицательным понятием взамен Вавилонской башни. До тех пор же он — скрытый в розовой дымке, таинственно мерцающий объект слепой веры. Маркс сказал: “Коммунизм — истинное счастье всего человечества”. И точка. Сказал Маркс. Энтузиасты-исследователи сказали (цитирую): “Условия жизни изменятся, и зло перестанет господствовать, и человек станет человеку близким другом и братом, а не как сегодня волком”. Это сказал товарищ Дзержинский — и основал систему госбезопасности на самых волчьих во всей истории человечества основах. Не менее конкретно сказал товарищ Маяковский: “Мы строим коммуны, и жизнь сама трубит наступающей эре”. Не столько

жизнь допустила, сколько он сам и ему подобные трубили. Потом, потрубив, как мы знаем, он застрелился.

Хрущев не умел даже произнести слово “коммунизм”, у него выходило “камунизм”, он говорил о “камунизме” много и часто и тоже очень конкретно. Цитирую: “Чаша камунизма — это чаша изобилия, она всегда должна быть полна до краев. Каждый должен вносить в нее свой вклад и каждый из нее черпать”. А любопытное определение. Знаменитое слово “изобилие”. И эта “чаша”, или миска, или корыто — до краев, откуда, значит, черпают. Это уже что-то более конкретное, чем абстрактное “будет очень, очень хорошо”. Но Хрущева отстранили от чаши, он умер скромным пенсионером, а об изобилии что-то опять не слышать.

“Верую, — откровенно сказал еще сто лет назад болгарин Христо Ботев. — Верую... в единый коммунистический общественный порядок — спаситель всех народов”. Верую! — по крайней мере это точно, и мне кажется, никто лучше и не сказал. На всем свете коммунизм давным-давно рассматривается как вера, а отнюдь не как наука; еще одна, несколько оригинальная вера или суеверие. Только в Советском Союзе и других странах социализма это — государственная тайна. А когда-то, тоже ведь сто лет назад еще, и у нас в России это не было тайной и имевший уши мог слышать. Прочту выдержку из Герцена:

Объясните мне, пожалуйста, отчего верить в бога смешно, а верить в человечество не смешно; верить в царство небесное — глупо, а верить в земные утопии — умно? <...>

Неужели и вы обрекаете людей на жалкую участь карриатид, поддерживающих террасу, на которой когда-

нибудь другие будут танцевать; на то, чтоб быть несчастными работниками, которые, по колено в грязи, тащат барку с таинственным рулем и с смиренной надписью «Прогресс в будущем» на флаге? Утомленные падают на дороге... а дороги остается столько же, как и при начале. Прогресс бесконечен; уже и это одно должно было насторожить людей: цель, бесконечно далекая, — не цель, а, если хотите — гениальная уловка...¹

НЕ ЦЕЛЬ, А, ЕСЛИ ХОТИТЕ — ГЕНИАЛЬНАЯ УЛОВКА.

Но голоса Герцена и многих, кто, как он, видел и понимал, потонули в какофоническом шуме ликующих бубнов и медных тарелок неистовых последователей новой веры, потонули и в шуме и в крови и сгнули в ледяных просторах архипелагов ГУЛАГа. И так, трезво думая, совершенно не понимаешь, зачем все это было нужно? Какая в этом пресловутая “историческая закономерность”? Так, знаете, задним числом все можно подвести под закономерность. А строительство Вавилонской башни тоже было исторической закономерностью? Нет, то, по-моему, было лишь достойным сожаления банальным проявлением — такого обыкновенного — печального — непривлекательного и опасного — людского невежества.

3 марта 1974 г.

1 Герцен А. И. Собрание сочинений в 30-ти томах. Т. 6. С того берега. М., Изд-во АН СССР, 1955.

Дезинформация по секрету

Хотел бы обратить ваше внимание на любопытный и очень действенный метод дезинформации, который в Советском Союзе стал применяться особенно широко. Я бы назвал это “дезинформацией шепотом на ухо”, или “дезинформацией по секрету”.

Неправда сообщается официально, шумно, чрезвычайно широко по всем каналам — печати, радио, телевидению. Но идеологические руководители знают, что люди давно не верят официозу и стараются читать между строк, доискиваясь, что же за этими официальными заявлениями кроется.

Поэтому параллельно создается другая версия той же неправды, носящая черты, однако, правдоподобности, и сообщается так же широко, но не шумно и полуофициально. Хотите знать, что за официозом кроется? Пожалуйста, откроем вам секрет: вот что. То есть самостоятельный поиск истины перешибается, берется под контроль. Жажда узнать правду удовлетворяется более правдоподобной версией той же неправды. Это, как бы сказать, своеобразный второй этаж подстраховки.

Эту задачу выполняют, во-первых, чтения так называемых закрытых писем и документов на закрытых партийных собраниях. Под большую ответственность, под номером, под расписки, с немедленным возвратом после собрания вручаются эти документы только на несколько часов, только для *прослушивания*. Уже сама эта обстановка неизбежно создает впечатление, что партия в секретнейшем из секретнейших доверительных писем действительно сообщает правду-матку.

Собравшись и наглухо запершись, как заговорщики, коммунисты одни лишь могут узнать ее. Наиболее проверенные, кристальные члены организации читают, сменяясь через энное количество минут, торжественными, вздрагивающими голосами, удостоенные доверия держать в руках малиново-красную брошюру. Идеологические руководители, однако, знают, что через час ее содержание будет известно женам и домочадцам коммунистов, а далее всем на свете. Для придания достоверности приходится пожертвовать некоторыми действительно правдивыми фактами, которые вкрапляются взвешенными, отмеренными дозами. На впечатление от них-то, собственно, и ставка. Партия как бы искренне и шепотом говорит: “Из соображений политики, из соображений того-то и того-то мы не можем опубликовать этого в прессе. Официально мы сказали то-то, но вам сообщаем — но никому ни слова, строжайше секретно! — подлинную подоплеку дела”.

Метод сильный. Коэффициент полезного действия очень высок. Он применяется и для беспартийных — через густую сеть: лекторскую, политпросвещения, которой покрыта страна от ГУМа до оленеводческих кочевий на Чукотке. Десятки тысяч пропагандистов после изложения того, что напечатано в газетах, вдруг, словно

в приливе откровения, сообщают нечто такое, что у слушателей дух захватывает. Этого в газетах нет, но раз лектор говорит, да еще как бы по секрету, понизив голос, только для нас, прямо-таки проговорился, наверное, уже сам жалеет, что вылетело, — значит, это она и есть, истинная правда. Часто лектор сообщает тайну в ответах на вопросы, когда, после того как разделились с официальной частью, устанавливается как бы дружеская, доверительная беседа. Никому и невдомек, что в это самое время тысячи других лекторов точно так же “доверительно” сообщают точно ту же версию — строго сформулированную, утвержденную, предписанную им именно для *обязательного* сообщения.

А для тех стреляных и перестрелянных, на кого может не подействовать подстраховка второго этажа, создается иногда третий этаж подстраховки, сквозь которую уже проходят, не клюнув, только единицы.

Создается третья версия той же самой неправды, но отличная в корне и от первой, официально-газетной, и от второй, полуофициальной. Совершенно сознательно и планомерно утвержденная теми же идеологическими инстанциями, она пускается в качестве слухов “из первых рук”. А называя совсем точно вещи своими именами, используется канал сплетни. Это, кстати, мощный канал.

Надо признать, что идеологический государственный аппарат хлеб даром не ест. По-видимому, в нем имеются выдающиеся знатоки человеческой психологии, человеческих слабостей, может, гениальные специалисты по внедрению дезинформации, если слово “гениальный” применимо к такой области. Виден почерк. Видно существование досконально разработанных трудов, мобильной и гибкой системы, как бы су-

ществование целого НИИ — научно-исследовательского института по дезинформации.

Примеров наберутся тысячи, но, пожалуй, самой яркой за последнее время остается все же идеологическая операция в связи с вторжением в Чехословакию в 1968 году. Создатели ее, безусловно, заслужили орден, если не званий Героев Социалистического Труда. Она была проведена безукоризненно, и нынешняя операция с Солженицыным, на мой взгляд, все же ее не затмевает.

Вспомним, как это было. Официальная печатная версия: Дубчек и его ЦК совершили ряд пагубных ошибок и ряд каких-то неназванных деятелей во имя спасения социализма в Чехословакии обратился за помощью к Советскому Союзу. Громкая версия, открытая версия первого этажа. Грубая, в худших традициях времен сталинизма, не способная убедить почти никого.

Но танки шли по Чехословакии, а по Советскому Союзу срочно созывались собрания, на которых неофициально, почти по секрету сообщалась как бы подлинная подоплека: “Мы были вынуждены ввести танки, потому что, опоздай мы буквально на один день, с Запада уже готовились вторгнуться западногерманские танки”.

Блестящий ход. В августе 1968 года я сам присутствовал на собраниях, где это сообщалось, видел своими глазами, как тысячи людей сразу верили и проникались ненавистью к Дубчеку, ненавистью к чехам и словакам вообще: ах, мол, вот оно что, предатели, что затеяли втихомолку, друзья называется! Молодцы в нашем правительстве, правильно сделали, что бросили танки. И невдомек было им, что сперва им дали явно, грубо и небрежно крапленую карту, а потом бросили другую,

еще более, но уже незаметно крапленую, и ее-то люди приняли за чистую. Сработал второй этаж.

Однако для тех, кто слушал западные станции, немедленно была приведена в действие и система третьего этажа — в нескольких вариациях, конфиденциально, на ухо: “Ну да, конечно же никакие немцы и не думали вторгаться, это сказка для ширпотреба, *но...*” Далее следовали разные варианты, кому какой индивидуально ближе: “...но под шумок либерализации чехи просто хотели восстановить капитализм”. Или: “Сколько волка ни корми, он в лес смотрит; они только и ждали, как нам нож всадить в спину и перекинуться на Запад”. Или: “Так это же все еврейский заговор, там одни евреи все затеяли и всем ворочали! В печати нельзя этого сказать, вы же сами понимаете, а подлинная причина вся в этом”. И так далее. Этот третий, кухонный, этаж призван был подстраховать срывы первого официального и второго полуофициального.

Сейчас, в последней кампании против Солженицына, тоже совершенно четко видно трехступенчатое построение дезинформации. Первая, официально-газетная, сводилась, в общем, к обильной ругани, поразительно напоминающей сталинские времена: “предатель, продавшийся империалистам, оклеветавший советский народ” и пр. и пр., по существу все синонимы бывшего “враг народа”.

Однако по всей стране лекторы и докладчики на собраниях устно сообщали, что дело, оказывается, совсем в другом и гораздо проще: он не Солженицын, а Солженицер, Исаевич, еврей — вот почему и шипит, и обливает грязью наш народ. Или еще: он с немцами сотрудничал, а не просто в плен попал, за что осужден был правильно. Эта вопиющая ложь на полном серьезе-

зе, не печатно, а только словесно преподносилась и преподносится по всей стране. Кого не захватила эта вторая ступень, для них — третий этаж, выглядит примерно так: “Да нет, конечно, никакой Солженицын не еврей, и это все — глупости для колхозников. Он, конечно, здорово вскрыл, читали “Ивана Денисовича”? Но на этом пункте он потом прямо чокнулся, захлебнулся в собственной злобе и еще вообразил себя мировым гением, а под шумок миллионы-то валюты загребает. Делец — гнусный тип”. И другие, подобные вариации. Как это тяжело и как грустно. Наглядная персонификация поговорки: “Ложь на лжи едет, ложью погоняет”.

Считается, что у лжи короткие ноги, что правда в конце всех концов все же всплывает, торжествует. Но вот короткие ноги лжи компенсируются трех- и более ступенчатостью, совсем в духе космической эпохи, и нагромождены у нас уже такие сложнопереплетенные Эвересты дезинформации, что возникает тревожный вопрос.

Да разберем ли мы их до конца когда-нибудь, эти Эвересты неправды, которая корректировалась неправдой же и опровергалась неправдой же? Да еще с хитрыми вкраплениями прожилок правды, которую попробуй выдели, отличи. Сколько под этими Эверестами уже навсегда погребено и сколько погибнет правд, которых никто и никогда не узнает? Мы полагаем, что правды всплывают? Но мы видим те, которые всплывают. А те, которые *не* всплывают? Простой пример. Тысячелетиями безапелляционно считалось, что Нерон поджег Рим. Теперь выяснилось, что это вздор. Правда всплыла через тысячи лет, и то случайно, потому что кто-то случайно все-таки захотел это дело раскопать, и

ему удалось убедительно это сделать. А в отношении каких и скольких вопиющих дезинформаций человечество питает полное доверие, принимает их за чистую монету — так хорошо в свое время были запрятаны концы?

Наполеон умер естественно или его отравили? Или из нашей отечественной истории: кто же все-таки убил царевича Дмитрия? Злодей Борис Годунов или он трагически, несправедливо оклеветан? Но даже не в этом дело, а в том, что иные правды если даже и всплывают, то всплывают слишком поздно — ни к чему уже.

Ладно, это я чересчур углубляюсь. Цель моей беседы проще и практичнее: обратите внимание на многоступенчатость дезинформации в Советском Союзе. Рекомендую помнить о ней.

16 марта 1974 г.

Заколдованные круги

В свое время я, как и множество людей, пережил сполна любовь к песням Булата Окуджавы. Осталась она во мне и сейчас. Вместо трескучих, шипящих самодельных магнитофонных записей у меня есть Окуджава на великолепных долгоиграющих пластинках, выпущенных на Западе, книги Окуджавы со всеми отпечатанными текстами. Хочу это особенно подчеркнуть, чтобы сказанное дальше не было понято неверно, потому что именно любовь моя к Окуджаве в один прекрасный день, еще когда я был в Советском Союзе, вылилась вдруг в ошеломляющий вопрос: да, все это хорошо, грустно, мучительно человечно. Какое счастье, что ты, Окуджава, и мы с тобой не растеряли этого. Но: *и что?* Я понимаю, глупый вопрос, но...

В небе дальше будут серебряными лодочками плыть спутники, Марье Ивановне, по-видимому, предначертано ходить до гроба по очередям за селедочкой. Потерпевших крушение, может быть, подберет (может, не подберет) троллейбус *случайный*, чтобы довезти куда? “Граждане, выходите, троллейбус идет в парк”. Потерпевших крушение, минутно согревшихся человеч-

ностью и пеньем, нас дальше ждет то же: возвращенье по темным подъездам с черными котами, где надо б лампочку повесить, но мы знаем: денег на эту лампочку мы, кажется, не соберем.

Вот именно, вот это самое: собрались мы, попели. Ну? И что?

Решившись наконец бежать из безвыходности, — мой личный, нетипичный, уж действительно свирепо случайный троллейбус! — я пережил много сомнений: вскакивать в него или *не* вскакивать? Мне казалось, что я чего-то недосмотрел, что есть люди, знающие, где находится нить, идя по которой можно выйти из нашего лабиринта.

Полтора года я метался из города в город, говорил с множеством умных людей: “Какой вы видите выход?” Ни один человек не знал выхода. Всегда все сводилось к одному: “Плохо, плохо, становится все хуже. Неразвязываемый узел, заколдованный круг”.

Приведем мрачную аллегория Салтыкова-Щедрина “Карась-идеалист”. Тот карась знал волшебное слово и считал, что если бы ему удалось встретить щуку и сообщить ей это слово, в ней бы пробудилась совесть. Слух о странном карасе дошел до щуки, она велела доставить его. Когда он предстал перед ней, довольно потрепанный жандармами-ершами, он собрал все силы, затрепыхался остатками плавников и гаркнул: “А знаешь ли ты, что такое справедливость?” Щука от изумления так широко открыла рот, что нечаянно втянула карася и проглотила, а окружающая свита озабоченно спросила, не оцарапалась ли она и хорошо ли изволила покушать?

Наверное, в рыбьем царстве потом много было разговоров о жертве карася и слово “справедливость”

возросло популярностью. Может, даже соседние акулы поморщились, осудили — одни так, другие этак — бессовестную щуку. На том конец. Мрачная сказка и мрачные мысли.

Отсюда у некоторых людей и возникает философия безвыходности, которая, если ее очистить от всяких ученых слов, просто, ясно укладывается в поговорку: “На свете правды нет”. На вопрос “Есть ли жизнь на Марсе?” — армянское радио отвечает: “*Тоже* нет”.

Счастье, значит, наше, что щука сегодня опять проплыла по другой улице; удача наша, что мы успели до закрытия магазина купить красного крепленого; занавесьте окна, включите магнитофон, кто слышал последние анекдоты? Выпьем: “Когда мне невмочь переселить беду, когда подступает отчаянье...” Время от времени кто-то один не выдерживает и сигает головой вниз с одиннадцатого этажа, остальные ужасаются, долго переваривают и тем более приглушают. Слова: заколдованный круг, выхода нет, нет, и нигде. “Хорошо там, где нас нет”.

Пусть никто не примет эти мои слова за осуждение, выводы или доказывание чего бы то ни было. Мы так в Советском Союзе приучены к принципу идейности — если слово, значит, непременно что-то *должно* или утверждать, или клеймить! — что совсем уже забыли, что слово может просто *отражать*. Я, представьте, сейчас говорю — рисую. Рисую, что видел. *как* видел. Больше ничего. Даже скорее и не рисую, а просто вспоминаю одно, другое.

Вспоминаю огромную популярность грустно-веселого фильма “Айболит-66”, где зверюшки бредут в бурю сквозь смертельную пустыню за доктором Айболитом (в прекрасном исполнении Олега Ефремова) и

поют: “Это очень хорошо, что нам очень плохо!” Я видел, как людей в зале буквально передергивало в этот момент — так точно это выражало их хроническое угнетенное состояние, всю их жизнь.

Однажды я плыл по Байкалу пассажиром парохода “Комсомолец”. Мы попали в страшный туман. Из рубки не видно было носа корабля. Он гудел, били в колокол, продвигались самым тихим ходом, казалось, этому мраку не будет конца, и на лицах явно отражалось ощущение беды. Неизвестно, куда сунуться, неизвестно, как плутать.

И вдруг в момент, когда никто уже этого не ожидал, нос корабля высунулся из стены тумана, как концы лыжи из-под снега. Ударило солнце с чистого неба, синего, без единого облачка. Передняя часть и рубка корабля уже были на полной свободе и солнце, а корма еще оставалась во мгле, и кто-то там на корме еще не знал ничего. Корабль вышел буквально из ровной, отвесной, белой стены тумана, и когда мы отделились от нее, стало до изумления понятно, что массив тумана лежал в точно очерченных, отнюдь не больших пределах, ну, так, как одинокая плоская льдина с отвесными краями. Он был узок, этот массив, километр или два, но только, проклятый, растянут, длинен до горизонта, и угораздило же нас пропереться аккуратно по всей его кишке, тогда как и справа и слева был прекрасный ясный день, а мы бились, а мы ошалело били в колокола, колотясь в безвыходности.

Что-то вроде этого ощущения я испытываю вот уже несколько лет, после того как оставил Советский Союз. Я смотрю и не могу насмотреться изумленно на людей, которые песенку “хорошо, что нам очень плохо” понимают лишь как слабо остроумную оригиналь-

ность ради оригинальности; пьют, чтобы было хорошее настроение; ну и у них, естественно, полно проблем и стычек, без этого же нельзя, без этого люди не были бы людьми.

Оказывается, туманы скромно ограничены — в пространстве, во времени. “На свете правды нет” — не ошибочное ли мнение, паническое и однобокое, ну как, скажем, диаметрально ему: “На свете царит только одна правда”. Может, и заколдованных кругов нет — они такими кажутся. Жизнь на Марсе есть. Более того, она есть на Земле — да еще какая: и справа и слева от этой туманной полосы, в которой мы бьемся, думая, что это уже конец света и что всюду безвыходность, заколдованный круг и тому подобное.

Но — вот именно, оказывается, случается, что действительно хорошо там, где нас нет. Не везде, будем справедливы, но такие места, оказывается, есть: нас там нет, а там — людям хорошо. Говорю это как не поверивший поговорке на слово, а решивший сам проверить. Проверил и ахнул.

Недавно мне на глаза попало такое ироничное изречение: “Счастливые поколения занимаются спортом, несчастные — переоценкой ценностей”. А жизнь людская, как ни крутись, одна. Неужто она, эта жизнь, нам только затем дается, чтобы до смерти не жить, а делать переоценки, заниматься взаимоизбиением, восходить на костры? Что это за парадокс? Что это за три сосны или туман, в которых, запутавшись, обречены поколения биться?.. Кончаю опять не выводами. Нет. Это все — вопросы.

6 апреля 1974 г.

Вопросы развития скульптуры

Недавно в Лондоне, роаясь среди залежей старых букинистических книг, я наткнулся на малоизвестную книгу по искусству. Раскрыл — и уже не смог оторваться: это было чтение более увлекательное, чем чтение любого романа, любой фантастики.

Книга была издана немногим более двадцати лет назад в Москве, издательством Академии художеств СССР — и называется “Вопросы развития советской скульптуры (Материалы научной конференции, 28–30 мая 1952 года)”. Сухо, на первый взгляд, ничего особенного.

Тем не менее мне кажется, что сегодня она — большая библиографическая редкость. В свое время никто не ценил подобного рода книг, никто их не читал, их было пруд пруди. Но старая истина: книга, как вино, с годами чем старше, тем ценнее. Не пугаясь сухости подзаголовка “Материалы научной конференции”, попробуем полистать это двадцатидвухлетней давности вино. Страница первая.

Москва, Кремль. ВЕЛИКОМУ ВОЖДЮ СОВЕТСКОГО НАРОДА товарищу Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Дорогой Иосиф Виссарионович! Участники научной конференции Академии художеств СССР по вопросам развития советской скульптуры шлют Вам, великому вождю, учителю и другу, свой пламенный привет. Мастера советской скульптуры, руководствуясь историческими решениям Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) по идеологическим вопросам и Вашими мудрыми указаниями о методе социалистического реализма, настойчиво борются за...

...Еще в 1918 г. вместе с великим Лениным Вы, товарищ Сталин, создали план... За годы Сталинских пятилеток советские скульпторы создали ряд... Сплотившись вокруг большевистской партии и ее великого вождя — зодчего коммунизма, знаменосца мира во всем мире товарища Сталина, мы обязаны... Да здравствует великий гений человечества товарищ Сталин! Слава великому Сталину!

31 мая 1952 г.

Это, естественно, приветственная телеграмма, какие миллионами и миллионами принимались на всех без исключения собраниях, и я, как сам очевидец тех пламенных лет, поразился *правдивости* этой книги, с первой страницы, с первых же строк. Аутентичные печатные советские материалы за любой год — это прежде всего правдивейшие документы, нелицеприятно и эпически-объективно показывающие, что это было, и

показывающие, как это было. Они оказываются памятьливее и честнее самих людей, создававших их. Люди вдруг теряют память или скромно молчат. А сброшюрованная бумага, которая в свое время стерпела, вдруг с годами приобретает ценность поразительного неподкупного свидетеля.

Перелистываем страницу, и вот — доклад скульптора Томского, действительного члена Академии художеств СССР:

Товарищи! Великая Сталинская эпоха — эпоха строительства коммунизма, ставит грандиозные задачи перед советским искусством...

Величие характера советского человека — строителя коммунизма, пафос всенародных идей, морально-политическое единство советского народа, сплотившегося вокруг партии и великого Сталина, насыщают наши монументальные образы глубоким... жизненным содержанием.

Скульптор Мухина, автор знаменитой, ставшей образцом скульптуры “Рабочий и колхозница” (перед ВДНХ), действительный член Академии художеств СССР, выступает следующей. Она считает, что для советской эпохи главное — монументальная скульптура, нужно шире применять новые материалы, нержавеющей сталь. Одновременно же (цитирую) “опять начала возрождаться в больших формах кованая красная медь. Ее мы видим в монументах Сталина работы Меркурова и Вучетича”.

О, Вучетич! Великий ваятель советской эпохи, конечно же вот и он здесь говорит, да как! Вот отрывок из выступления Вучетича.

Я хочу с вами поделиться своими свежими впечатлениями. Я вернулся с Волго-Донского судоходного канала. Я там соорудил монумент товарища Сталина. В этом монументе я строил форму и решал пропорции с расчетом на различные расстояния. Я смотрел его с различных расстояний — от 200 метров, т. е. с самой близкой точки, и до 40 километров. Конечно, на расстоянии 40 километров он растаял, но все же силуэт его был виден вполне. О том, что монумент был построен правильно, говорит обстоятельство, о котором я вам хочу сейчас рассказать.

Когда мы установили голову, я вышел на катере на Волгу, чтобы с биноклем откорректировать постановку. В это время мимо монумента проходил пассажирский пароход, на котором ехали разные люди, по разным делам. Перед монументом, примерно на расстоянии километра, пароход развернулся, и все люди, сколько их там было — человек до 200, — хором запели: “Широка страна моя родная”... Это был чудесный момент для художника, я был очень счастлив.

Листаем книгу далее.

Скульптор Кербель и скульптор Манизер, президент Академии художеств Герасимов... Какие имена! Ни одного исследования по советскому искусству без этих имен, ни одного музея без их работ.

Кербель: “Метод социалистического реализма, опирающийся на передовую эстетическую теорию марксизма-ленинизма...”

Манизер: “Наше правительство приняло решение о сооружении бюстов на родине дважды Героев Советского Союза и дважды Героев Социалистического Труда...”, “Перед нами стоит ответственная задача —

скульптурно оформить грандиознейшие из когда-либо бывших строек — Сталинские стройки коммунизма...”.

Герасимов: “Наше искусство не добьется подлинных больших успехов, пока все мы не будем не только политически воспитаны в духе идей Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина, но и не проникнемся ими так, как мы дышим воздухом”, “Я считаю, что художники-реалисты должны... петь в полный голос гимн прекрасной советской Сталинской эпохе”.

Скажите, разве это не блестящий документ? Особенный драматизм свидетельству Вучетича о монументе на Волго-Донском канале, вообще всей книге придает то, что совещание скульпторов происходит ведь за девять месяцев до марта 1953 года. Им кажется, что впереди — вечная Сталинская эпоха. Девять столетий, по меньшей мере. На самом деле — осталось только девять месяцев. Но они этого не знают. Они принимают, конечно, историческую резолюцию — программу развития советской скульптуры на ближайшие века. Цитирую резолюцию.

Пункт 1-й. Грандиозные успехи развития социалистического хозяйства и культуры... создали прочную основу для небывалого...

Пункт 2-й. Исторические решения ЦК ВКП(б) и неустанная забота лично товарища Сталина... создают все условия для успешного...

Пункт 3-й. Ленинско-сталинский план монументальной пропаганды определил основные принципы и задачи...

И далее:

Победа социализма в нашей стране, одержанная в результате успешного выполнения сталинских пятилеток, гениальное сталинское определение метода социалистического реализма... определили дальнейшие успехи...

В фонд лучших произведений советского искусства прочно вошел ряд работ скульпторов-монументалистов. Таковы памятники и монументы: ... “Ленин и Сталин на канале имени Москвы”, Сталин в Ереване, Сталин в Тбилиси... скульптурный зал “Ленин и Сталин — основатели Советского государства”.

Кончаю цитировать. Пожалуй, хватит.

Но любопытно, что в фонд лучших произведений здесь все-таки еще не внесли монумент на Волго-Доне, несмотря даже на то, что, увидев его, спотыкались и круто разворачивались пароходы, а пассажиры, остолбенев, вдруг запевали “Широка страна...”.

Что через несколько лет будет с этим фондом лучших произведений советского искусства? Как интересно.

Его будут потом поспешно, большей частью ночами разбивать отбойными молотками, быстро сгребать обломки на самосвалы и отвозить на свалки. Останутся, однако, постаменты. Да, скульптуры, произведения искусства, сносились как не имеющие никакой ценности. Постаменты, оказывается, были гораздо более ценны. Многие из них сохранились даже до сегодня, и дети, играющие в скверах и парках, уже не знают, зачем возвышаются эти странные, заросшие травой, не имеющие никакого практического применения кирпичные или бетонные кубы...

Так что хочу еще раз подчеркнуть: эти материалы научной конференции скульпторов в 1952 году в свете последующих событий выглядят очень драматично.

Драматично, но не трагично. Резолюции последующих научных конференций в том же научном составе называют другой список фонда лучших произведений монументальной скульптуры, включая монументальный комплекс в Волгограде (Сталинграде) того же товарища Вучетича и другие и другие.

Как много мыслей может вызвать какая-то простая, шаблонная книжка через энное количество лет. Меня всегда интересовало, как и многих, наверное, хранят ли известные люди у себя дома, в своих личных архивах, подобные вот опубликованные документы? Свои речи и другие выступления, скажем, в 30-х годах. В 40-х годах? В 50-х годах? Или уничтожают начисто, в заблуждении, что, уничтоженные физически или, так сказать, механически, они исчезнут и из памяти, как своей собственной, так и современников? Или, беря ближе к нашей теме, что испытывает советский скульптор, рассматривая фотографии своих произведений, бюстов, монументов, которые уже не существуют? Никто, ну буквально никто из них, не открывает секрета, по крайней мере до сих пор. Признак ли это обыкновенного, понятного, так присущего человеку недостатка отваги, и только? Или за этим кроется что-то поважнее, какой-то не совсем еще понятный, но чрезвычайно существенный закон жизни? Ну, скажем, о порядке гипноза, например, что долгое насильование своей совести или таланта вызывает в личности изменения необратимые? Что туда, как в ад, вход есть, широкий и удобный, — но нет обратного пути?

13 апреля 1974 г.

Организованность

Однажды в 1968 году мне удалось наблюдать так называемую народную демонстрацию гнева и возмущения от самого ее начала до полного конца, и на меня произвели большое впечатление ее четкость, организованность и продуманность вплоть до самых малых деталей. Это было в Москве, вблизи от площади Восстания — протест был против действий американского империализма перед зданием американского посольства на Садовом кольце.

Помню все до мельчайших подробностей, не могу только вспомнить, по поводу каких именно действий был протест. Это можно восстановить, порывшись в подшивках газет, но существенный формально повод в данном случае как раз и не так уж важен, ибо я хочу рассмотреть только одну чисто организационно-техническую сторону дела.

Я тогда ехал в редакцию на улице Воровского, у площади Восстания. Обратил внимание, что движение по Садовому кольцу перекрывается, кишела милиция, регулировщики направляли весь автотранспорт в объезд, но пропускали троллейбусы. Улица, широкая, как

площадь, имела обычный вид: ни дыма от пожара, ни следа какого-нибудь строительства или аварии. Только очень внимательно взглядевшись, я увидел кучку людей перед чугунной решеткой, которая отделяла здание американского посольства от улицы. За счет таких зевак, как я, которые немедленно пошли смотреть, число людей перед посольством стало расти.

Со всех сторон подходили организованные колонны трудящихся. Ну, это известно как делается: из горкома звонят по райкомам, оттуда по учреждениям и предприятиям, дают разнарядку; местные парторги и спецотделы решают, кого без особого ущерба освободить на этот день от работы; потом в цеху, отделе или студентам в аудитории сообщают, что сейчас все как один отправляются на митинг, или на встречу кого-нибудь, или на гневный протест.

Рабочие, уволенные от работы, и студенты, освобожденные от занятий, охотно шли этими колоннами в отличном настроении, с шутками. И день был хороший, тепло грело солнце. Так что вскоре широкая улица оказалась запружена толпой почти до середины проезжей части. Тогда милиция перестала пускать и троллейбусы, чтобы совсем уж не мешать народному гневу.

Гнев выражался в том, что руководители раздавали по колоннам наспех написанные плакаты со словами “Позор!”, “Прочь руки от...”, а также, в малых количествах, небольшие камни, пузырьки с чернилами; в одной же группе — я сам видел — было роздано несколько старых калош. Подходя к зданию — милиционеры деловито раздвигали толпу: “Отойдите, пропустите!” — каждая новая группа выстреливала свои камни поверх решетки, а также пузырьки с чернилами, которые делали на стенах кляксы, и убиралась,

освобождая место другим. Наконец раздался звон: было разбито первое стекло, что вызвало в толпе много смеха и шуток.

После того как все камни были брошены, а уполномоченные активисты прокричали в несколько голосов “Позор!”, делать было, собственно, больше нечего, но все оставались стоять. Смотрели на окна. Настроенное было добродушное, смешливое; комментировались удачные броски. Все ждали, не дадут ли новой колонне более увесистый камень, чтобы разбить еще одно окно. Но потом все это стало довольно скучно.

Окна посольства были мертвы, за исключением самого верхнего этажа. Там они были открыты, и на подоконниках расселись служащие, большинство в рубашках, потому что было тепло, и разглядывали сверху собравшуюся толпу. Комсомольские дружинники догадались, пошли в жилой дом напротив, высунулись из окон верхнего же этажа и стали зеркальцами пускать зайчики в глаза американцам. Это внесло некоторое разнообразие, но ненадолго, ибо солнце закатилось. Все в толпе стояли и стояли, совершенно не зная, что делать, говорили о домашних делах, о детях, службе. Так хотелось, чтобы что-нибудь делалось, что-нибудь случилось, но ровно ничего не случилось, если не считать вылазки кого-то из американцев на балкон второго этажа с фотоаппаратом. Он хотел снять всенародное возмущение крупным планом, несколько раз щелкнул. В его направлении полетела калоша под всеобщий хохот, не долетела, и он ушел.

У меня-то было дело в редакции журнала “Юность”: надо было приготовить статью к 140-летию Льва Толстого, поэтому я уходил, писал, потом для разминки выходил посмотреть: все было по-прежнему,

толпа не уменьшалась уже за счет зевак, которые приходили, стояли, заскучав — уходили, а организованные, снятые с работы трудящиеся уйти не могли без приказа, и добродушие на их лицах постепенно сменялось усталостью.

Позволили разбить еще несколько стекол. Вдоль решетки стояла милиция и не разрешала взбираться на нее. Американцам надоело смотреть, почти все они ушли из окон, а как стало темнеть, то, полагаю, и из посольства по домам. Толпа все держалась перед фасадом с решеткой, за угол же в Девятинский переулок, где находится боковой служебный вход посольства, милиция не пропускала, и там было свободно.

Это тянулось до самой полуночи. Организованных наконец распустили, осталась лишь масса милиции и дружинников — по обязанности, но толпа не уменьшилась, потому что сюда, проведая, стекались гуляющие со всей Москвы. Ведь вечером в Москве, кроме ресторанов с очередями у входа и еще разве чертова колеса в парке Горького — куда деваться? В кино, театр и цирк — стоят шпалерами, спрашивают: “Нет ли лишнего билетика?” Тут же был бесплатный цирк. Вон какой-то дружинник опять бросил помидор, а другие свистят в два пальца. Зрители иронически смеются. И главное — какая свобода: гуляй себе во всю ширь проезжей части, свисти ухарски, распивай на троих, бутылку выкинь за ограду к империалистам — можно! Постоянно отрываясь и выходя на площадь, я свою статью так и не закончил, решил дописать ночью, ибо заело любопытство: ну интересно, а когда же и как этот народный гнев будет прекращен? До какого часа он был запланирован? Ведь все же сильное неудобство для движения: улица Герцена и Баррикадная забиты проб-

ками. Троллейбусы должны переставлять штанги на другие провода, идут по каким-то диким маршрутам, а тут, видите ли, какое-то гулянье под охраной цепей милиции. Неужели до утра?

Ничего подобного. Ровно в двенадцать часов ночи на площадь Восстания выехали три поливальных машины и стали деловито, дуга за дугой, мыть улицу. Толпа, естественно, отодвигалась от струй, и вообще это было правильно понято, как знак, что представление окончено. Буквально в пятнадцать минут у посольства не осталось ни души. Все было чисто, вымыто, по Садовому кольцу побежали автомобили и троллейбусы, только оставшиеся кляксы чернил на стене посольства и два-три выбитых стекла говорили, что тут что-то было. На другой день наши же советские рабочие быстро соскоблили пятна, вставили стекла. В газетах были помещены фотографии вчерашнего гневного протеста, на которых, однако, можно было видеть на заднем плане и смеющиеся и добродушные физиономии.

Да, наши органы общественного порядка дают возможность трудящимся выражать их чувства вплоть до того, что перекрывают вот уличное движение по самой крупной артерии столицы, чтобы оно не помешало выявлению этих чувств. Это, я думаю, надо подчеркнуть, чтобы вспомнить, как потом, через несколько месяцев, несколько человек уселись на Лобном месте с плакатами, тоже выражавшими их чувства, — в связи с вторжением в Чехословакию. Их немедленно схватили, вырывая плакаты и выбивая зубы, как “мешающих уличному движению”, хотя через Красную площадь транспорт не ездит и при Лобном месте никакого уличного движения нет. Подобных примеров сотни, вплоть до сегодняшнего дня: все, что не по

распоряжению сверху, — мешает уличному порядку, оказывается. Советские люди прекрасно знают, как прекращаются все уличные движения, когда надо кого-то встречать: космонавтов ли, Фиделя Кастро ли. Масовые снятия с работы и занятий, организованные колонны на точно распределенных участках вдоль трассы встречи, казенные раздаваемые цветы и флажки, которые по окончании процедуры следует сложить в кучи под табличками с названиями районов.

Я видел однажды в Болгарии, в Софии, более экономичную, я бы сказал остроумную, организацию встречи. По центральный улице Софии вдруг через каждые десять-пятнадцать метров стали милиционеры — и всех, кто хотел перейти улицу, возвращали обратно. Никто ничего не понимал: что случилось? По противоположным тротуарам в пять минут скопились толпы желающих перейти на другую сторону — кто домой, кто на работу, в магазин и так далее, — а милиция кричала, свистела, яростно ловила и заворачивала перебежчиков. Через полчаса вдоль всей длинной улицы стояли черные шпалеры возбужденных, недоумевающих людей. И вдруг побежали активисты, раздавая передним цветы, флажки и сообщая, что сейчас придет какой-то великий гость.

Показались машины, много машин, эскорт мотоциклистов, и, стоя в открытом автомобиле, великий гость улыбался и махал рукой радостно возопившим толпам по обеим сторонам улицы. Этот вопль был действительно, искренне радостный, потому что наконец все разъяснилось, ну и великого человека, конечно, вдруг неожиданно увидели, но, главное, теперь, когда он проедет, можно будет наконец перейти через дорогу. Как только скрылась последняя машина с охраной,

так сразу уличное движение и возобновилось. Спрашивали: кто это был? Оказалось, Новотный из братской Чехословакии. Как раз то были его последние месяцы.

У меня осталось вопросом: любопытно, этот великий гость тогда в самом деле верил, что столько людей сами, специально собрались, чтобы его встретить? Он так искренне, даже благодарно, растроганно улыбался. Все эти братские гости Москвы, Фидели Кастро и другие — неужели они верят, что эти тысячи людей действительно сами выходят их встречать? Не думаю. Все прекрасно знают, что это «театр представления», что играется ритуал, все стороны старательно его играют, как играют многое всю жизнь. Но болгарский опыт мне понравился. Не понимаю, почему его не применяют широко в СССР: он куда более экономичен, не отбирает рабочих часов — и поэтому совсем не наносит ущерба народному хозяйству.

20 апреля 1974 г.

Схемы и жизнь

Меня всегда удивляет странная близорукость так называемых утопических преобразователей мира. Случаются люди образованные, казалось бы культурные, знают философию и сами ею занимаются, эрудированы и вдруг изобретают утопию — до того наивную, непрактичную и невыполнимую, что хоть руками разведи.

В иной утопии любой, буквально любой человек с непредвзятым умом, даже ребенок сразу видит абсурдность. Но обычно утопии обставляются массой ученых слов, ссылками на великие авторитеты, обосновываются тончайшими софизмами, и *ученые* люди погрязают в них, как мухи в клейкой бумаге. Далее они своими авторитетами в свою очередь увлекают других. Абсурд провозглашается высочайшим, последним и конечным достижением мысли; а какой-нибудь простой человек глядит и говорит: “Ум за разум зашел”.

Вот пример попроще. Попроще потому, что он закончился фиаско и позором, а потому убедителен уже для всех. Нацистская утопия гитлеровского фашизма. Сказать, что Гитлер был образованным, эрудированным, вроде бы культурным, знал философию и сам ею зани-

мался, — это сегодня вызовет улыбку. Но все было именно так в представлении его, в представлении его сподвижников и миллионов, миллионов последователей, среди которых много было и образованных, и ученых всерьез.

Вот особо мощный довод “за” по тем временам: нацистская теория возникла ведь не где-нибудь в африканском племени, живущем в каменном веке, а в одной из самых цивилизованных и передовых стран мира, имевшей великие достижения в философии, литературе, науке, искусстве, во всей культуре. Писания нацистских теоретиков переполнены учеными словами и ссылками на авторитеты. Таким именно образом было доказано, что высшее и последнее достижение культуры, цивилизации, мысли — это “Майн Кампф” Гитлера. Не только в Германии, но по всему миру в то время имелось достаточно людей, которые так считали.

Думаю, стоило бы их уму *не* заходить за разум, а так, просто, без ученых слов и софизмов, взглянуть непредвзято: что такое, собственно говоря, нацизм, да и все — и, может (может!), на земле и не было бы бессмысленно погублено столько десятков миллионов жизней. Потому что это просто разделение человечества на элиту и рабов; элите жить, рабам рабствовать. Жестокие старые законы — от первобытных полудиких племен до ставших древней историей египетского или античного рабовладельческих обществ. Уверен, что в самой Германии при Гитлере можно было найти какую-нибудь, скажем, простую женщину, которой совесть не позволяла прельститься даже перспективой сделаться помещицей Салтычихой, которая смотрела недоуменно на то, что делается, как умные, казалось бы, люди словно с ума посходили — захотелось им, видите ли, грабе-

жа и рабовладения! — и вздыхала: “Право, ум за разум у них зашел...”

По той мудрой справедливости, которой почти не бывает в природе, не тем бы якобы умникам — неограниченную власть, танки и бомбовозы, а, право, такую женщину и поставить генеральным канцлером. Уж во всяком случае хуже бы не было. Во всяком случае.

Я мог бы привести пример уже не с воображаемой, а реальной женщиной — моей бабушкой или с моим дедом и вообще с множеством простых людей, среди которых проходило мое детство. Дед читал газеты по складам, а бабушка вообще не умела читать. Но когда началась великая кампания коллективизации, они оба сразу сказали: “Это уже было при крепостном праве. Из этого добра не будет”. Они сами, рожденные детьми крепостных, понимали в пресловутом “аграрном вопросе” гораздо больше, я считаю, и Ленина, и Сталина, и всех авторов революционных съездов “по аграрному вопросу”, хотя и слова-то такого мудреного не слышали. Тысячи умников, эрудированных, образованных, перечитавших фолианты по аграрному вопросу, изучавших историю аграрного вопроса, надорвавших голоса в речах по аграрному вопросу, в конечном счете не сумели, оказывается, ничего лучшего сделать, как фактически вернуться к государственному крепостному праву. Только разукрасили его гирляндами словес, вознесли на призрачный постамент абстрактных добрых намерений.

Оставим в стороне циников, которые прекрасно знают, что делают, а красивыми словами и ссылками на добрые намерения только маскируются. Это особый вопрос. Меня в данном случае интересуют те утописты-преобразователи, которые искренне верят, что их уто-

пии хороши. Тот же Гитлер — он верил, он жизнь отдал ради добрых намерений, питая их, правда, своеобразно.

Но когда наконец человечество до конца поймет, что общие “добрые намерения” — это не аргумент, никакое не доказательство и ни в малейшей степени не резон? Может быть, детям с малых лет, с самого первого класса школы надо бы объяснять, что слишком многими добрыми намерениями вымощена дорога в ад? Что сами по себе добрые намерения — это ничто, дым, пустой звук.

И далее: что может быть превеликий ум, который преспокойно заходит за превеликий разум. А если он еще зиждется на стальной вере в правильность своих добрых намерений, то это беда. Беда самого фанатика, если он живет один со своим фанатизмом. Беда семьи, если он заразит свою жену. Беда государств, всего человечества, если заражаются миллионы или сотни миллионов. Своего рода эпидемия. Совершенно точны названия книг Карела Чапека “Белая болезнь” или Альбера Камю “Чума”. Немецкий фашизм получил образное название “коричневая чума”. Но в свое время, еще раз подчеркнем, она казалась самым больным ею такой научной и конечной истиной, и аж лопалась от благих намерений, и шла к сияющему будущему.

Под такой циклопической пирамидой совсем потонул обыкновенный простой здравый смысл. То, что называют “мудростью”.

Бывают люди ученые-преученные, а все же глупы? А могут быть совсем неученые и даже неграмотные, а мудрые? Про таких поговорка: “Ума палата, а глупости — саратовская степь”.

Одна из кардинальных ошибок вот таких людей та, что они никак не понимают простой вещи: жизнь не-

возможно уложить в схемы. Как бы хитро, как бы, казалось, логически прекрасно ни была оформлена любая схема в голове ли, на бумаге, жизнь оказывается все равно неизмеримо сложнее. Диктаторскими методами можно внедрить в конечном счете любую схему на ту или иную продолжительность во времени. Это приносит обычно массу страданий, массу преждевременных смертей. И зачем?

Та же, скажем, коллективизация. Сколько людей обездолили, погубили 10 миллионов, по словам самого Сталина в беседе с Черчиллем, — и внедрили схему. Внедрили. Научно, преучено, с блистательным добрым намерением, чтобы наступило всеобщее благо-преблагосостояние, и слова насыпали, как из рога изобилия: “для блага народа”, “на рельсы научного земледелия”, “радостный труд без эксплуатации”, “воспитание нового человека”, “простор для широкой механизации” и так далее и так далее, в результате это изобилие вышло, да только изобилие — страданий.

Коллективизированная земля, какая-то неконкретно и абстрактно “всеобщая наша”, не могла не стать для людей просто чужой. Мачехой. А работа на ней — проклятьем. При каждом пахаре, при каждом сеятеле ставить милиционера с пистолетом, что ли, чтоб работали без халтуры? Вот мой дед и бабка, трудясь на крохотном огороде возле хаты в несколько соток, поливали его потом без приказа, без призыва, без решений съездов по аграрным вопросам — и выращивали столько, сколько тут же, за оградой, на колхозной земле, и с целого гектара не собирали. Это знаменательное зрелище — сравнение приусадебных соток и такого же количества соток колхозных. Вот вам — по жизни и вот вам — по схеме. Все как на ладони.

Нет, у авторов и хранителей советской абсурдной “аграрной” схемы есть Гималаи софизмов и цитат в пользу схемы. И главное: великие основатели сказали, что гора придет к Магомету. Значит, должна прийти. Сорок пять лет ждем — не идет. Это ничего не значит. Должна. Уже просто любопытно становится: сколько же еще лет ждать-то? И основатели умерли, не дождавшись, и продолжатели состарились. Поддерживаем себя инъекциями “все-таки достижений”. Соберется урожай не вдесятеро, а лишь всемеро меньше, чем на приусадебном огороде, — крику-то, торжества, рапортов! С горы камень скатился — движется, значит, гора.

Я так, в порядке фантастической абстракции, думаю: если бы вместо всей той — кровавой и голодоморной — коллективизации просто оставили бы тогда людей в покое, а? Или такая шутка: поставили бы комиссаром земледелия, без малейшего вмешательства, однако, в дела — ну, скажем, мою крестьянку-бабушку, или дядьку Никиту, или тетку Марию из села Литвиновки, — какое бы было в стране действительно изобилие. Не знали бы, куда девать, на какие рынки продать. Но мы так привыкли к тому, что жизнь постоянно гнется в бараний рог и насилуется всеми разными властями и бесконечно самоуверенными утопистами, что такое предположение действительно выглядит фантастичным уж прямо до неприличия.

Но в таком случае все что угодно — при отсутствии мудрости и достаточной самоуверенности — можно объявить великой целью. Например, всеобщее переселение на Марс ради оздоровления человечества, да! Или — зачем так далеко? — всеобщий запрет говорить, ибо кто-то докажет, что слово — зло. Всеобщее питание одной кукурузой, ибо кто-то докажет, что

только кукуруза — добро. Всемирное “грабь награбленное”, ибо это уж точно — святое дело, ангельское дело.

Жизнь, как многообразный и воистину необъятный океан, к раздражению утопистов, все-таки никак не входит ни в какие их формулы, ни в какие их схемы, а они обвиняют да судят кого угодно и что угодно, вместо того чтобы над *собой* задуматься.

27 апреля 1974 г.

Цензура

Латинское слово “цензура” пошло от древних римлян. Означает “наблюдение”, “присматривание” за чем-то. Цензор — это блюститель. Например, мой дед Федор Власович считал, что от книжек только порча глаз и потеря времени, и на свою дочку (мою мать) кричал: “Сейчас же перестань читать книжку! Делом займись!”, то есть в нашей хате — можно так сказать — он был главный *цензор*.

История деятельности Ленина и партии большевиков до 1917 года вся проходит под знаком борьбы с цензурой. Из-за цензуры газета “Искра” не могла печататься в России, а тайно провозилась из-за границы с разными ухищрениями вроде чемоданов с двойным дном, печаталась на самой тонкой, почти папиросной бумаге. Об этом всегда восторженно рассказывалось в советских учебниках истории, как и о множестве подпольных типографий, устраивавшихся иногда очень остроумно — со входом, например, через обыкновенный колодец с ведром на цепи и воротом. Периодически запрещаемая цензурой газета “Правда”, маскируясь, возникала под новыми и новыми названиями. Сре-

ди основных лозунгов большевиков непременно были “Свобода слова” и “Долой цензуру!”.

Для людей постарше это все — хрестоматийные вещи. Но для молодого сегодняшнего поколения в СССР это уже становится неизвестным. В новых учебниках о борьбе большевиков против цензуры за свободу слова более восторженно не рассказывается. Даже в энциклопедический раз пересмотренная и переработанная сегодняшняя “История КПСС” об этом ничего не говорит. Настолько любопытный факт, что поневоле возникает вопрос: с чего бы это?

Гм, помилуйте, в таком случае в “Истории КПСС” надо пересмотреть и затушевать еще ряд вещей. Молодому поколению, следуя той же логике, вряд ли стоит рассказывать, что превращение дореволюционной России в индустриальную страну (цитирую) “как и всюду, происходило путем усиления эксплуатации трудящихся. За цифрами роста фабрик и заводов, строительства железных дорог... скрывались горе народа, его слезы и кровь”... Да.

Процитирую еще такие мысли: “Подневольный крепостной труд был малопродуктивным, а основанное на таком труде сельское хозяйство очень отсталым”. “Торькой была доля крестьянина. В невероятно тяжелых условиях жили и рабочие... Нищенской заработной платы едва хватало на скудное пропитание. Но и этот ничтожный заработок всячески урезывался”. “Широко применялся труд женщин”. “Народ в России не имел никаких политических прав. Нельзя было свободно собираться, высказывать свои мнения и предъявлять требования, свободно объединяться в союзы и организации, свободно издавать газеты, журналы, книги”. Так.

Но если борьба революционеров против цензуры, за свободу слова из “Истории КПСС” убрана, то *это* уж, пожалуй, следовало убрать еще прежде. Вернемся к цензуре.

В свое время Ленин определил, в каком положении будет находиться печатное слово после победы революции (цитирую):

Это будет свободная литература, потому что не карьера и не карьера, а идея социализма и сочувствие трудящимся будут вербовать новые и новые силы в ее ряды. Это будет свободная литература, потому что она будет служить не пресыщенной героине, не скукающим и страдающим от ожирения “верхним десяти тысячам”, а миллионам и десяткам миллионов трудящихся.

Эти ленинские слова я, помню, изучал еще в школе. Все школьники также знают два первых декрета — “О мире” и “О земле”, принятые в день переворота 25 октября, по-новому стилю 7 ноября 1917 года. Помню, мне, школьнику, как-то была досадна эта цифра “два”. Для идеальной картины хорошо было бы “три” — четкая эффектная законченность. Бог троицу любит. Кроме мира (которого революция не принесла) и земли (которой она так и не дала в конечном счете), что следующее было таким важным, что подлежало немедленному декретированию в первую очередь? К вашему сведению, печатное слово. Но об этом уже не говорится ни в “Истории КПСС”, ни в других учебниках. Пришедшая эра свободной литературы ознаменовалась декретом “О печати”, изданным Советом народных комиссаров 9 ноября 1917 года, по этому декрету немедленно

ЗАПРЕЩАЛИСЬ (да, я не оговариваюсь, не “провозглашались”, не “разрешались”, а именно “запрещались” — с этого начали победившие борцы за свободу слова), итак, ЗАПРЕЩАЛИСЬ органы печати (цитирую текст декрета):

- 1) призывающие к открытому сопротивлению или неповиновению Рабочему и Крестьянскому правительству;
- 2) сеющие смуту путем явно клеветнического извращения фактов;
- 3) призывающие к деяниям явно преступного, т. е. уголовно наказуемого характера.

Не нужно было быть юристом, чтобы увидеть большие возможности, скрытые за этими емкими формулировками. Любой анекдот, например, может быть квалифицирован как “сеющий смуту путем явно клеветнического извращения фактов”. Что квалифицировать как “неповиновение”, “преступное деяние”, “уголовно наказуемое”? Это всегда решали руководители партии. Хуже того, в те времена, как показала практика, партия распорядилась вообще не утруждаться логикой, там, формальностями или законами, а — руководствоваться так называемым “классовым чутьем”. Знаменитый, так потом воспетый советским эпосом “человек с ружьем” говорил: “Я чувю, что ты враг” — и стрелял.

Феноменальное, небывалое и сногсшибательно простое разрешение всех сложностей. Куда там потом действительно, как говорит Солженицын, “недотыкам” Гитлеру и Геббельсу: нацисты черепа измеряли, проценты крови родителей считали, антропологов, медиков, химиков привлекали, чтобы определить, кто враг.

Согласно марксизму-ленинизму, пролетариат просто “чувет”. Так что многие были расстреляны не согласно декретам, а просто согласно “классовому чутью”. Но и декреты, конечно, вот — были. Сразу же после декрета “О печати” новая власть закрыла газеты “Биржевые ведомости”, “Речь”, “День”, “Новое время”, меньшевистскую “Рабочую газету” и так далее, и так далее, так что вскоре осталась одна и единственно только большевистская печать.

Вероятно, может стоить запомнить эту дату — 9 ноября 1917 года, ибо этот день можно считать не только днем погребения свободы слова, но и рождения всей последующей гирлянды статей, указов, пунктов и продуктов об “антисоветской агитации”, “злостной клевете” и так далее вплоть до знаменитого хрущевского закона о наказании за распространение анекдотов, сегодняшних статей под разными номерами в Уголовных кодексах разных республик о “заведомо ложных измышлениях, порочащих советский государственный и общественный строй”, “изготовлении и распространении”, а также и вот новинки — диагнозов “вяло протекающей шизофрении” и “мании реформаторства”, жертвам которых в целом за 56 истекших лет счет выражается в миллионных цифрах. Это все началось 9 ноября 1917 года ленинским декретом “О печати”.

Далее, через два с половиной месяца, а именно 28 января 1918 года, декретом Совета народных комиссаров был учрежден “Революционный Трибунал Печати” (каждое слово с большой буквы: Революционный Трибунал Печати). Нет, это надо вдуматься: *трибунал... чего? Печати!..* Один маленький шаг до “Трибунала Музыки”, “Трибунала Философии”, “Трибунала Театра и Цирка”, “Трибунала Языкознания”. (Не то

ошеломленно, не то печально вспомним, однако, в скобках, что все подобное, собственно говоря, фактически случилось уже потом, без декретов.)

Итак, цитирую декрет от 28 января 1918 г.

- 1) При Революционном Трибунале учреждается Революционный Трибунал Печати. Ведению Революционного Трибунала Печати подлежат преступления и проступки против народа, совершаемые путем использования печати.
- 2) К преступлениям и проступкам путем использования печати относятся всякие сообщения ложных или извращенных сведений о явлениях общественной жизни, поскольку они являются посягательством на права и интересы революционного народа, а также нарушения узаконений о печати, изданных Советской властью.
- 3) Революционный Трибунал Печати состоит из 3 лиц, избираемых на срок не более 3-х месяцев Советом Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов.

Вот и все. Под “извращенное сведение о явлениях общественной жизни” подпадает решительно все, что не понравится власти. От карикатуры, фельетона, сатирического стихотворения — до рассказов Зощенко, стихов Ахматовой, “Доктора Живаго”, “Ракового корпуса” и “Архипелага ГУЛАГ”.

Впоследствии Трибунал Печати стал тем, что сегодня называется ГЛАВЛИТ. И то и другое (зачем-то) — стыдливые синонимы слова “цензура”. Вместо “цензурировать” зачем-то говорят “литировать”. Новообразование бы сделать: “трибуналпечать”, “трибуналпечатизировать” — это вообще в русский язык не пошло бы

никак. Цензура получила название Главное управление по делам литературы и издательства. Буквенная аббревиатура от этого: ГУПДЛИИ. Не привилась. Аббревиатура по первым слогам: ГЛУПЛИТИЗ — тоже никуда не годится. Тогда, видимо, и придумали “Главлит”. Когда в юности впервые услышал это слово, подумал, что, наверное, что-то Главное в Литературе. Правильно, цензура. В советском словаре синонимов, однако, ни слова “цензура”, ни слова “Главлит” нет. Как и многих, многих других *синонимов*.

Так, в шутку говоря, знаменательные даты 7 и 8 ноября, два нерабочих дня, может, продолжить бы и третьим — 9-м, скажем, ноября, днем рождения декрета “О печати”. 7-го идти на демонстрацию, потом — пить. 8-го опохмеляться. А 9-го ноября — молчать. День торжественного всенародного молчания. В знак. В память.

В декрете “О печати”, кроме цитированных выше слов, актуальных и по сегодня, были и другие слова. Прочитирую два абзаца:

Как только новый порядок упрочится, — всякие административные воздействия на печать будут прекращены, для нее будет установлена полная свобода — в пределах ответственности перед судом, согласно самому широкому и прогрессивному в этом отношении закону.

Настоящее положение имеет временный характер и будет отменено особым указом по наступлении нормальных условий общественной жизни.

Ну, говорят, обещанного три года ждут. Поскольку обещанного особого указа нет вот уже пятьдесят шесть

лет, то логически получается, что то ли новый порядок *не* упрочился, то ли нормальные условия общественной жизни до сих пор еще не наступили? Или здесь еще и третье: простое циничное нарушение и забытие слова и принципа? На это в таком случае можно бы вспомнить авторитетную цитату, прочту ее: “Бывают такие серьезные нарушения принципов, которые делают *обязательным разрыв* всяких организационных отношений”. Автор этой корректной цитаты — Ленин Владимир Ильич, Сочинения, том одиннадцатый, страница 287.

4 мая 1974 г.

Время — судья

Корзинки для бумаг и сора, которые ставятся у рабочего стола, обычно делаются плетеными. Но в Англии они вытеснены пластиковыми или жестяными ведерками, красиво окрашенными, чаще овальной формы и с какой-нибудь картинкой — букет цветов, пейзаж, голова собаки или что-нибудь смешное. Мусорные ведерки становятся таким образом красивой частью мебелировки, и кажется, нет конца фантазии декораторов, изобретающих, что бы на этих ведерках изобразить.

Так, в универмаге “Джон Луис” на Оксфорд-стрит я стоял однажды перед большой стеной, занятой полками только с ведерками с десятками разных сюжетов, и увидел два с наклеенными на них вместо картинок какими-то документами — самыми настоящими документами, с водяными знаками, печатями, подписями, очень внушительными и напечатанными по-русски, что было совсем уж странно. Ознакомившись с текстом, я купил оба ведерка.

Оказывается, фабрика где-то добыла и использовала для наклейки на мусорные ведерки крупные денежные бумаги. Текст первой:

Государственный Дворянский Земельный Банк. Закладной лист на капитал ПЯТЬСОТ РУБЛЕЙ, приносящий 4 1/2 процента годового дохода...

(Пятьсот рублей до революции — это были порядочные деньги. 22 руб. 50 коп. процента — на это, пожалуй, можно было месяц прожить.)

Читаю дальше:

К сему закладному листу принадлежит купонный лист на двадцать полугодий, с последним купоном на срок 1 Мая 1923 года. С.-Петербург, 1913 года. Управляющий, Товарищ Управляющего, Члены Совета — шесть витиеватых подписей, шестизначный номер и роскошная печать.

Да, кто-то, кто-то вот в 1913 году положил капитал, получил эту бумагу и рассчитывал на проценты вплоть до 1 мая 1923 года. Вероятно, потом он эмигрировал. Долго, долго хранил. Возможно, у него таких бумаг была пачка. Он умер, дети продали пачку за несколько десятков пенсов, и через шестьдесят лет закладные листы пошли на оклейку мусорных ведерок.

Беру другое ведерко, читаю второй документ:

ЗАЕМ СВОБОДЫ. 5% облигация в 100 рублей нарицательных.

К Вам, граждане великой свободной России, к тем из Вас, кому дорого будущее нашей родины (все это пишется с твердыми знаками, “ерами”, конечно) обращаем мы наш горячий призыв... Только напряжение всех наших сил может дать нам желанную победу. Нужна затрата многих миллиардов, чтобы спасти

страну и завершить строение свободной России на началах равенства и правды... Одолжим деньги Государству, поместим их в новый заем и спасем этим от гибели нашу свободу и достояние.

Министр-Председатель — *князь Львов.*

И далее еще девять витиеватых подписей, все девять — министры. Дата: “Петроград, 27 марта 1917 года”. Семизначный номер.

Невозмутимые англичане приклеили на мусорное ведро и это. Много мыслей и много разной философии при желании можно было, наверное, выстроить по сему поводу. Но это совсем не нужно. Казус, просто факт — для кого кажущийся смешным, для кого печальный — привожу едино лишь к мысли о том, как неумолимое время поразительно переоценивает ценности. Вблизи иные вещи кажутся затмевающими полнеба. Проходит время. С расстояния оказывается, что то был пустой раздутый баллон, который от укола иглой лопнул.

Я говорил уже в одной из бесед, как однажды смотрел в Лондоне фильм югославского режиссера Макавеева “Тайны организма”, в который включены кадры кинохроники — величественный выход Сталина и его Политбюро к рукоплещущей и завывающей от восторга толпе делегатов в кремлевском зале. Сталин был такой маленький, в своем маскарадном мундире генералиссимуса, в штанишках с лампасами, с рекламной улыбкой “гения и отца народов”; в ответ на бешеные овации и рев толпы — этак делал вид, что тоже слегка похлопывает в ладошки. А за ним — субординированной, продуманной мизансценой — и Берия, и Кагано-

вич, и Молотов, и Микоян, гении Вселенной, воплощенные чуда на двух ногах. Сегодняшний кинозрительный зал взорвался смехом и хохотал чуть не до слез, как над Чарли Чаплином.

Если бы только прожить на земле достаточно долго, сколько можно увидеть явлений подобного рода, собрать богатую коллекцию документальных свидетельств — куда там любая филателия! Вот в Советском Союзе шел фильм “Обыкновенный фашизм”, там тоже включены кадры кинохроники, тоже о явлении гения народу, но — Гитлера. Немецкие женщины рыдали в истерических судорогах от подъема и счастья, как при виде Иисуса Христа. Правда, когда я еще в СССР смотрел этот фильм, советский зрительный зал не смеялся, но напряженно глядел — я бы сказал, больше, чем с простым любопытством.

По всей стране стоят памятники Ленину с протянутой рукой. Попробуйте в кругу приятелей, примите такую позу и выкиньте руку. Подумать только, как ревели массы в свое время, когда Ленин показывал им этот жест. И со сверкавшими глазами начинали петь: “Смело мы в бой пойдем / За власть Советов / И как один умрем / В борьбе за это”... Интересные слова: “И как один умрем”. Так что, останутся на земле, по-видимому, только одни Советы? Ничего, пели. И несколько миллионов действительно умерли. Чтобы потомки через полстолетия выдумали серию анекдотов о Ленине.

Но у Ленина был ведь еще коллега, лучший друг, вторая половина, интеллектуалист-марксист, по имени Лев, по прозвищу Троцкий. Ведь, собственно, *он* практически провел революцию. То был гений, касавшийся головой, как и Ленин, самого купола неба. Половину неба заслонял Ленин, половину — Троцкий. И вот ин-

интересный вопрос сегодня: как выглядел Троцкий? У Ленина была бородка, а у Троцкого она была или нет? И вообще, что случилось с этой горой, закрывавшей половину неба? подмахивавшей стопки массовых смертных приговоров с легкостью завмага, подписывающего акт об усушке и утруске?

Оказывается, этот баллон в самый разгар раздутия не избежал прокола. Он уехал в Южную Америку и потом долго писал, писал, возмущенно мельтешился, поливал какими только мог помоями Сталина — другой, более хитрый и ловкий баллон, закрывший вместо него небо, так что Сталин послал убийцу, и тот альпинистским ледорубом убил несчастного Троцкого прямо за письменным столом. История раздутия и конца — в духе довольно черного юмора.

В 1937 году, когда я пошел в школу, в первый класс, для нас небо было совершенно закрыто двумя гигантскими фигурами: одна, покрупнее, самый большой отец и друг детей, Сталин; другая поменьше, но тоже величайший друг детей — Постышев. Вы, надеюсь, краем уха, может, слышали такое имя. Он был большой гений, гекатомбы смертей подписывал не сморгнув, тот самый большевик, о которых Маяковский восторженно писал, что если бы из них делать гвозди, то в мире бы не было крепче гвоздей. Но между подписываниями смертных приговоров он в том же 37-м году — в порядке отдыха ума, что ли, — предложил восстановить елку для детей. С 17-го года она была упразднена — “рождественская”, часть религиозного культа и опиума для народа, естественно. Он предложил елку новогоднюю, нашу, советскую, пионерско-октябрятскую, с пением революционных песен и прочее. На первой елке в школе мы пели: “И эту чудо-елочку нам Постышев принес!”

Затем однажды нам в классе скомандовали: “Учебники на парты! Вырвать страницу с портретом Постышева. Замазать чернилами фамилию “Постышев” на таких-то страницах”. И гения не стало. Выдернули гвоздь.

Вот любопытно, ну что, если бы сегодня детский хор запел под новогодней елкой: “И эту чудо-елочку нам Постышев принес”? Нет, это так нелепо, что — чувствуете? — даже шутка не получается.

“Кукуруза — королева полей!” — это, пожалуй, еще вызовет улыбку, потому что свежее в памяти. Огромные заголовки в газетах: “Сев королевы”, “Дорогу — королеве полей”. В одном из номеров “Правды” целая полоса, вторая страница, была занята стихотворными строчками. Заголовок: Евгений Долматовский. “Кукуруза”. Поэма.

Не сочтите мои слова за выдумку или бред. В газетно-архивных отделах библиотек хранятся подшивки “Правды”. Поэт вначале заявлял, что, смело отбрасывая разные плюгавые темы поэзии, принципиально решил написать о том, что есть главнейшее из главнейших, и пошел: “Моя лирическая муза! Воспой сегодня кукурузу!”

В то время травили Пастернака. Ему была присуждена Нобелевская премия. Он не получил премии, принужденный от нее отказаться, и скоро умер. Он есть сегодня и будет всегда гордостью русской культуры. А Долматовский? Гм...

Исключением Солженицына из Союза писателей технически занимался в Рязани большой, мощный, все- сильный литературный вождь, один из секретарей правления, кажется на букву “Ф”... Дайте вспомнить, ну как же, это же какой силой надо быть, чтобы отлу-

читать Солженицына от литературы, взять и решить: отныне сие лицо писателем называться быть не может... Как его звали, этого Голиафа — на “Ф”, на “Ф” — Франц Таурин! Автор романа “Ангара” — читали? Ничуть не хуже, чем поэма Долматовского о кукурузе.

Много интересного материала пропадает зря, сколько можно было бы изобразить или приклеить на корзинах для мусора такого, что в свое время грохотало, и стреляло, и давило — все пади ниц, все расступись — *я иду!* Я — иду...

Ну да, время вносит коррективы. Время — судья. Время все в конечном счете ставит на свои места. И все же почему в качестве последней надежды полагаться только на суд его? Дутые идеи, пустые величины, вздорные ценности, фиговые страшилища не так уж сложны, чтоб не разглядеть их вес сразу. И главное, у каждого ведь *есть* весы, которые покажут точно, не обманут. Это — непредвзятость. Уважение к правде. Доброта. Совесть.

11 мая 1974 г.

Опасная власть

В годы жизни Сталина, примерно в 1949 году, мне случайно довелось быть свидетелем одной довольно парадоксальной сцены.

Жил человек — ученый, большой специалист в своей области, но совершенно, как говорится, непробивной, характером мягкий, деликатный, тихий. Обремененный семьей, работал как вол, но семья едва сводила концы с концами. Много лет они стояли в очереди на квартиру, но с каждым годом эта очередь парадоксальным образом не продвигалась, а даже как бы отодвигалась, так что квартира стала для них идеей фикс, чуть ли не конечной целью и смыслом существования.

Они скитались по углам — снимали комнату в разных частных домиках, причем семейным, с детьми, это сделать обычно очень трудно. В описываемый период их семья жила в проходной, сырой и полутемной комнатенке в полуразваливающемся домике; пищу жена готовила в сенях на примусе, дети непрерывно болели. Разговоры жены с хозяйкой сопровождались рефреном: “Вот когда нам дадут квартиру...”

Она ушла на базар, дети где-то гуляли, когда однажды муж вернулся со службы необычно рано. В доме была хозяйка, и я случайно оказался при этом.

Он вошел походкой тяжело больного, бледный, явно не в себе. Вошел и остановился на пороге.

— Боже, что с вами? — воскликнула хозяйка. — На вас лица нет.

— Да? — пробормотал он. — Нет, нет, ничего, благодарю вас, ничего.

— Да у вас что-то случилось?

— Нет, нет, у меня ничего. Просто сегодня объявили, что образуется новое министерство.

— А вас увольняют?

— Нет, наоборот! — Он испуганно оглянулся и, вдруг решившись, полушепотом сообщил, как великую тайну: — Мне предложили быть заместителем министра.

Сказал — и в глазах у него появился ледяной ужас приговоренного к смерти. Хозяйка молчала добрую минуту, как громом пораженная, проникаясь, как и он, ужасом.

— Ну вот, — пробормотала она в слабой попытке утешить, — квартиру будете иметь.

— Да, пятикомнатная квартира в центре, в совминовском доме, и все прочее... Что я говорю? Всю дорогу домой я брал себя в руки, чтобы по мне ничего не было заметно. Слушайте, я прошу вас, я умоляю вас, — он обращался к хозяйке и ко мне, — не выносите это дальше — и не скажите моей жене. Она ведь с ума сойдет. Не губите меня...

Озабоченно, серьезно мы заверили, что не скажем никому ни слова. Я, например, сдержал обещание и говорю сегодня об этом впервые, через двадцать пять лет, да и то только потому, что дошли до меня слухи, что че-

ловек этот умер. А тогда, в минуту слабости, ему нужно было выложиться, и надо сказать, это помогло. Через четверть часа, когда вернулась с базара жена, он уже держался как ни в чем не бывало, и полагаю, если она и узнала от него, что им грозило, то только много-много лет спустя.

А нам он сказал, что завтра будет отказываться. Назначение на такой руководящий пост — это, в общем, равносильно смертному приговору с отсрочкой на несколько месяцев или лет. Услужливые сослуживцы ментально подсчитали, что в той квартире, пятикомнатной, пожилы уже до десяти семей — поочередно сажавшихся замминистров — врагов народа. Теперь очередным предложили быть ему. Он еще не сообразил, как убедительно отказаться. Отказ — это тоже преступление. Пришла беда. Согласиться или оказаться — все равно враг. Он член партии. Партия не признает отказа: велят — значит, должен. Единственное, пожалуй, убедительное: это тяжело, по-настоящему заболеть, надолго, неизлечимо. Потом затеряться, перейти куда-нибудь, каким-нибудь неприметным лаборантом станции по защите зеленых насаждений. В общем, он сделает все, чтобы не сделаться заместителем министра. Но жена не должна знать, она этого может не пережить.

Действительно. Ему удалось мягко и без последствий уйти от высокого поста, от власти — и от квартиры, конечно. Они еще много лет продолжали скитаться — и дождались очереди только при Хрущеве, получили типовую двухкомнатную “малогабаритку” на пятом этаже без лифта, в новом микрорайоне, полтора часа езды от центра города, вода течет из крана только два-три дня в неделю, так что они спешили наполнить

ванну и так имели постоянный запас. Но счастливы были они неописуемо, хотя счастье пришло под конец жизни: он вскоре вышел на пенсию и умер. Своей собственной, однако, смертью.

Времена и нравы изменились. Для некоторых слушателей, в особенности, конечно, молодых, мне кажется, следует еще раз подчеркнуть, что это незаметное событие — когда человек в ужасе отказался от поста заместителя министра с роскошной квартирой, огромной зарплатой, персональными машинами и прочих, прочих благ, — что это было в Сталинскую эпоху, даже, точнее, под конец ее, когда она стабилизировалась, став ясной уже для всех.

По-видимому, до сих пор не создана точная научная статистика, какой была средняя продолжительность жизни руководящих лиц при Сталине. И вряд ли когда-нибудь будет сделан точный подсчет снимавшихся слой за слоем, ликвидированных не-знаменитых, не-известных комиссаров, секретарей партии, заместителей министров, директоров заводов, офицеров и так далее. Выделяются и останутся в памяти наиболее яркие или одиозные имена — Якир или Постышев, Фрунзе или Тухачевский.

В первую очередь прослежена более или менее точно судьба так называемых “соратников Ленина”, то есть именно той группы людей, того главного ядра, которое и совершило переворот в 1917 году, изобрело и установило новые законы и принципы жизни, действующие вот уж шестой десяток лет.

Это выглядит несколько нелогично, когда в Советском Союзе, говоря о революции, называют только имя “Ленин, Ленин, Ленин”. Как будто Ленин один, как волшебник, какой-то всемогущий джинн из сказки, все

делал один. Личность — Ленин. Под его водительством — почти безличная партия. Под ее водительством — уж совсем безличные массы. Определение “соратники Ленина” объединяет сейчас до смешного мало имен, их, кажется, можно пересчитать по пальцам одной руки: Свердлов был, Дзержинский вот, то есть те, кто успел сразу после революции умереть своей смертью.

При Сталине главным соратником был Сталин. Прямо не говорилось, но любому школьнику было ясно, что революцию, собственно, сделал Сталин, однако он не говорит об этом только из-за гипертрофированной скромности. Сталин руководил всем на местах, Ленин прибыл из Финляндии, Сталин дал отчет, Ленин со всем согласился и пришел в восторг. Все главные действия предлагал Сталин, Ленин приходил в восторг и кричал: “Правильно, товарищ Сталин!” Своей титанической фигурой Сталин как-то компенсировал отсутствие большого количества других соратников. Ныне же, когда Сталин-соратник развеялся как дым, образовалась пустота. Такое впечатление, что масса кабинетов в Смольном были пустым-пусты. Впечатление, что даже сам Ленин, собственно, успел умереть вовремя. Для официальной советской истории, по крайней мере, кончина Ленина вскоре же после революции представляет много выгодных моментов. Такие же его соратники, как Троцкий, которые потом зачем-то долго еще жили и жили, для советской истории — прямо-таки кость поперек горла.

А соратников у Ленина было много. Среди современных исследователей принято считать главными соратниками Ленина сто пять членов ЦК (и кандидатов в члены), избранных на VI съезде РСДРП в 1917 году. Это был первый съезд исключительно большевистской

партии, ее руководство окончательно выкристаллизовалось, эти люди входили в последующие Центральные комитеты, вплоть до XII съезда в 1923 году: Троцкий, Бухарин, Каменев, Киров, Косиор, Куйбышев, Орджоникидзе, Рыков, Пятаков, Радек, Скрипник, Зиновьев, Уханов, Зеленский, Рыскулов, Киселев, Сталин, Лобов, Ломов... и так далее, сто с лишним человек.

Странное впечатление производит этот список лиц, в то время, в общем, равных: Зиновьев, Уханов, Зеленский, Рыскулов, Киселев, Сталин, Лобов, Ломов... так они, оказывается, выглядели в списке, соратники Ленина. Последние фразы их биографий таковы: Зиновьев — ликвидирован в 36-м году, Уханов — ликвидирован в 38-м, Зеленский — ликвидирован в 38-м, Рыскулов — ликвидирован в 37-м, Киселев — ликвидирован в 38-м, Сталин — умер в 53-м, Лобов — ликвидирован в 39-м, Ломов — ликвидирован в 38-м.

Общая статистика группы соратников Ленина такова: 44 были ликвидированы, то есть казнены или умерли в заключении, 4 покончили с собой, 4 были убиты, 2 официально погибли в катастрофах, двоих расстреляли англичане в 1918 году, 12 умерли по неизвестным причинам. Естественной смертью умерли — 31. Дожившие до глубокой старости Каганович и Молотов попали в опалу. Благополучен оказался один — Анастас Микоян.

Может, теперь еще яснее тот ужас моего знакомого, когда он узнал, что его назначают замминистра. В порядке фантазии я так думаю: что, если бы в том, 1917 году всем этим ста с лишним молодым, энергичным и полным надежд людям вдруг каким-нибудь чудом открылось их будущее? Не объявили бы они почти все самоотводы от членства и от кандидатства в ЦК? Оста-

лись бы соратниками Ленина только Сталин да Микоян? А может быть, и Микоян не остался бы? Странную, прямо какую-то сюрреалистическую шутку сыграла жизнь с партией большевиков, и в шутке этой кроется, по-видимому, глубокий смысл или закон, над которым будет размышлять еще не одно поколение.

25 мая 1974 г.

Оппозиция литературы

Каждому, кто прикасается к истории нашей художественной литературы, должно бросаться в глаза обилие несчастливых, а то и трагических судеб писателей и поэтов. Школьные учебники упорно подчеркивают трагедии писателей дореволюционных, которые все, конечно, от Радищева до Льва Толстого, задохнулись в тисках царизма. Но вот скоро шестьдесят лет, как царизма нет, а за тот период писательских трагедий случилось во много раз больше, чем за все столетия предыдущей истории.

Первый русский нобелевский лауреат Бунин оказался за бортом России и никогда в нее не вернулся. Один из самых блестящих писателей мира Владимир Набоков в пожизненной эмиграции стал более англоязычным, чем русским. Максим Горький вернулся, лишь чтобы, возглавив административную рубку литературы под корень, быть в конце концов физически убитым в числе других. Расстрелянный Гумилев, замученный Мандельштам и сотни, сотни других талантов. Платонов — дворник при Союзе писателей. Булгаков, чьи “Собачье сердце” или “Мастер и Маргарита”, чудом уцелев, появляются спустя много лет после его

смерти. Есенин и Маяковский, хоть и каждый по-разному, но кончающие одним и тем же — самоубийством. Или самоубийство гордости русской поэзии — Марины Цветаевой. Или самоубийство большого таланта, но постыдной и страшной фигуры советской литературы — Александра Фадеева.

Какая дикая свистопляска, какая травля Зощенко и Ахматовой — не укладывающаяся ни в какие разумные рамки, прямо неприличная — была в конце сороковых годов! Или вокруг Дудинцева за его роман “Не хлебом единым”. А травля второго русского нобелевского лауреата — Пастернака, которой довели его и до отказа от премии, и до быстрой смерти. Вспомним, конечно, постыдный процесс Синявского и Даниэля, отсидку их в концлагере. Лауреата Нобелевской премии Солженицына, который оказался повыносливее и тверже, чем Пастернак, додумались насильно выдворить из пределов страны — то еще хорошо, что не закрыли пожизненно за провокацию или в сумасшедший дом. Теперь в изгнании оказался один из самых серьезных современных русских писателей — Максимов, как и один из лучших русских поэтов (а по мнению некоторых вообще лучший на сегодня) — Бродский.

Если добавить воистину трагическое положение, в котором находятся сегодня на родине Виктор Некрасов, Окуджава, Галич, Войнович, Чуковская и десятки других, то получается картина такая странно-невеселая, что, право, верится с трудом. Трагедия русской литературы разрослась до немыслимых размеров, как показывают факты, *после* свержения царизма. Что это такое? Какой-то непонятный рок? Трагическая судьба как отличительная специфическая черта талантов из числа пресловутых загадочных славянских душ?

Нет, конечно, ни загадочные души, ни рок, ни прочая мистика тут совершенно ни при чем, потому что все гораздо проще. Писатель — а это слово я хочу употреблять в его единственно правильном значении: писатель настоящий, то есть не халтурщик, не приспособленец, не лжец, а подлинный и честный художник, — вот именно в таком смысле писатель не может не оказаться в оппозиции к любому общественному порядку, построенному на подавлении, на насилии. Или он действительно писатель — и тогда он автоматически враг для царящего вокруг насилия. Или он приспосабливается к насилию, льстит ему, поет дифирамбы — но тогда он уже не писатель. Псевдолитературный писака в услужении.

Давайте рассмотрим любопытный факт. Большое количество писателей, сложивших головы в советских тюрьмах и лагерях сталинского периода, не были политическими противниками советского режима. Можно ли, например, сказать, что Горький, Мандельштам или Бабель были антимарксисты, антикоммунисты, антисоветчики? Мандельштам всего-навсего имел несчастье написать стихотворение, где сатирически изобразил Сталина, и даже не опубликовал — куда там, только написал да неосторожно кому-то прочел. Горький столько дифирамбов пропел Сталину и советскому строю, против даже и не написал, он, кажется, имел какие-то мысли. Кажется. Может, этими мыслями неосторожно с кем-то поделился, может, и нет, никто не знает.

Можно ли сказать, что Пастернак был политическим противником коммунизма или советского строя? Дудинцев написал роман с самыми лучшими советскими гражданскими чувствами: выпятить недостатки, которые мешают советскому строю, и народу, и партии.

Лиричный, неполитичный, весь с головой в искусстве поэт Бродский — разве он антикоммунист или антисоветчик? Александр Солженицын за все годы его травли ни слова худого не сказал ни о правительстве, ни о партии, ни о советском строе — он, собственно, продолжал раскрывать то, что сами партия и правительство открыли на XX и XXII съездах — и осудили. Как же его можно было назвать антисоветчиком или антикоммунистом?

Нет, подлинных художников в Советском Союзе официально клеймят как “врагов народа”, “антисоветчиков”, “агентов империализма” и прочее не потому, что они становятся политической оппозицией, а именно и только потому, что они творят как настоящие художники. Во врагах режима побывал Шостакович — за что? За совершенно не политическую, отвлеченную музыку. Живописец может быть врагом за то, что оригинально, а не так, как все, рисует. Скульптор — за то, что высек нечто необычное. Настоящий художник для тоталитарного режима враг уже только потому, что он настоящий художник.

Упрощенно говоря: он ведь не гнется. Он — ярко выраженная индивидуальность, свободная духом личность, а таких режим насилия не выносит: у меня все гнутятся, все подчиняются, все меняют ногу при первом же посвисте, а ты почему нет? Более того, то, что создает художник, заключает в себе обаятельную и убедительную способность заражать своим свободным духом других. Это уже совсем неприемлемо для режима насилия. Ему нужен больше военный марш, чем соната си-бемоль, картина “Колхозный урожай”, а не абстрактный пейзаж без высоковольтных опор, стихи во славу партии, а не гнилая любовная лирика, псевдор-

ман “Секретарь обкома”, но ни в коем случае не “Доктор Живаго”.

Все организаторы тоталитарного насилия — большие рационалисты. Они хотят хорошего и при этом изобретают какую-нибудь насильственную схему, которую — как им кажется — стоит только всем принять к исполнению, и сразу все на земле организуется наилучшим образом. Но в их рационализме, в их схематизме — как раз и их роковая ошибка. Человеческая душа, человеческая индивидуальность, человеческое “я” — в миллионы раз сложнее, чем им кажется. Соответственно и жизнь уж совсем в неисчислимо количество раз сложнее, чем им бы хотелось. Они не хотят с этим согласиться, иначе надо признать, что их схемы и построения мертвы и глупы.

Тогда они принимаются втискивать жизнь и людскую душу в свои схемы. Пишутся псевдоученые трактаты, что никакой души нет, что человек — простое арифметическое производное среды, а свобода — осознанная необходимость подчиняться, и вообще, чем больше человек подчиняется, тем, оказывается, он свободнее. И тому подобное.

И вдруг — личность, художник, который безгранично, неистово свободен именно потому, что не подчиняется. Литература, как и все искусство вообще, — это ведь как любовь. Это просто дается нам природой, или Богом, оно есть, или его нет. Можно ли любовью управлять, как автомобилем или трактором; приказать: здесь немедленно влюбись, теперь люби, теперь чуть меньше, чуть больше, прекрати.

Точно так же и искусство, точно так же и литература. Это не подлежит никакой рационализации, не подчиняется никакой власти. И как любовь, литература не

может быть задана. В свете последнего мне вспоминаются очень смешные собрания писателей по всей стране накануне празднования столетия со дня рождения Ленина. В директивном порядке всем без исключения давалось задание: написать что-то к столетию. И все выступали и брали на себя обязательства. И обязательства записывались в протоколах и потом проверялись. Невероятная, сложнейшая, ответственнойшая кампания в советской литературе.

Вот, столетие уже давно прошло, можно спросить: ну, много шедевров создали? Интересно, что многие ведь искренне старались. При Горьком еще был создан термин: “социальный заказ” в литературе. Сколько пишущего народу искренне старалось выполнить этот социальный заказ. Но в момент, когда писатель принимает социальный заказ всерьез, он перестает быть писателем. Он становится ремесленником, выполняющим заказ, литературно кропающим, но не вольно творящим. Наиболее удачно накропавшим можно, конечно, создать искусственную славу, вручить Сталинские, там, Ленинские ли, Государственные ли премии, вынести благодарности в приказах и выдать бесплатные путевки в Коктебель, но к литературе это уже не имеет отношения. Это из совсем других областей — карьеры, добывания благ и прочее. А мы говорим о литературе. О художнике подлинном, который, хочет он того или нет, но всегда, непременно окажется в оппозиции ко всякому насилию, к любой лжи, фальши, ко всяким усилиям втиснуть жизнь в изобретенные честолюбивыми невеждами схемы.

Исторически так сложилось, что в жизни нашего народа литература, как и религия, играла очень большую роль. Влияние поэтов и писателей на умы было

всегда гораздо больше, чем министров. Отсюда и обилие трагичных писательских судеб — можно сказать, прямо пропорционально величине царящего насилия и несправедливости. Иными словами, для вдумчивого исследователя, пожалуй, достаточно узнать, каково было количество преследуемых, отверженных, загубленных при данном режиме писателей, художников, чтобы определить, до какой степени поднималась несправедливость в тот период.

Гонения в литературе, происходящие в последние годы в Советском Союзе, таким образом, не делают большой чести сегодняшнему периоду. И это, конечно, не только мое мнение.

1 июня 1974 г.

Совесьть

Беседа 1

Раз тридцать, может быть, если не больше, я слышал, как мой дед Федор Власович рассказывал свою историю ухода из родительского дома. Рассказывал, когда приходили гости, рассказывал приятелям по второму и третьему разу. Особенно когда случалось выпить рюмочку, он возбуждался и, перебивая разговор, без всякой связи вдруг восклицал: “А вот послушай, как я в молодости ушел из дому!” Краткая эта история заключалась вот в чем.

Дед родился и вырос в селе Шендеровка Каневского уезда в какой-то отчаянной крестьянской семье с одиннадцатью детьми, отцом-пропойцей, жившей в полуразрушенном курене, и спасали их коровенка да две лошади. И дед рассказывал, что, когда ему исполнилось то ли шестнадцать, то ли семнадцать лет, послал его отец в ночное пасти коней. “А я взял этих коней, — говорил дед, — и погнал их, и погнал их в город, и продал на ярмарке. И с той поры домой больше не вернулся”. Здесь дед умолкал и странным взглядом с каким-то глубинным, болезненным вопросом смотрел на собеседника, а тот, озадаченный, бормотал что-то вроде глубокомысленного “м-да...”.

Никто не спрашивал, и я не спросил, да если бы и догадался спросить: а зачем, собственно, дед рассказывает *это*? — думаю, что он сам не нашел бы внятного объяснения. Из него это просто выпирало, и все. Жило в его естестве, давило, и естество делало попытки как бы изрыгнуть, выбросить это. Причем любопытно, что дед никогда не продолжал, не делал оценки, и невозможно было понять, что из этого следует: “Смотрите, какой я был удалой молодец” или “Какой я был подлец, какая шкура: семью зарезал ведь, зарезал отца-мать и детишек малых”. Надо помнить, что значила лошадь для крестьянской, да еще такой нищей и многодетной семьи.

Нет, дед никаких оценок не делал; рассказывал просто факт. Может быть, подспудно, подсознательно ждал, что кто-нибудь оценку сделает? Именно подсознательно уже жаждал какого-нибудь суда, приговора, меры наказания и искупления. Может быть, тогда тяжелый, как камень, факт полегчал, растворился бы и забылся. Дед был, конечно, верующим, на исповеди ходил, но, по-видимому, и исповеди, и отпущения грехов не помогали. Доказательство тому: когда ему уже было под девяносто и он впал в старческое детство, уже почти ничего не помнил из своей жизни, факт об украденных у родителей конях выпятился у него в сознании вообще чуть не на первый план. Он постоянно рассказывал его таким же, как он, глубоким старикам, да так и умер с тем в доме для престарелых где-то под Полтавой.

В одной из прошлых бесед я уже говорил об одном пьянице-газетчике на строительстве Каховской ГЭС по фамилии Бурьба, у которого на совести был свой, так сказать, “факт-фикс”. В прошлом он был герой войны, фронтовик, танкист, что подтверждали и много-

численные жуткие шрамы и целая гроздь медалей и орденов. Но, напиваясь, он из всех своих военных походов, как заведенная пластинка, рассказывал всегда только одно и единственное: как они, танкисты, насильовали немок в Пруссии.

Ворвавшись первыми в какой-нибудь городок, танкисты его тридцатьчетверки первым делом бросались по немецким домикам в поисках ценностей и женщин. Потом отводили танк метров на сто пятьдесят и прямой наводкой разносили в щепы домик вместе с ограбленными и изнасилованными немками в нем. “Раздол-бали — и пошли дальше, во как, брат!” — заканчивал он, грохая кулаком по столу и сверкая дикими, пьяными глазами.

Поскольку он пил постоянно, то и рассказывал часто, и всякий раз повторялся с большой точностью, никогда не путал деталей. Это в нем клокотало, жило неугасающим огненным сгустком, и он — совершенно точно так же, как мой дед, — испытывал, по-видимому, непонятную, невыразимую для него самую потребность это рассказывать, рассказывать, рассказывать, без всякой опять-таки оценки, и ошарашенные собутельники не находились тоже ни на что другое, кроме глубокомысленного “м-да...”.

...А скажите, вам не приходилось вдруг резко переворачиваться или садиться в постели от ни с того ни с сего вдруг явившегося воспоминания о чем-то скверном, нелестном в вашей жизни? В постели, потому что чаще всего такие образы являются в момент, когда засыпаешь, или во сне — когда сознание находится в состоянии расторможенном, предоставленное самому себе.

В это время оно иногда играет с нами шутку: выкладывает нам то, что мы хотели бы забыть, что мы

приказывали себе забыть или ловко сплетенной сетью логических натяжек и софизмом давно уже покрыли, погребли, утоптали и утрамбовали. Кто бы мог подумать: а оно, оказывается, живет.

Если вы скажете, что с вами никогда и разу ничего подобного не случается, то позвольте усомниться: не кривите ли вы душой? Разве что вы просто еще очень молоды. Молодая совесть довольно ленива и толстокожа; мучает она все больше с возрастом. К такому заключению я пришел, наблюдая других людей, наблюдая самого себя. У меня, кажется, нет одного такого ведущего “факта-фикс”, как у деда Федора Власовича или у героя-танкиста Бурыбы, но не в меру служивое, все, оказывается, помнящее сознание время от времени вдруг ни с того ни с сего, казалось бы, преподносит мне какой-нибудь неблагоприятный факт из моей жизни — во всей его объемности, так сказать, в красках и запахах, потом другой, третий, и из них можно составить коллекцию.

Это что-то вроде архива, кладовой или склада в нас, с надписью — хотя бы вроде этого популярного “Никто не забыт, ничто не забыто”. Даже если нам самим кажется, что забыто накрепко и навсегда. В нужный момент — или, вернее, в *ненужный* момент — оно может выскочить и встать перед глазами живее живого.

Поясню, пожалуй, теперь собственным примером — только одним, да и то самым безобидным, отваги для изложения которого мне хватает главным образом, наверное, и потому, что дело очень давнее, случилось, когда мне было семнадцать лет. Я не помнил этого, совершенно не помнил, как его и не было, на протяжении лет двадцати эдак. Потом однажды — как выстрел, как удар в лицо, это полуприснилось, полупривиделось

мне в момент, когда я засыпал, и я подскочил и сел с мучительным стоном. До микроскопических подробностей, до действительно воздуха, погоды, цвета, запаха, звуков — все память выдала в неприкосновенности.

То было в 1947 году, в эпоху, когда “архипелаг ГУ-ЛАГ” достигал кульминационных вершин своего разбухания. Человека хватили за одно слово или случайность. Портниха шила и, не глядя, воткнула иглоку в газету — случайно попала в глаз портрета Лазаря Моисеевича Кагановича — загремела в лагеря. Сторожи приказали перенести в клуб огромный гипсовый бюст Сталина, он обвязал его веревкой, взвалил на спину — и получил срок за то, что провокационно и контрреволюционно набросил петлю на вождя. И так далее.

Я, как всякий молодой человек, конечно, курил. Мама моя, как всякая мать, конечно, на меня за это кричала. Я курил, прячась от нее. Однажды, придя с работы раньше, она застучала меня в сенях с папирсой. Я, увертываясь, выскочил на крыльцо, она за мной с нотациями, да так громко, чтобы и соседи и улица слышали и чтобы мне стало стыдно. “Курение убивает здоровье, курят одни только лодыри, болваны и дураки!” — на что я, напыжась, торжествуя сверкнув очами, так же громко, на всю улицу, ответил: “А товарищ Сталин — курит!” Мама так и поперхнулась. Сегодня это смешно. Тогда это было — страшно. Побледнев, дрожащим голосом она что-то забормотала, что товарищ Иосиф Виссарионович Сталин — человек уже в возрасте и он начал курить при старом царском режиме, это совсем другое дело, а я живу при советской власти, которая мне все дала... Это говорилось так жалко, так перепуганно, для людей, для *ушей* улицы, которые жадно слушали. Но победа была, конечно, моя. Обошлось это...

Но скажите, какая юная дрянь! Какой готовый, оформленный, кругленький Павлик Морозов! Какая во всем этом безграничная мерзость! Юная, розовощекая мерзость...

Так вот, именно только к примеру, эта сценка на чисто выветрилась из моей молодой головы на срок в целых лет так двадцать — а потом вдруг из глубин памяти явилась как удар, да так, что я застонал. И с того началась ее вторая жизнь, нет, совсем не назойливая, наоборот, очень скромная, строго моей совестью осужденная, конечно, но объективно отпечатанная на страницах моей жизни краской несмываемой, несчитающейся. Было? Было. Не забыто? Оказывается, НЕТ.

...Да, в этой беседе я говорю о совести. В сегодняшнем практическом до абсурдов, материализованном до порой фарсов и свинства мире говорить о совести некоторым представляется безнадежно старомодным, или смешным, или наивным. Напрасно. Это они сами очень наивны.

Пользуясь выпавшей мне возможностью сравнивать Запад и Восток, я нахожу, что в советском обществе положение с такими вещами, как совесть, доброта, порядочность, честь, неизмеримо тревожнее, чем где бы то ни было. Этими словами в советском обществе часто называются явления, диаметрально противоположные тому, что эти слова означали раньше и что единственно они могут означать... Честью и совестью эпохи пытается присвоить себе право называться группа последователей Ленина — Сталина, по вине которой в стране произошли трагедии, самые крупные во всей ее истории. Якобы подлинной “социалистической” (в кавычках) добротой называется умение быть безжалостным. Слово “порядочность” почти исчезло

из обихода. Это печально, но это совсем не значит, что сами явления могут исчезнуть. Нет, они ни приказным, ни декретным, ни агитационно-пропагандным путем, ни путем лжи перед другими или лжи перед самим собой — неуничтожимы.

Совость — это нечто такое, что существует независимо от нашей воли. Это сильнее нас. Управлению не поддается. Временному искривлению, временному молчанию, временному подавлению — да. Но только временному. Зато с тем большей силой, как вышедшая из-под контроля пружина, расправляется потом, и мстит, и бьет. С совестью шутики плохи — это истина, старая как мир, но она и вечна, как мир, не стоит забывать об этом.

10 августа 1974 г.

Совесьть

Беседа 2

В прошлой беседе, сознательно рискуя в чьих-то глазах показаться смешным, я попробовал поговорить о совести. Да, знаю лично много, даже слишком много людей, которые при слове “совесьть”, “чистая совесьть” способны только хмыкнуть скептически. Таким людям кажется, что в сегодняшнем практическом до мозга костей мире и до абсурдов материализованном, порой до фарсов и прямого свинства, говорить о совести — есть занятие смешное, старомодное или по меньшей мере очень наивное.

Напрасно. Я бы взял на себя смелость заверить и циников и скептиков, ни во что не верящих, что они ошибаются. Это *они* наивны. И очень.

В прошлый раз я рассказал самые простые, прямо-таки “учебно-наглядные” случаи, когда какой-нибудь гнусный поступок, совершенный в молодости с легким сердцем и без всякого зазрения совести, даже забытый на долгое время, потом вдруг начинает все чаще вспоминаться, мучить, жечь, отравляет всю дальнейшую жизнь вплоть до самой смерти.

Это происходит помимо воли человека и очень часто — решительно вопреки его желанию. Совесьть ни-

какому управлению — включению там или выключению — не поддается. И между прочим, одним из парадоксов людской цивилизации мне лично кажется то, что в изучении неживой природы мы дошли до порядочных таки глубин и можем похвалиться знанием мельчайших движений нейтронов и позитронов, но о кардинальных — важнее которых, может быть, и нет? — явлениях в человеческой личности, как, скажем, совесть, знаем не больше, чем древние ассирийцы или вавилоняне. А то, может, и меньше?

Но ведь от того, что мы этого не знаем, что мы это игнорируем, что мы над этим в невежестве своем еще, бывает, и смеемся, происходит, как мне кажется, *львиная* доля бед людских.

Ну хотя бы вот такое, в чем я (наперед говорю) глубоко убежден и могу доказать и объяснить, как на ладони, но изложенное в виде просто краткого тезиса: “Совесть не поддается управлению, не поддается полному выключению, заглушению или обману”, — многие ли с этим согласятся? И уж тем более многие ли из молодых, вступающих в жизнь, знают это, понимают и мозгом и душой как серьезнейшую непреложную истину? Глупая ошибка дедов, повторенная глупыми отцами, продолжает повторяться глупыми детьми, затем детьми их — каждый что-то там слышал о совести, но не верил, потом, может, убеждался на опыте под конец жизни, что это серьезно, но уже было поздно, а когда пытался научить других — ему уже не верили. И так поколения за поколениями повторяют как по писаному все одно и то же.

Один из моих самых простых, этих, так сказать, “учебно-наглядных” примеров был с героем-фронтовиком, танкистом по фамилии Бурыба, которого я знал

лично уже как беспросветного, страшного алкоголика, который, напиваясь, из всех событий войны постоянно, маниакально рассказывал только одно: как в Пруссии они, танкисты, врываясь первыми в какой-нибудь городок, бросались по домикам грабить и насиловать немок, а потом, немного отведя танк, прямой наводкой разносили в щепы и домик, и немок в нем. Вечно заросший щетиной, какой-то изломанно-сгорбленный, с дикими, по-звериному сверкающими глазами, с трясущимися руками алкоголика, этот Бурыба производил тяжелое впечатление, и кончил он свою жизнь где-то всего лет в сорок с лишним довольно бесславно: лежащего пьяным поперек дороги, его переехал бульдозер, возвращавшийся со смены без света.

В связи с этим такой вопрос. Если бы ему, молодому, в его лет шестнадцать-семнадцать, восемнадцать показали, как на экране, каким он будет в сорок, какой он главный подвиг совершит в жизни, как будет о нем рассказывать собутыльникам в заплеванной пивной и как он закончит свою жизнь, выйдя из этой пивной, — не пришел ли бы он в ужас, юный мальчик?

Допустим опять, что после демонстрации такого фильма отец бы сказал ему: “Знаешь, постарайся не делать в жизни бесчестных и подлых вещей. Ты можешь избежать военно-полевого суда, можешь ни от кого не услышать даже полслова упрека, но это чепуха. Главный суд в нас. Он казнит страшнее любых придуманных людьми судов и мер наказаний. И главное, его избежать невозможно, он не включается, не заглушается, не обманывается”. И может быть, в данном случае данный человек, юный мальчик по фамилии Бурыба, прислушался бы? Может быть, он иначе бы жил? Может быть, и не грабил бы, и не насиловал, и не разносил до-

ма с людьми прямой наводкой? А что? Может быть, и сегодня он бы жил?

Так нет же, кинофильма о своем будущем он видеть не мог, а тирады насчет совести он, возможно, слышал, и не раз, так, краем уха, не придавая им значения, а то и просто зубоскаля: “Ха-ха, нашли чего нам говорить — о совести! Наивные дураки!” Напрасно. Сам он был наивный дурачок.

Это, повторяю, случай наиболее простой и прямолинейный, который для классификации и можно определить, если хотите, с довольно мрачной иронией как “учебно-наглядный”. Далее я хочу привести случай чуть сложнее.

Многие задаются вопросом: что сейчас поделявают бывшие сталинские энкавэдисты, все эти следователи, начальство сталинских тюрем и лагерей, эти садисты, руками которых как раз конкретно и уничтожались миллионы? Частично они сами себя стреляли, судили, замучивали, естественно, как пауки в банке, ликвидировались самим хозяином, подобно Ежову, — в этом проявилась какая-то справедливая месть жизни. Но те, что уцелели, что остались безнаказанными, ушли на персональные там разные пенсии — и живут себе по сей день припеваючи? И совесть их не мучает, и не рассказывают они своих подвигов, как Бурыба, потому что с самого начала так убили в себе эту самую совесть, что и следов не осталось? Мучит разве что иногда страх, как бы все ж наказание не вышло? Я лично знал ряд таких... язык не поворачивается сказать “людей”, одно время они меня очень интересовали, пока я не убедился, что в подавляющем большинстве они походили с ума.

И это такое сумасшествие, при котором очень плохо. Им вечно плохо, они без исключения мучаются, и в

этом виноват весь мир, а расстрелять или посадить мир у них уже как-то нет возможности, и от этого еще хуже — не жизнь, а постоянное жаренье на сковороде. Одного такого типа я наблюдал более года, живя с ним в одной квартире.

Однажды я снял нелегально комнату в центре Москвы, на самой улице Горького, у Моссовета. Это была квартира коммунальная, с общим коридором и кухней, но — только три съемщика. Две соединенные комнаты занимал сталинский следователь в отставке по фамилии Кутовенко с женой. Две другие комнаты — дряхлая старушка со старой же дочерью-вдовой, семья какого-то умершего своей смертью министерского чиновника — они-то и сдавали “втихаря” от милиции одну из своих комнатушек, подрабатывая к пенсии. Больше комнат в квартире не было, но была кладовка с крохотной амбразуркой-окошком, достаточная, чтобы в ней поместились кровать и табуретка. Там жила в качестве третьего съемщика старая одинокая актриса на пенсии, маленькое, забитое, несчастное существо, жившее едино надеждой на то, что ей, может быть, дадут однокомнатную квартиру.

Кутовенко работал следователем НКВД всю жизнь, и это был как раз случай, когда никакое внешнее возмездие палача не коснулось. Наоборот, он имел приличную пенсию, две комнаты на самой улице Горького окнами на Моссовет. Он был худой, какой-то высушенный, мощеподобный, на восковом лице углями горели шизофренические глазки. При стуке входной двери или малейшем шорохе в коридоре он высовывал голову из комнаты и сверлил глазами. Или его бочкоподобная, вся в каких-то бородавках и наростах жена. Они стояли один другого. Я никогда не видел, чтобы

они выходили погулять, только жена кратко отлучалась в магазин. Дома, все время дома, как в добровольном заточении. Кутовенко ходил по коридору, то изучая туалет, то обследуя кухню, и бормотал:

— Я вас научу уважать советские законы! Я вам покажу социалистическую законность! А за решеточку не хотите? За решеточку! За решеточку!

Мои старушки-хозяйки прятались от него и мне советовали не говорить с ним, не обращать внимания: человек больной, что там! Он в основном прицепился к актрисе в кладовке. Он написал грозные расписания: когда кто должен подметать коридор, вычислял до десятых долей копейки, кто сколько обязан платить за общую лампочку, у дверей кухни висело много бумажек с расписаниями, и старенькая актриса путалась и забывала о своей очереди. Кутовенко грохотал кулачищем в ее дверь и орал: “Я тебя научу правилам социалистического общежития! За решеточку!” Так он все время метался, следил, окруженный нарушителями, врагами, ужасным миром. Улыбаться он просто не умел; кажется, он не знал даже поводов, по которым люди улыбаются. Это был сгусток мрака, мучительного, отвратительного общего состояния. Даже жрали с женой они что-то такое ужасно отвратительное, от него, когда жена готовила, по квартире шла такая удушливая вонь, что нечем было дышать. Среди ночи из-за их дверей доносились крики — кошмары их душили, возможно, а то и что-то вообще подобное звериному вытью. Ну, знаете, не позавидуешь такой жизни. Уж не то что счастливой, но даже просто хоть немного выносимой я бы затруднился ее назвать. Формально же, повторяю, наказаний никаких Кутовенко не понес, наоборот, формально все так хорошо: вышел вчистую на приличную

пенсию, безбедная старость, жилье на улице Горького, два квартала от Кремля. Но я бы не хотел так кончать свою жизнь и не знаю, кто бы хотел.

Не хочу сказать, что *все они* кончают как этот Кутовенко. Конечно, вариантов и вариаций множество. О них я еще скажу. Но случай Кутовенко статистически, кажется, наиболее распространен и типичен. И не кажется ли вам, что тут есть над чем задуматься?

17 августа 1974 г.

Совесть

Беседа 3

В сегодняшней беседе я буду продолжать разговор о совести. В отличие от множества чересчур умных скептиков, которые убеждены, что говорить сегодня о совести — смешно, анахронизм, я так не думаю. Это никогда не было анахронизмом — и не будет.

Очень заблуждается тот, кто полагает, что с совестью можно не считаться, что ее можно поворачивать и так и этак или вообще из своей жизни упразднить. В прошлых беседах я приводил иллюстрации к тому, что совесть не поддается управлению, не поддается полному выключению, заглушению или обману. На время, может быть, и да. Но только на время. Зато с тем большей силой, как вышедшая из повиновения пружина, расправляется затем, и бьет, и мстит.

До самой смерти людей мучают воспоминания о когда-то совершенных гнусностях. Если у мозга хватает сил бороться с ними днем в бодрствующем состоянии, они являются ночью во сне, когда наша воля, и наши приказы, и самоубеждения бессильны. Они многих палачей приводят к безумию. “Кого боги хотят наказать — лишают разума”, — говорили древние.

Одно время, живя в Советском Союзе, я специально занимался вопросом: а как поживают уцелевшие, по-выходившие на персональные пенсии бывшие сталинские следователи, энкавэдисты, тюремщики? Я думал, что хорошо. Но с удивлением убедился, что в подавляющем большинстве они просто походили с ума. Кто ярко выражено, вплоть до помещения в сумасшедший дом; кто просто домашний, несносный для окружающих шизофреник, параноик, причем это не те счастливые дурачки, которые всему рады, безмятежно смеются, а несчастные, денно и нощно мучимые чем-то изнутри: им плохо, плохо, плохо, и все вокруг плохо, и улыбаться они не умеют. Третьи еще тоньше: иной, кажется, и выглядит нормальным, но при более пристальном рассмотрении оказывается клубком маний, типичных психических маний, плюс некоторый идеологический мертвый автоматизм, плюс автоматизм физиологический, а *личности* нет. Мешок, полный маний и автоматизма, но неживая личность. Какой-то *нечеловек*.

Это мое сугубо личное мнение, но мне все больше кажется вероятным, что в будущем наука психиатрии коснется по-серьезному многих фактов в человеческой истории и внесет в их освещение и толкование крупные коррективы. Например, Сталин — с точки зрения психиатрии. Ленин — с точки зрения психиатрии. Руководящий энкавэдист или крупный партиец — с точки зрения психиатрии. И так далее, и поглубже в века, к Грозным, и Неронам, и прочим Иродам, и могут всплыть на поверхность прелюбопытнейшие вещи.

Так вот энкавэдисты. В начале шестидесятых годов я задумал написать повесть, позаимствовав название у Чехова: “Дуэль”. Два одноклассника, два друга детства, из которых один стал чекистом, а другой, так сказать,

честным коммунистом. Во время сталинских чисток последний арестован, и его следователем оказался бывший друг. С тем большим садизмом чекист издевается над “честным коммунистом”. Конечно, здесь диалоги, и правда-матка в лицо, и цинизм. Потом, чудом дожив до хрущевской реабилитации, полуинвалид реабилитированный узнает, что друг-то чекист живет-поживает себе как ни в чем не бывало, имеет дачу, разводит клубнику. Он направляется к нему со старомодным и наивным намерением: вызвать его на дуэль.

Далее, по моему замыслу, следовала встреча, долгий разговор между ними. Чекист, бледный от страха, это паскудство, даже не понимал толком, что ему предлагается именно благородная дуэль, а только думал, как сообщить в милицию, что его пришли убить. В общем, видя перед собой ничтожество, мой герой должен был потерять всякий свой запал, отказаться от глупой дуэли: кому и что теперь докажешь? Встать и уйти.

Это была литературная схема из головы. Я знал много прототипов для своего положительного героя, но нужны были прототипы для отрицательного, и то была одна из причин, почему я стал их искать и заниматься ими. Вот тут я и увидел, что если следовать за жизнью, то мой герой находит не просто ничтожество, а умалишенного, психически больного. От той, какой бы там ни было, личности бывшего друга, что существовала когда-то, — ничего не осталось. Ноль. Личность давно умерла. Осталась формальная оболочка, мешок, наполненный шизофренией, маниями и рефлексам, а человека нет. И стреляться — не с кем. С больными не стреляются. Как, если хотите, и судить — некого. Не судят умалишенных...

Написанная до половины, эта вещь у меня застопорилась, осталась незаконченной, потому что по ходу рабо-

ты становилось все более ясно, что и положительного-то никакого человека у меня нет, а есть оболваненный — тоже автомат, только иного оттенка. Какая там дуэль — пауки в банке! То, что в процессе борьбы они друг друга так жестоко уничтожали, пытали, морили, — в этом можно увидеть одно из проявлений справедливого возмездия жизни. Судьба Ежова, Ягоды или Берии — законченные иллюстрации, к которым слова не прибавишь.

Да, они довольно-таки серьезно расправлялись друг с другом, так сказать, в своем же кругу, своими же собственными руками. Но очень многие из тех, кто формально, казалось бы, избежал возмездия, на самом деле тоже его не избежали. Вот что меня поражает. Каким-то неумолимым, логичным и неотвратимым способом личность отмирает, остается оболочка, ходячий труп, *нечеловек*.

И в этом смысле, смею предположить, жизнь гораздо более справедлива, чем мы думаем. Есть ее непреложные законы, вот такие, как, например, соблюдение совести, за нарушение которых она сама, помимо любых людских кодексов, нюрнбергских трибуналов, карает так, как не покарат никакой трибунал. Действительно, после людских кар — заключения в тюрьме, лагерей и прочее — человек если выйдет, то может сохранить личность, а то выходит личность еще живее и оформленнее, чем была раньше. Жизнь карает же так, что живой личности не остается. Перефразируя Солженицына, я мог бы сказать, что и меня, грешного человека, это наблюдение как-то утешает.

Это ведь не теоретическое рассуждение. К такому заключению поневоле приходишь, наблюдая факты, именно факты. Ко многим НЕчеловекам в Советском Союзе я тогда нарочно обращался с простым, очень простым вопросом в упор: “А вы счастливы?” Это было потрясающе — смотреть и слушать, как отвечают эти

автоматы. Примерно так: “Да, я счастлив, что жизнь моя была служением делу построения коммунизма в нашей стране”. Ни один не оговорился хотя бы, что где-то там чуточку и несчастлив. Но и то ведь — что такое счастье? Они же ведь этого не знают и даже не подозревают. В простоте душевной даже самые сохранившиеся из них ведь под счастьем понимают право сесть в первом ряду президиума. И — право латать свой разваливающийся мешок-оболочку в правительственном санатории “Горячий камень” в Пятигорске. Вот их, собственно говоря, представление о счастье. Ну да, они бо-ролись ого как, клочья и зубы летели! Значит, выходит, тем более, даже по марксизму — вполне счастливы.

Ну, знаете, повторяю я сказанное в прошлой беседе после описания сошедшего с ума бывшего следователя НКВД на пенсии Кутовенко: ну, такой в кавычках “жизни” ведь, собственно, не позавидуешь. Не хотел бы я, в результате своей жизни, превратиться вот в *это* и не знаю, кто бы хотел. Резюмирую.

Я не встретил в своей жизни *ни одного* действительно счастливого бывшего палача, бывшего чекиста ли, энкавэдиста ли, или хотя бы просто старого большевика. Более того, я не видел ни одного такого, чтобы он был в ясном уме, без патологических искривлений, комплексов, манний, психозов. Может быть, вы встречали? Я — нет.

В Переделкине, где находятся дачи Союза писателей, где я долгое время студентом жил в общежитии, есть, между прочим, Дом старых большевиков. Нас назначали туда агитаторами, да и вообще каждый может туда прийти, посмотреть, поговорить с этими странными существами. Попробуйте. Поглядите на них, хотя это довольно тяжелая и грустная картина. А ведь людей в прямом смысле слова там нет. Есть тени, повторяющие

некоторый набор фраз из газеты “Правда”, как радиола-автомат, которую заело, в которой даже не может смениться пластинка. Это оболочка чего-то такого, что когда-то, при иных обстоятельствах, имело шансы сделаться людьми, дожить до старости людьми, но в несчастливый момент пропустило мимо ушей предупреждение, что с совестью шутки плохи. Посмеялись, как над старьем или, там, скажем, религиозным дурманом старого мира: совесть, ха-ха, это еще что такое?

Им подсунули взамен эрзацы: партийная совесть! социалистическая законность! советский гуманизм! О, эти прилагательные... Жизнь знает одну совесть как таковую — совесть. Без прилагательных. В мире есть один гуманизм — гуманизм без прилагательных. И кто пытается прицепить прилагательные — расовая, там, совесть, фидель-кастровская совесть, хунвейбинская совесть, — тот (чувствуете!) имеет в виду нечто другое, к подлинной совести не имеющее никакого отношения, а являющееся издевательством над ней. За такие неумные или корыстные попытки жульничать с самой жизнью она, жизнь, мстит эпически-равномерно, как древняя Фемида с завязанными глазами, пропорционально тому, что кладут на чашу весов. По воспоминаниям современников, Ленин в последние годы жизни подбирал кадры для ответственных постов, задавая вопрос: “Сколько врагов вы лично расстреляли?” Лихие кадры, по-видимому, набирались — с кристальной партийной совестью, но с полным подавлением совести просто человеческой. Они не знали, что этот фокус с подменой удастся только на время и что, топча свою совесть, они подписывают себе приговор, означающий, как мне думается, фактическое духовное самоубийство личности.

24 августа 1974 г.

Совесьть

Беседа 4

В этой беседе я продолжу изложение моих личных мыслей и наблюдений, связанных с явлением человеческой совести.

В прошлый раз я рассказывал, как в Советском Союзе одно время специально занимался вопросом: как проживают уцелевшие и повыходившие на пенсию бывшие сталинские следователи, энкавэдисты, тюремщики. Я думал, что они живут хорошо, благополучно и совесть их не мучит. Но с удивлением убедился, что в огромном своем количестве они просто посходили с ума. В разных формах, в разной степени, но чаще всего это — такая свирепая унтер-пришибеевская шизофрения, с целым букетом мучительных маний, при которой субъект не знает ни секунды умиротворения или покоя, но ему плохо, плохо, ужасно, он вечно настороже, а по ночам скрипит зубами и стонет от предчувствия, что вот-вот случится что-то совсем уж жуткое и фатальное. Объяснение этого явления для психиатра не представляет труда.

Память хладнокровно сохраняет и затем преподносит человеку, независимо от его воли и часто вопре-

ки его воле, наяву ли, или во сне, события его прошлого — в том числе, особенно, подлые поступки. Как бы он ни убеждал себя, что они не были подлыми, самое глубинное, самое затаенное или задавленное его “я” все же знает им цену. Верхнее сознание может даже вполне искренне не знать — подсознание знает. И возникает неотвратимое ощущение угрозы, расплаты. Откуда угроза, какая? Все вокруг благополучно сложилось, прекрасно, полная безопасность, концы спрятаны в воду, следы выжжены и развеяны пеплом — а ощущение УГРОЗЫ не покидает. Уже одна эта смутная, абстрактная, нереальная (но в иных случаях и тем более страшная своей неоформленной смутностью) угроза, сидящая в душе до самой смерти, начисто лишает субъекта счастья, а непрерывное напряжение вызывает в психике патологические изменения.

Иными словами, по-бытовому говоря, какое уж там счастье или уж как тут хотя бы не чокнуться, если нет-нет да и “мальчики кровавые” в глазах, а неровен час — в советской действительности все может случиться: в один день, одно решение, один указ — и вдруг именно ты загремишь как козел отпущения, почему нет? Это столько раз было, и столько “козлов” трепыхалось — но в *твоих* руках, и столько твоих коллег, ничем не лучше, не хуже тебя, в один миг превращались из обвинителей в жертвы. Да, тебе вроде бы повезло *пока*, и в разряд жертв ты так и не перешел *до сих пор*, и материально вот вроде бы ничего. *но...* Час ведь не ровен. Пока все есть так, как есть, — хорошо. А ну что-то чуть изменится? Объявлять своих же коллег, лучших служаек, вдруг злейшими врагами — сколько раз это было? Да зачем далеко ходить — ведь уже клоунов, уже как бы начало клониться: “Правда” расхва-

ливала повести про разных зэка Иванов Денисовичей, косяками какие-то мемуары реабилитированных пошли, рассуждения, намеки. Впору в небе было призрак петли над головой увидеть. Ну хорошо, что прекратилось, — но надолго ли, насколько прочно прекратилось? Это ведь благодаря старикам там, у верхов, не отошедшим, как ты, от дел, удалось затоптать, завалить открывшуюся щель, но надолго их хватит, стариков-то, сдерживать? А ну каким-то новым, молодым и уже к прежнему не причастным, покажется политически для себя выгодным вытащить все же тебя на показательный суд? Что тогда твое призрачное везение, зыбкое материальное положение и так далее? Дым. Мыльный пузырь. Вот так ты живешь и обречен жить до смерти. Да!

Я думаю, вы согласитесь, что такой или примерно такой клубок рассуждений не может не шевелиться хоть время от времени в сознании бывшего сталинского палача. Причем это — как минимум, по самой меньшей мере, не прямые угрызания совести, а только простой примитивный страх, постоянно висящая угроза.

На протяжении этих бесед о совести я ловлю себя на том, что как бы примеряю к себе различные состояния описываемых субъектов, и у меня уже становится рефреном: ну, знаете, я бы не хотел на склоне своих лет язвой ощущать в душе что-то подобное и не знаю, кто бы хотел. Более того, предполагаю, беру на себя смелость предположить, что, если бы каким-нибудь чудом в самой ранней юности всем этим палачам открылось их будущее, этак ярко, осязательно, объемно, по большому счету — и пусть со всей внешней (внешней!) благополучной пенсионной старостью и благополучнейшими похоронами с орденами на подушечках, на литературном кладбищенском месте — да, да, с самым по-

четнейшим, благополучнейшим внешне концом! — если бы им открывалась их будущая палаческая жизнь со всеми подоплеками и последствиями, то большая часть этих юных людей (очень большая часть, а то, может, и все?) круто повернула бы в ужасе и строила бы свою жизнь иначе.

Нет перед нами такого “кино” в начале пути каждого из нас. Есть бормотание разных стариков да мудрецов, из которых песок сыплется, о какой-то совести, советы жить не по лжи, беречь честь смолоду и тому подобное, которым беспечная молодость внимать не желает, верить не хочет, а когда приходит время, что пора, кажется, все же поверить, то, бывает, оказывается поздно.

Остается удел страха, ощущение угрозы, мании с переходом — как показывают факты жизни — к патологическим, необратимым изменениям в сознании, шизофрениям, паранойям и не так редко полному умопомешательству. На этот счет спросите персонал сумасшедших домов: сколько у них доживает век бывших энкавэдистов. Я когда-то спрашивал, ответы меня ошеломили и озадачили.

Повторяю тезис, который тоже, как бы рефреном, проходит в этих беседах о совести: жизнь, оказывается, гораздо справедливее, чем нам кажется. От несовершенного людского суда можно уйти, и уходят сплошь да рядом. От суда жизни так не уйдешь, подозреваю более того: что уйти вообще невозможно.

Ну, это вот: помрачение разума — распад личности, нелепый конец личности при живом еще физическом теле. “Кого боги хотят наказать — лишают разума”, — говорили древние. “Лучше посох и сума, только б не сойти с ума”, — припоминаются строчки какого-то поэта.

А те, кто не сошел с ума? И до посоха и сумы не упал, а, по обывательскому представлению, живет припеваючи, дом полная чаша, дача за высоким забором, “Волгой” на базар клубнику отвозит и прочее? Если встретите такого бывшего палача и он вам скажет, не сморгнув, что ни о чем в жизни не жалеет, что прожитой жизнью гордится, доволен или что он тем более счастлив, — не верьте. Лжет. И не столько вам, сколько в первую очередь себе: изо всех сил себя убеждает, судорожно убеждает каждый день, потому что очень трудно и хитро построенный домик самоубеждения постоянно разваливается почему-то, его нужно укреплять и подстраивать и заново строить и строить до самой смерти. Своего рода труд Сизифа, так же однообразно повторяем, такой же процесс в границах процесса, такое же наказание.

Из той, как я считаю, меньшей части бывших палачей, кто не рехнулся, чья личность не развалилась заживо, но уцелела в пределах, так сказать, среднестатистических стандартов, из этих, оставшихся нормальными, что делает большинство, как вы полагаете? Так ведь *пьют*. Так ведь большинство этих якобы нормальных — не то что глухие пьяницы, а законченные, кристальные алкоголики. И можно ли их в таком случае числить нормальными?

Древнее наблюдение: совесть отлично топится в вине. И страх тоже, неясные висящие угрозы всякие. Но это одна часть дела. Топится, пока действует вино, пока сознание искусственно, алкоголем, приведено в состояние оглупления, забытья. Когда действие алкоголя кончается, состояние ужасное, нужен немедленно новый алкоголь, как известно, и так без конца.

Организмы одних долго этого не выдерживают и безвременно разваливаются. Другие в отчаянии спо-

хватываются, или их близкие спохватываются, делают попытки лечения алкоголизма, антабусы и прочее. Здесь любопытно спросить у медперсонала отделений больниц для лечения алкоголиков: сколько прошло через эти отделения бывших энкавэдистов. И опять ответ поразителен и озадачивает. Но что лечится-то? Следствие, а не причина. Знаю случаи, когда, и приняв антабус, в безумии, ничего не помня, пьют — и, как по писаному, умирают. А те, чей организм особо долго тянет при беспросветном алкоголизме, представляют, согласитесь, довольно мрачное зрелище.

В соседнем подъезде дома, где я когда-то жил, обитал один такой типичный алкоголик, энкавэдист мало-го чина на пенсии. Его фамилия была Таран. Этого Тарана никто никогда не видел трезвым. Руки его тряслись, лицо буро-восковое, слюни изо рта. За столом доминошников во дворе его презирали, над ним потешались, но в числе “на троих” за углом гастронома он непременно был — пенсию-то пропивал, рубль и копейки всегда имел.

Доподлинно было известно, что он служил в СМЕРШЕ. Менее внятно он проговаривался, что то ли постоянно был *исполнителем*, то ли только от случая к случаю приводил приговоры в исполнение. Но что-то его сильно мучило: похоже, он где-то делал большее, чем от него требовалось, то ли что-то по собственной инициативе делал, что можно было вообще не делать. Допиваясь до прострации, метался, терзал на себе одежду. Бабушки во дворе качали головами: “Как душа его горит! Как демон его терзает!” Да, было похоже, как если бы в него вселялся некий мифический демон: временами он даже катался по земле, пускал пену и брыкался ногами. Это называется “алкогольная эпилепсия”.

Однажды этот Таран умер, довольно жалким образом. Притащившись, как обычно, и повалившись на кровать в бессознательном состоянии, он лежал ничком, у него пошла рвота, которую он захлебнул в дыхательное горло — и так задушился. При склонности к символам эту смерть в собственной блевотине можно было бы назвать довольно символической. Просится тот же рефрен: о, не хотел бы я себе такого конца, не знаю, кто бы хотел.

О тех, кто непьющий или кто бросил пить, — у меня накопилось тоже немало любопытных наблюдений. О них в следующий раз.

31 августа 1974 г.

Совесьть

Беседа 5

В этой сегодняшней беседе я хочу продолжить изложение своих наблюдений и мыслей, связанных с явлением человеческой совести. Я рассказывал в прошлых беседах, как мне довольно много приходилось наблюдать своего рода “мечь совести”. До самой смерти человека могут угнетать — хочет он того или не хочет — воспоминания о совершенном зле, иногда это превращается в своего рода мучительную, жгучую мысль-фикс, так что не может быть и речи, чтобы назвать такую жизнь счастливой.

Задавшись вопросом, как поживают уцелевшие и повыходившие на пенсии бывшие сталинские следователи, энкаведисты, тюремщики, я был в свое время поражен тем, что огромное количество их просто посходило с ума. Другие превратились в законченных, потерявших человеческий облик алкоголиков. Прошлую беседу я закончил вопросом: ну а те из них, кто непьющий или кто бросил пить? Присмотритесь к ним, копните их в глубину. Уверен, что каждый может привести не так мало любопытных и озадачивающих наблюдений. Я же приведу свои. Рассказ этот можно назвать “Три самоубийства”.

Первое. Я знал случай, когда директор сельской школы (живший, по сельским понятиям, очень хорошо, богато живший) вдруг зарубил топором в кроватях спящую жену и детей — и затем повесился сам на балке в кладовке. Случай был настолько дикий и необъяснимый, что следствие долго доискивалось, не было ли это убийство, искусно замаскированное под самоубийство. Была одна деталь, из ряда выходящая, труднообъяснимая. Руки висельника были заведены за спину, обвязаны веревкой по запястьям, и эти веревочные кольца соединены и заперты на висячий замок, ключ от которого сколько ни искали, так и не нашли. Но криминалистика как раз знает подобное явление, когда самоубийцы разными хитроумными способами как бы страхуются от спасения, от передумывания в последний момент, в том числе описаны случаи запираания себе рук для надежности на замок с выбрасыванием ключа куда-нибудь в кусты или выгребную яму.

Происшествие, конечно, потрясло село и весь район, его долго обсуждали на все лады, недоумевая: “С ума ли он сошел? Чего ему не хватало? Дом — полная чаша, жил как буржуй по сравнению с другими, греб откуда мог, льготами пользовался”, — и так далее. Нет, и алкоголиком не был. Выпивал, как всякий здоровый мужчина, на именины, на праздники, крепко выпивал, но держать себя умел, так что водка здесь ни при чем. Как и приступ временного помешательства (как условно записали, чтобы закрыть следствие и как-то формально объяснить то, что на поверхностный взгляд казалось совершенно необъяснимым).

Но объяснение просилось на поверхность, намеком содержалось в шепоте колхозников, сквозь зубы, по углам: “Собаке собачья смерть”. Такое он заслужил,

оказывается, (в кавычках) “соболезнование”, так, значит, его любили. Он был не только обычным, типичным представителем колхозной так называемой “номенклатуры”, этой сельской элиты, единственно благоденствующей при бедности и беде остальных, — он еще был нештатным представителем органов безопасности в данном селе, уполномочен был следить за настроениями, писал отчеты. Карьера его началась в сталинские времена. Редкая карьера тогда делалась без доносов. И в своей школе — из сил выбивался, чтобы сделать школу показательно-передовой: липовая успеваемость, барабанный идейный шум, школе постоянно присуждалось какое-то там переходящее знамя. На совещаниях в районе и области директор, конечно, на цыпочках перед начальством танцевал, мановение руководящего мизинца ловил, а у себя в деревне — лев рычащий, конечно, и все в таком роде. О, какое это изнурительное дело. Вся жизнь без пролеска, во лжи, изворотливости, слежке, интригах и так далее. И хотя бы ради чего-то действительно крупного, а то — директор школы где-то в глубинной глуши, куда по осеннему бездорожью, бывало, месяцами не было проезда, только трактор и проходил. Вот это удача в жизни! И так, значит, надо до конца дней отбарабанить и там же на сельском кладбище почтить. Нет, перспектива у него еще была: говорили, что его прочили в члены ревизионной комиссии обкома, но своим неосмотрительным самоубийством он заставил кого-то возмущенно поморщиться в обкоме, и гигантское место члена ревизионной комиссии досталось кому-то счастливому другому.

Экстраординарность случая говорит, по-видимому, и о какой-то экстраординарности личности. Видимо, какими-то углами эта личность вылезала из пред-

писанных шаблонов. И может быть, ей однажды открылась свирепо-холодная истина. Раз открывшись, уже не уходила. И какой же ледяной она должна была быть, эта истина, если перед лицом ее совершенно невозможно стало жить и нужно было только убить себя, а перед этим топором рубить в кроватях жену, детей — род свой убить, затем обдуманно соорудить петлю, запереть себе руки на замок, сунуть голову в петлю и ногами отбросить табуретку подальше... Вообразите себе, какое душевное мучение, и безвыходное и бесконечное, могло довести до такого шага. Хотели бы вы такой жизни? С постом директора и даже члена ревизионной комиссии, домом — полной чашей, переходящим знаменем от района и прочей *чепухой*? Где здесь отыскать хоть след счастья, если оно тут и не ночевало.

Второй случай — не экстраординарный нисколько, личность ничем не примечательная. В Туле в одном из старых коммунальных домов повесилась простая домовая стукачка. Она была в прошлом детдомовка, то есть без отца, без матери. Когда выросла — стала обычная гулящая девчонка, в меру воровка, в меру пьянчужка, и, по-видимому, при приводах в милицию ее быстро привлекли к стукачеству. Родила дочку неизвестно от кого, стала мать-одиночка. Жила в крохотной голой комнатенке — клопы, гнилые половицы, жалкое тряпье. Растила дочку, которую очень любила и которая была, собственно, единственной отдушиной в ее жизни, работала сторожихой магазина, по совместительству активно стучала на весь дом. Все это знали, в коридорных ссорах кричали ей в глаза: “Стукачка! Сексотка!” Дочка на тульском базаре познакомилась с грузином, привозившим продавать мандарины и лавровый лист, тот на ней женился и увез в Грузию. Каза-

лось бы, матери радость, что дочь удачно пристроилась. А она посидела-посидела одна несколько месяцев в своей каморке среди окликов “стукачка” — и повесилась. Что особенно мрачно: даже среди самых жалостливых старушек, какими так богата наша Русь, не нашлось ни одной, которая бы ее пожалела: мол, каждый ведь хочет жить, и оно, несчастное, как-то хотело, как-то спасалось, и что она видела за свою короткую жизнь (повесилась она, когда ей не было и сорока). Одна из темных жертв советской действительности, имя которым — легион. Нет, люди помнили, скольких она погубила доносами, особенно в войну и после войны. Она — тоже помнила. Свирепая история, вопиющая какая-то. Сколько их, таких, разыгрывается, невидимых миру трагедий — никто никогда этого не подсчитывал и не будет подсчитывать, к сожалению.

Наружу выплывают и становятся широко известными редкие случаи, когда личность была уже слишком знаменита, но и тогда не анализируют, а спешат что-нибудь солгать, чтобы затушевать истинные подоплеки. В этом смысле, как, впрочем, и во всех других, можно считать показательным случай с самоубийством писателя Александра Фадеева.

Знаменитый автор “Разгрома” и “Молодой гвардии”, лауреат Сталинских премий, член ЦК и борец за мир, Александр Фадеев был личностью довольно страшной. Во все годы самых жестоких сталинских расправ Фадеев возглавлял Союз советских писателей, был, так сказать, правой рукой Сталина в области литературы, санкционировал расправы и, возможно, их подсказывал и намечал. Иначе как бы ему уцелеть? С годами Фадеев все больше пил, превращаясь в алкоголика.

После смерти Сталина, во время хрущевских реабилитаций, Фадеев стал лечиться и совершенно перестал пить. Казалось, все хорошо: он жил в Переделкине на даче, что-то писал, много думал — и одним весенним утром застрелился у себя в кабинете. Два дня понадобилось высшему руководству на обдумывание, как об этом сообщить, и когда наконец вышла “Правда” с портретом Фадеева в траурной рамке, в некрологе черным по белому была напечатана неправда: что Фадеев-де покончил с собой из-за алкоголизма.

По случайности я, будучи студентом Литературного института, жил тогда в общежитии в Переделкине, по соседству с дачей Фадеева. Мы, студенты, были в числе первых, кто сбежался к фадеевской даче при известии, что он застрелился, мы знали ряд подробностей. Он оставил на столе два объемистых запечатанных конверта с надписями, на одном: “ЦК КПСС”, на другом: “Моей семье”. По-видимому, в них заключалось то, что он писал все последние дни. Конверты, как и весь его архив, были взяты под стражу — и потом бесследно исчезли. Жаль. Эти предсмертные письма могли быть очень важным свидетельством: что ощущает и что думает бывший палач, приняв решение о самоубийстве, и почему он к этому решению пришел.

Но и без такого свидетельства, независимо от любых объяснений, вот субъект, достигший максимальной власти в своей области, и славы, и материальных благ, — с чего это он пил? А потом не пил? А потом застрелился? Это была счастливая жизнь? О, я не хотел бы иметь подобную жизнь, такой конец; не знаю, кто бы хотел.

Итальянский философ Романо Гвардини утверждает, что если у человека нарушена связь с истиной, он

заболевает духовно. Он еще не болен, когда лжет и творит зло, но знает, что способен вернуться к совести и правде. Если же с истиной порвана связь без возврата, то человек болен. Внешне он может казаться здоровым и преуспевающим. Но сознательная, без надежды на конец “двойная жизнь” может оказаться такой невыносимой, что человек даже выбирает смерть. Определение это полностью подходит ко всем трем описанным случаям самоубийств. Но самоубийства — это все же крайний случай, именно когда личности так невыносимо, что ей даже предпочтительнее умереть. Я думаю, стоит рассмотреть то состояние личности, сотворившей много зла, когда она до крайности *не* доходит. Когда она со стороны кажется здоровой и преуспевающей. Именно: кажется. Об этом будет речь в следующий раз.

7 сентября 1974 г.

Совість

Беседа 6

Рассказываю о своих личных наблюдениях и мыслях, которые ничего нового, в принципе, в себе не заключают, а лишь подтверждают древнюю как мир истину, что с совестью шутки плохи.

Впрочем, на свете так много людей, которые с этой истиной не хотят считаться (может быть, полагая, что она устарела или отменена?), что убедительные доказательства того, что она не отменялась, не устарела и никогда не устареет, могут сами по себе оказаться для них новостью.

Я уже говорил о том, что, по-видимому, жизнь гораздо справедливее, чем на поверхностный взгляд кажется. Что суд нашей совести, или месть нашей совести, реально существует, независимо от нашей воли и несмотря ни на какие ухищрения. Это только на поверхностный взгляд кажется, что субъекты, сознательно натворившие зла, обойдя затем различные кодексы и удачно избежав людского суда, могут жить спокойно и счастливо. Это только кажется. Нет. Вот как раз жить счастливо им-то уже не дано.

Приводя примеры из жизни, я в прошлых беседах рассказывал, как людей до самой смерти угнетают вос-

поминания о сделанном зле, часто превращаясь в жгучую, мучительную мысль-фикс, начисто отравляющую существование. Огромное множество бывших сталинских палачей-энкавэдистов, которым удалось уцелеть, избежать суда и дожить до пенсии, оказывается, посходили с ума или превратились в дремучих алкоголиков, потеряв человеческий облик. Для довольно значительного процента последним уделом оказалось самоубийство. Их жизни, при внимательном рассмотрении, нельзя назвать не только счастливыми, но хотя бы мало-мальски выносимыми. Как я не раз повторял в этих беседах, не хотел бы я поменяться судьбой с кем-нибудь из них и не знаю, кто бы хотел.

Но вот есть же категория и таких, которые и зла натворили, у иных по самые плечи руки в крови, а живут вроде благополучно, с ума не сходят, на мысли-фикс не жалуются (во всяком случае, вслух), алкоголизмом или самоубийством не кончают. Их пример, со всей как бы выставленной напоказ безнаказанностью и благополучием, собственно, и вдохновляет на подражание (и во все века) юных и новых начинающих подлецов. Далеко не каждому удастся увидеть за благополучным фасадом роковые тонкости и подоплеки. Обратно говоря — почуять могильный трупный дух, которым тянет из-за благополучного фасада.

В третьей части “Архипелага ГУЛАГ” в главе “Псовая служба” Солженицын пишет об этих вроде бы благополучных сталинских палачах:

Да присмотритесь к их лицам, они ведь ходят и сегодня среди нас, вместе с нами могут оказаться в поезде (не ниже, конечно, купированного), в самолете... на их лицах — задубевшая отложившаяся жестокость

и всегда мрачно-недовольное выражение. Казалось бы, все хорошо в их жизни, а вот выражение недовольное. То ли кажется им, что они еще что-то лучшее упускают? То ли уж за все злодеяния метит Бог шельму непременно.

Согласитесь, что описание это — точно. Задубевшая, отложившаяся жестокость на лицах, мрачно-недовольное выражение. Ну и как вы полагаете, существование вот такого субъекта — счастливое существование? А нечеловало ли вообще когда-нибудь в его жизни счастье? Не судорожное удовлетворение от удач в карьере, власти, там, силы или кучи награбастанного добра, а — счастье. По большому счету. Да большинство из них — вполне искренне в своем псовом озверении вообще не знают, что это такое. Они думают, что счастье — это, например, выстроить дачу из левых, ворованных материалов. Да, да, так они серьезно считают, убогие.

Течение дней их существования — это непрерывное, хроническое “мне плохо, я недоволен”. Я рассказывал, что когда они сходят с ума, то это самое “мне плохо” разрастается до невиданных размеров, им неизвестно почему плохо, плохо, плохо, все решительно вокруг плохо, не так. В этом виноват весь мир в целом и каждая его частица в отдельности. И это состояние непрерывно, до самой смерти. Вот где наказание! Вот где пытка! Вот это уж действительно пожизненная каторга из каторг, додуматься до которой даже им самим бы не под силу, да вот гляди ж ты, как-то само собой получается: и без арестов, без обысков, без судов и следствий — Бог шельму метит, или, как сказано у Лермонтова: “Но есть, есть Божий суд, наперсники разврата”. Уж эти строки они в школе учили, но думали, что это

так, стишки, художественные метафоры для красного словца. А это, оказывается, истина, аксиома, это, оказывается, самое первое и главное, что следовало запомнить в жизни. Или, приспособляясь к их мраку понятий, это статья первая Кодекса, но не того, что издания Министерства юстиции и постоянно меняется и переделывается, а великого Кодекса Бытия — вечного.

К тому юридическому кодексу и пословица готовая пристегнута: “Закон — что дышло”. Но вот предлагаю такой эксперимент. Замените слово “закон” словом “совесть”. “Совесть — что дышло: куды повернешь, туды и вышло”. Чувствуете дикость? Чувствуете нелепость, совершенную невозможность этого “совесть — что дышло”? Народ такой пословицы и ничего подобного или даже близкого ей не создал. Говорится: “С совестью шутки плохи”; говорится: “Совесть не обманешь”. Полагаете, это тоже метафоры какие-нибудь, звук для красного словца? Вольному воля. Каждому вольно верить или не верить истинам, постигнутым путем тысячелетних исканий и ошибок — о важности чистой, незапятнанной совести, о необходимости жить не по лжи, не по злу. Верить или не верить — и таким образом, собственно, не выносить самому себе и не подписывать или выносить и подписывать некий приговор.

В четвертой части “Архипелага ГУЛАГ” Солженицын опять обращается к судьбам уцелевших бывших явных мучителей, опять задает вопрос, почему они вроде бы благоденствуют, — и выдвигает набросок такого ответа:

Это решилось бы только тем, что смысл земного существования — не в благоденствии, как все мы привыкли считать, а — в развитии души. С такой точки

зрения наши мучители наказаны всего страшней: они свинеют, они уходят из человечества вниз.

Вот найдено и точное слово. Непригодное для философских трактатов, но жизненно точное, не в бровь, а в самый глаз: свинеют, уходя из человечества вниз.

Кому посчастливилось прочесть “Скотский хутор”, тот знает, что там в результате красивых лозунгов и общественных переустройств верх над обществом взяли свиньи. Эта блестящая сатира, написанная во времена Сталина английским писателем Оруэллом, известна всему миру, как и его же книга “1984”, только советским читателям это недоступно и неизвестно когда будет доступно, хотя именно им это было бы интереснее и нужнее, чем кому бы то ни было. Но вот я предлагаю: в шутку ли, всерьез ли, в порядке фантазии попробуем задать себе такой вопрос: “За какой пост на общественной лестнице (начальник районного отделения милиции, директор камвольного комбината, министр легкой промышленности или госбезопасности, царь вся Антарктиды, а то — может? — диктатор вся планеты Земля и окрестностей...) или, если посты, может, не по душе, то — за какую сумму, в какое энное количество тысяч, миллионов или, может, миллиардов, квинтиллионов я готов и соглашаюсь *освинеть* и уйти из человечества вниз?”

Подумать только. Вздорный вопрос. Абстрактный вопрос, все равно что: за какой пост соглашаетесь, чтобы вам ампутировали мозг? Ни за какой пост, естественно. Нет цены, за которую я бы продал свое человеческое лицо и перестал, собственно, *быть*, — так, может, подумав, каждый ответит теоретически.

И вот поди ж ты, в жизни отдают и продают нечтоже сумнящиеся за месячную зарплату, за казенное

жилище, следующий чин... позвольте, книга Солженицына так и лежит раскрытая передо мной, читаю дальше с того места, где встречаем их в поездах, не ниже купированного:

В вологодских, архангельских, уральских поездах в купированных вагонах — повышенный процент этих военных. За окном мелькают облезлые лагерные вышки. “Ваше хозяйство?” — спрашивает сосед. Военный кивает удовлетворительно, даже гордо: “Наше”. — “Туда и едете?” — “Да”. — “И жена работает тоже?” — “Девяносто получает. Да я две с половиной сотни (майор). Двое детей. Не разгонишься”.

Откладываю книгу.

Как мало. Как дешево все это стоит. А я тут квинтиллионы, посты “всея Антарктиды” предлагал. Двести пятьдесят да жена девяносто. При Ежове тоже расценки были подобные и при Ягоде — всегда, в общем. Только это как-то не называется точными терминами, только это не выглядит как в лабораторном опыте: вот деньги на бочку, а вот, значит, бадня: садись, “майна” — и пошел на дно, вон из человечества вниз. А происходит как-то исподволь, обыденно, под красивые даже слова, и под лозунги, и под — часто — искренние добрые намерения. Требуется малость: поступиться совестью. А что такое совесть? Можно ее подержать в руках? А она молоко дает? Или хотя бы три процента годовых? Нет? За форточку совесть.

Да, это грустная, к несчастью, но совершенно точная особенность совести: она иногда так легко выбирается. Не для всех легко. Но для весьма многих — нет ничего проще. Зато если хотят подобрать и вернуть

ее на место, спохватясь, хоть то, что осталось, хоть усохшие ошметки — бог мой, как это трудно, и обычно вся налаженная жизнь летит вверх тормашками и в тартарары, включая и двести пятьдесят в месяц, казенные квартиры и прочее. И это бывает. Редко, но бывает. Кажется, в каждой конкретной жизни есть черта, до которой это с большими или меньшими потрясениями еще можно успеть сделать, но после которой — возврата уже нет.

Мне думается, уместно вспомнить в качестве иллюстрации историю бывшего агента советской госбезопасности Хохлова, направленного в свое время на Запад с целью тайного убийства одного из руководителей партии НТС и которого совесть потрясла и перевернула буквально, кажется, в самый последний момент. Тайный агент КГБ и совесть — какое сочетание, а вот случается.

14 сентября 1974 г.

Встречи с читателями

Раньше меня довольно часто мучил один и тот же кошмарный сон. Мне снилось, что я выступаю на читательской конференции. Или еще вариант с отягчающими обстоятельствами: я выступаю на читательской конференции, мне задают провокационный вопрос, я отвечаю на него так горячо и искренне все что думаю — и по торжествующим глазам рассаженных по залу стукачей вижу, что это засечено, сейчас же, как только кончится конференция, они кинутся строчить рапорты, рапорты.

Читательских конференций (или варианты названий: “встреча с писателем”, “диспут по книге” и прочее) в Советском Союзе проводится фантастическое количество. Писатели выступают, выступают, и есть такие, кто выступает больше, чем пишет. Сочинив одну книгу, затем занимаются тем, что только и встречаются с читателями. Таким был покойный Вершигора. Он очень давно когда-то написал “Люди с чистой совестью” — и далее, до самой смерти, уже только выступал. Я затруднился бы уверенно определить, что принесло ему больше доходов: гонорары за книгу или го-

норары за выступления. Некоторые наивные читатели воображают, что советские писатели встречаются с ними бескорыстно и потому, что так хотят. Все как раз наоборот.

Большая часть сложной работы, которую ведут по всей стране отделения Союза писателей, заключается именно в принудительной организации этих так называемых встреч читателей с писателями. Сверху, из главного аппарата, все время спускаются планы и разнарядки: сколько и каких встреч с читателями данное отделение обязано провести. В конце месяца ответственный секретарь тяжело корпит над ведомостями, заполняя графы: перед рабочими на предприятиях по плану следовало выступить пятнадцать раз, проведено двенадцать — недовыполнение. В воинских частях по плану восемь встреч, проведено десять — перевыполнение. Перед учащимися средних школ. В высших учебных заведениях. В системе профтехобразования. Встречи с инженерно-техническими работниками. Графы, графы, цифры, цифры... Особая графа: с пенсионерами — старыми большевиками план не предписывал встреч, а проведено две — наверху заметят, похвалят. С работниками областного Комитета госбезопасности — план скромно предписывал одну встречу, проведена одна.

Надо отдать справедливость: писателям в этом деле предоставляется большая свобода. Каждому сообщается лишь общее число выступлений, выпавшее ему по разнарядке на следующий отчетный период, где же выступать, перед кем и когда — это он может вполне свободно сам выбрать.

Я осторожно пытался отказываться. Ссылался на Чехова, который до ужаса боялся выступать перед публикой и этого избегал. Объяснял, что писатель — это

все-таки человек, который пишет, а не лектор, конференсье, актер. На это секретарь показывал мне планы и ведомости. Когда я пробовал упрямитесь, он натравил на меня представителей организаций, давал им мой телефон, и звонили завклубами, школьные комсорги, которые никогда прежде не слышали моей фамилии и не читали ни одной моей строки, но начальническим тоном кричали: “То есть как это вы не можете? Но у нас в плане культурно-воспитательной работы стоит встреча с писателем такого-то числа!” Их надо понимать, у них свои, встречаемые планы, и типичные звонки в отделение Союза писателей таковы: “Алло, Союз писателей? У нас назначена встреча с писателем такого-то, запишите, обеспечьте”. Так прозаически это делается.

Труд, однако, должен быть оплачен. Писателю выписывается путевка, которую, повстречавшись с читателями, он обязательно отметит у директора, парторга, комсорга данной организации, в которую они также впишут свою оценку выступления. Деньги будут перечислены в писательский союз из этой организации — из ее объемистых фондов на идеологическую, культурно-воспитательную работу. Писателю потом бухгалтерия начислит в полном соответствии с его рангом. Мелкой сошке — пятнадцать рублей за выступление. Потом — двадцать пять, еще выше — пятьдесят, сто и более. Упомянутый Вершигора получал только по самым высоким расценкам. А в каком-нибудь захолустном Тульском, Рязанском, Ставропольском отделении Союза — не платят вообще ничего, но выкручиваются из положения за счет фондов командировочных. Начисляются, значит, суточные, квартирные по отчету, который представляет писатель, с приложением автобусных билетов, и так что-то тоже наскребается ему на хлеб насущный.

Но это, конечно, совершенный пустяк по сравнению с тем, что получает за встречу с читателями столичный модный поэт. Особенно тот, что потрясает аудиторию смелыми намеками, удивительной лирикой, обличениями гнилого, поклоняющегося деньгам Запада. Мне несколько раз приходилось наблюдать такие встречи знаменитых поэтов с читателями совсем вблизи и за кулисами, и должен сказать, что это производит впечатление не меньшее, чем само чтение стихов под овации.

Это нужно видеть: как поэт потом за кулисами скрупулезно отмечает свою путевочку и заискивает, чтобы ему проставили в ней хорошую отметку. А еще интереснее, когда гонорар за встречу выдается тут же наличными. Довольно часто это практикуется, не знаю, во избежание ли лишней бюрократии или для укрепления в литераторах здорового реализма чувства. Еще не остывший от декламации и аплодисментов великий поэт совсем не брезгует тут же отправиться в бухгалтерию, расписаться в ведомости, постоять под окошком кассы, где ему отслюняют стопку купюр. Набив ими карман, он, расточая улыбки направо и налево, выходит на улицу, где его ждут восторженные школьницы, напишет автографы и, отбившись от толпы, уедет творить новую удивительную лирику, прославлять бескорыстие советского человека и обличать проклятый, гнилой, торгашеский Запад. От таких встреч с читателями — не отказываются и не увивают, наоборот, борются и ссорятся за место в очереди на них.

И наконец, коллективные встречи с читателями: писательские делегации на различные декады, празднования и прочее. Это — обеспеченные две-три недели сплошного барского житья и непрерывной попойки за казенный счет. Идет борьба за право поехать в места

развитые, хлебные и такие, где можно прибахлаться. В Якутскую АССР мало охотников ехать. Молдавия — уже лучше: вина там много. В Тбилиси — чередой круглый год. Но выше всего ценится Прибалтика: это уже почти как за границу в Европу.

Не без содрогания вспоминаю одну такую делегацию, в которую включили меня, тогда совсем еще начинающего автора вдруг ставшей модной повести “Продолжение легенды”. Впервые я тогда увидел жизнь в Советском Союзе по классу люкс. Во-первых, собравшись, все стали в очередь, расписались и получили денежки. Много. Зачем — неясно, потому что дальше все решительно было за казенный счет.

Делегацию размещали в отелях в номерах люкс, на завтраки, обеды и ужины уходила чуть не половина дня, и были они так обильны, сопровождалась таким шампанским, экспортными водками и дорогими винами, что походили на свадебные банкеты. Большинство писателей как наладились в первый день, так уж до конца и не протрезвлялись. Возили роскошными правительственными машинами, которым милиция открывала зеленую улицу. Осматривали достопримечательности, загорали на пляжах. Но для отчета было одно обязательное посещение завода — и общение из-за стола президиума с рабочим классом — и одна поездка в колхоз-миллионер. Общение с читателями, подчеркиваю, было именно через стол президиума. Было желательно, чтобы каждый писатель что-нибудь произнес. Выручали поэты: они во всех случаях всегда читают стихи, берущие за душу, что-нибудь вроде “людей неинтересных в мире нет” и прочее, зрители довольны.

Закончу описанием феерического посещения колхоза. Правительственные автомобили приехали в ка-

кой-то не наш, какой-то американский, что ли, поселок. Модерновые дома, стекла во всю стену, клумбы. На центральной площади — Дом культуры, выстроенный, право, Корбюзье, а напротив современнейшее, сплошь стекло и алюминий, кафе-ресторан. Делегацию провели прямо к столам, и она как села, так больше из-за них и не вылезала. Стол ломился от этих бесхитростных, народных — колхозных! — кушаний с бражкой, огурчиками; блюда разносили красивые молодые колхозницы в национальных костюмах. Огромный, жирный до неправдоподобия председатель колхоза щедро наливал водку полными стаканами и сыпал цифрами достижений, сравнивая: какие когда-то развалюхи были в этом селе, бедность, грязь и как благодаря заботе партии и правительства все чудесно изменилось. Писатели торопливо записывали цифры в записные книжки. Я встал и, стараясь не быть замеченным, вышел на улицу, пошел по ней, чтобы как-то убить время до отъезда.

Американский поселок кончился через десять домов. Дальше была деревня, состоявшая из сплошных развалюх, бедная и грязная. Изможденные бабы и дети смотрели на меня испуганно и враждебно. Когда я пробовал заговорить — отвечали односложно, как-то ошарашенно пятась и стараясь улизнуть.

Через час или больше, неся на ботинках пуды грязи, я вернулся, полагая, что встреча с читателями должна была кончиться. Нет, она была в самом разгаре. Все так и сидели за столами, пели, обнявшись, народные песни, целовались с председателем, потом поэты принялись читать стихи перед красивыми колхозницами-официантками и выглядывавшими из кухни поварами.

Об этом колхозе потом появилось несколько очерков сразу, написанных разными членами делегации.

Главный из них был в “Литературной газете”, автор восторженно описывал современные Дом культуры, рестораны, видя в этом ростки коммунизма на селе, и добросовестно привел из своего блокнота все цифры, продиктованные председателем.

В дальнейшем мне удавалось избегать участия в делегациях, это несложно, потому что ведь всегда есть толпа охотников. Но обязанность выполнять персональный план по встречам с читателями, особенно в последние годы жизни в СССР, честно говоря, вдребезги разбила мне нервы.

Так подумать только: встреча писателя с читателями, — ведь по сути своей хорошее дело, интересное вроде бы и человеческое. Это удивительно, как из этого можно сделать какую-то комедию, карикатуру, вплоть до сюжета дурных снов.

5 октября 1974 г.

Телескрин

Беседа 1

Уинстон Смит, герой фантастического романа Джорджа Оруэлла “1984”, имеет в своей комнате аппарат телескрин — соединение радиорепродуктора с подслушивающим и подсматривающим устройствами. И у всех граждан описываемого общества в квартирах обязательно и принудительно установлены телескрины, так что каждый ежесекундно чувствует на себе бдительный взгляд органа государственной безопасности, который у Оруэлла называется Полиция мысли. Вот описание телескрина в романе Оруэлла “1984”:

В квартире мелодичный голос читал перечень цифр, имевших какое-то отношение к выплавке чугуна. Голос исходил из металлического овального диска, похожего на тусклое зеркало... Уинстон повернул выключатель, и голос понизился, хотя слова все еще можно было разобрать. Аппарат (называвшийся телескрином) можно было только притушить, но не выключить совсем... За спиной Уинстона телескрин все еще что-то бормотал насчет производства чугуна и перевыполнения плана Девятой Трехлетки. Теле-

скрин соединял в себе приемник и передатчик. Он улавливал любой звук, едва превышавший самый осторожный шепот; больше того, пока Уинстон находился в поле зрения металлического диска, его могли так же хорошо видеть, как и слышать. Нельзя было, конечно, знать, следят за вами в данную минуту или нет. Можно было только строить разные догадки насчет того, насколько часто и какую сеть индивидуальных аппаратов включает Полиция мысли. Возможно даже, что за каждым наблюдали постоянно. И во всяком случае, ваш аппарат мог быть включен когда угодно. Приходилось жить, и, по привычке, превратившейся в инстинкт, люди жили, предполагая, что каждый производимый ими звук — подслушивается, и любое их движение, если его не скрывает темнота, — пристально наблюдается.

Уже сегодня, за десять лет до 1984 года, сконструировать телескрин и наладить серийное, многомиллионное его производство — технически вполне выполнимое дело. Собственно, он и существует, но в отдельных элементах, не объединенных в одно целое. Радиотрансляция с громкоговорителями по квартирам с ее мелодичными голосами, читающими цифры выплавки чугуна, функционирует сама по себе. Глазки телекамер ведут разнобразное наблюдение — от уличного движения или слежки за ворами в универмагах до просматривания колонн праздничных демонстраций. А о многообразной подслушивающей аппаратуре, о скрытых микрофонах в частных квартирах — нечего и говорить.

Обратите еще раз внимание на обстоятельство, которое совершенно точно обрисовано Оруэллом, и поскольку роман писался еще в сороковые годы, то и,

собственно говоря, во многом предсказано: хотя, вероятно, наблюдали далеко не за всеми, само существование системы наблюдения и неизвестность, в какой момент она включена, в какой нет, выработали у людей привычку, превратившуюся в инстинкт, — жить, предполагая, что каждый звук подслушивается и каждое движение наблюдается.

Как с научно-фантастическими предвидениями Жюль Верна: пришло время, и из фантастики они превратились в реальность, даже повседневную и обыденную, — так, пожалуй, и с данным предвидением Оруэлла. В Советском Союзе оно стало обычной, повседневной реальностью. Нет, КГБ следит далеко, далеко не за всеми. Но что следит и массово — это факт. И потому никто никогда не может быть уверен, не следят ли за ним в данный момент.

Люди, например, говорят по телефону, всегда предполагая, что данный разговор, может быть, подслушивается, может, записывается на пленку. Сочиняют письмо так, словно оно непременно будет вскрыто и просмотрено. Ведут между собой разговоры, всегда считаясь с возможностью, что собеседник может о содержании беседы донести. А если говорят с очень близким или с тем, кому безоговорочно доверяют, то едва лишь затронется скользкая тема, — прикладывают палец к губам и делают другие жесты, показывая, что в помещении могут быть микрофоны.

В последние годы жизни в Советском Союзе я в своей квартире в городе Туле ощущал себя примерно так, как герой романа Оруэлла в своей. Телескрина-то не было, но его полностью заменял общий комплекс слежения. Все разновидности его, по-видимому, мне и по сей день неизвестны. Мне открывались только от-

дельные детали, штрихи, проблески. Я расскажу о них, но прежде всего хочу подчеркнуть, что буду говорить о них не как о частностях, а как о типичном. Точно то же самое или весьма похожее могли бы рассказать очень многие из людей, которых я знал.

Однажды у меня как-то странно начал позвякивать телефонный аппарат. Я пошел, снял трубку и не услышал сигнала. Полагая, что телефон испортился, я стал класть трубку и поднимать, стучать по рычагу, то есть делать то, что делает всякий, у кого испортился телефон. Видимо, я слишком долго стучал и назойливо, потому что в трубке вдруг раздался усталый голос: “Ой, да не стучите. Мешаете. — И с оттенком злобы: — Тут переключаем вас на новую систему записи, замучила совсем... Положите трубку. За полчаса подключим”. Я оторопело положил трубку. Действительно, через полчаса телефон заработал, и звук совершенно не изменился, как я ни вслушивался. Некоторые считают, что можно узнать подслушивание по изменению силы звука, постороннему шуму, может быть, так и было раньше при несовершенной технике. Сейчас нельзя угадать, слушают ли вас, пишут ли на ленту. “Переключаем”, — устало и зло сказала лицо, занятое моим телефоном. Со старой системы, значит, на новую, современную. И значит, мои разговоры слушались всегда — и до этого и после. Знакомый инженер рассказывал мне, что на каждой телефонной станции есть большой отдел (секретный, строго охраняемый), занятый именно и только подслушиванием. Поставить домашний телефон — это в Советском Союзе невероятно трудная проблема, это благо, которого добиваются и ждут в очереди по много лет. Объясняется чем угодно: недостатком номеров, трудностями с расширением телефонной сети. А вот

для устройства миллионов подслушиваний — недостатки и трудности не существуют ведь, а?

Говорят, что телефоны используются КГБ вообще для слушания, что говорится в квартире. Что телефонный аппарат якобы слышит всегда — и с положенной трубкой. Может, это и не так, фантазии, хотя при сегодняшней технике все возможно. Но важнее другое! Важнее то, что если у вас дома есть наконец это благо — телефон, вы невольно начинаете ощущать себя как герой Оруэлла под телескрином. Я знаю людей, и многих, которые, если хотят поговорить дома о чем-то откровенно, сначала заворачивают телефонный аппарат в одеяло или наваливают на него гору подушек.

Один мой знакомый писатель, однако, хотя у него и был всегда телефон и он накрывал его подушкой, обнаружил подслушивающий микрофон совсем в другом месте — в газовой плите на кухне, когда однажды ее вздумали основательно почистить. Другой мой приятель заметил, что из вентиляционного отверстия под потолком в квартиру летит моль, и решил набросать туда нафталина. За решеточкой отверстия преспокойно лежал микрофон, опущенный на проводе по вентиляционной трубе сверху, с чердака или крыши.

Я у себя дома изучил все отверстия и стены, а с телефоном пошел на нарушение, правда не потому, что подозревал в нем микрофон, а больше чтобы он не звонил среди ночи и не трепал нервы. Это делать категорически запрещено: самовольно выключать телефон в СССР почему-то нельзя, как и телескрин у Оруэлла. Но я перерезал осторожно провода и поставил обыкновенную розетку и вилку. Нужно — втыкал вилку. Поговорив и положив трубку, если не хотел больше звонков — вынимал вилку. Это делается во всем мире,

но в СССР нельзя. Почему? Только ли потому, чтобы станцию не беспокоили, скажем, запросами, почему такой-то телефон не отвечает? Я был особенно озадачен, когда меня поймали. Почти сразу явился человек со станции. Я поставил ему пол-литра и долго выпытывал: как узнали? Он только усмехался. Но дальше за добрую взятку вдруг согласился оставить мне вилку с розеткой. Это было удивительно, я сам не ожидал. Но через несколько дней явился другой — уже не от телефонной, а от электросети — с новеньким электросчетчиком в руках. Странно усмехаясь, предъявил направление: сменить у меня в прихожей счетчик. Я удивился: зачем? Прежний счетчик был тоже новый и хорошо работал. “Так надо”, — сказал монтер и, все так же усмехаясь, несколько часов возился, заменяя один, новый, счетчик другим, точь-в-точь таким же. “А какой радиус его действия?” — спросил я, когда работа была закончена. Монтер подмигнул и ушел. С той поры я жил так, словно в любой момент каждое слово в квартире ловил микрофон в счетчике. Я по сей день не знаю, был ли он там. Но ведь главное: меня заставили считаться с тем, что он там может быть.

Это в Англии у меня и электрический и газовый счетчики находятся в особой кладовке для них, снаружи дома. В советской квартире счетчик всегда внутри. Сидишь на кухне — видишь его, умываешься в ванной — видишь его. Лежишь в кровати и сквозь открытую дверь удивленно замечаешь, что счетчик издали словно бы смотрит на тебя. И не откроешь его — на нем пломбы, они неприкосновенные. Ну чем не телескрин — психологически по крайней мере.

В одной из прошлых бесед, которая называлась “Ясная Поляна и КГБ”, я рассказывал, как работает

госбезопасность в Ясной Поляне, как я там снял комнату и меня моментально окружили слежкой. Я напрямик спросил уполномоченного от КГБ офицера, замаскированного под научного сотрудника: “Что вы от меня хотите?” Он завел меня в кабинет и начал разговор, что КГБ интересуется не мной, а моим окружением. Сколько у него в кабинете было проводов, выключателей, каких-то аппаратов! Видимо, вся Ясная Поляна прослушивается, как гулкая бочка. Сотрудники музея говорят между собой более или менее свободно, лишь когда уходят далеко, далеко в лес. Один из градоначальников в “Истории одного города” Салтыкова-Щедрина, если помните, издал указ: “Всякий человек да опасно ходит”. То есть с опаской. Собираение информации — это ведь только одна из ряда задач всеобщей слежки КГБ в СССР. Не менее важно: просто внушать страх. Каждый живи да опасайся! А напуганный и опасющийся — не опасен. Именно психологические последствия слежки, с другими иллюстрациями из моего опыта, будут темой и следующей моей беседы, через неделю.

12 октября 1974 г.

Телескрин

Беседа 2

В фантастическом романе Оруэлла “1984” описано общество, где у каждого человека в доме в принудительном порядке поставлено следаще-слушающее устройство телескрин, и каждый в любую секунду ощущает себя в поле зрения госбезопасности. Но, помилуйте, во многом это уже не фантастика. В Советском Союзе человек живет так, словно в любой момент некие уши, например, ловят все, что он говорит. А это очень много.

Я сам прожил так несколько лет в своей квартире в Туле, после того как убедился, что за мной постоянно установлены слежка и подслушивание. Чувствуй вы себя хоть абсолютно ни в чем не виновным, хоть святым — сам этот факт сильно отражается на вашем психическом равновесии, и именно эту сторону я бы хотел подчеркнуть. Образно говоря, вы живете как бы с кляпом во рту, в состоянии какого-то духовного удушья. Вы прямо-таки физически ощущаете, как в вас накаляется подавленная психическая энергия, она бродит, давит, ждет, требуя выхода. Я знаю нескольких людей, которые в разное время — и независимо друг от друга — открыли, что такой выход дает громкий безу-

держный крик. Один из них изложил мне целую теорию на этот счет. Он сам время от времени прибегает к крику вполне обдуманно и сознательно, как к лекарству, которое в какой-то мере и на какой-то срок снижает в нем психическое сверхдавление, позволяет ему дальше жить как бы нормально, с оптимистично-благонамеренным выражением лица, при непременном за ним наблюдении и подслушивании.

Все это здоровому, так сказать “непуганому” человеку может казаться чем-то фантастическим. Но если сами условия существования личности не располагают к здоровью? “Архипелаг ГУЛАГ” Солженицына или такие книги, как, например, “Мои показания” Марченко — полны описаний чудовищных, патологических условий существования и того, как люди в этих условиях часто начинают вести себя тоже соответственно патологически или на грани патологического. Далеко не все располагают такой силой духа, чтобы в самых невыносимых условиях оставаться естественными и нормальными. Это скорее исключительность, подвиг. Обыкновенной же душе трудно. Она ищет спасения, какого-нибудь помогающего средства, выходки, действующей как лекарство.

Вот таким образом некоторые кричат. Но при нашей скученности — где безопасно хоть покричать-то? Дома — за тонкими стенками соседи со всех сторон. В лесу или поле — голос далеко разносится. Одно время я жил в старом толстостенном доме. Знакомая женщина — по профессии, между прочим, идеологический работник, — вдруг озадачила меня просьбой: не могу ли я разрешить ей время от времени приходить и безудержно кричать, закрывшись в ванной? Этим она лечится, это позволяет ей переносить слезку, и домашнее

подслушивание, и вообще необходимость постоянно быть в жизни как на сцене. Она потом приходила примерно раз в три недели — в месяц, запиралась в ванной — а ванна была действительно как каменный мешок — и отчаянно там кричала, рыдала. Только это, ничего больше. Потом, подкрасив и подпудрив старое, опухшее от слез лицо, выходила спокойная, уравновешенная, готовая идти дальше “на сцену”, играть. Вежливо благодарила и уходила.

Сперва я был ошарашен этим. Потом привык, спокойно на ее звонок: “Можно, я завтра приду в ванную?” — отвечал: “Конечно, пожалуйста!”, как будто речь шла об обычной просьбе прийти искупаться. Нет, купаться ей не нужно было, у нее дома была своя ванна, но в ее квартире в новом микрорайоне стены были слишком уж тонкими — и никакой звукоизоляции.

Сейчас, когда я вспоминаю свою собственную жизнь, я вижу, что ее можно разбить на ярко выраженные периоды по принципу отсутствия или слабой слежки в ней и слежки подавляющей. Внутренне, духовно я был в такие разные периоды совершенно разным. Я, вообще-то, оказывается, родился и успел пожить в такое время, когда техника еще не была на грани фантастики. И какое же это было счастье; остерегаться надо было только элементарных, во плоти, с руками, глазами и ушами, стукачей — живых людей, которых всегда видишь, если они возле тебя присутствуют. Полным потрясением моей жизни было однажды наивное открытие, что их тоже не всегда видишь.

Это было еще до массового развития микрофонной техники, когда аппаратуры не хватало, хотя и так недавно — в пятидесятых годах. Я жил в одной комму-

нальной квартире по соседству с очень милой интеллигентной семьей. Квартира была на верхнем этаже, причем общая кухня в ней была угловой — две стены наружных, третья стена была толстая и выходила на лестничную клетку, а со стороны квартиры, с четвертой стороны, кухня отделялась рядом кладовок с полками, забитыми разным хламом. Когда люди сидели и говорили на кухне, оставив открытой дверь, по узкому коридорчику никак никто не смог бы подобраться незамеченным.

И вот эта интеллигентная семья облюбовала для таких бесед кухню. В своей комнате они никогда ни о чем серьезном не говорили, лишь односложное: “Будешь спать?”, “Заведи будильник”, “Да”, “Нет”. Но на кухне просиживали часами, шушукались, шушукались, всегда держась лицами к двери. И выходили веселые, умиротворенные. Это были самые симпатичные и покладистые жильцы в целом доме. Я с ними дружил.

Однажды жена соседа несколько встревоженно сказала, что им показалось, будто кто-то ходит по чердаку. Не воры ли? Муж хочет полезть посмотреть — но она боится отпускать его одного. Я взял фонарик, и мы полезли на чердак, на чердаке никого не было, но мы обнаружили в углу подозрительное ложе из настеленных досок, покрытое пластами стекловаты, причем прочно убитой телом человека, который должен был здесь давно и много полеживать. Какого-либо подголовья не было, а на его месте торчала вертикально обыкновенная жестяная воронка. Осмотрев, мы поняли, что это самодельная примитивная слушательная система. Слой шлака, насыпанный на чердаке, был здесь снят, в потолочном перекрытии просверлена дыра почти во всю его толщину, в дыру вставлена воронка, и когда мы

приложили к ней ухо — услышали все звуки на кухне. Мы стали делать эксперименты: мы с женой соседа говорили шепотом на кухне, муж лежал на чердаке, приложив ухо к воронке, — он четко разбирал самый тихий шепот. Он и жена побледнели от ужаса.

О том, что это не было хитроумной самодеятельностью каких-нибудь детей или досужих сплетников-соседей, можно было судить по тому, что на следующий день домоуправ приделал замок к люку, ведущему на чердак, и запер его навсегда. Но на чердак выходили люки с других лестничных площадок. Тот, кому это нужно, мог, вероятно, теперь без помех там полеживать. Может, он соорудил там еще не одну воронку.

Так то было в добрые старые времена. Должен сказать, что с той поры мои интеллигентные соседи сильно изменились: стали мрачные, испуганные, нервные, куда девалось все веселье. Посиделки на кухне прекратили, как отрезали. Но и в комнате почти совсем перестали обмениваться даже односложными фразами. Два человека сидят дома — и гробовая тишина, лишь изредка стукнет чашка, скрипнет стул.

Если годы такой жизни, годы и годы — тут впору прийти желанию напроситься к кому-нибудь в глухую ванную, кричать.

С другой стороны, эта самоделка на чердаке — чепуха, пустяк, что-то личное, а не массовое; хоть, наверное, и не единичный случай, но все же происшедший всего каких-нибудь двадцать лет тому назад. Теперь подслушивание — типично, оно становится все более массовым, направляясь к идеалу, описанному у Оруэлла.

Один из выехавших из СССР евреев, Израиль Клейнер, в своих записках, опубликованных на Западе в журнале “Сучасність”, описывает, как он обнаружил

на чердаке нового девятиэтажного дома, в котором он жил, большое, сложное, похоже, электронное устройство для подслушивания, от которого шли провода, по-видимому, по всему дому. Оно было установлено в ящике из стальных плит, прочном, как сейф. Клейнер и его приятели устроили в квартире школу по изучению иврита — и не сомневались, что эта квартира прослушивается уж точно. Они решили испортить аппаратуру и несколько дней сверлили дрелью дырки в стенке ящика, чтобы выломать окошко. Таинственным образом все было отремонтировано. Как пишет Клейнер, “все отверстия были закрыты изнутри металлическими пластинками, каждая на четырех неподвижных винтах, дверца выровнена, а по краю ее приделан крепкий стальной косяк, так что нечего было и думать отогнуть край. КГБ работал оперативно и безупречно. В СССР на производстве так не работают”. Куда там какая-то жестяная воронка по сравнению с этим сегодняшним ящиком!

И я думаю, не будет безудержной фантастикой предположить, что в скором будущем, возможно, комиссия не будет принимать нововыстроенные дома без таких ящиков, без четкого функционирования системы подслушивания. Будут приниматься, как и сейчас, дома, еще не подключенные к газовой сети, к отоплению, ожидающие подключения к телефонной сети по много лет. Но к системе подслушивания они, можно не сомневаться, будут подключены в первую очередь.

Каковы последние достижения в советской подслушивающей технике — об этом можно только строить догадки. О достижениях в этой области можно, однако, судить по достижениям так называемого западного индустриального и промышленного шпионажа.

Так, например, существуют уже направленные микрофоны с прицельным устройством, которые в состоянии четко слышать разговор на расстоянии в сотни метров, даже сквозь массу посторонних шумов, например сквозь интенсивный уличный шум. Ведение разговора на открытом пространстве, в чем до сих пор находили отдушину множество советских людей, таким образом становится опасным, как и разговор в квартире.

Оруэлловский инстинкт — жить так, словно тебя все время слышат и видят, — в Советском Союзе с каждым годом становится все более прочной реальностью. Я рассказал, как изменились, помрачнели и замкнулись мои соседи, обнаружив, что их подслушивали. Но мне кажется, что теперь под угрозу поставлено внутреннее, душевное, психическое состояние уже не отдельных людей — сегодня это уже угроза всеобщая.

19 октября 1974 г.

Телескрин

Беседа 3

В прошлых двух беседах я говорил о подслушивании и слежке в Советском Союзе и сейчас продолжу эту тему. Привожу примеры из моей собственной жизни, случаи, с которыми я сталкивался лично, но предлагаю считать их типичными, потому что — уверен — любой гражданин СССР мог бы рассказать подобное из своего опыта и, может, куда больше. По-моему, КГБ в Советском Союзе, без всяких шуток, упорно стремится к оруэлловскому идеалу.

В фантастическом романе Джорджа Оруэлла “1984” описано общество, где у каждого человека в принудительном порядке поставлен дома некий аппарат телескрин. Это как бы соединение следящей телекамеры с чувствительным микрофоном плюс громкоговоритель, с утра до ночи рассказывающий о выплавках чугуна и перевыполнениях планов, причем его можно только “приглушить”, но невозможно выключить. Телескрин видел каждое движение, улавливал малейший шепот, передавая их в орган безопасности, который у Оруэлла называется Полиция мысли.

Трудно было представить, чтобы много миллионов телескринов работали и контролировались одно-

временно и круглые сутки. Полиция мысли, вероятно, включала их выборочно. Но никто в стране никогда не мог знать, следит ли в данный момент за ним телескрин или нет. И, как говорится в романе, “по привычке, превратившейся в инстинкт, люди жили, предполагая, что каждый производимый ими звук — подслушивается, и любое их движение... — пристально наблюдается”.

Сегодня, за десять лет до выбранного Оруэллом 1984 года, телескринов нет в таком виде, как они описаны в романе. Но практика показывает, что для слежки во многом вполне достаточно простого подслушивающего микрофона в сочетании с подслушиванием телефонов, вскрытием писем, доносами стукачей и тому подобными методами. Подслушивающие микрофоны — исторически совсем свежая новинка в общественной жизни, нововведение лишь каких-то последних десятилетий. Но как быстро и сильно из-за них изменилось многое в психологии людей. Странно думать и прямо даже не верится, что наши деды понятия не имели ни о каких подслушивающих устройствах. Что же это была за райская, спокойная жизнь!

Все ужасы слежки царской охраны, которые так расписываются в учебниках или историко-революционных повестях, сводились, собственно, к тому, что к некоторым людям, притом очень немногочисленным, притом действительно бурно занимавшимся разрушением государственного строя, иногда приставлялись полицейские шпики, ходившие за ними хвостом, а при разговоре старавшиеся притереться поближе, наставляя ухо.

Сегодня это кажется до смешного примитивным, детской игрой, ученичеством. Как было легко и просто

жить даже государственному преступнику: нет поблизости шпики — нет и слежки. В наши дни огромное количество людей в Советском Союзе (и отнюдь не преступники!) живет, постоянно, и днем и ночью, говоря словами Оруэлла, “по привычке, превратившейся в инстинкт, предполагая, что каждый производимый ими звук — подслушивается”. Каждый телефонный разговор — может быть записан. Каждое письмо — читается. И так далее.

Мою собственную жизнь, почти сорок лет жизни в Советском Союзе, я при желании мог бы разбить на четкие периоды, исходя из принципа тайного подслушивания меня: когда для меня, затерянного в массе и не представляющего собой ничего значительного, необходимость считаться с подслушиванием была минимальной и необременительной — и когда у меня, выделявшегося и попадавшего в поле интересов КГБ, это вырастало до размеров поистине кошмарных.

Но вот с цензурой писем такая периодика, пожалуй, не удалась бы. И заметный человек, и незнаменитый, и большой, и маленький в Советском Союзе должны считаться с тем, что письма могут читаться. Классический пример — из жизни Солженицына. Его письмо к другу с замаскированным осуждением Сталина было прочитано, расшифровано — для Солженицына началась его концлагерная эпопея.

Сколько я себя помню, всегда я писал письма так, словно демонстрировал каждую строку невидимому цензору: смотрите, мол, ничего предосудительного я не пишу. Это было привито мне с детства, еще когда я учился выводить неровные большие буквы в письмах отцу под диктовку бабушки. Иногда она что-то диктовала, но, подумав, говорила: “Нет, не пиши этого, Ге-

пе-у прочитает”. Тогда уже было НКВД, но в народе долго еще называли его ГПУ. Зато когда НКВД превратился в МГБ, потом — КГБ, людская мысль по отношению к органам стала более оперативной, новые названия употреблялись сразу же. Мои отроческие годы проходили при войне, когда цензура писем была вообще официальной. Чтобы не утруждать ее, да и вообще из-за недостатка конвертов, люди посылали письма почти сплошь треуголками: написанный лист складывался дважды по диагоналям, из оставшейся полоски аккуратно выходила замыкающая закладка — письмо вроде бы и закрыто, и в то же время полностью открыто каждому. На всех письмах ставился штамп о том, что письмо проверено военной цензурой. Это было просто и честно, по крайней мере. Зачем после войны вернулись к конвертам? Я так в юности недоумевал и полагаю вполне трезво: ладно, если уж конверты, то зачем на них в СССР наносят полоску клея? Это же сколько лишней работы *там*: сколько людей заняты тем, что расклеивают конверты, потом заклеивают. Сколько одной зарплаты на них идет.

С заклеенным конвертом у меня однажды произошла забавная история. Правда, она не имеет к почте отношения, но расскажу ее как отступление. Киевская газета “Правда Украины” объявила конкурс на короткий рассказ. Произведения надо было подавать под девизом, а свое имя и адрес прилагать в запечатанном конверте. Я послал рассказ, приложил запечатанный конверт. За день до объявления результатов конкурса у нашего дома вдруг остановилась машина. Приехавший человек представился заместителем редактора “Правды Украины” и принялся расспрашивать про мою биографию. Выспросил и изучил все подробности: и обо мне,

и о моей матери. У меня душа зашлась: вдруг в моем рассказе нашли какую-нибудь крамолу? Или проверяют потому, что присудили премию? На мой осторожный вопрос гость не ответил, только усмехнулся: “Завтра в газете результаты прочитаете”.

Утром я, конечно, был первым у первого же открывшегося киоска. Мне присудили премию. Результаты проверки были расценены, ясно, положительно. Вот вам и конкурс под девизом. Но их тоже надо понимать: вдруг бы присудили премию, а после бы оказалось, что автор — враг народа или отсидевший в заключении, бывший троцкист, бухаринец, вообще так или иначе заклеянный. Будь он хоть гением всех веков и народов — разве можно давать ему премию? Открыли мой конверт — какое-то неизвестное имя. Пришлось ехать проверять. Так делается по сегодня при всех этих липовых конкурсах под девизами. Скажем, Наталье Горбаневской, или Андрею Амальрику, или академику Сахарову посылать что-нибудь на любой советский конкурс под девизом не было бы никакого смысла, согласитесь.

Несколько парадоксальным образом с годами бдительность по отношению к своим письмам притупляется. Впрочем, тут нет ничего парадоксального: устаешь, что ли, равнодушие ли охватывает. Рука напишет лишнюю фразу — эх, что ж теперь, заново все переписывать? Да пропади все пропадом, читайте, вот там, и еще другую фразу напишу, похлеще, читайте, делайте фотокопии, складывайте в мою папку, или как там выглядит мое “дело” у вас.

Я особенно позволял себе такие вещи, когда стал известным писателем. Пожаловался в письме матери, что окружен слежкой, что мой телефон прослушивает-

ся. Подумал: пусть в КГБ знают, что я об их слежке за мной знаю, так что могут меньше утруждать себя. Бросил письмо в ящик, а на другой день зазвонил телефон, и неизвестный голос многозначительно просил выйти на трамвайную остановку. Я вышел. Ко мне подошел человек, шепнул: “Не привлекайте ничем внимания, пройдемся”. Мы пошли по пустынной улице, и он заговорил: “Что вы делаете! Что вы написали вчера в письме матери: что ваш телефон прослушивается, что за вами следят! Вы же даете материал КГБ. Я узнал случайно. Мой приятель работает там, он уже вчера вечером рассказал, что они там накинудись на ваше письмо как коршуны”. Себя этот человек не называл, все время косил глазами: нет ли за нами слежки. Далее он перешел к тому, что я у себя храню дома. Он перечислял самиздатовские рукописи, разные фотокопии — знал все вплоть до того, что у меня где-то валяются страницы из иностранных журналов. Мы даже стали спорить: о некоторых этих “материалах” я говорил, что ничего подобного никогда у меня не было. Он возражал: вы забыли, есть. Действительно, я потом дома поискал — нашел.

До сих пор я не знаю, был ли этот неизвестный благодетелем или кагэбистом. Но мне был преподан наглядный урок, что *они* знают о том, что у меня есть, лучше, чем даже я сам. И читают письма, пожалуй, внимательнее, чем сами пишущие и их адресаты. Я более склоняюсь к мысли, что этот неизвестный был кагэбистом, что вся эта операция проводилась вполне обдуманно. Так уж много бы рассказывал приятель-кагэбист ему, нештатному, такому сомнительному, способному на страшный риск, лишь бы предупредить чужого человека. По заведомо подслушиваемому теле-

фону вызывал, точно указывая место встречи — явно почерк КГБ. Таким иезуитским способом КГБ, возможно, просто решил мне напомнить: нам все известно, трепещи!

Ибо, кроме задачи сбора информации, вся эта гипертрофированная система слежки имеет другую, не менее важную, а может, даже и более важную на сегодняшнем этапе задачу: внушать страх. Именно: “КГБ все известно, каждый звук, каждый шаг”. Гражданин трепещущий, испуганный — не опасен, удобен для руководства им, и чем больше таких, тем власти спокойнее. Не боящийся — это для КГБ как кол поперек горла, таких КГБ сегодня сам боится, справедливо видя в них серьезнейшую для себя угрозу. Но число не боящихся в последние годы все растет и растет. Видимо, любая система поддержания страха, вплоть до оруэлловских телескринов персонально при каждом, имеет свои пределы во времени; как и все на свете, в общем-то, — начало, эффективное развитие и неизбежный конец.

25 октября 1974 г.

“Советский человек”

Слова “советский человек” чрезвычайно часто употребляются в Советском Союзе, и, автоматически повторяя их, далеко не каждый, по-видимому, вдумывается в их смысл, тем более сейчас уже мало кто может сказать, откуда взялось это словосочетание, когда оно появилось. Любопытно, что если поставить себе цель отыскать в современных советских изданиях, энциклопедиях, толковых словарях и прочее, как родился (и когда) этот “советский человек”, то отыскать не удастся. А ведь было время, когда сочетание слов “советский человек” прозвучало впервые, и прозвучало очень неприятно, почти как нелепость, но затем, постоянно повторяемое, вдалбливаемое партийной пропагандной машиной, стало обычным, как будто бы и понятным, стало даже унылым словесным штампом.

“Советского человека” же впервые пустил в обращение Вячеслав Михайлович Молотов. Это он, верный сталинский соратник, объявленный после смерти Сталина участником “антипартийной группы” (а ведь тоже — какое словосочетание: “антипартийная группа”, состоявшая сплошь из партийных руководителей! А ни-

чего, повторялось, повторялось и тоже стало как будто бы и обычным, как будто бы и понятным), — так вот Молотов, член партии чуть ли не с самого начала ее существования, один из возглавителей партии на протяжении почти всей своей жизни и которому ироничная судьба уготовала кончать дни в качестве “антипартийного”, — он впервые назвал гражданина СССР “советским человеком” в своем докладе на XVIII съезде ВКП(б) в 1939 году. До 1939 года, оказывается, “советского человека” не существовало. Несмотря на “антипартийность” автора этого словосочетания, само оно стало любимым выражением в партийном лексиконе, прочно пережив даже популярнейшее когда-то другое определение гражданина СССР, пущенное самим Сталиным: “винтик”.

Этот “винтик” был по времени моложе “советского человека”. Сталин употребил его впервые на банкете в Кремле в честь победы над гитлеровской Германией, в 1945 году. С заоблачных высот своего величия он ошастливил народы, всех граждан страны, похвалив и поблагодарив за беззаветное участие в войне — как бы ласково потрепал по плечу двести миллионов, заметив, что без них, без этих винтиков, война не была бы выиграна. Война-то, конечно, была выиграна лично им, но он расщедрился и на несколько добрых слов этим миллионам винтиков, призванным копошиться где-то под его пьедесталом. Затем на многие годы эти “винтики” восторженно употреблялись советской пропагандой как гениальное, самое точное, и почетное, и верное определение гражданина Страны Советов.

После смерти Сталина это отнюдь не почетное, а скорее оскорбительное слово перестало упоминаться, а потом некоторое время, после XX съезда, даже осуж-

далось. Некоторые журналисты, осмелев, писали, что кончились, мол, времена, когда человека называли винтиком. Но осуждение быстро было прекращено. “Винтик” исчез, “советский человек” поглотил его. Но если подумать, то ведь нет принципиальной разницы между унижительным сталинским определением “винтик” и более обтекаемым молотовским “советский человек”. И вот почему.

Как слово “винтик”, так и сочетание слов “советский человек” служит в конечном счете цели растворения личности, индивидуальности, даже национальности в некоей состоящей сплошь из одинаковых частиц массе. “Массы”, “коллектив” — на какую высоту это вознесено партийной пропагандой! Причем “коллектив” — “единодушный”, всегда. Иными словами, не имеющий разнообразия мнений (то есть того, что как раз наиболее естественно и нормально в человеческом обществе). Единодушны и единообразны, скажем, седельки в косяке. Требовать от людей чего-то подобного — по меньшей мере странно. Да это и вообще невозможно.

А вот поди ж ты: так умело, так барабанно на протяжении многих десятилетий превозносится этот самый “единодушный коллектив”, что понятие коллективизма как благословенного подчинения, неимения ничего собственного-личного, а если оно есть, то отказа от него в пользу этих самых “коллективных” мнений, которые вообще не существуют в природе, а на деле есть мнения вожаков, хозяев, глав, диктаторов, — эти ложные понятия прививаются с детства и потом сопровождают оно “советского человека” всю его жизнь. И лекции о пользе коллективизма, и литература, и наидания со сцены, с экранов. В школе заучивают как

якобы убедительное, ибо сильно выражено языком поэзии, из Маяковского:

Единца!

Кому она нужна?!

Голос единицы

тоныше писка.

Кто ее услышит? —

Разве жена!

И то

если не на базаре,

а близко.

Убедительно? Ну как же! И как же иначе? — кажется школьнику.

Как удобен для управления послушный, без всяких вопросов, критики и разных индивидуальных отклонений коллектив. И именно к коллективизму в *таком*, мягко говоря, своеобразном истолковании этого понятия и призывается, значит, коллективный “советский человек”. Где можно — просто принуждается приказом. В армии или в местах заключения, например. Подлинного коллективизма, который появляется в результате объединения хотя и разных, индивидуально очень отличающихся личностей, но в чем-то сходящихся, на какой-то главной, общей основе, — такого коллективизма власти в СССР боятся как огня. Коллективных протестов, коллективных демонстраций, коллективных изучений чего не положено и так далее. Нет, этот самый “советский человек” должен быть именно “винтиком” коллектива без индивидуальных отклонений, без разных личных, больших или меньших “но”, “однако”, “почему”.

В той же армии, где коллективизм вменяется приказом (коллективизм в советском понимании), катего-

рически запрещено подавать солдатам какие бы то ни было коллективные жалобы или заявления. Даже не протесты — обыкновенные просьбы. Коллективно — нельзя. Почему бы это? Мы же за коллективизм? За коллективизм, да не тот. Нужен коллективизм именно в подчинении. Но не в критике и даже не в просьбах. Нужен коллективизм в кавычках — такой, который позволяет подавить, не выслушивая, не считаясь, любые индивидуальные и коллективные же мнения, расходящиеся с позицией, предписанной сверху.

Но, простите, в таком случае к такому идеальному, по мысли партийных руководителей и идеологов, скоплению людей применимо не слово “коллектив”, а слово совсем другое. Великий французский писатель-сатирик Франсуа Рабле несколько столетий тому назад создал в “Гаргантюа и Пантагрюэле” эпизод со стадом баранов, которые метались по палубе корабля, угрожая потопить его. Тогда хитрый Панург схватил самого крупного барана, вожака стада, и бросил его за борт. Стадо кинулось вслед за вожаком в море и погибло. С тех пор возник нарицательный термин: “панургово стадо”. Можно выразиться и “панургов коллектив”. Именно такой коллектив хочет иметь у себя под рукой любая тоталитарная власть. Оскорбительный коллектив. Подавленный коллектив. Лишенный разнообразия, инициативы, поисков, находок и ошибок... Ну да, и ошибок, потому что что же тогда это за жизнь, если в ней нет ошибок. Людской жизни не существует без ошибок. Винтики — да, они могут, пока не изнашиваются, и безошибочно функционировать в налаженной машине. Той самой партии, которая в своих программных заявлениях о коммунизме кричит о безграничных возможностях для индивидуального развития человека, — на деле этой партии

нужна только машина с винтиками, они же “советские люди”. Нужен не подлинный коллектив, а этот самый единодушный до автоматизма “панургов коллектив”. Но этого уж в задуманном и запроектированном масштабе вождям партийным, властям советским не добиться никогда. В самом корне своем глупо и напрасно это задумано было. Ибо, повторяю, для селедок и баранов — это еще, может, и подходит, но в человеческом обществе это невозможно. И не нужно. Не говоря уж о том, что просто неумно и оскорбительно.

Иллюзию, видимость некоего “панургова коллектива” создать, вероятно, можно. Видимость. При помощи очень сильного подавления, массы жертв, крови. Запугивания в паре с оболваниванием. Но даже и видимость эта вряд ли может сохраняться исторически достаточно долго. *Видимость*, а не пресловутый “монолитный, единодушный” коллектив.

Произносятся слова в речах, печатаются на типографских машинах, слова, слова, как сор: “Нерушимое единство советских людей...”, “Все советские люди, как один...” — и так далее, и так далее, но простым и мрачным опровержением этой пресловутой единности винтиков в нерассуждающей машине простым и мрачным опровержением является постоянная, напряженнейшая деятельность самой развитой в мире карательной системы, от самых первых шагов ленинского ЧК до сегодняшнего КГБ. Ради чего один Сталин погубил столько миллионов живых людей, как не ради того, чтобы подавить протест личностей, нивелировав оставшихся в придуманные его большим воображением “винтики”. Но протеста-то он отнюдь не подавил и превращения всех поголовно в винты совсем не достиг. Может быть, мало подавлял, может быть, нужно было

еще пуще, втрое, вдесятеро сильнее? Да нет, и это не поможет. Вырезать всех до последнего — это еще можно, допустим, теоретически чисто: можно. Превратить *всех* в винтики — невозможно. Ибо тогда не станет людей: тогда это были бы не люди, а что-то другое. Такие же “преобразования” в природе, чтобы людей превратить в нелюдей, никаким даже Сталиным, даже архиСталиным не под силу и отдаленно.

Вот если бы под таким углом зрения сегодняшнее движение свободной мысли в Советском Союзе да оценить бы вдумчивее теоретикам, как партийным, так и кагэбистским. Они бы, может, поняли, что и репрессии по сути дела столь же продуктивное занятие, как если бы кнутами да хлестать море.

28 декабря 1974 г.

Жизнь и убийство

С каждым годом все большему количеству людей становится все более ясно, что в современном мире случился чрезвычайно тревожный разрыв между развитием технологии с одной стороны и состоянием общественной мысли, морали, этики — с другой стороны. Говоря проще: между продвижением человечества в области материальной — и его топтанием на месте в области духовной. Ну вот один из наиболее ярких, я бы сказал поразительных примеров. Карл Маркс ездил на извозчике, и еще тогда ходили дилижансы, он писал свои труды при керосиновой лампе. С тех пор эти и подобные материальные вещи стали музейными. А путанные, полные разве что любопытных для исследователя, но произвольных гипотез и домыслов, в самом лучшем случае просто дискуссионные соображения Маркса — в музей не отданы. Наоборот, на значительной части земного шара и вообще считаются самым передовым, самым высшим достижением мысли, словно бы за сто лет после Маркса человеческая мысль не развивалась ни на шаг, а так и стоит на месте.

Вернемся назад на сто лет, даже более, потому что “Коммунистический манифест”, например, вышел в

1848 году. Сегодня некоторые вещи и идеи даже 1948 года кажутся старыми, наивными. А то же ведь был 1848 год! “Призрак коммунизма бродит по Европе”. Тогда это прозвучало так поэтично, звонко, вдохновенно-обнадеживающе. Сегодня, через столетие с четвертью, неутомный призрак кое-где даже воплотился в нечто уродливое, но в основном так и бродит. Зловеще, странно, ибо, созданному в век дилижансов, ему, казалось бы, давно бы пора уйти туда же, куда ушли дилижансы. Уж и паровозы ушли. В Англии, где этот живучий призрак родился, и паровозов, например, давно нет. Последние работяги паровозы, собранные в одном из парков, еще можно увидеть — замершие, ржавеющие; и несколько сантиметально-благодарно англичане повесили на каждом табличку: “Ржавейте спокойно”.

Мы не успеваем удивляться все новым научно-техническим достижениям, перестаем им удивляться. Мы живем в осуществленном — и даже куда более того — фантастическом мире Жюль Верна, который, я помню, еще в дни моего детства казался вполне научно-фантастическим, заглядывающим в очень далекое будущее. Если бы любому просвещенному человеку середины XIX века было описано достигнутое сейчас: путешествия на Луну, телевизоры в квартирах, путешествия по воздуху со сверхзвуковой скоростью, причем путешествия самолетом такие же обычные, бытовые, как когда-то тем же дилижансом или тройкой лошадей, или телефоны, радио, лазеры, компьютеры и так далее, и так далее, — опиши кто-нибудь все это, говорю, любому просвещенному человеку XIX века — он, пожалуй, не поверил бы, что ему описывают реальную жизнь всего через сто лет. Да всего лет тридцать назад казалось, что межпланетные полеты — дело XXI века, по самой меньшей мере.

С другой стороны, если бы любому просвещенному человеку XIX века, особенно в России, кто-то бы рассказал, что и через сто лет, во второй половине XX века, в России люди будут строжайше приписаны к указанным местам проживания, в частности, например, беспаспортные крестьяне не будут иметь права без исключительного позволения покидать место жительства, что поездка за границу будет в сотни раз более трудным делом во времена сверхзвуковых самолетов, чем во времена дилижансов и троек, что полиция будет во много раз свирепее, держа под контролем и страхом каждый шаг обывателя, — я уверен, просвещенный человек XIX века только рассмеялся бы на это. В то, что мы достигнем Луны, он не поверил бы. Но в приход справедливости он верил. Он не то что верил, он ЗНАЛ, что через сто лет жизнь в России будет неизмеримо прекраснее, разумнее и, уж безусловно, свободнее, чем в его, как ему казалось, ужасный в этом отношении XIX век.

Как передовые люди прошлого века с замирающим сердцем представляли себе будущую справедливость! Как завидовали потомкам, внукам и правнукам! Ведь среди мыслящих людей России сто лет назад так горячо пошли все шире распространяться идеи свободы. Слово “свобода” произносилось, писалось тогда куда чаще, чем теперь. Многие признаки говорили, что всеобщая свобода действительно грядет. В 1861 году Александр Второй отменил крепостное право, получил название царя-освободителя. Наступали времена широкой гласности в стране; именно тогда стал действовать в полную силу российский суд присяжных. Блестящая плеяда русских адвокатов свободно заговорила с судебных трибун.

Но, конечно, просвещенным людям России тех времен казалось, что процесс освобождения идет слиш-

ком медленно. Он, вероятно, не мог идти курьерским темпом: если до самого 1861 года в стране был крепостной, феодальный строй, то с отменой его должны были произойти колоссальные экономические, политические сдвиги, которые физически невозможно провести в курьерском темпе, да еще в такой огромной стране.

Тем не менее революционная интеллигенция в России стремилась торопить события. Народовольцам, например, казалось, что нужно немедленно убивать царей, что это лучше всего подтолкнет события. Я прошу вас обратить внимание на это слово: *убивать*. Ради прогресса. Первого марта 1881 года бомба, брошенная народовольцем Гриневицким, убила царя Александра Второго. Да, царя-освободителя. Ирония судьбы, за которой чудится какой-то сюрреалистический оскал зубов — пока еще во мгле — будущих кровавых демонов, по определению Достоевского: *бесов*. Увидел Достоевский, он увидел очень точно, но к нему прислушались недостаточно. А это начиналась трагедия.

Нет, в личной честности и прекрасных намерениях Гриневицкого, Желябова, Софьи Перовской, Кибальчича и других, организовавших убийство царя, сомневаться не приходится. Да, они хотели свободы, демократии, равноправия для всех — и скорее, как можно скорее, ведь жизнь человеческая коротка, они даже в жертву приносили свои жизни. Что уж больше! Но лучше видел мудрый Достоевский, предупреждавший, что высокой цели нельзя достичь низменными средствами. Что нельзя построить счастье человечества даже на одной слезе невинного ребенка. Если бы народовольцев, убивших царя, тогда не казнили да если бы судьба даровала им еще по сто лет жизни и они бы взглянули на страну в XX веке, хотя бы только почитали один “Архипелаг ГУЛАГ”, —

не пришли бы ли они в ужас? Развитие получили только кровь, убийство, жестокость, насилие. Благородные же цели оказались не достигнуты — ни в чем. Ведь народовольцы, а за ними все поколения революционеров до ленинцев включительно провозглашали, что борются не за достижение Луны, телевизоры, атомные полигоны, баллистические ракеты — носители ядерных бомб, даже, в конце концов, не за сооружение новых гидростанций и городов — а прежде всего за *свободную жизнь* каждого человека, за справедливость. За равенство. И за право жить где хочется, и за право говорить что хочется. И за то, чтобы государство служило людям, а не люди государству.

Если бы Гриневицкий, Желябов или Софья Перовская знали, что через сто лет в России будет небывалая, тотальная сеть тайной полиции, свирепейшая предварительная цензура печати, что каждый горожанин будет иметь паспорт с отметкой, к какой он категории относится и какова его особая, внутренняя национальность, помимо гражданства, что для выезда из страны нужно будет проходить массу всевозможных комиссий и секретные полицейские проверки, что за слово правды будут давать семь лет лагерей, а за попытку убежать из страны — десять, что не будет никакого суда присяжных, а вершить суд и расправу будет послушный приказу сверху судья-марионетка с двумя, для проформы зачем-то сидящими безгласными заседателями, да нередко еще при закрытых дверях — и так далее, и так далее, — знай народовольцы и последующие революционеры, что так будет, они бы, может, сами прокляли себя? Может быть, хотя бы чуть внимательнее прислушались к Достоевскому. Да, к словам о слезе ребенка.

Вот в 1918 году в екатеринбургском подвале убежденный большевик Белобородов с подручными расст-

релял в упор семью — взрослых и детей, уж абсолютно невинных детей, — царя Николая Второго и его семью. Ради счастья всего человечества, конечно. Да. Сегодня посмотрим, кто выгадал от этого, чья жизнь стала лучше в результате этого дикого расстрела и где счастье всего человечества? Самого Белобородова, кстати, тоже потом расстреляли. В этом — закономерность.

И стреляли, стреляли, резали — как цепная реакция. Возникли жуткие античеловеки, иначе не назовешь, такие, как Дзержинский, Менжинский, Ежов, Ягода, Берия и уж совсем непревзойденный Сталин. Снедаемый завистью, тоже, знаете, во имя своеобразного всеобщего счастья, вознесся на другом полюсе убийств и жестокости Гитлер. Оргия убийств захлестнула землю. Земля устала от убийств.

И сегодня мы живем в эпоху, когда джинн, выпущенный из бутылки, не то что не загнан в нее обратно, но вообще грозит уничтожить все человечество. Хватит ли трезвости у нас переосмыслить и отвергнуть сам принцип, который лежит в основе деятельности яростных преобразователей, от Маркса начиная и до арабских террористов включительно: *убить ради...* Именно *убить ради*. Ради чего? Подставляйте сюда любое красивое слово. Любую прекрасную, вдохновенную, благородную, святую цель. Это уже не важно, она не будет осуществлена. Важно лишь то, что очередное “убить” родит новые и новые когорты демонов.

Я за Достоевского. Ни слезу ребенка пролить, ни тем более убивать ради любого счастья человечества нельзя. Еще лаконичнее, бессмертно и просто это — у Христа: НЕ УБИЙ.

4 января 1975 г.

Двуличие

Хочу описать одну картинку из жизни, которую наблюдал, в которой участвовал, так что за достоверность ее могу поручиться. Но, впрочем, вы сами увидите, что тут, собственно, никаких поручательств в достоверности и не требуется: это бывает в жизни часто, многие, думаю, могли бы рассказать подобное, а то и похлеще. Случай же, который я наблюдал, был такой.

Праздновалось новоселье. Счастливые хозяева, после десятилетий ожидания получившие наконец квартиру, имели отношение к литературе, и гости поэтому почти сплошь были литераторами, в том числе и я. Главным гостем, “свадебным генералом”, хозяевам удалось пригласить важную шишку, директора огромного издательства, человека очень неглупого, но ярко выраженного циничного советского приспособленца. О таких говорят: “О, он все понимает — потому тем более страшен и безжалостен”.

Один из литераторов, из тех, кто упрямо пытается что-то человеческое в литературу протолкнуть, а ему все режут и режут, сидел за столом молча-угрюмо, хлестал, хлестал водку, а когда важный директор счел нужным

произнести какой-то идейно выдержанный тост, этот писатель вскочил и выпалил десятиминутную речь. В ней он высказал присутствующим, а главное — почетному гостю-директору всю правду-матку в глаза. Примерно в таком духе, что в советской литературе — трусы, лжецы, шкурники и каждый сам о себе это прекрасно знает, да находит своей совести лазейки и оправдания. Но это значит, что жизнь каждого — уродлива, искривлена. Одна-единственная жизнь. “Неужели это вам интересно, — кричал он, обрушиваясь на директора, — вечно лгать, лгать самому и заставлять лгать других? Вы же все понимаете — а сами из себя сделали моральное чудовище; вы — как сломанный пополам, горбатый урод, роющий носом землю, и нас всех заставляете делать то же. Этому, вы считаете, стоит отдать одну-единственную жизнь? Или вы на что-то надеетесь? Но вы так и умрете — пугалом, и о вас искренне даже никто не пожалеет. Вы там все, в цензурах, отделах пропаганды, вершители идеологии, сочинители директив — вы циники, гнущие в бараний рог всех, но прежде всего ведь самих себя! Что же это у вас за удовольствие — жить и умирать уродами?”

Он кричал в абсолютной тишине, потому что все маленькие, “униженные и оскорбленные”, склонив головы, в душе согласны были с каждым его словом, и могущественный, пронзительно умный бюрократ понимал, что говорится правда. Он заметно побледнел, слушал с каменным лицом, потом поднялся вместе с такой же каменно-молчаливой супругой и отправился в переднюю надевать пальто. Хозяева кинулись за ними, перепуганно что-то бормотали, извинялись. Важный гость, вполне владея собой, за порогом, на лестничной площадке успокоил: “У меня к вам — никаких претензий. Но некоторые здесь *не умеют* пить”.

После его ухода пьянка по инерции еще некоторое время продолжалась, но все чувствовали себя скорее не как на новоселье, а как на пепелище. О случившемся, словно сговорились, — ни слова. А бедный литератор-правдолюбец молча, в одиночку, быстро выглушил еще водки и в бессознательном состоянии был погружен в такси и отвезен домой приятелями. Все гадали про себя, что теперь с ним будет. Гость-директор был очень важный тип, запросто вхож в ЦК, один из тех, кто там вершит судьбами идеологии и литературы.

Проснувшись рано на рассвете в муках похмелья, литератор, как он потом не раз рассказывал, с холодной ясностью увидел, что он кругом виноват. Добрых людей подвел, устроив скандал на чужом новоселье; правду-матку резал совершенно зря, потому что ее все знают и так прекрасно, — доказать ничего не доказал, а себя по меньшей мере погубил: теперь уж ему дорога в печать будет закрыта навсегда. “Куска хлеба лишил себя, — рассуждал он. — Вот единственный результат”. Заслуженная кара, его частная, личная, — за то, что нарушил правила. Правила игры, которая много десятилетий ведется в обществе громадной, многомиллионной страны, игры, которую можно определить, перефразировав поговорку: “Что на уме — то *не* на языке”.

Даже в бреду. Даже в пьяном виде. В советском обществе даже безобразно пить — нужно *уметь*. Даже в стельку напившись, нужно уметь САМОЕ ГЛАВНОЕ все равно держать под замком. Известно много случаев безудержного пьянства, алкоголизма больших деятелей — но любопытно, что, даже вдребезги пьяные, они, плетя вздор, даже ссорясь, даже оскорбляя лично представителей режима, ограничивались этим “лично”, никогда *не обобщая*. Критиковать, но *не обоб-*

щать. Тому, кто помнит это даже в пьяном бреде, рискованные выходки сходили и сходят с рук.

Литератор схватился за бумагу и — откуда только вдохновение взялось! — сочинил великолепное, благородное, убедительное письмо. Он по всей форме просил прощения у директора, глубоко горевал по поводу того, что не умеет пить, и просил учесть одно обстоятельство, которое хотя и не может служить оправданием, но в какой-то мере объясняет случившееся.

Дело в том, что накануне этого злополучного новоселья он много ночей, не сомкнув глаз, дорабатывал очередной роман, чтобы выдержать срок сдачи его в издательство. Один из главных отрицательных персонажей романа, злостный враг советской власти, произносит там, в романе, разные вражеские клеветнические фразы, и он, автор, так над ними мучился, что они колом ему засели в голове. После крайней усталости выпитая за столом водка его оглушила, и он автоматически выкрикивал реплики своего персонажа, врага из своего же романа. То есть это был просто бред.

Он просил, при желании, заглянуть в рукопись первого варианта романа, лежащую в издательстве, — и на страницах таких-то и таких-то убедиться, как отрицательный персонаж шипит: “Вы сломанные пополам, горбатые уроды, роющие носом землю”, “Умрете пугалами, о вас никто не пожалеет” и тому подобное... Он спешил, письмо не переписывал, с первым трамваем помчался к дому высокопоставленных работников, где жил директор, подкрался на цыпочках к двери и опустил письмо в почтовый ящик. Вероятно, вовремя он это успел. Директор прочел письмо за утренним кофе, вместе с утренними газетами, — и *дело не получило хода*.

Сотрудники издательства потом рассказывали, что директор не поленился, запрашивал указанную рукопись романа, пролистал, сверяясь со всеми указанными в письме страницами. Усмехнулся — возможно, удивляясь литературской ловкости и находчивости. Именно находчивости. Не искренности, конечно. Искренность вообще ни при чем, никому она не нужна. Нужно только соблюдение правил игры.

Каждый восставший против этих правил человек — ведь, собственно, в потенции очень силен. Он несет в себе искру правды. А ну как из этой именно искры вспыхнет вселенский пожар? Сгорая в нем, директор увидит, что действительно обидно и глупо сгибал он себя всю жизнь в бараний рог. Что ошибся! И он молится, чтоб искры гасли. Сам их топчет. Он видит тогда, как он прав, мудр, силен со своим, по-видимому, единственно правильным принципом циничного отношения к действительности...

“А мне, — мог бы сказать он, — думаете, самому не жаль, что так двулично приходится жить? Может, я вижу кошмарность такого положения в сотни раз лучше, чем вы. Может, глубокое горе мое куда больше вашего! Но — такова жизнь. Вы высекаете искры правды? — ну так и гибните. Я горбатый, рою носом землю? Ладно, но я живу и даже, если судить по практичным общепринятым меркам, не так уж плохо живу”.

Я думаю, директор был рад, пусть даже невесело, но рад посрамлению выскочки с его правдой, лишнему подтверждению своих циничных принципов — и потом он даже как-то симпатизировал этому литератору, хотя тот роман и зарубил, но зарубить предполагалось и раньше, безотносительно к инциденту, зато следующие книжки у литератора брали. Стригли как хоте-

ли — в общем, все как всегда. А директор много раз показывал покаянное письмо — особенно участникам того новоселья, и, невесело усмехаясь (отдадим должное: НЕВЕСЕЛО!), читал из него некоторые выдержки. Он долго носил его в левом боковом кармане, в бумажнике, вместе с деньгами и партийным билетом. Ценил, видимо, как документ двойного литературского бытия.

В книге Надежды Мандельштам “Воспоминания” в главе “Золотые правила” вдова великого поэта, замученного в сталинских лагерях, пишет следующие довольно горькие слова:

Двойное бытие — абсолютный факт нашей эпохи, и никто его не избежал... Все мы народ терпеливый, и у нас есть золотое правило: если на тебя насаждают, ни в коем случае не упрямясь — голосуй, подписывайся под любым воззванием, покупай облигации и отвечай стукачам на все вопросы, чтобы они могли отчитаться перед своим начальством, иначе “затаскают”, как говорят в народе, и своего все равно добьются.

Двуличность, двуликость — обязательное условие, навязываемое любому думающему человеку в СССР. Если, конечно, он не хочет иметь осложнений. У Оруэлла в романе “1984” это называется “двоемыслием” и определяется так:

Все, что от вас требуется, — это побеждать и побеждать без конца собственную память... Знать и не знать, сознавать всю правду и в то же время говорить тщательно сочиненную ложь; придерживаться одновременно двух мнений, исключаящих друг друга... забывать все, что необходимо забыть, затем, когда это

требуется, восстанавливать забытое в памяти и снова моментально забывать и, наконец, — как высшее искусство — применять этот процесс к самому процессу, то есть сознательно усыплять сознание и следом за тем уметь заставить себя забыть акт самогипноза, который вы только что совершили.

Вопрос двоемыслия, сознательной вынужденной двукости советского человека — очень большой; боюсь, мы не в состоянии сейчас определить весь размер последствий господства “двоемыслия” в нашей стране на протяжении многих десятилетий. К этому я хочу вернуться еще не раз в следующих беседах.

15 марта 1975 г.

Второстепенные детали

Когда советского писателя ругают за идейные промахи, то обычно обвиняют в том, что он обращает внимание на второстепенное, не главное, выискивает, мол, незначительные мелочи, не видит тех великих всемирно-исторических достижений, которые... — и так далее. Не всегда те, кто ругает, делают это цинично, в душе зная, что они не правы, — нет, я убежден, что многие возмущаются искренне и в самом деле не могут понять, как это можно ковыряться в каких-то мелочах, писать о каких-то кочках на задворках, когда главное-то, главное — какие у нас достижения, какие сияющие вершины!..

Внешне ход мысли их кажется логичным, например: “Ну что этот Солженицын — за полстолетия увидел только лагеря, только ошибки, нарушения? А наши достижения? То, что страна из отсталой превратилась в супердержаву? Лес рубят — всегда щепки летят. Что он только щепки видит? Что это — слепота? Где у него глаза?”

Да, формально-логично рассуждение кажется правильным. Но формальная логика — коварная вещь. Все

явления жизни сложнее, чем предполагается по формальной логике. Там, где формально-логично что-то кажется, скажем, белым, — при малейшем углублении в явление оказывается, что все наоборот, что оно черное, или двухцветное, или многоцветное. Элементарный пример: белый цвет — он весь белый. Скажи кто-нибудь полтысячелетия назад, что белый цвет — это смесь фиолетового, синего, голубого, желтого, оранжевого, красного... да над ним бы смеялись, как над дурачком или сумасшедшим: “Что он, смотрит на белое и видит красное? Или он слепой, где у него глаза?” Но Ньютон, пропуская не подлежащий никаким сомнениям белый свет через трехгранную призму, согласитесь, не был слепым — наоборот, оказался зрячее всех зрячих. Ну а что Солнце ходит вокруг Земли — это же вообще непреложный факт: встает на востоке, садится на западе, только слепец может этого не видеть, не так ли? Вдруг выступает один, заявляет, что Земля ходит вокруг Солнца. На костер нахала. И сожгли. Читаем об этом поучительные истории: вот, мол, как было. Но не замечаем, как воздвигаем новые костры, по-прежнему, как наши темные, невежественные предки из глубин веков, *веря своим глазам*. Глаза — врут. Верим выводам железной логики. Железная логика — сплошь и рядом *ложь*.

Все мыслители это прекрасно знают. Этого не знают люди, не умеющие самостоятельно мыслить, наполняющие голову чужими мыслями — что ближе оказалось, что под руку подвернулось, — а потом в наивном самозаблуждении воображающие, что это их собственные мысли. Раз у меня в голове, значит, мое собственное — *логично!* Умеющий самостоятельно мыслить — ничему не верит; он хочет убедиться сам, копает в глу-

бину, смотрит со всех сторон и так и этак, потом вдруг ошарашивает нас возможно кажушимися нам диким, ни в какие ворота не лезущим заявлением: “Помилуйте, говорят, это не Земля большая, Солнце маленькое, а наоборот, Земля перед Солнцем меньше макового зернышка”. Толпа начинает свистать и улюлюкать: “Сумасшедший, слепец, такую малость возвеличил, а главного, что у него перед глазами, не видит!”

Критикам-то и лень и недосуг, а кому и просто знания арифметики не хватает, чтобы последить за ходом вычислений, да наблюдений, да рассуждений этого мыслителя. И рукопись его не достанешь так просто. В продаже вокруг только роскошные фолианты, трактующие, как Земля велика, как она зиждется на трех китах, даже диссертации о пищеварении этих китов уже давно защищены и премии за них получены. Что есть центр мироздания? Земля, каждый видит своими глазами. Что есть солнышко? Светильник, лампочка над Землей, не более. Тут она, эта лампа, есть, тут ее нет. Тот, кто доказывает, что эта лампочка и есть самое главное, — “он же копается во второстепенном, не видит истинно главного. Где у него глаза?”.

Но это все так, общее рассуждение на тему о том, что кажущееся нам главным может оказаться совсем и не главным.

Итак, если в СССР ругают писателя, то чаще всего за то, что он не видит главного, а уделяет внимание всяким второстепенным вещам, копается на задворках. Искренне так думающие критики и ругатели (я хочу говорить лишь именно об искренних, неискренние сами знают цену тому, что врут), так вот, искренние ругатели не замечают, как в ходе своих, казалось бы, железно-логичных рассуждений допускают фатальные ошибки.

Первая из них — это то, о чем я только что говорил. Можно бы спросить: “А вы так уверены, что то, что вы называете главным, — действительно главное? Нет, не спешите возмущенно кричать. Вообще, что это за манера доказательства — ругань и крик? Вот вы Солженицына клеймите за то, что он якобы не увидел главного в жизни советской страны — всемирно-исторических достижений. А вы уверены, что эти достижения — главное?” Да? А скажите, торговля мертвыми душами в пушкинско-гоголевские времена — было ли это тогда *главное*? Всякие Собакевичи, Ноздревы, Плюшкины — явно уж какие-то крайние, безобразные, уникальные типы. Плюшкин — совершенно патологический тип. И кто торговал мертвыми душами-то? Это только был анекдот. Пушкин подсказал его как тему Гоголю, а Гоголь написал роман. На него тоже в те времена посыпались упреки, что уж черт-те что выбрал, редких уродов, совсем не главное. А ну вообразим себя в роли клеймителей — современников Гоголя: “Он не мог описать, как под испытанным руководством мудрой царствующей династии страна идет к невиданным свершениям, имеет всемирно-исторические достижения, из некогда отсталых разобщенных княжеств и провинций превратилась в могучую просвещенную державу. Да, у нас есть отдельные недостатки. Мы сами клеймим таких, как Плюшкин. Осудили достаточно. Зачем в этом еще ковыряться? Что этот Гоголь уперся и видит одно лишь это?”

Сегодня сама же советская история литературы детям на школьной скамье уже доказывает, что Гоголь увидел *главное* в окружавшей его жизни. А гоголевская “Шинель”? История о том, как какой-то маленький, ничтожный, не имеющий никакого значения служа-

щий Акакий Акакиевич так отчаянно бился, чтобы справиться себе шинель, то есть пальто, — это событие было для него грандиознее всего на свете, и когда его ограбили и сняли шинель, он просто погиб. Помилуйте, где же тут тех времен всемирно-исторические достижения? Что это за тема, что это за задворки, что за копание во второстепенных и третьестепенных мелочах? С чего это революционные демократы закричали: “Вот оно! Все мы вышли из “Шинели””, а для современного школьника само собой разумеется, хрестоматийно то, что Гоголь увидел главное.

Помилуйте, а тогдашние государственные мероприятия, а социально-экономические преобразования, промышленно-технический рост и внедрение передовых методов в тогдашнем сельском хозяйстве? А министерские совещания? А ослепительные дворцовые приемы? А готовность всех великих и малых наций отдать “жизнь за царя”, как правильно сказал капельмейстер Глинка в своей опере про Сусанина в Императорском театре? А добрые, просвещенные помещики? А военные парады, наконец?

Где это все, милостивый государь Николай Васильевич Гоголь? Вы увидели главное в шинели бедняка или в похождениях этого проходимца Чичикова?

И так, знаете, может, не в этих, но подобных словах затюкали, что сам Гоголь засомневался: мол, в самом деле, надо и про положительное, про это самое “главное” писать — писал, писал продолжение “Мертвых душ”... И сжег.

Между прочим, сейчас только узкие литературные специалисты знают, что и у “Ревизора” было продолжение — положительное. Тоже из тех же соображений, что, мол, в “Ревизоре” отражено ведь не главное,

так сказать, задворки, — так вот для противовеса, чтобы дать действительно главное, положительное, не сам Гоголь, а какой-то присяжный драмописец тех времен написал второго “Ревизора” в продолжение первого. Прибывший из Петербурга подлинный ревизор наказывает порок, жулики летят с постов, Землянику — под суд, добродетель торжествует. И в театре принялись ставить оба “Ревизора” в паре: сперва гоголевский, о “не главном”, затем — о торжестве государственной справедливости, то есть “о главном”. После нескольких представлений продолжение “Ревизора” пришлось снять: публика уходила. Оно исчезло без следа. Остался один “Ревизор” — Гоголя. Он был *о главном*, оказывается.

Да, представьте, *парады* — это ведь не главное. Да, представьте, рост и укрепление государственного могущества, промышленно-техническая мощь, все мероприятия по повышению производительности в сельском хозяйстве и так далее, и так далее — все это вместе взятое — *не главное*. О нет! Главное — шинель Акакия Акакиевича. То есть главное — как при всех этих “всемирно-исторических достижениях” живет человек. Каково ему справиться шинель, каково ему дышится, кушается, спится, каково его самоощущение на этой единственной для его диспозиции земле, в единственной для его распоряжения короткой жизни. Если на это пальто нужно годами собирать, экономя и отказывая себе во всем, жить в страхе и лжи или за рассказанный в очереди анекдот загреметь на каторгу на полжизни — так *что* же тогда и ваши парады, и всемирно-исторические достижения, и победоносные войны, или индустриализации, или электрификации? Так в древнем Египте тоже были достижения, эффектные —

вот, например, пирамиды. Но не они главное, это второстепенное. Главное то, что там было — рабство и что эти пирамиды рабами строились.

Не Солженицын странно слеп, не желая, мол, видеть главного, но как раз все, о чем написаны его книги, — оно и есть, к нашему горю, главное. Не каждый может сегодня принять эту “ужасную”, как ему покажется, мысль. Но для потомков, уверяю вас, она будет само собой разумеющейся, хрестоматийной.

24 мая 1975 г.

Не умеющие жить

Советская власть придает большое значение вопросу: на какие средства живет человек? Средства должны быть известны власти, должны быть законны, и если, скажем, ночной сторож с семидесятирублевым окладом купит машину и построит дачу, то тут же его, голубчика, и потянут: где деньги взял? Огромную роль играет система слежки друг за другом. Знал я лично случаи, когда соседи годами следили на общей кухне за соседями, скрупулезно подсчитывая, сколько те тратят на еду, и писали доносы, что такие-то, зарабатывая столько-то, покупают масло сразу килограммами или пьют портвейн подозрительно часто. Лицо, как-то ухитряющееся жить, не занимаясь “общественно полезным трудом” (может, на какие-то случайные подработки или на чью-то денежную помощь), будь оно при этом хоть Эйнштейном, хоть Шекспиром, — оно официально “тунеядец”, конечно. Пару раз предупреждается, потом “привлекается”.

Но задумывались ли вы над тем, что в таком случае Карл Маркс был бы в советском обществе первым тунеядцем из тунеядцев? А Ленин — вторым.

Карл Маркс ведь не работал, то есть не зарабатывал, а вместе с женой и кучей детей сосал средства на жизнь из философствующего капиталиста Энгельса, и стоит почитать их переписку, где великий преобразователь мира, как ненасытный кукушонок в чужом гнезде, только твердит: “Дай, дай, дай!” — а Энгельс озабоченно раскрывает бумажник и дает, дает, дает.

Ленин и вся его организация жили, ездили, устраивали съезды, готовили преобразования мира на средства от самого обыкновенного грабежа. История КПСС даже гордится залихватскими вооруженными ограблениями с бомбами, стрельбой и убийствами, которыми занимались разные Камо, Джугашвили и другие — по правовым понятиям гангстеры-бандиты, но их акции в истории партии называются “революционными экспроприациями”. Как же, большую часть награбленного они отдавали теоретикам этой расчудесной партии, которая наконец-то обрадовала мир бандитов не осуждением, а благословением: “Давай, ребята, — сказала она, — грабить — это прекрасно, только делайте это на основе революционной теории, в просторечии: “грабь награбленное”, а для культурного выражения в приличных домах — “экспроприация экспроприаторов”.

Таким образом хочешь не хочешь, но получается, что и Маркс, существуя приживалой богача и только благодаря этому создавая свое взрывное учение, и Ленин, получая мешки денег от разбойников и только благодаря этому претворяя учение в жизнь, — оба главных столпа “научного коммунизма”. Оба по нормам советского законодательства были бы в сегодняшней жизни квалифицированы только как тунеядцы, причем один — просто паразитирующий, а второй — особо

злостный, подходящий под целую серию тяжких статей Уголовного кодекса... Ну нет же, без шуток, вообразите себе советских людей, занимающихся чем-то аналогичным тому, чем занимались Маркс и Ленин.

И вообразить страшно. Но возвращаюсь к термину “тунеядство”.

В мире некоммунистическом такого понятия не существует. Каждому вольно жить, как он сумеет, не занимался бы, однако, воровством и разным разбоем, естественно. При таком условии полностью выявляется степень одного из существеннейших талантов в человеческой личности: *таланта жизни*. Да, представьте себе, суметь действительно хорошо прожить свою жизнь — это ведь нужен для этого *талант*.

Одни — *умеют жить*. Другие *не умеют*. Нет, нет, не в том вульгарном смысле, какой вкладывает в эти слова обыватель, завидуя какому-нибудь удачливому хапуге: вот, мол, дачу отгрохал, золото скупает, — умеют люди жить. Нет, не умеют. Вернее, чтобы совсем точно: неизвестно. Ни дачи, ни бриллианты, ни даже хоть собственный небоскреб из чистого золота — не показатель *таланта жить*. Может быть, показатель способности приобретать, накапливать и тому подобное — да, но не таланта жить.

Талантливо прожить — это, собственно, значит все-таки суметь побыть счастливым. О, а это не так просто...

Ну вот хотя бы и относительно богатства. Общеизвестная, прописная истина: богатство и счастье — вещи разные. Можно быть дико богатым и при том дико несчастным, так же точно, кстати, как быть и богатым и счастливым и наоборот, и наоборот. Миллиарды раз доказано самой жизнью.

И очень любопытно сплошь и рядом наблюдать, как люди, в простоте душевной путая разные вещи, кидаются в бешеное накопительство, воображая, что от этого они обязательно станут счастливее. Ну это как древние цари и царицы: чем больше золота и драгоценных камней навешано на одежде, на голове, руках, на пузе, так что стоять тяжело, сознание теряли, — так, значит, *что?*.. Ну, там, правда, была хоть техническая цель: поражать своим видом подданных, чтоб тряслись и слушались. А вообще считаешь жизнеописания царей — большинство несчастные были ведь, по существу, людские особи. Всякая “царская жизнь” — и в прямом и в переносном смысле — на 90 процентов одни внешние эффекты. Театр своего рода.

Но еще более любопытно, а может быть, обидно или грустно, а может быть, и даже страшно наблюдать, как люди, не имеющие таланта к жизни или — что чаще всего — имеющие, да по разным причинам растоптавшие его, кидаются драться за самые невероятные вещи, полагая, что там их счастье, а на самом деле там — пустота, счастье там и не ночевало, или еще хуже — какая-нибудь геенна огненная или еще хуже — помойная яма.

Это сложный, тонкий предмет, лучше всего это может быть объяснено, мне кажется, только в художественной литературе, на примере, со всем богатством и наглядностью деталей. Я однажды попытался — только чуть-чуть попытался тронуть это в одном рассказе. Что-то вроде как у Чехова, помните, “Крыжовник”, “Ионыч” — человек всю жизнь, как бы сказать, за что-то боролся, боролся, а в конце оказалось — фиаско, пошлость, свинство одно. Но там больше о борьбе за материальные ценности.

У меня есть рассказ “Августовский день” — о советском идейном, правоверном номенклатурном работнике, прокуроре. Он всю жизнь крепко держался линии, судил, гвоздил, рядил и материально вроде ничего, разъелся, как три бочки, — и вот однажды, разбирая совершенно с партийных позиций неразъяснимое самоубийство другого номенклатурного работника, он впервые за много лет задумался. Да еще попал в село, на природу, так сказать; ел малину, поспал в сене, посмотрел в звездное небо, и вдруг в нем что-то екнуло, и явилось подозрение, что учили его, кажется, совсем не тому, чему надо, и всю жизнь он делал не то, что надо бы, и вот почему теперешний он — нечто отвратительное, свиноподобное, ненавидимое обыкновенными людьми, и ничего-то он, оказывается, не жил — только подавлял себя, запирали на замок в себе естественное. Его же ведь научили: так надо. Надо! Он старался! Он шел в когортах, в этом самом “передовом отряде” — шел, шел, маршировал к “сияющим вершинам” и пришел в... помойную яму. В эту секунду ему захотелось наложить на себя руки, нет, это была только минутная слабость, свежий воздух подействовал, но, во всяком случае, он понял, почему некоторые доходят до самоубийства. Когда-то, в одной из моих первых бесед, я разбирал именно в таком плане самоубийство писателя Александра Фадеева, исходя из подробностей, которые знаю.

Одним из наиболее безумных способов приобщиться к счастью для людей, не умеющих жить, не сумевших жить, является борьба за разные утопии, то есть претензия принести счастье всем. Сами жить не умеют, так берутся научить весь мир. Этим они как бы объясняют и себе и другим, почему они так обой-

дены счастьем: это потому, что мир вообще не так устроен. Вот почему! Тут бы сказать: врачу, исцелился сперва сам! Так нет, они кричат: “Я о себе не думаю, я вот себя измордую, я буду мучеником — ради вас, я вас научу!”

Весьма любопытно выразился недавно один английский рабочий в беседе с корреспондентом гамбургского еженедельника “Цайт”. Тот заговорил о рабочем самоуправлении, а английский рабочий сказал: “Идея о самоуправлении производством — это, по-видимому, такая же утопическая идея, как и идея о физическом и психическом равенстве всех людей, как и утопия коммунизма. Вы не умеете жить, потому и выдумываете теории...”

Гораздо раньше это в саркастической форме выражено у Торо (приведу эту выдержку): “Когда у человека что-нибудь не так и он не может выполнять своих функций, например, если у него болит живот... он тут же принимается за переделку мира!”

Моя сегодняшняя тема слишком обширна для одной беседы, и я, видимо, продолжу ее в следующих. Сейчас же в заключение приведу еще одну выдержку из книги, на этот раз американского рабочего, Эрика Хоффера “Истинно верующий”. Книга посвящена вопросу: почему некий определенный тип людей с таким азартом берется осчастливить весь мир? Вот цитата из этой книги:

Бедность в сочетании с творческим даром обыкновенно свободна от чувства неудовлетворенности. Это верно в отношении и бедного кустаря, искусного в своем ремесле, и в отношении бедного писателя, художника и ученого в расцвете творческих сил.

Но!

Поразительно наблюдать, как по мере угасания творческих сил у личности появляется резко выраженная склонность присоединить себя к массовому движению. Взаимосвязь между бегством от своего бесплодного “я” и повышенной чувствительностью к массовым движениям совершенно ясна.

6 сентября 1975 г.

Раздутые конфликты

На днях мне попалась на глаза забавная заметка о связи между курением и разводами. Статистика показывает, что разводы между курящими супругами происходят чуть ли не вдвое чаще, чем между некурящими. И медики предлагают объяснить этот факт тем, что курение возбуждает нервы, курящие более склонны к заострению конфликтов, к раздуванию их, к агрессивности, к непримиримости... Но это присказка.

Когда-то давно, еще в пору моих — не очень веселых — отроческих лет, мне довелось косвенно участвовать в изнурительном, безобразном, тянувшемся много лет конфликте из-за двух квадратных метров ни на что не годной земли.

Ссоры и побоища из-за земли — естественно, один из самых древних конфликтов, и они хотя бы понятны, когда земля стоящая. Но в данном случае речь шла о такой чепухе, что только посмеяться бы да плюнуть, а поди ж ты, сколько забрал этот конфликт у нескольких людей нервов, как портил и без того не красную жизнь.

Суть была в следующем. Когда мой дед, вдовец в свои семьдесят пять лет, задумал снова жениться, он

произвел раздел имущества и, главное, хаты, в которой мы жили втроем: дед, мама и я. Наша хата в Киеве, на Куреневке, имела две жилые комнаты по шестнадцать метров каждая, так вот он одну взял себе, в другую отделил нас с матерью, и сени — пополам, и отдельный ход нам пришлось сделать, и, конечно, клочок земли вокруг хаты тоже автоматически разделился. Клочок этот делился на две неравные части: большая была огородом, меньшая — так называемым садиком. Огород дед забрал себе, нам оставил садик. Садик от огорода отделялся заборчиком высотой этак по пояс, и на садик выходили два окошка сеней: и дедовой половины, и нашей. Окошки в тех сенях, как водится, были заплетены паутиной, заставлены жестянками из-под керосина, с фанерками вместо выбитых стекол, в них никто никогда не смотрел, конечно.

Дед несколько лет искал подходящую невесту, наконец остановился на домовладелице, имевшей собственную хату. Она уговорила деда свою половину продать, а переходить к ней. Так мы стали жить с новыми соседями за стенкой, супругами по фамилии Фесенко; он работал на кожевенном заводе, она была торговкой на базаре. И первое же, что они сделали, — это потребовали переставить заборчик сада, ибо “по закону” окно их сеней не может выходить на чужой участок. Мама возмутилась: и так у них весь огород, так еще и кусок сада им отдай. И началось...

Я не берусь описать, *что* вокруг этого творилось целых несколько лет. Эпопея. Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, — невинная детская история по сравнению с войной, развернувшейся вокруг клочка поросшей крапивой земли под окошком сеней Фесенко. Причем обе стороны при-

знавали, что земля нестоящая, но они стоят за принцип, и “по закону”, и прочее — и были непримиримые.

Дело дошло до суда; суд, представьте, этим занимался и вынес решение с приложением начерченного плана, по которому истцу, Фесенко, присуждалась полоска земли под окошком его части сеней, отступя от стены что-то так сантиметров восемьдесят. Он с торжеством огородил ее — это и было метра два квадратных — всякими обломками и даже проложил поверху ограды ржавую колючую проволоку. Да, он победил.

Прошло много лет. Кусочек земли в тени под стеной был Фесенко ни к чему. Сквозь паутину в окошко никто не смотрел; крохотное, оно и не открывалось, так что никто из него и не прыгал. В огороженном прямоугольнике среди крапивы накапливались ржавые ведра, консервные банки и прочий сор. Я тогда уже дома не жил, а только во время несчастных приездов латал крышу да чинил забор. Однажды, увидев, что ограждение Фесенко совсем уж безобразно развалилось, отыскал в сарае разные дощечки и решил огородить поприличнее. Увидел старый Фесенко, принялся помогать. Возясь с кусками окончательно развалившейся колючей проволоки, оцарапался, ругался и сказал: “И на что оно мне, дураку, было нужно? За что мы столько лет ругались?” Посмеялись мы, пошутили. Месяца через два старик умер — от рака, как оказалось. Очень скоро вслед за ним умерла и его жена. Остался у них наследник, сын, женатый, у него другая жизнь, ему на эту хату вообще было наплевать. Да и хату-то вскоре снесли, ныне там разные заводские территории, и под микроскопом не отыскать того клочка, тех двух метров квадратных, из-за которых, уверен, у матери прибавилось много седины и у супругов Фесенко, как говорится, семь

килограммов нервов ушло. Тех самых нервов, которые, говорят, не восстанавливаются.

Ну и я вот — сколько лет прошло, нет стариков Фесенко, нет хаты, нет клочка, а он стоит перед глазами, и вся та страшная сора, вражда, и ведь не забудется, нет, не забудется до самой смерти.

Вся эта бесконечно глупо-печально-смешная история встала в моей памяти, когда я прочел одно место в не так давно вышедшей на Западе книге “Тесные врата” Юрия Глазова — одного из тех, кто в последнее время выехал на Запад. Он там приводит любопытный рассказ, который я, кстати, уже от кого-то где-то и сам слышал, — о Хрущеве в его пенсионный период в конце жизни. Может, это и фольклор, но в нем столько правды жизни, что я, знаете, верю.

Как передает Глазов, внучка Хрущева, милая и общительная молодая женщина, вскоре после ухода Хрущева в отставку повстречала своего знакомого писателя — одного из тех молодых писателей, на которых очень обрушивался Хрущев, будучи у власти.

— Ну, как поживает старик? — спросил этот писатель, предав забвению обиды, которые получил в числе прочих.

— Да тоскует, — отвечала внучка, — говорит, что впервые в жизни остался без дела и очень ему это положение в тягость.

— Ну, передавай старику привет! — бросил торопящийся по своим делам писатель.

Прошло недели две, и снова случайно повстречались участники этого разговора.

— Ты знаешь, — воскликнула внучка бывшего нашего премьера, — дедушка-то был так тронут твоим приветом и чуть не расплакался. Все причитал он, говоря:

“Какие хорошие ребята! И чего я, старый дурак, к ним приставал тогда!”

...Ах! Верю. Знаете, верю, что так и было. Ведь Хрущев потом сел и, как заправский самиздатчик, украдкой на магнитофон мемуары, в которых эта нота — сожаления и покаяния — прорывалась сплошь и рядом. Помню где-то заголовок рецензии (на Западе) на книгу мемуаров Хрущева: “Кающийся коммунист”. Он, выходит, и “Доктора Живаго” Пастернака лишь на пенсии, на досуге, прочел — и вдруг обнаружил, что нет ничего в той книге плохого. И зачем же, спрашивается, такой крик, такие бешеные проклятия сыпались когда-то на Пастернака, сведя его преждевременно в могилу?

А удивительная, прямо-таки символическая история отношений Хрущева со скульптором Эрнстом Неизвестным? Как Хрущев на него кричал, ногами топал, в буржуазных и прочих грехах обвинял, а кончилось тем, что сам о том пожалел и огорчился, кончилось тем, что на Новодевичьем кладбище на могиле успокоившегося старика стоит памятник работы скульптора Эрнста Неизвестного.

О нет, далеко не о многом успел пожалеть Хрущев, но — может, потому что Бог не дал ему больше лет? Но — может быть, уже и *это* много? Если в сознании даже хотя бы одного, воспитанного в духе свирепой *непримиримости* большевизма, — если в сознании даже хотя бы одного такого руководителя возможны вот такие проявления чисто человеческие, справедливо-трезвые, то почему бы им не появиться и еще — в ком-нибудь другом, третьем, десятом?

...А вот бы дожить до такого, когда кто-либо из них, вершителей судеб — на пенсии ли, не на пенсии ли, — вдруг ошеломленно сказал бы: “И зачем это я страну за

колючей проволокой держал и людей никуда ни на шаг не пускал?”, “И зачем это я в мирное время на мирных людей танки посылал? Боже, какая нелепость, какой стыд!”, “Чего это я столько здоровых людей в сумасшедшие дома побросал? Думали там иначе, так кто же не думает иначе, а я их за решетки, жизни им потоптал...”.

Да, воображение играет, но, согласитесь, заманчиво так повоображать. На этом оселке я пробую разные фигуры из прежнего, железного типа большевиков, тех, о которых Тихонов в качестве высшей похвалы выразился, что если бы из них делать гвозди, то не было б в мире крепче гвоздей... крепкий образ. Весьма метко сказано; только — похвала ли это, вот вопрос.

Так вот, мог ли бы Иосиф Сталин хотя бы за час до смерти сокрушенно вздохнуть: “И зачем это я, старый дурак, столько ужасов устроил?”

Нет, тот тип... людей (а язык с трудом поворачивается сказать “людей”) — тот тип к человечности не был способен, такие для человечности начисто, пожалуй, потеряны, годны только на гвозди. Они, видите ли, до фанатизма уверены, что *непримиримость* — это в высшей степени положительная черта. На всех перекрестках кричат о своей “непримиримости к...” (в разные времена к разному, в общем, к чему хотите, но прежде всего — каждого человека к каждому человеку, обратите внимание и вдумайтесь). Это она, коммунистическая непримиримость, долго, очень долго превращает людей в материал для гвоздей, пока постепенно не делается все яснее и яснее, что непримиримость — это ведь всего лишь признак ограниченности, что это — порок и беда, и не больше.

13 сентября 1975 г.

Самовзвинчивание

Случалось ли вам испытывать грустное чувство, время от времени обнаруживая, как нечто привычное, без чего, казалось, немыслима сама действительность, вдруг уходит из этой действительности — безвозвратно, навсегда? Я не говорю о людях. Когда они *уходят* безвозвратно — что тут уж сказать... Я говорю об уходящих безвозвратно вещах, явлениях.

Например, паровозы. Люди, жившие в прошлом веке, восторженно, или потрясенно, или испуганно смотрели, как они приходили. Мы же вот спокойно, почти равнодушно увидели, как они уходят. В Англии паровозов уже вообще больше нет. Все они, от знаменитой “Ракеты” Стефенсона до самых последних рекордсменов скорости и тяги, — ушли. Паровозы можно увидеть в музее, главным образом в Музее транспорта.

А знаете, ведь мы, люди, совершенно забыли, сколько тревог, страха, даже паники вызвало в свое время строительство железных дорог. Много авторитетных людей, ученых, общественных деятелей, выступали против неестественного, ужасного железного чудовища — паровоза, убежденно предсказывая, что он

несет беду. Например, что он будет страшно пугать на пастбищах стада, коровы перестанут давать молоко. Что адская скорость (по тем временам двадцать — сорок километров в час) гибельна для организмов пассажиров и человечество выродится. Или более серьезное: что железная дорога уничтожит натуральную природу, воздух, что природе пришел конец. Это очень напоминает современную дискуссию насчет загрязнения среды, но острее ее теперь направлено уже не против паровозов — ясно, что относительно них страхи были необоснованны; принести конец натуральной природе, привести к вырождению человечества или хотя бы снизить удои молока паровозам было далеко, далеко не под силу...

Можно, вероятно, собрать несметное число подобных пророчеств за все века существования человечества. Большинство из них, как неоправдавшиеся, легко и прочно забываются, частью бесследно, так что сбор такой коллекции потребовал бы большого труда. А жаль, что никто не взялся ее собрать. Она бы была полезна каждому, кто так или иначе пробует предсказывать.

В наши благополучные времена — а благополучными, я думаю, их стоит считать уже за то хотя бы, что нет мировой войны, — кто хоть краем глаза видел войну, тот со мной согласится, что времена сейчас благополучные... Относительно? Так все на свете относительно. Пожалуйста: в сегодняшнее относительно благополучное время что-то слишком много слышно предсказаний, полных апокалипсического ужаса. Так ли уж мы, люди, устроены, что когда вокруг нас в общем благополучно, и долго благополучно, то нам делается страшно? “Да что же, мол, такое, беда-то должна быть, где же беда? Значит, вот-вот грянет!”

Кажется, мучительное, изматывающее ожидание беды само по себе настолько может сделаться невыносимым, что люди, уже будучи не в силах беду ждать — ее делают, прямо-таки искусственно вызывают, мол, пусть уж скорее валится, а то сил нет больше ждать. Бывает так, бывает.

Это, помните, у Ильфа и Петрова: “Конец “Вороньей слободки” — совместно жившие обитатели так подозревали друг друга в том, что кто-то может поджечь дом, так измучились ожиданием пожара, что в одну ночь “Воронья слободка” действительно загорелась, подожженная сразу с четырех концов. Она не должна была загореться, никогда бы не загорелась, если бы ее обитатели сами себя не взвинтили.

Живя в Лондоне, я время от времени просматриваю советские газеты — и всякий раз, помимо прочего, бываю поражен нагнетанием тревоги, прямой установкой на “неусыпную бдительность”, “боевую готовность”, “решимость дать отпор” агрессиям, аж волосы дыбом могут встать: вот-вот, кажется, уже что-то случится, что-то ужасное... Да, советские газеты пахнут порохом, это еще Маяковский заметил, и с тех пор по сей день они не перестают пахнуть порохом. Советские газеты с сарказмом пишут о том, как воинственно самовзвинчивают себя сейчас китайцы. А о том, какое военное самовзвинчивание десятилетиями непрерывно идет в Советском Союзе, — вы об этом задумывались? И как это отражается на людях?

Что далеко ходить? Я расскажу о себе. Вот я жил в Советском Союзе, старался думать самостоятельно, а затем, конечно, не верил, думал, что умею видеть действительность более или менее объективно. Во многом я мог быть не уверен, но в том, что в недалеком будущем предстоит третья мировая война, я был уверен. Может, не за-

втра, может, конечно, не в этом или не в будущем году, но уж лет через десять-пятнадцать... и говорить нечего. С тех пор для меня прошло и десять, и пятнадцать, и двадцать.

Да, именно лет двадцать тому назад шли мы как-то с приятелем-художником через Первомайский парк в Киеве. Это очень красивый парк, роскошный, над крутыми приднепровскими склонами, и был, наверное, выходной день, потому что по аллеям прогуливалось особенно много людей — здоровых, цветущих, как все киевляне, родители с детьми, толстые старички, пышные матроны. Цветов еще масса в киевских парках, пахнут одуряюще. Каштаны, липы, солнышко, небо... в общем, такой мир и такое благополучие были в том парке в тот день!

Мой приятель остановился и посмотрел на меня какими-то бездонными, полными ужаса глазами. “Тол-ля! — воскликнул он, показывая на толпы гуляющих. — Сколько людей, сколько *мяса!*.. Должна быть война... идет война, вот-вот”.

И вы знаете, в тот момент я был с ним согласен. Его ужас передался и мне: действительно, если все так благополучно и уже выросло столько нового этого людского материала для пушек и бомб, то как же иначе, если не война? Благополучно долго — разве бывает?

Еще раз говорю: это было двадцать лет тому назад. Позже я с горечью узнал, что мой приятель-художник сошел с ума, его поместили в киевскую психбольницу имени Павлова. Всерьез сошел с ума; возможно, что одной из причин была и его слишком большая впечатлительность. И не знаю, где он сейчас, что с ним. Но боже мой, какие мы испуганные, какие мы взвинченные — рождающиеся и вырастающие в СССР, в постоянно взвинчивающей обстановке. Ну как же — газеты, значит, пахнут порохом; радио, телевидение — порох; идешь по

улице — каждый десятый военнослужащий в форме; едешь по шоссе — ракеты по сторонам, военные колонны, танки; по железными дорогам без конца идут воинские эшелоны; в школах — военное обучение, и так далее, и так далее, вплоть до праздников. С чего же они начинаются у нас? С демонстрации самых страшных видов вооружения...

Я шесть лет в Англии и не могу до сих пор надивиться: я еще ни разу не встретил здесь на улице человека в военной форме. Раза два или три, выезжая далеко за город в леса по грибы, я, да, видел несколько воинских английских грузовиков, на них ехали солдаты, там, в лесах, у них, по-видимому, лагеря, полигоны, — но это все, что за шесть лет зрительно напомнило мне, что на свете существует такое явление, как война. Приезжают в Англию новые люди, выехавшие из СССР. Один из обязательных потрясенных вопросов (я уже знаю его наперед, я уже жду его): “Почему в Англии на улицах — ни одного военного?”

Но на это простой ответ в виде вопроса же: “А что им делать в мирное время на улицах?!” Оказывается, далеко не везде такая — да, да — военная истерия, как в Советском Союзе. Живя в СССР, мы так к ней привыкаем, что думаем, будто иначе и быть не может. Так *может*. Может.

В свете, как говорится, вышесказанного вы, возможно, лучше поймете меня, если я признаюсь, что с некоторых пор очень осторожно отношусь к тем, кто предсказывает человечеству возможные скорые беды, разные апокалипсические ужасы. Опасаться худшего, предупреждать о возможности этого худшего, одним словом, так сказать, здоровая бдительность — да, да, все так. Но где она переходит в самовзвинчивание? Бесконечные истерические крики, что без столкновений, кровопро-

литий... как это по коммунистической терминологии? “Кто кого?”, “Всемирный пожар”, “Или мы их, или они нас”, “Непримиримые противоречия”, “Глобальные конфликты” и так далее — что же это, если не прямое самовзвинчивание, как на той “Вороньей слободке”, когда пожар в конечном счете уже не может не состояться.

Не лучше ли бы наоборот: *можно* жить мирно, *можно* избежать катастроф и конфликтов. Взглянешь так на историю — господи, скольких несчастий, войн, бед преспокойно могло бы и не быть. Если бы отдельные властелины, группы и целые народы не самовзвинчивались, а держали бы себя спокойно в руках.

Так ведь многого и не было! Не случилось — история молчит. Не случилось — о чем же писать? Мы видим лишь то, что *случилось*. А что, оно обязательно должно было случиться?

Да, да, потом специалисты, ученые, историки, экономисты, политики с выкладками в руках будут доказывать, что, мол, иначе и не могло быть, что тому были такие-то и такие-то коренные, глубокие и так далее основания. Задним числом все можно доказать.

Ну вот, например, почему обязательно должна была быть советско-финская война в 1939 году? О, какая была тогда шумная, кровавая война, сколько людей убито, искалечено, и кончилась она для СССР позором. А ведь ее преспокойно могло бы и не быть... Не кажется ли вам? А как вы полагаете, семь миллионов одних только умерших от искусственного голода во время проведения коллективизации в 1933–1934 годах, этот действительно апокалипсический ужас, — это непременно должно было *быть*? И другое, и многое, многое другое...

26 сентября 1975 г.

Горячий камень

Проходят ли и сейчас в советской начальной школе рассказ Аркадия Гайдара “Горячий камень”? Много лет из десятилетия в десятилетие он красовался в учебных программах. Наверное, остается и сейчас; как же, Гайдар — классик пионерской, соцреалистической “павлик-морозовской” литературы. На “Тимуре и его команде” поколения воспитывали, целое движение было “тимуровцев” — помощников партии, комсомола. Писатель, искривляющий мозги взрослых, — это, как кто-то выразился, бедствие. Но втройне бедствие, чума — писатель, искривляющий мозги детям. Я не собираюсь, однако, заниматься разбором творчества Гайдара. Его по-советски хрестоматийный рассказ-притча “Горячий камень” вспомнился мне между прочим. Вот к чему.

Там, если помните, суть заключается в том, что лежит некий пышущий жаром камень, на котором написано, что тот, кто его поднимет и перенесет — забыл уже, то ли на гору, то ли, наоборот, с горы в долину, — тот начнет жить сначала. И вот подходят к нему разные советские люди, сперва радуются, что можно начать жить сначала, потом думают и приходят к выводу, что

не следует. Старый большевик, например, считает, что он жил и живет правильно, на пользу делу коммунизма, и он не нуждается в том, чтобы жить сначала.

Когда я мальчиком должен был учить это, я помню, никак не мог понять, в чем тут глубина философии, не видел никакой глубины, не видел тогда, не видел после и не вижу сейчас. Но тогда мне думалось, что если все, похоже, видят, а я нет, то у меня, значит, чего-то не хватает в голове? Сейчас думаю, что никто никакой глубины не видел, а только делали вид, что видят. Увидеть там глубину можно лишь при том условии как раз, чтобы голова не обладала ни малейшей способностью мыслить.

Помнится, как-то давно одна старая, усталая учительница в приливе откровенности с отвращением пожаловалась мне, что вот такую ерунду (и не просто безобидную ерунду, а пакостную) учитель обязан втискивать в детские головы. Я тогда так обрадовался: первый раз в жизни встретил человека, который вслух сказал то, что и я думал, то есть что “Горячий камень” — ерунда, и еще пакостная.

Видите ли, *нет* на свете человека, который бы не делал в жизни ошибок, о каких стоило бы пожалеть и каких — если бы да кабы можно было сначала — уж как-нибудь постарался не повторить. Или: ну пусть уж не вся жизнь, но о каких-то периодах в ней — каждый может сказать: эх, нехороши были, обидно, что были... Помилуйте, искренне считает, что прожитое было идеальным, безошибочным абсолютно самоуверенный и самодовольный кретин.

В “Горячем...” же “...камне” Гайдар, и глазом не моргнув, и не покраснев, предложил всем восхищаться такой личностью. Это, знаете, разные старые великие мыслители мучились своими ошибками, сожалели, что

жили не так, как надо бы. Лев Толстой мучился, казнил себя, Чехов Антон Павлович так сожалел и о том и о другом. Чудаки, старье. Это потому, что они не были вооружены всепобеждающим учением Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина. Явились большевики, которые ошибок не делают, живут на удивление правильно, так что им прямо насильно в руки “горячий камень” дают: мол, бери, живи опять сначала — а они даже не понимают зачем... Я, грешный человек, признаться, камень бы тот взял. Как вспомнишь: ох, сколько в жизни было лишнего, ненужного и такого, от чего уши горят от стыда, и, наконец, просто безвозвратно, бездарно потерянного времени. Но даже если бы я, как тот большевик, не видел на себе ни одного, ну решительно ни одного пятнышка, расположительный герой, мечта советской критики и Главлита, то и тогда бы у меня остались претензии — не к себе уже, нет, а хотя бы... к обстоятельствам. Да. К обстоятельствам.

Вот учился я в молодости, так много лет учился и, в частности, долго, мучительно зубрил по языкознанию гениальные труды Сталина — о базисах, там, надстройках, мысль без языка не существует, реакционное учение Марра, экзамены строжайшие, как все тряслись: тройку схватишь — стипендии лишат. Три раза я успел изучить, да от доски до доски, знаменитый “Краткий курс истории ВКП(б)”. А его изучали бесконечно, кончали и опять начинали. А “Вопросы ленинизма”, а “Детская болезнь левизны...”, а “Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов”, а “Призрак бродит по Европе...”, а что было на IX съезде, а что было на XI, на XII съезде, а кто такие “ликвидаторы”, кто “отзовисты”, а тактика партии в период между... Боже мой! Я *это* изучал. У меня была молодая,

свежая, не переполненная голова, и вот ее надо было по края забивать *этим*. Какая обида, как жаль! В то же самое время, но в мире другом где-то такие же точно ребята, как мы, изучали нечто другое, более стоящее в Сорбоннах, в Кембриджах.

Нас учили литературе по “Цементу” Гладкова, “Хлебу”, “Железному потоку”, “Поднятой целине” и “Кавалере Золотой Звезды”. Глаза бы мои этого не видели! А они должны были это читать, мозг — запоминать, рука — в любой момент быть готовой писать “Положительные образы коммунистов Разметнова и Нагульнова”, “Основополагающая работа В.И. Ленина “Партийная организация и партийная литература”... “Лев Толстой, как зеркало русской революции”...

Кажется, волосы у меня готовы шевельнуться, когда я сегодня вот так ошеломленно перебираю, на что уходили силы — лучшее время в отпущенной мне жизни, время молодое. Но это только начало. Далее я боюсь даже приблизительно подсчитать, сколько времени в жизни пожрали, например, бесконечные, бездонные — не счесть им числа! — собрания и ритуалы. Да, боюсь подсчитать, потому что, может быть, застаю от обиды.

Боже мой, зачем же это было? Кому это нужно было? Мне? Увольте! Кому угодно, только не мне. Тогда, собственно, кому? И что ему была за польза от того, чтобы так бездарно губить силы и время — мои и миллионов?

И знаете, если сделать вид, что серьезно пытаешься найти ответ на этот вопрос, начинают мелькать лица, фигурки разных человечков с повелительными голосами, но имена их по большей части стерлись, забылись. Ведь они что? Они были просто исполнители, никому из них лично не было никакого резона, ника-

кого удовольствия, чтобы моя жизнь была удушаема ерундой. Это за ними стояли исполнители рангом крупнее. Но они меня и в глаза не видели, а я — их. Им, казалось бы, тем более я должен быть безразличен — зачем им непременно портить мне что-то? Были и умершие уже давно, иные — сто лет назад. Погодите, так это им надо было сто лет назад, чтобы я сегодня так бездарно жил? Смеетесь!.. Тогда кому же нужно? Абстракции? Получается, что да. Какой-то мертвой, нечеловеческой, абстрактной — с больших букв — Всеобщей Схеме, от которой равно мучаются и исполнители и исполняющие, и, значит, так себе и коптим среди клеток и ребер ее — каждый свой отрезок неповторимой жизни.

А мир велик, а мир просторен, разноцветен, разнообразен, сто жизней дайте — не хватит, чтоб объехать, увидеть, услышать, попробовать почувствовать и малую долю его. Краешком, краешком уха и я что-то об этом в юности слышал, в промежутке между третьей и четвертой главой “Истории ВКП(б)”, в очереди за крупной, между лозунгами “повышать производительность” с одной стороны и “повышать бдительность” с другой, между забором справа и колючей проволокой слева. Но — только слышал. Ужас. И то уже — проступок.

Вот я только проснулся, вспоминаю первые попавшиеся, какие приходят в голову, далеко не главные примеры ничего не стоящей, унылой ерунды, которой, однако, в советском обществе человеку обязательно надо, *положено* заполнять жизнь. Это если так совершенно непредвзятым, чистым взглядом, словно проснувшись, взглянуть на советскую жизнь, то станет и удивительно и непонятно: да зачем в ней все так неудобно, а то нелепо, а то мучительно, а то дико? Ну скажите, пожалуй-

ста, почему нельзя свободно взять и поехать, скажем, на остров Пасхи в Тихом океане? Поехать, посмотреть — вернуться. Почему не просто работа, но обязательно со взятием обязательств, каким-то смехотворно-абстрактным соцсоревнованием, собраниями, плакатами, стенгазетами, этими ворохами чепухи — но у каждого-то она куски жизни отнимает. А почему есть КГБ и — стукач на стукаче? Есть же общества, где людям такое и во сне не снилось, и, оказывается, без КГБ — живут. Хорошо, свободно, спокойно, по-людски. А почему мне положено читать “Историю КПСС”, а роман Набокова “Лолита” — ни в коем случае? И так далее, и так далее, ну к чему ни прикоснись, только диву даешься: до чего неудобная, малоинтересная, трудная, унылая жизнь. Да. И мне обидно, мне жаль. Чужих жизней жаль, и своей, конечно, какая она была. Вот почему я говорю, что если бы мне, таким образом, попался гайдаровский “горячий камень”, я бы уж понес его на гору там или в долину, так себе ярко это сейчас вообразил, что, право, жаль, что это все одна фантазия.

21 ноября 1975 г.

Не умеющие жить

Иногда, когда бывает сессия Верховного Совета СССР, в газетах помещаются снимки — общий вид президиума, общий вид зала. Последние, вид зала, особенно любопытны: ровные ряды лиц с поразительно бессмысленным выражением. Это не просто фотоснимки, это в сущности фотокарикатуры. Вы знаете, будь я на месте редактора, я бы такие снимки стыдился помещать, боялся бы: это же разоблачительные материалы, обладающие убийственной сатирической, прямо гоголевской выразительностью. Огромный зал, от первого места до последнего наполненный фигурами, задача которых, во-первых, значит, заполнять собой этот зал, во-вторых, по сигналу иногда бить в ладоши, иногда поднимать руку, иногда вставать. Все. Как говорится, работа не пыльная, но — свирепо скучная, тянет в сон, но не дай бог заснуть; и книжку нельзя читать, ничего нельзя; только сидеть, глядя перед собой, так сказать, собой здесь присутствовать. Постепенно, вероятно, к этому можно привыкнуть. И люди, вероятно, считают, что терпеть стоит, потому что это же не бесплатно, это вознаграждается.

Я знал лично нескольких депутатов Верховного Совета. Они должны носить значок, такой флажок, приколотый к лацкану. Этот флажок вместе с депутатским удостоверением дает много прав: на вокзале взять билет в особой кассе и ждать поезда в особом зале. Войти в трамвай с передней площадки. Даже в кино получить билет без очереди. Правда, я не видел ни разу в жизни, чтобы кто-нибудь проталкивался к окошку кассы, размахивая удостоверением, мол, “пропустите меня без очереди, я депутат Верховного Совета!”. Те, кого я знал, подобными благами как-то стыдились, что ли, пользоваться и свой значок-флажок носили как бы с подавляемой неловкостью. У меня создалось впечатление, что они бы охотно его не носили. Но нельзя: они обязаны носить. Есть должности, которыми люди, хотя и занимают их, предпочитают не хвастаться. Тюремщик, например. Или сочинитель речей для начальства. Или этот, выкрикиватель лозунгов на демонстрации. Он себе едет в метро и выглядит вполне нормально, прилично, и не догадаешься, чем он, бедняга, зарабатывает свой кусок хлеба с маслом. Депутатам же не повезло: значок-флажок их выдает.

Пока я совсем близко не познакомился с одной простой, замученной дояркой, на которую судьба свалила звание депутата Верховного Совета, я полагал, что жизнь у депутатов барская, уж там люксы-перелюксы. Прозаическая действительность поразила меня.

То была простая незаметная колхозница-труженица, каких миллионы. Послушная, старательная. Это ее и погубило. Как известно, в каждой области, в каждом районе должны быть передовики. Ударники, стахановцы, “майки” и тому подобное. Такое важное дело, конечно, нельзя пускать на самотек, нужна организация. Техника давно отработана, еще с тех довоенных времен, когда Стахано-

ву создавали условия, чтобы он поставил рекорд. Делается это так. Сперва беседуют с намеченным кандидатом, обещают выписать шиферу на крышу, премию, путевку и тому подобное. Ну кто устоит? Доярке, далее, обычно составляют группу из самых дойных коров, да и нелегально придают парочку коров, не числящихся за ней на бумаге, так появляются фантастические удои. Корреспонденты. Фотографы. Далее, если надо, делают из нее кандидата к очередному ритуалу выборов, и пошла доярка нежданно-негаданно в космические сферы.

Первое, значит: шиферу дали. И не только шиферу, а и лесу на ремонт избы. Если приехать в деревню, о которой известно лишь, что в ней живет депутат, а в каком доме неизвестно, то достаточно посмотреть на крыши — и никого спрашивать нет нужды. Развалюхи, вросшие в землю, покосившиеся, под гнилой соломой, с крышами латаными-перелатаными — и вдруг среди них, как картинка, хорошая, ухоженная изба, да еще, глядишь, не под шифером, а под цинковой крышей. Депутат. Спутать можно только с избой председателя или парторга, если и они проживают в этом селе. Изба — это да, хорошая. Но дальше...

Я детально вник в заработки той доярки, о которой говорю, и оказалось, что она отнюдь не намного больше имеет, чем другие, ну, там что-то набегает, естественно, как она есть ударник, но если бы не все тот же “приусадебный участок”, который спасает всех на селе, она бы, как и другие, концов с концами не свела.

Другое дело, что в советской жизни в зависимости от положения при одних и тех же цифрах заработков может быть больше, а может быть меньше. “Достать”, например. Тот же шифер или цинковых белил на ремонт. В продаже нет, с рук, ворованные со стройки, —

сперва найди, потом отвали втридорога и еще магарыч поставь. А ей, депутату Верховного Совета, прямо с райбазы отпустят по государственной цене.

И уж счастлива она от того была, счастлива. В разговоре со мной нет-нет да и опять как-то к этому шиферу и белилам — недавно ремонт наконец сделала. А депутатом уж шесть лет. Ждала. Так что нет, их не балуют, зачем? И за то будут благодарны. Придет зимнее совещание по животноводству — так ей еще в премию дадут дешевенькие часы.

Но, пожалуй, главное благо, которым во всю сласть пользуется депутат-доярка, — это периодические, законные, оплачиваемые отпуска на период сессий Верховного Совета. Не вскакивать в три часа утра, не вкалывать, навоз не месить, руки отдохнут. Как превеликая барыня, как Анна Каренина какая-нибудь, повяжется она лучшим платком, надежно спрячет за пазухой узелок с накопленными рублями, возьмет лучший свой фанерный чемодан, поедет рейсовым автобусом на станцию, а там билет, да не общий или какой-нибудь плацкартный, а самое купейный до самой Москвы-столицы. Едет депутат Верховного Совета, и проводник чай приносит в подстаканнике... “Погодите, — уточнял я. — Но вы же должны ехать в международном, в этом, спецвагоне?” Но она не знала, что это такое. “Тогда хотя бы в мягком!” Нет, за мягкий бухгалтер не оплачивает, только купейный положен. В мягком-то она никогда в жизни еще не ездила. “Ну хорошо, — говорил я, — ну вот вы приезжаете в Москву, и где вы там живете? Как живут депутаты?”

Хорошо живут. В гостинице. За казенный счет. “Наверное, в “Национале” или “Москве?” Нет, в “Будапеште”, той старой, облупленной, в Замоскворечье,

но к Кремлю-то близко: только через мост — и тут. “Номер красивый, — спрашивал я, — просторный?” Да, очень хороший, ну не так чтоб просторно, но и не тесно: всего четыре койки. Я так и ахнул. Четыре койки в номере? И все депутаты? Да, из разных областей, такие же колхозницы. “А кормитесь как?” Ну, впрочем, это можно было не спрашивать. Завтрак, обед, ужин — тут же в гостинице, по четыре за столом, ну вроде как в рабоче-крестьянском санатории, суп харчо там, макароны по-флотски, яблоко на десерт.

Времени ходить по Москве — вот плохо — нет. Все расписано. Львиную долю времени нужно сидеть, конечно, на заседаниях, остальное — эти самые, значит, завтрак-обед-ужин, еще будут экскурсии — осмотр Музея Ленина, Музея Революции, Выставки достижений народного хозяйства. На магазины, на ГУМ не предусмотрено и секунды. Но — вот она, забота о депутате: в фойе Кремлевского дворца в перерывах между заседаниями торгуют специально устроенные киоски с промтоварами. И лишь объявят перерыв — бегут со всех ног занимать очередь доярки и ткачихи, овцеводы и оленеводы: там дают платки, клеенку, нейлоновые чулки, чашки с цветочками и еще тысячу прекрасных вещей. Рубли из-за пазухи так и тают. Даже апельсины иногда бывают. То-то гостинцев она везет всякий раз в деревню.

Меня это так все удивляло, я подробно расспрашивал об ассортименте товаров, которые можно достать — подумать только! — в самом Кремле во время сессии самого Верховного Совета. Вот нейлоновые чулки, например, что, и за ними нужно пробиваться к прилавку? А как же! Потом уже, как большинство отоварится, так свободнее, но каждый спешит вперед толкаться, а то, глядишь, платки или апельсины уж и кончились.

“Но апельсины в Москве всюду есть, — говорил я. — И чулки”. Она искренне удивилась: “Правда?” — “А, скажите, красную или черную икру там, в Кремле, в этих киосках дают? Или растворимый кофе, такой, в порошке, в консервных баночках?” Нет, икру она не помнит, чтобы давали. Кофе — может, и был, но она не знает, как выглядит. Но икру им за столом дают иногда, в день закрытия сессии, на прощальном ужине, так что она сподобилась и икры попробовать, и в Кремле была, и в самой настоящей гостинице жила, и обратно, тут же опять купейный билет на руки, жаль, нельзя хоть на денек остаться, по универмагам бы походить... Но нет, пора обратно к коровам — там уж девки проклинаят, все эти дни должны были за нее вкалывать, но каждую она задобрит гостинцем, выполненным заказом и рассказами о чудесах столичной жизни. Вот так.

Пусть не создается у кого-нибудь впечатление, что я иронизирую над дояркой. Нет, я просто рассказываю все как есть. Скорее даже наоборот, меня как-то очень трогало все то, что она рассказывала, — это так жизненно, такие точные, правдивые детали, все так понятно. Она так тяжело работала от зари до зари: ферма, дом, семья, приусадебный участок, о чем тут говорить. Что она была добрый человек — вот доказательство, для меня убедительное. Другие доярки на ферме ее любили, а в селе я слова худого о ней не слышал. Это года за два, пожалуй, что я туда ездил, подолгу живал. Завидовали, да, но — как человеку, которому выпал выигрыш в лотерее. Повезло! Избу поправила, хоть свет повидает... Дай ей Бог. Человек старательный, послушный, может долго быть депутатом Верховного Совета, иногда даже пожизненно.

6 сентября 1975 г.

На космические темы

Издавна люди задумывались над вопросом: являются ли они чем-то уникальным во Вселенной, или где-то еще существует осмысленная жизнь, как говорится, “наши братья по разуму”, населяющие другие небесные тела, может, не такие, как мы, в смысле биологического устройства, даже наверняка не такие, но разумные, с которыми при встрече мы могли бы договориться?

Теперь, можно сказать, окончательно победило мнение, что — да, есть, и много. Но только где? И как завязать с ними контакт? Мнению этому способствовало расширение наших представлений о Вселенной, определение нашего места в ней как более чем самого скромного, микроскопически, “микронно” скромного.

Чтобы представить себе количество звезд в одной только нашей Галактике, которую мы называем Млечный Путь, нужно прибегнуть к каким-нибудь упрощенным сравнениям, иначе представить, постигнуть это прямо-таки невозможно. Вообразим, что мы стоим на просторном морском песчаном пляже, тянущемся в обе стороны сколько видит глаз. Мокрым пальцем попробуем взять из песка одну песчинку. Это будет наше Солн-

це. Остальной песок до горизонта — это будут прочие звезды нашей Галактики. Чтобы в этом масштабе представить планеты при нашем Солнце, нужно через микроскоп увидеть несколько пылинок, приставших к песчинке, одна из которых будет как бы наша Земля.

По форме Галактика, в которую входит наша Солнечная система, сравнима с диском. Диаметр этого диска определяется в сто тысяч световых лет. То есть световой сигнал, пущенный с одного края Галактики, шел бы до другого ее края сто тысяч лет. Скорость света — это самое быстрое, что нам известно, ничего быстрее мы пока не знаем. Скорость света — примерно триста тысяч километров в секунду. И, проходя каждую секунду по триста тысяч километров, свет должен идти сто тысяч лет, чтобы пересечь нашу Галактику из конца в конец. Как такое расстояние вообразить? Тут уже никакие сравнения не помогут.

Но, допустим, построили мы когда-нибудь космический корабль, движущийся со скоростью света, он отправится пересекать Галактику, и ждать его обратно нужно через (сто туда да сто обратно) — через двести тысяч лет.

Солнце с планетами находится поблизости от края Галактики, так сказать, на относительно пустынной ее окраине. Мы — как бы глухая отдаленная провинция по отношению к центру, где находятся главные скопления звезд. Все это так невообразимо огромно... Но теперь что такое наша Галактика по отношению к известной нам на сегодня части Вселенной?

Сделаем сравнение с песком опять, но одной песчинкой на пляже определим нашу Галактику. Тогда весь остальной песок — будут Галактики другие.

Да еще этот песок надо поднять и рассеять в пространстве, так, чтобы каждая песчинка оказалась на ог-

ромном расстоянии от другой. Вот, значит, в этом невообразимом вселенском механизме где-то существует конкретно наша звездочка — Солнце, вокруг этой звездочки оборачиваются несколько пылинок, одна из них — Земля, на оной и живем мы, гордые люди.

Конечно же, первый вопрос: неужели среди всей этой невообразимости лишь только на одной-единственной пылинке образовались благоприятные для жизни условия? Налицо простая вероятность, что где-то еще, и еще, и еще сложились подобные же условия или условия отличающиеся, но способствовавшие возникновению разумной жизни в иных, чем у нас, формах.

На самих раскаленных звездах жизнь, очевидно, невозможна; по крайней мере такое предполагать мы не рискуем. Но вокруг многих звезд, безусловно, обращаются планеты. Только в одной нашей Галактике количество звезд, обладающих планетами, должно выражаться числом порядка сотен миллионов. Оставим другие Галактики, ограничимся одной нашей. Среди этих сотен миллионов планетных систем мы не можем быть уникальным исключением. Должны быть разные виды разумной жизни и побольше нашей, и постарше нашей, и, может быть, существовавшей вообще задолго до самого формирования нашей Солнечной системы. Где-то разумная жизнь могла достигать максимальных степеней развития, которые мы и вообразить себе не в силах. Может быть, там, поближе к ядру Галактики, разные цивилизации находятся в контакте. Может быть, пространство пронизано их сигналами, но мы не умеем их принимать. Мы ведь только первое столетие пользуемся радиоволнами, хотя совсем недавно и не подозревали, что они существуют. А может быть, мы сегодня еще не подозреваем о каком-то ином средстве

связи, по сравнению с которым радиоволны будут выглядеть так же примитивно, как перекрикивание и ауканье наших предков по сравнению с радиосвязью.

Возможно, в самых ближайших к нам окрестностях нашей Галактики все же нет цивилизаций, более развитых, чем наша. Довод такой. Мы вот только что начали выходить в космос. Делаем первые шаги в освоении пока своей Солнечной системы, но принципиальный скачок произошел, и в не таком уж отдаленном будущем люди обследуют и близлежащие участки Галактики. Если бы где-то поблизости была цивилизация, опередившая нашу, то она бы уже обследовала окрестности и она бы первая обнаружила нас. Этого не происходит, и, вероятно, исследовательским зондам и экипажам космических кораблей долго еще придется находить на разных планетах лишь камни, камни...

Еще в начале века писались фантастические романы о жизни на Луне. Какая там жизнь, одни камни. Особенно разочаровал Марс: ни марсиан, ни каналов, каменная пустыня. На Венере температура — как в плавленной печи. На остальные планеты надежды нет. Так что в Солнечной системе, здесь, мы, да, одни.

Есть, однако, наоборот, предположение, что уже в прошлом нашу Землю посещали пришельцы из других миров. Накапливается все больше совершенно необъяснимых фактов, явлений — какие-то странные отголоски в преданиях и мифах, причем все это прекрасно объяснялось бы, если бы оказалось, что пришельцы были. Были слишком рано, когда люди не в состоянии были ни понять, кто они такие, ни всерьез с ними общаться. Лишь, говорят сторонники такой гипотезы, обожествляли пришельцев да кое-чему практическому немного научились. Этим мог бы объясниться огромный и пока никем убед-

тельно не объясненный скачок от полудиких племен до поразительно высоких по своим временам древнейших земных цивилизаций с астрономией, географией, высокой строительной и другой техникой. Причем не везде, а только кое-где — возможно, там, где приземлялись эти пришельцы? “Учителя” — называл их поэт Брюсов, который помимо поэзии занимался усиленным изучением древнейшей истории. Брюсов считал, что скачок был совершенно не под силу полудиким людям в короткий срок. Такое впечатление, что, образно говоря, вчера они еще ордой охотятся на мамонта, а сегодня уже знают причину солнечных затмений и вычисляют их наперед. Скачок мог бы объясниться присутствием, временным, каких-то “учителей”, после отбытия которых многое из того, чему они научили, перепутывалось, забывалось, приобретало фантастические формы, и лишь бесконечное число сказаний о разных богах с неба докатилось до нас эхом древних реальных прибытий реальных существ с неба.

Хорошо, если, допустим, все так было, тогда возникает вопрос: почему они снова не прилетают? Недосуг? Неинтересно? Они видели, на какой стадии были люди тысячелетия назад. Удавалось даже их чему-то научить, посеять, так сказать, семена. Выждав тысячу-другую лет, логично было бы повторить посещение — в надежде найти уже вполне понятливых собеседников... Нет, не прилетают, хотя и вспыхивают слухи о летающих тарелочках, и действительно собрана целая коллекция доказанных появлений каких-то неопознанных объектов, которые кое-кто считает зондами, с помощью которых какая-то цивилизация наблюдает нас. Если бы это было так, допустим на секунду, то, знаете, это было бы очень многозначительно. Нас наблюдают, но к нам лететь что-то не имеют охоты.

В самом деле, а разве мы достаточно, по-серьезному цивилизованы? Мы еще даже не вышли из стадии междуплеменных кровавых побоищ. То есть теперь это называется войнами, но суть абсолютно та же, разница только в масштабах и технических средствах, но ЦЕЛЬ — цель что у дубины, что у отравленной стрелы, что у атомной бомбы все та же: убить. Причем, как это ни парадоксально получилось, но главной агрессивной, наступающей силой сегодня стало вооруженное до зубов учение о счастье и мире для всех — коммунизм. На тех частях земного шара, где оно победило, произошел тоже, знаете, скачок — назад: царят средневековое крепостное право, инквизиция, марксистское идолопоклонство в качестве своеобразной новой религии, новые формы империализма со все тем же угнетением одних наций другими и так далее... Помилуйте, да уже одного этого достаточно было бы для трезвых и умных наблюдателей из другого мира, чтобы повременить с визитом на планету, где к тому же одних только средств уничтожения накоплено обитателями столько, что хватит несколько раз уничтожить все живое, и они постоянно держатся в боевой готовности.

А вообразите: вот *вы* поехали бы с визитом — представляться, знакомиться — в дом, набитый динамитом, а его обитатели, оскалась, стоят друг против друга со спичками в руках.

Не знают ли о нас другие цивилизации или знают, да предпочитают ограничиваться лишь наблюдением — какая разница, если существеннее совсем другое: что ко встрече сами *мы*, я думаю, совсем *не готовы*.

19 декабря 1975 г.

Тысячи флагов

В Лондоне туристов, конечно, тьма-тьмушая, и каждый, естественно, хочет привезти из Лондона какой-нибудь сугубо английский сувенир. Магазины сувениров процветают. И наиболее бойко торгуют они, пожалуй, вещами, на которых так или иначе изображен британский флаг: альбомы и чашки, подносы и сумки, открытки и тарелки, спички и зонтики — где только не увидишь этот флаг! Путеводитель по Лондону — конечно же во всю обложку британский флаг. Автобус, возящий по городу туристов, огромный двухэтажный знаменитый лондонский автобус, в отличие от обычных красных, — во все плоскости своих стен разрисован под сплошной британский флаг. Горы сумок лежат в магазинах — бумажных, и матерчатых, и клеенчатых, разрисованных под флаг. Хотите тенниску с британским флагом во всю грудь — пожалуйста. Хотите кухонный фартук — сколько угодно. И у меня, кстати, дома на кухне висит такой, и соседку я вижу иногда в окне в таком фартуке, когда она выходит развешивать на веревке белье. Я смотрю на нее и пытаюсь вообразить советскую домохозяйку в фартуке красном, с сер-

пом и молотом... Свят, свят, такое разве лишь во сне может привидеться.

О нет, не беспокойтесь, британцы уважают свой флаг. И достаточно сражались, и умирали под ним, если на то пошло, и если понадобится, снова будут сражаться. Но кроме этого у них есть здоровое чувство юмора, и такт, и удивительное умение не делать истерических проблем там, где в них нет нужды. Как, например, в области флагов. В Англии — тысячи разных флагов.

Одно время я снимал квартиру в центре Лондона, на самом верхнем этаже здания, под крышей, причем одна из стен представляла собой сплошное окно. Оно раздвигалось и позволяло выходить на крышу, точнее, на такую плоскую заасфальтированную и огороженную площадку — часть крыши. Оттуда открывался вид на крыши Лондона, совершенно неописуемый.

Так вот, напротив моей крыши, через один дом, имелась такая же площадка на крыше дома, занимаемого строительным обществом “Барнлей Билдинг Сосайти”, фасад его выходит на уютную и красивую Барклей-сквер.

Каждый день утром, точно без одной минуты девять, на площадке крыши здания “Барнлей Билдинг Сосайти” появлялся человек в форменном картузе со свертком под мышкой. В центре площадки имелась высокая мачта-флагшток. Человек разворачивал свертки — это был флаг, — прикреплял флаг к тросу и поднимал. Ветер его развевал, утреннее солнце эффектно освещало. Момент, когда флаг подползал к верхушке флагштока, совпадал с началом боя курантов на улице Пикадилли, неподалеку.

Флаг развевался весь день, а вечером, точно без одной минуты шесть, тот же человек выходил на крышу — и под звон курантов с Пикадилли спускал флаг. Можно

было проверять время по нему: точно 8.59 утра, 5.59 вечера. Подъем и спуск флага. Как на корабле. Правда, это только в рабочие дни. По субботам и воскресеньям флаг не поднимался. Самое любопытное: что это был за флаг? Он представлял собой большое полотнище, расчерченное на белые и темно-синие квадраты, этакая бело-синяя шахматная доска, — и на ней белая абстрактная шестеренка. Это — частный флаг данного конкретного учреждения, флаг “Барнлей Билдинг Сосайти”.

Приезжие обычно сразу замечают обилие разнообразных флагов в Лондоне. В Англии каждый, буквально каждый может соорудить и вывесить какой угодно флаг. Свои флаги имеют крупные фирмы и маленькие магазины, отели и учреждения, какой-нибудь отдельный дом или какое-нибудь общество коллекционеров. Кому только не лень. И потому, идя по шумной улице, вы видите не только витрины, рекламы, огни, но и флаги. Флаги — свисающие над входами, полощущиеся на уровне верхних этажей или гордо развевающиеся на флагштоках крыш, как то сине-белое шахматное с шестеренкой знамя “Барнлей Билдинг Сосайти”.

Вот идете вы в знаменитый, самый крупный лондонский книжный магазин “Фоялз” — издаелека уже видите на фасаде штангу и огромное желтое полотнище с буквами “Фоялз”. Каждый любитель книги знает этот флаг. Над крышей известного магазина “Ивенс” на Оксфорд-стрит развеваются красные флаги с двумя белыми полосами на каждом. Какой-то крохотный, но, видимо, не низкого мнения о себе обувной магазинчик — флаг над входом: густо-фиолетовое поле, по нему яркие лимонные буквы “Равель”. Отель “Бристоль” — конечно же над входом флаг: шикарно-зеленый, цвета дорогого бильярдного сукна, с вышитой по

нему золотой хризантемой и вензелем “В”. Кремовый флаг с белым прямоугольником и буквами “Диксонс” значит, что здесь вы найдете фото- и радиотовары. Однажды, идя по улице Мерилебон, я увидел издали красное знамя с желтыми серпом и молотом. “Странно”, — подумал я, потому что на Мерилебон нет никаких советских учреждений, откуда тут взялся советский флаг? Подошел ближе — нет, это было совсем другое. Фирма, выпускающая зажигалки “Колибри”, на первом этаже магазин “Колибри”. Это у них, значит, над входом — такой красный, кумачовый флаг, по нему желтые буквы “Колибри”, и первая буква — большое латинское “С”, ее я и принял за серп издали.

Но настоящий красный флаг с серпом и молотом можно тоже увидеть в Лондоне. В Гайд-парке, где митингуют разные ораторы, — там, среди десятков прочих, виден флаг с серпом и молотом. Под ним постоянно говорят всегда одни и те же двое или трое коммунистов. Думаю, это у них партийная нагрузка от британской компартии. Красные флаги, серпы и молоты видны, конечно, над головами коммунистических демонстрантов, когда они идут по улице, но я должен заметить, что в Лондоне это бывает редко. На 1 мая главным образом. Итак, это о флагах разных.

Но все же самый частый, на каждом шагу, иногда в самых неожиданных местах или, как я уже говорил, на самых неожиданных предметах — конечно флаг британский. *Не* по обязанности, *вне* всяких дат или событий, нет, просто так — просто чувствуется, что британцы свой флаг любят. Окидываешь взглядом всю пестроту улиц — и видишь преобладающий национальный британский флаг. На том же магазине “Ивенси” на Оксфорд-стрит собственные флаги, красные с белыми

полосами, они полощутся по углам здания, а по всему фасаду, во всю его длину шеренгой — флаги британские. Из-за этих флагов мне поначалу все казалось, что — праздник какой-то, что ли? Улицы Лондона имеют постоянно праздничный вид.

Да и у меня долго не укладывалось в голове, что каждый, любой человек в Англии может изобрести себе любой флаг. Выставить, если пришла такая блажь, над дверью, в окне, на флагштоке над трубой своего дома, и никого это не удивит, никто не побежит немедленно сообщать куда следует, никто не явится и не спросит: “Эт-та что такое?” Максимальное, что произойдет, — это, может, соседи заметят, усмехнутся. Пусть будут флаги, пусть будут разные. Британцы полагают, и, по-видимому, совершенно справедливо, что от этого государство не пострадает, не рухнет, не пошатнется. И, вы знаете, так смотришь — и видишь, что они правы. Действительно, ни-че-го плохого не происходит; а все же после жизни в Советском Союзе от таких вещей голова кругом идет.

Вспоминается мне в этой связи случай, описанный в украинском самиздате не так давно: в каком-то украинском селе колхозника арестовали и целое политическое дело ему пришили за то, что он выкрасил ворота желтой краской, а столбы синей (или наоборот, не помню). Умышленно ли, случайно ли у него так получилось, но власти усмотрели, конечно (ну а как же!), страшный намек на крамольное сочетание цветов украинского “желто-блакитного” флага. Намек! Политическое преступление!

Знаете, если просто так, без комментариев, кто-нибудь рассказал бы этот случай простому англичанину — он бы смеялся, он решил бы, что ему байки рассказывают.

27 февраля 1976 г.

Преступление в Виннице

Беседа 1

Небольшой документальный сборник лежит передо мной. В Советском Союзе простому человеку эти документы недоступны. Разными путями, в основном во время войны, они попали на Запад, они представляют события неполно, отрывочно, их надо рассматривать лишь как образец, лишь как какую-то энную, энную, микроскопически малую часть того, что могло бы и должно было бы быть вскрыто и собрано.

В 1943 году в тихом и уютном украинском городе Виннице (примерно сто тысяч населения до войны), во время немецкой оккупации, были проведены раскопки массовых могил с жертвами сталинского террора. Немецкие фашисты поначалу (главным образом из пропагандистских целей, естественно) делали такие расследования, но только лишь — как бы сказать — слегка прикоснулись. В Винницу, так же как и в Катынь, они пригласили международную комиссию, опубликовали результаты расследований. Но после Винницы нацисты перестали этим заниматься: во-первых, из-за поворота военных событий им стало не до того; во-вторых, они сами были заняты наполнением

могил, ничуть не менее страшных. Результаты расследований, подобных Катыньским и Винницким, которые начинались в Киеве, Житомире, Каменец-Подольске и других местах, не были опубликованы.

В Виннице было раскопано примерно двенадцать тысяч трупов, по-видимому, еще много осталось неоткрытого. Слух говорит, что в Киеве и других местах открывались вещи, более крупные по масштабам. Но тех документов нет, мы можем лишь вообразать себе общую картину, основываясь на ее малом винницком осколке.

За двадцать с лишним довоенных лет советской власти жители Винницы вместе со всем многомиллионным советским народом подвергались волнам террора. Массовые расстрелы в Виннице происходили в 1921—1922 годах, когда ЧК наполнила вблизи городского парка так называемое “интернациональное кладбище”, на месте которого впоследствии был выстроен стадион. Далее особо крупные расстрелы происходили в 1928 году, когда ГПУ занималось делом так называемого Союза освобождения Украины. Следующая волна — 1929—1931 годы, во время принудительной коллективизации. Затем в 1933—1934 годах, без расстрелов, массово умирали люди от организованного по указанию Сталина голода. Затем мрачно знаменитый 1937 год, когда в городе со стотысячным населением оказалось в заключении тридцать тысяч. Временами камеры в городской тюрьме, а также в превращенной в тюрьму психиатрической лечебнице были так переполнены, что заключенные все время стояли, прижатые друг к другу.

При раскопках 1943 года были обнаружены убитые лишь в этот последний период. Могилы не приходилось искать: многие свидетели совершенно точно ука-

зывали места. Судя по деталям, о которых будет речь потом, энкавэдисты были абсолютно уверены в том, что их дела никогда не выйдут наружу. Но оказывается, десятки невидимых глаз следили и все замечали. Вот типичное показание сотрудника винницкой гидробиологической станции Гуревича:

Я увидел напротив места моей службы новый забор, около трех метров высотой, из досок, плотно набитых в два ряда. На мои вопросы, что это значит и зачем здесь этот забор, я получил разные ответы. Чаще всего говорили, что это стройка НКВД... Однажды я уловил трупный запах, принесенный ветром из-за ограды. Тогда я внимательно осмотрел ограду и, найдя дырочку от сучка, заглянул в нее. Увидел много свеженасыпанной глины, а под самой оградой — кучу почерневших трупов, которые, очевидно, еще не успели зарыть.

Это было на улице Литинской, на территории огромного фруктового сада. Сравним с показанием бывшего сторожа сада Опанаса Скрепко:

Я был сторожем городских фруктовых насаждений на Литинской улице. В марте 1938 года один из фруктовых садов, рядом с плантацией, которую я сторожил, был огорожен высоким деревянным забором... Я влез однажды ночью на дерево, росшее у ограды. Ночь была лунная. У самой ограды я увидел шесть ям, в ямах было по несколько трупов. Вероятно, было еще много места, потому они не были засыпаны. Я уже и раньше примечал, что сюда начали приезжать нагруженные машины, с которых за оградой что-то сбрасыва-

ли — слышал глухие удары о землю. Конечно, видеть, что там происходило, я не мог. Несколько раз ранним утром, после проезда грузовиков, я замечал кровавый след, который вел по Литинской улице к огороженному участку. Утром дежурный НКВД, который постоянно жил в сторожке, засыпал этот след песком.

Это лишь два отрывка из показаний десятков. Наблюдения одного свидетеля начались с того, что он наткнулся на дороге на окровавленную калошу. Вообразите себе эти грузовики, с которых капает кровь.

Отведение крупного участка земли для нужд НКВД, между прочим, оказалось зафиксированным документально, этот листок был найден среди бумаг, брошенных спешно эвакуировавшимся Винницким горсоветом, и этот очень ценный, на мой взгляд, для историка документ с пронзительно-прозаической простотой показывает, как, оказывается, решаются иные начала кровавых дел. Читаю:

Выписка из протокола № 1 заседания президиума Винницкого городского совета от 1.4.1938 года.

Слушали: Сообщение Народного комиссариата Внутренних дел о закрытии для публики территории возле Славянской молочной фермы в г. Винница.

Постановили: Закрыть для публики земельный участок Славянской молочной фермы, принадлежащей Винницкому городскому совету, размером 27 гектаров 9151 кв. метр, и передать в распоряжение Наркомата внутренних дел.

На этом участке воспрещаются любые строения без специального разрешения Наркомата внутренних

дел... Стоимость жилых строений возместит Наркомат.

Председатель городского совета

Фурса

Секретарь

Слободянюк.

Нет, вы только посмотрите, как это, говорю, пронзительно-прозаично: “Слушали — постановили”. И 9151 квадратный метр! Не кругло 28 гектаров, не 9150, нет, — 9 тысяч и 151 квадратный метр, и даже стоимость жилых строений — конечно же, вон таковые отсюда! — возместит наркомат.

Слушали — постановили, в каком месте устроить территорию смерти. Но почему фруктовые сады? На снятых в 1943 году фотографиях видно, что это были богатые, роскошные яблоневые, грушевые сады... это в протоколе не отражено. Палачи тоже имеют рты, вкусовые ощущения, слюновыделение; упарившись с наполнением могил и вытерев кровь с рук о казенные штаны, срывали антоновку или белый налив, хрупали яблочко, не смущаясь тяжким кровавым, трупным духом в этих садах. И в столовую НКВД ящиками! И домой в кошелку набирали. Так, что ли? Иначе зачем сады? Мало было в Виннице другой бросовой земли, пустырей, чтобы огородить их с таким же успехом трехметровым забором?

Стоят у меня перед глазами эти сады. Яблони, яблоки... какие могли бы быть, кстати, кадры для советских киношников, этак в духе Довженко или Тарковского.

Но садов оказалось недостаточно, всех 27 гектаров и 9151 квадратного метра. Расширились на кладбище, затем на городской парк культуры и отдыха. Это был

старый, еще дореволюционный парк, и вот в нем, как перед войной это стало модно, устроили “культурный отдых” для трудящихся: аттракционы, качели, тир, летний театр, лекции и танцы, высокий забор вокруг всего парка культуры, за вход — рубль. Так вот, не прерывая культуры и отдыха, госбезопасность привозила грузовиками трупы убитых и зарывала их в парке в те часы, когда он был закрыт, — вот ведь в чем его удобство, — причем зарывали трупы прямо возле качелей. Заравнивали, утапывали. На другой день трудящиеся как ни в чем не бывало продолжали культурно отдыхать, ничего и не зная...

Мое детство проходило в Киеве аккуратно в те времена, и возле нас был устроен парк культуры и отдыха, мы бегали туда на эти самые качели и аттракционы, и вот я теперь думаю, где же зарывали свои жертвы киевские энкавэдисты... Московские и так далее? Где под землей эти массовые могилы, над которыми мы, наверное, не раз проходили? Ведь земля-то наша, советская, набита останками жертв. Они, массовые могилы-то, не только там, в вечной мерзлоте Севера и Сибири или казахстанских степях, они — в каждом городе, и городке, и поселке, может быть, под стадионом, может быть, в парке культуры и отдыха под качелями.

Винницкие свидетели, которых было много, очень много, указывали места, и начались раскопки. Но о самих раскопках стоит сказать подробно, я не хочу это комкать сейчас, а буду говорить в следующий раз, ровно через неделю, в это же время.

5 марта 1976 г.

Преступление в Виннице

Беседа 2

В прошлый раз я рассказывал, как могилы с останками жертв НКВД были открыты в Виннице, в роскошных фруктовых садах и в парке культуры и отдыха. Они были вырыты где только можно, среди деревьев и подчас в таких неожиданных местах, что если бы не указания свидетелей-очевидцев, их вряд ли бы нашли.

Могилы имели примерно три метра в длину каждая, два метра в ширину и три-четыре метра в глубину, то есть не слишком большие, но их были десятки. При раскопках лопаты сперва натыкались на слой одежды, потом уже, глубже, шли трупы. По-видимому, когда из камер забирали людей на расстрел, им не велели выходить с вещами, в камерах оставались их лохмотья, узелки; потом энкавэдисты все это собирали и бросали в ямы поверх трупов расстрелянных.

Слух о винницких раскопках разнесся по области и дальше. Отовсюду потянулись люди — родственники, жены арестованных — искать среди трупов своих близких. На месте раскопок происходили душераздирающие сцены. 450 трупов были на месте точно опознаны близкими, и комиссией было состав-

лено 450 протоколов такого опознания, которые похожи один на другой. Вот показания Александры Пруссак из села Верховцы:

Мой муж Иван Пруссак, рождения 1898 года, до 1937 года работал в верховецком колхозе. До 1929 года он имел около 6 гектаров земли и три коровы. В 1929 году свое имущество сдал в колхоз... 6 апреля 1937 года во время работы в поле его схватили милиционеры... Я никогда не узнала причины его ареста... получила справку, что муж сослан на 10 лет в Сибирь без права переписки... Сегодня на бывшей территории НКВД (в фруктовом саду) я узнала плащ мужа. Ошибки не может быть — я узнала его по заплатам, которые сама пришивала.

Вот показания Надежды Гончар из села Ступиевка:

В декабре 1937 года энкавэдисты сделали обыск в моей хате, искали оружие и документы о вредительстве. Ничего не найдя, они арестовали моего мужа... Через две недели после ареста я попросила моего отца узнать в тюрьме о судьбе мужа. Там отцу сообщили, что муж уже сослан на Новую Землю. Когда это случилось и где эта Новая Земля, отцу не сказали... До сих пор я думала, что мой муж отбывает десятилетнюю ссылку, пока сегодня на участке НКВД не нашла несколько вещей из одежды мужа, в том числе пиджак, который я узнала по заплатам, которые сама пришивала.

И так далее. По заплатам узнавали.

И всем, всем в НКВД давали справки (устно), что “такой-то сослан на 10 лет без права переписки”.

Вероятно, многие из тех, кто не обнаружил среди трупов своих близких, продолжали надеяться: мол, слава богу, что его здесь нет, значит, может быть, и в самом деле — на 10 лет, на эту самую какую-то Новую Землю, а где эта “новая земля”, что за “новая земля”?.. Подавляющее большинство расстрелянных были самые простые колхозники, рабочие, может, никогда в жизни и географии не учившие, они-то шли за международных шпионов, вредителей и “врагов народа”.

Для расследования немцы привезли международную комиссию, составленную из всемирно знаменитых медицинских специалистов, экспертов разных стран — Бельгии, Голландии, Италии, Франции, Швеции, Финляндии; и поскольку в данном случае не было ни малейших причин что-либо фальсифицировать, я полагаю, отчету этой комиссии можно верить. Предлагаю отрывок из этого отчета. Каждый может судить сам. Вот выдержки из отчета комиссии.

Все трупы имели следы выстрела в затылок или в заднюю часть шеи, что парализовало шейные позвонки или нарушало деятельность мозга. Почти во всех случаях отмечены две, часто три, а иногда и четыре раны. Это можно объяснить лишь тем, что во время расстрела употреблялись малокалиберные пистолеты и оловянные пули. Это огнестрельное оружие настолько слабо, что убить человека можно лишь несколькими выстрелами.

Весьма характерное явление: во всех случаях констатированы лишь входные отверстия... Некоторые пули, отскакивая от позвонка или от кости черепа, вырывали куски мяса, но не причиняли смерти. Примерно в 60 случаях отмечены, кроме ран от пуль в

затылок, еще и разбитые черепа. Иными словами, жертвы, не приконченные выстрелом, добивались тупым орудием...

У всех убитых — туго связанные за спиной руки. В одном случае у жертвы вместо руки был лишь обрубок, но и он был связан с другой рукой. Лишь три молодые женщины... были не связаны. В общую могилу их бросили целиком голыми. Также найдена одна женщина примерно 30 лет, также голая, но со связанными руками. Пожилые женщины были, как и мужчины, в одежде.

Думаю, хватит. Прерву чтение этого жуткого документа.

В прошлый раз я говорил, что, судя по некоторым деталям, энкавэдисты были абсолютно уверены, что их преступления никогда не будут в подробностях открыты. Возможно, в этом и не ошиблись энкавэдисты в других городах, но винницкие — ошиблись.

Вы, конечно, обратили внимание, как грубо, как примитивно они работали. Даже убить как следует-то не было чем, видимо, военная сталинская промышленность не поспевала за темпами террора, толковых револьверов не могла произвести в достаточном количестве. У столичных энкавэдистов, наверное, были получше, а винницким, провинциальным, швырнули какие-то малокалиберные с оловянными пулями, может, просто тренировочные, — и эти мясники сажали по две-три-четыре пули в голову несчастной жертвы, а потом еще били по черепу железяками, шкворнями какими-нибудь, чтобы прикончить. Ведь нелегкая работенка-то!.. А гляди сколько наработали — двенадцать тысяч в одной только Виннице, и это при общей численности населения в городе — сто тысяч перед войной.

Стреляли в гаражах при Винницком НКВД, потом кучи этих окровавленных, теплых трупов грузили на машины. А кто-нибудь, может, помнит, какие у нас были перед войной грузовые машины — так называемые полуторки да реже трехтонки. Когда потом в войну прибыли американские “студебеккеры”, так они казались просто танками, какими-то машинами из будущего по сравнению с игрушечными теми полуторками. Вот НКВД этими полуторочками возило да возило людское мясо в сады да парки, теряя по пути окровавленные калоши и оставляя на булыжниках мостовой цепочки капелек крови, стекавшей из щелей кузовов. Дежурный энкавэдист выходил в ведре песка (я зачитывал в прошлый раз показание свидетеля об этом) и следы крови аккуратно засыпал.

Послушайте, да было ли это, или, может быть, это всего лишь из какой-то сюрреалистической, неприятной повести слишком уж расфантазировавшегося автора? Так нет же, никакому автору такое не придумать, пожалуй, ну вот чтобы всемогущее НКВД элементарных пистолетов для расстрела не имело и так мучилось, убивая какими-то тренировочными малокалиберными! Это же не придумать никакой фантазии. А гляди, в сталинско-советской действительности и получилось...

Винницкое расследование, к сожалению, по сей день остается единственным, по всей форме проведенным расследованием массовых убийств советских людей советской госбезопасностью. В невскрытых, необследованных, забытых массовых могилах, которыми, как оспой, усеяна земля советская, лежит неизвестное, но, конечно, чудовищное число жертв. Эти могилы ведь не только в Сибири, или Казахстане, или во льдах Новой Земли, но они буквально в каждом городе и в

поселках, в полях и лесах или, как в Виннице, в фруктовых роскошных садах и в парках культуры и отдыха под аттракционами. Земля наша *набита* останками этих жертв, люди, может быть, ходят над ними, живут в домах над ними и не подозревают. Относительно героев и жертв войны в Советском Союзе родилось выражение “Никто не забыт, ничто не забыто”. Хорошие слова. Смысл выражения, однако, надо бы расширить. Оно подходит ко всем шести десятилетиям после Октябрьской революции: никто не должен быть забыт, ничто не должно быть забыто.

12 марта 1976 г.

Сто десять миллионов

Где-то в начале 60-х годов журнал “Юность” взял к печати у меня рассказ под названием “Женщина”. Героиня этого рассказа, старая учительница, потеряла мужа в войну, вспоминает его и думает примерно так: “Погиб он, один-единственный человек, — и какое горе, но какое же тогда горе, какой ужас, если подумать, что в войну погибло столько-то миллионов. Миллионов!”

На месте цифры у меня в рукописи были проставлены точки, я намеревался перед сдачей в печать найти и вставить точную цифру, причем наивно полагал, что это просто: безусловно, в каких-то печатных материалах она есть. Но когда я принялся искать, я пораженно увидел, что число граждан СССР, погибших в войну, не указано нигде. Перерыл массу материалов — нет. Тогда стал писать и звонить в разные учреждения, инстанции — от Статистического управления до Института истории, — но нигде никто не мог сказать, сколько же людей у нас унесла война. В некоторых местах вместо ответа спрашивали: “А вам зачем это нужно знать?” — да таким металлическим голосом, словно я спрашивал о числе и расположении ракетных установок.

И рассказ был напечатан без цифры, со словом просто “много”. Спустя года два Хрущев объявил цифру; дословно он сказал о войне: “...унесла два десятка миллионов жизней советских людей”. Помню, что я засомневался, я считал — значительно больше. Первым, однако, объявлял некую цифру не кто иной, как Сталин. Он в свое время назвал семь миллионов. Но после его смерти это сразу перестали повторять, как совсем уж наглуго — и, я думаю, кощунственную — ложь. Но и двадцать миллионов Хрущева — тоже ложь. Подлинная цифра остается неизвестной, хотя она, конечно, есть, уж там где-то для себя советские руководители ее имели и имеют, но не называют, а держат под сверхсекретными грифами, видимо, потому, что она слишком уж жуткая. Пока можно вывести ее приблизительно лишь косвенным путем. Есть косвенный путь — и довольно надежный: зная, сколько населения было до войны, сколько после, и учтя процент естественного прироста, можно получить разницу между тем, сколько людей должно было бы быть (если бы не война), и тем, сколько их есть на самом деле. Эта разница и будет числом погибших.

Исходя из этого метода, профессор Курганов, живущий на Западе, пришел к заключению, что военные потери СССР во Второй мировой войне составили 44 миллиона человек. К началу войны население СССР составляло 197,1 миллиона человек. Естественный прирост в 1941–1945 годах должен был увеличить население на 15,4 миллиона. Итого в 1946 году, если бы не война, в СССР было бы 212 с половиной миллионов. На самом же деле в 1946 году оказалось 168 с половиной миллионов. Разница — 44 миллиона — потери в связи с войной. Сорок четыре миллиона.

Профессор Курганов сделал другие подсчеты, они изложены в его работах, издающихся на Западе; но при всей научной сухости и бесстрастности они настолько сногсшибательны, вопиющи, что далеко не у всех и не сразу укладываются в голове. Первая мысль: “Нет, не может быть, он преувеличивает”, — но следишь внимательно за выкладками — и не находишь ошибки или какой-нибудь подтасовки. Все так. А все же — страшно поверить.

В выступлении по британскому радио недавно Солженицын обращал внимание слушателей на подсчеты Курганова, сравнивая их с предвидением Достоевского. Я нашел место у Достоевского, в романе “Бесы”, часть 2, глава 7, называемая “У наших”, вы тоже можете найти и прочесть следующее:

Нам вот предлагают, чрез разные подкидные листки иностранной фактуры, сомкнуться и завести кучки с единственною целью всеобщего разрушения, под тем предлогом, что как мир ни лечи, все не вылечишь, а срезав радикально сто миллионов голов и тем облегчив себя, можно вернее перескочить через канавку.

Действительно, легко, легко революционные преобразователи мира бросаются людскими головами: нельзя же мир вылечить без хирургического вмешательства, разрушить! срезать радикально сто миллионов голов! и тогда, значит, наступит справедливое сияющее будущее. Но откуда взялась у Достоевского эта поистине апокалипсическая цифра в сто миллионов голов? Просто так, первое, что к слову пришлось? Да нет, не думаю... Он глубоко понимал сущность грозящей катастрофы, много думал, прикидывал и эти “сто миллио-

нов” написал либо совершенно трезво-обдуманно, серьезно, либо, если (как это у настоящего писателя часто бывает) оно как бы “само собой написалось”, это был голос интуиции художника, а это еще серьезнее. Интуиция художника может открывать или предугадывать такие вещи, которые наука, скажем, лишь через сотню лет по всем правилам откроет, докажет. Я верю, что Достоевскому количество жертв, которое потребует грозящая катастрофа, рисовалось именно стомиллионным числом, так у него вывело перо, потому что ему подсказывало НЕЧТО, что один назовет точным расчетом, другой — интуицией, третий — пророчеством, кто-то — случайностью, а кто-то скажет — Бог ему открыл...

Так вот по британскому радио Солженицын среди прочего вспомнил о числе Достоевского. Я лучше процитирую Солженицына:

...Достоевский предсказывал, что социализм обойдется России в 100 миллионов жертв. Цифра казалась невероятной. Я очень рекомендую английской печати сделать для английского читателя доступным трёхстраничный бесстрастный подсчёт русского профессора статистики Ивана Курганова... Из этого подсчёта мы узнаём, что Достоевский если ошибся, то в *меньшую* сторону. Социализм обошёлся нынешнему Советскому Союзу с 1917 по 1959 — в 110 миллионов человек!

СТО ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК. Погибших. Так или иначе принесенных в жертву, чтобы в нашей стране было сооружено то, что есть. СССР — страна победившего социализма, но так ли? Срезали-таки более

ста миллионов голов, чтобы перескочить “через канавку”. Перескочили, но где же сияющие вершины?.. Но это другая тема, вернемся к сухой статистике профессора Ивана Курганова.

Он собрал и скрупулезнейшим образом исследовал все, что можно: официальные данные советских переписей, сведения, где-то неосторожно оглашенные, проскочившие, иногда ничего не значащие для непосвященного, а статистику дающие ключ; наконец, косвенные сведения и метод, опирающийся на проценты прироста. Основные исходные цифры взяты профессором Кургановым из совершенно точных данных переписей.

В 1917 году численность населения России была 143 с половиной миллиона человек. Учитывая механический прирост населения вследствие присоединения накануне войны прибалтийских, польской, румынской территорий и пользуясь процентами естественного прироста населения, который увеличивается из десятилетия в десятилетие в нашей стране, профессор Курганов вывел теоретическую величину — 319,5 миллиона человек к 1959 году. Если бы ничего катастрофического не происходило, если бы в стране была мирная и нормальная жизнь, то ее население, будучи в количестве 143,5 миллиона в 1917 году, выросло бы до 319,5 миллиона в 1959 году.

Всесоюзная перепись 1959 года дала число: 208,8 миллиона человек. Разница между тем, что могло бы быть и должно бы быть — и тем, что показала перепись в действительности, — 110, 7 миллиона. Их нет. Их не хватает. Ста десяти миллионов живых людей. То есть такого количества жителей, сколько во всей России было в конце прошлого века. Целой страны не хватает. Где

она? Ушла — на коммунистический эксперимент, на революцию, на все, что революция за собой повлекла.

Сюда входят: потери в Гражданской войне, в годы военного коммунизма — годы разрухи и голода; потери в годы насильственной коллективизации и вызванного ею голода; сюда входят миллионы жертв террора, погибавшие в тюрьмах, концлагерях и при Ленине, и при Сталине, и дальше. И наконец, 44 миллиона жертв войны, в которую страна включилась не только по чужой вине, но и в результате безумной, я бы сказал даже прямее: бандитской политики времен сталинского правления. Да, да: органической агрессивности коммунизма как такового. Вспомним: по мысли самих его создателей, он недостижим без вселенского пожара, резни, боя... Конечно, бессмысленное занятие гадать: воевала бы или нет Россия в 1941–1945 годах, пойдя она по иному пути, не случись революции? Факт, однако, тот, что на *настоящем* пути — да, война оказалась неизбежной и унесла свои 44 миллиона.

Итак, значит, всего сто десять миллионов жизней. Это цена социализма в СССР. Будем ее помнить.

23 апреля 1976 г.

Сучок и бревно

Известное выражение из Евангелия о сучке в чужом глазу и бревне в своем вспоминается мне слишком часто, когда я читаю советскую печать — в той ее части, где она обрушивается на зарубежный мир, находя в нем столько пороков, безобразий и ужаса, что вообще непонятно, как в таком случае он еще существует. Этот примитивный прием: кричите и кричите во всю ивановскую о сучках и пылинках в чужом глазу, о своих же бревнах ни гу-гу, — этот примитивный прием, изобретенный первобытными людьми, по-видимому, куда раньше, чем было изобретено колесо, дожил до наших дней в своей кристальной первозданности, не то что колесо, которое усовершенствовалось в масштабах немыслимых, развилось в миллионы вариантов. Но иные приемы того, что принято называть пропагандой, так и остаются в том самом абсолютном виде, в каком они были где-то на переходе, что ли, от каменного века к раннему неолиту. Живучесть этих окаменелостей сама по себе поразительна, и, конечно, не только поразительна, но и тревожна.

Как же это так получается? Сложнейшие аппараты, созданные гением — действительно гением — цивили-

зованного человека, исследуют глубины атома и глубины космоса. Фантастические летательные машины переносят человека в несколько часов из одного полушария в другое. И вот эта машина совершает блистательную посадку, открывается дверь, человек выходит, открывает рот и вдруг изрекает чушь, которая, может, в раннем варварстве еще могла приниматься всерьез, но уже в первом тысячелетии до нашей эры, как свидетельствует, скажем, Библия, была высмеяна, ясно раскрыта во всей ее примитивнейшей механике. Нет, этот человек изрекает ее, словно он только что родился, словно не было никаких историй, Библий, философий, литератур и вообще цивилизации.

Ну, скажем, открывает он рот и говорит: “Во всех несчастьях виноваты евреи”. Или говорит: “Только наша вера правильная, потому что она правильная”. Или говорит: “Все, что мы делаем, все без исключения, хорошо; все, что вы делаете, все без исключения, плохо; потому мы вас уничтожим”. Или говорит: “Вас мало, нас много, вы слабые, мы сильные, потому что захотим, то с вами сделаем”. Примеров такой современной дикарской мысли можно приводить бесконечное множество, и все это говорится, говорится каждый божий день, разве лишь иногда одни прямые слова подменяются другими, непрямыми, но внешне более приличными или даже наукообразными, от чего, однако, смысл не меняется ни капли, оставаясь тем же первобытным.

Так, вместо “во всех несчастьях виноваты евреи” можно сказать “бедственные последствия заговора международного сионизма”. “Только наша вера правильная” — это обычно выражается формулой “наше всепобеждающее учение”. “Вы слабые, мы сильные, что захотим, то и сделаем” — это недавно стало очень модно выражать слова-

ми “доктрина ограниченного суверенитета”... И так далее. Но я, собственно, начал с выражения о сучке в чулке — возмущаюсь к нему.

Только что в Лондоне вышла книга “Социалистическая оппозиция в Чехословакии. Подборка документов”. Перевод на русский язык. Книг о событиях в Чехословакии на Западе вышло очень много. И все же эту, еще одну, новую книжку я читал с большим интересом. В этой беседе я скажу лишь об одном документе, опубликованном в ней под номером 12. Он называется “Чили и мы”.

Это статья, помещенная в самиздатовском чехословацком органе “Народни новины” в конце 1973 года, когда после падения правительства Альенде в Чили вся коммунистическая печать была переполнена возмущением и описаниями различных ужасов черной реакции в Чили.

Сочувствуя Альенде и отнюдь не радуясь перевороту в Чили, “Народни новины”, однако, очень своеобразно взглянули на Чили через призму Чехословакии — и вдруг нашли ряд аналогий. Постойте, спрашивают “Народни новины”, чем возмущается коммунистическая печать, в частности и чехословацкая, “нормализованная” после 1968 года? Конкретно: что при перевороте в 1973 году в Чили были распущены местные советы? Но в 1968 году, говорят “Народни новины”, у нас точно так же были распущены Советы трудящихся. Читаю далее по тексту статьи:

— хунта запретила изучение марксизма в институтах (а у нас после августа просто были ликвидированы кафедры марксизма-ленинизма!);

— не существует свободы собраний, организаций и свободы письменного или устного выступления (а попробуйте у нас, например, собрать беспартийных

активистов! Или созвать демонстрацию на какой-нибудь небольшой пражской площади; или напишите свободно то, что думаете, в свою газету! Даже сама мысль об этом в сегодняшней Чехословакии смешна. А в Советском Союзе за такие требования сажают в сумасшедший дом).

Прерываю цитирование. Вот именно. Для человека из Советского Союза все эти “а у нас” возникают абсолютно так же, даже с куда большей силой. В Чили, видите ли, делается то-то и то-то. А у нас... Кому бы это возмущаться — и чем? Читаю дальше:

— в Чили нарушение неприкосновенности жилища стало нормой (но во сколько чешских домов без ордера врываются агенты Госбезопасности, во скольких наших квартирах вмонтированы подслушивающие устройства...)...

Далее:

— в Чили, как во времена Гитлера, сжигают книги, неугодные хунте, и книги авторов, не одобренных хунтой (у нас публично книги не сжигают, но если у вас есть знакомый в какой-нибудь публичной библиотеке, попросите его показать вам список книг, которые в последнее время были изъяты и ликвидированы...)...

Здесь я от себя добавлю замечание. “В последнее время”, — пишут “Народни новины”. Почему же только “в последнее время”? Всегда. В странах социализма с Советским Союзом во главе неугодные книги уничтожаются непрерывно, всегда. Краткий период “Пражской весны”,

когда книги, кажется, действительно не уничтожались в Чехословакии, выглядит на этом фоне лишь эпизодом.

Но дальше. Коммунистическая печать возмущена, что “тысячи (заметьте цифру: тысячи) чилийцев — от простых людей до известных деятелей — были выброшены из научных учреждений за единственное (в кавычках) “преступление” — что они служили прогрессивным идеям или симпатизировали им”. “Народни новины” замечают: “По этой части хунта просто халтурит: в Чехословакии за то же самое были изгнаны со своих мест сотни тысяч людей — от заслуженных артистов и лауреатов, от академиков и профессоров до журналистов и студентов, до простых рабочих”.

Далее: “Новые правители установили полный контроль над телевидением и радио”. Представляете, какой ужас в Чили! Правители учредили полный контроль над телевидением и радио! То ли дело мир социализма с Советским Союзом во главе, не правда ли?

Следующий ужас Чили коммунисты видят в том, что там была “запрещена левая печать”. На это “Народни новины” как бы уже устало замечают: “Длинным был бы список журналов, которые во время Гусака были запрещены”.

Далее: в Чили уничтожаются права профсоюзов. “Пожалуй, — замечают “Народни новины”, — стоило бы попросить Карла Хофмана, этого (в кавычках) “выдающегося представителя рабочего класса”, который никогда ни на каком заводе не работал, чтобы он где-нибудь перечислил права наших членов профсоюза...”

Ну довольно, пожалуй. Выразительный пример, один из бесконечного, бесконечного ряда, как коммунисты кричат на весь мир о сучке в чужом глазу. Это как в Советском Союзе печать настолько уши людям

протрубила о понижении жизненного уровня в странах капитала, о безработице и так далее, что, наверное, кто-то и в самом деле верит, что речь идет о подлинной нищете и действительно ужасной безработице, хотя речь идет о легком понижении того высочайшего уровня, которого большинство людей в СССР еще и во сне не видели, и о такой “безработице”, когда, не работая, человек, как у нас говорится, “на стройку вкалывать идти не хочет”. И он, не работая, получает пособие по безработице, по своим размерами превышающее среднюю зарплату в СССР того, кто еще как работает и вкалывает. А в СССР таких безработных ведь нет. Потому что они, по закону, называются “тунеядцами” и просто подлежат наказанию. Так что, когда советская печать кричит о безработице на Западе, тут уже, знаете, не бревно в своем глазу, а бревнище! Ничего. Без тени стыда кричат о чужих сучках — и, что самое печальное, ведь не без успеха, кто-то верит...

О сучке и бревне сказано в Библии, в Новом Завете, в Евангелии от Матфея. Я процитирую это, пять стихов начала главы 7-й:

Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить.

И что ты смотришь на сучок в глазу брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь?

Или, как скажешь брату твоему: “дай, я выну сучок из глаза твоего”; а вот, в твоём глазе бревно?

Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, *как* вынуть сучок из глаза брата твоего.

25 июня 1976 г.

Могила Карла Маркса

Беседа 1

Я живу в Лондоне, в его северной части, в небольшом, очень удобном доме, который я купил в 1971 году. Рассматривая тогда карту Лондона, вернее, ту ее часть, где я поселился, я обнаружил, что, оказывается, живу совсем недалеко от разных мест, о которых знал до сих пор лишь из литературы, в частности что всего лишь в каких-то считанных минутах ходьбы от моего дома находится Хайгейтское кладбище, знаменитое Хайгейтское кладбище, где могила Карла Маркса.

А ведь это было место номер один, которое я должен был посетить, когда уезжал из Москвы в Лондон летом 1969 года якобы в краткую командировку для сбора материалов о Ленине, о Втором съезде РСДРП, который, как известно, закончился в Лондоне расколом на большевиков и меньшевиков и который, собственно, и считается положившим начало ленинской большевистской партии. Первый съезд РСДРП был скорее символическим, а своей подлинной датой рождения Коммунистическая партия Советского Союза считает Второй съезд. Он начинал свою работу в Брюсселе, но там произошли какие-то неприятности с бельгийской полицией,

делегаты переехали в Лондон, где и произошло отделение большевиков как бы в отдельную партию.

Редакцию журнала “Юность”, ответственных товарищей из Союза писателей и из отдела культуры ЦК партии убедила моя заявка, что я к столетию со дня рождения Ленина решил написать роман о событиях на Втором съезде РСДРП, то есть о рождении партии. Но для этого я, конечно, должен побывать на месте событий, в помещении, где был съезд, в квартирах, где жил Ленин, походить по улицам, где он ходил, вообще собрать в Лондоне массу документального материала. Это выглядело убедительно, вопрос о поездке в Лондон встал реально. Мне велели конкретизировать и расписать все в виде точного плана: пункты, которые будут посещены, имена и должности людей в Лондоне, с которыми намечается контакт, продолжительность в часах каждого намечаемого контакта, каждого посещения.

Мы же живем в плановом обществе. Все планируется. В том числе и любая поездка любого гражданина за границу расписывается наперед во всех деталях, и потом все это выполняется.

До поездки в Лондон я восемь лет безуспешно пытался получить позволение поехать за границу, и неизменный отказ преследовал меня на разных этапах. То сразу откажут, объяснив, что план поездок, вплоть до туристических, заполнен и переполнен на годы вперед. То вдруг, несмотря на такое переполнение, Иностранная комиссия Союза писателей обнаруживала, что некому, абсолютно некому ехать в какой-то делегации, и начинали срочно, панически обзванивать известных писателей, прося, умоляя поехать в составе делегации. То есть желающих есть всегда тьма, но *допущенных, проверенных* не так много, и вот их-то обзванивают. Для непроверенных

и сомнительных — всегда “нет мест” и “план заполнен на годы вперед”. А проверенных упрашивают и даже обязывают, потому что иначе нечем укомплектовать делегацию и план зарубежных контактов срывается. Так ведь это в парадоксальной прозе официальной советской жизни делается.

Я был известным писателем, автором популярной повести “Продолжение легенды”, романа-документа “Бабий Яр”, у меня дома накопилась целая библиотека переводов моих книг, присланных издательствами разных зарубежных стран. Но где-то в потаенных сейфах спецотдела Союза писателей СССР мое досье находилось не в отделе “проверенных и надежных”, а, видимо, в отделе “сомнительных”. Так я заключил по тому, что иногда мне сообщали вдруг, что, может быть, я поеду в составе какой-то делегации, — и начинался первый этап великого марафона оформления: анкеты, справки, характеристики, фотографии. Ведь одних фотографий для зарубежной поездки вы представляете двенадцать штук! Хотя в заграничном паспорте будет приклеена одна. Где остальные одиннадцать — понимай и не забывай. Потом на каком-то этапе очередной занимающийся мной товарищ из Иностранной комиссии, озабоченно и пряча глаза говорил, что, ах, к сожалению, на этот раз нет, оказывается, план по зарубежным контактам уже заполнен и переполнен на годы вперед. Я угрюмо кивал головой и убирался восвояси.

Два раза вполне реальная надежда брезжила передо мной до самого последнего этапа марафона. Меня лично, персонально пригласило издательство, выпускавшее мои книги в переводах во Франции, а затем такое же приглашение поступило от издательства в Америке. Издательства брали на себя полностью все расходы по поездкам, а это чрезвычайно весомое обстоятельство.

Я еще не упомянул, что ведь самым первым аргументом официального отказа советскому гражданину в зарубежной поездке является досадная необходимость экономить валюту. Вот, оказывается, почему мы не можем свободно ездить по свету, как люди других стран: валюту надо экономить. Вот вы подадите наивное заявление: пустите меня туристом-одиночкой в путешествие на остров Пасхи в Тихом океане, я много лет копил деньги на это путешествие, так что все расходы, конечно, будут только мои. Какой ответ вы получите?

Думаете, вам скажут, что границы закрыты и гражданам запрещено свободно путешествовать по политическим соображениям? Нет, этого никогда никто не скажет вслух, что вы. Но мотивировка, что план по контактам заполнен на годы вперед, тоже не подходит. Вы не по контактам, вы просто сами по себе, поглядеть свет. Что, все туристические путевки распределены? Нет, вы просите не путевку, вы не стремитесь в группу, вы сами по себе. Пугать вас? Мол, без группы вас подстерегают ужасные опасности, провокации. “Нет, — ответите вы. — Я отмету все провокации, я крепок как гранит”. Да нет, во избежание всяких таких смешных разговоров вам просто выложат сразу *неотразимый* аргумент: “Расходы, говорите, за ваш счет? А какими деньгами? Советскими? Так для заграничной поездки вам же нужен обмен на валюту? А вы знаете, как стране нужна валюта для народного хозяйства, для экономического развития, пятилеток, семилеток и так далее? Вы что, с ума сошли, разбазаривать валюту на какие-то прихоти — острова Пасхи ему захотелось! Нет, валюты не дадим”.

Вот почему, оказывается, советский человек не может взять да и поехать за границу на свои же собственные деньги: валюта — дефицитна.

Почему этой проблемы нет в других странах, почему в нашей же стране ДО революции этой проблемы не было — этого никто никогда не поймет, факт только тот, что если мы едем за границу, то мы уж такие виноватые, мы драгоценнейшую валюту переводим, наносим ущерб социалистической экономике, отдаляем час построения коммунизма. Нет, за границу нужно проситься лишь по очень серьезному ДЕЛУ, польза от которого для страны будет выше, чем вред от потери драгоценной валюты, выданной вам в обмен на ваши же, тяжело заработанные, но, видно, ничего не стоящие советские деньги.

Так вот, в случае с теми приглашениями из-за рубежа, когда мне уже и валюты на поездку не надо было, ибо все оплачивали иностранные издательства, этот аргумент отпадал. Я дважды серьезно готовился поехать, заполнив все анкеты, собрав все характеристики и пройдя все комиссии до самого конца. И составив, конечно, планы. То есть не я составлял, а просто сидел с работниками Иностранной комиссии Союза писателей, и они сами мучительно изобретали: “Так, на второй день по прибытии в Америку — посещение. Кого? Кто там поклонник СССР? Писательница Лилиан Хеллман. Пишем: утром посещение Лилиан Хеллман. Вечером кого? Пишем: ужин с советологом Гаррисоном Солсбери”. Я слышал тогда эти имена впервые. Мне эти люди были не нужны, как, полагаю, и я им. Я просто хотел увидеть Америку. Приеду в пригласившее меня издательство, познакомимся, поговорим, тогда ясно будет, что мне делать. Нет. План должен быть составлен в Москве заранее.

Когда позже я все-таки поехал — не в Америку, а в Англию и остался там, мне действительно довелось встретиться с известным американским журналистом Гаррисоном Солсбери, знатоком советской действитель-

ности, но отнюдь не поклонником ее, и я спросил у него, знал ли он, что такого-то числа такого-то года он *должен* был есть ужин с приехавшим из Москвы мною лично, *должен* был, потому что так решили составители плана в Москве? Он первый раз услышал об этом, и это его здорово позабавило. Тем не менее по своему и по чужому опыту знаю, что эти планы поездок советских граждан за границу — отнюдь не фикция, в очень большой степени они действительно выполняются. Гаррисону Солсбери не пришлось скрепя сердце вежливо соглашаться на оный ужин лишь потому, что меня в последний момент все равно за границу не пустили. Сказали: хоть валюта вам и не нужна, но цель поездки какая-то туманная: по приглашению издательства. Ну и что? Где здесь польза советскому государству? Советской литературе?

Поэтому когда я предпринимал следующую попытку выехать за границу, я обдумал и изложил в заявлении массу причин, почему именно для ПОЛЬЗЫ и советского государства, и советской литературы меня следует пустить — в Англию на этот раз. Для задуманного романа о Ленине, о Втором съезде, о рождении партии большевиков — я должен побывать на местах событий, в частности на могиле Карла Маркса, куда после съезда отправились большевики с Лениным во главе и где, стоя с обнаженными головами, они спели “Интернационал”. Как можно написать об этом, не увидев своими глазами могилы Маркса и не вообразив все как следует, не правда ли? Это даже самый последний кагэбист понимает: что писателю нужно все-таки что-то повидать. И решили, кажется, меня пустить. О том, что было дальше, я расскажу в следующей беседе.

23 июля 1976 г.

Могила Карла Маркса

Беседа 2

Моя мотивировка была принята писательскими и партийными инстанциями очень серьезно, потому что тогда, в 1969 году, полным ходом шла подготовка к столетию со дня рождения Ленина. Поездка в Англию, в Лондон, казалась вполне реальной. Но требовалось составить подробный ее план. Как составляются планы, я рассказывал в прошлый раз. Но работники Иностранной комиссии на этот раз не могли сочинить плана, потому что только сам писатель мог знать, какие именно места в Лондоне он должен осмотреть. От меня требовалось представить такой список.

Я думал, что это будет очень простым делом. Но потом был такой момент, когда я испугался, что вся поездка может сорваться из-за слабого плана. Я-то все время писал и объяснял, что должен побывать прямо там, где происходил Второй съезд, в том самом зале, побывать в домах, где жил Ленин, и тому подобное. А то, что они существуют, я не сомневался, только нужно отыскать в разных источниках. Конечно, не в “Истории КПСС” — там лишь все о резолюциях и борьбе между Лениным и Мартовым. Я листал и листал разные офи-

циальные советские книги по истории партии — и со все большей тревогой убеждался, что они на разные лады лишь повторяют то, что сказано в “Истории КПСС”, — и никаких живых подробностей. Вот был съезд в Лондоне, вот боролись Ленин и Мартов, вот разделились на большевиков и меньшевиков, и это все.

Я конечно же отправился в Центральный музей Ленина в Москве, в залы, посвященные Второму съезду, то есть рождению партии большевиков. Среди выставленных документов не было никаких намеков на то, где и как заседал съезд, кроме того же самого, что в учебнике “История КПСС”, то есть: съезд начался в Брюсселе, но после вмешательства полиции делегаты переехали в Лондон, там произошло разделение на большевиков и меньшевиков.

Непонятно с этим вмешательством полиции: почему она вмешивалась, по каким мотивам? Политическим? Это в Бельгии-то, демократической стране, собрались люди, какая-то партия из далекой России, разрабатывают устав — и вдруг полиция вмешивается, да настолько, что все моментально бегут в Англию. Честно говоря, мне этот момент до сих пор неясен. Может, полиция вмешивалась по мотивам уголовным? Нам в Советском Союзе этот вопрос может прийти в голову, только если здорово подумать. Когда на лекции по истории партии и в учебнике нам говорится, что вот собрались политические оппозиционеры и тут нагрянула полиция, то мы это понимаем. Без знания иной действительности, иных условий, законов и блюстителей порядка, кроме советских, сам вопрос — а чего это они нагрянули? — у нас не возникает. Пусть попробует кто-нибудь организовать этакий “Второй съезд РСДРП” сегодня в Советском Союзе! Органы так на-

грянут, что и бежать не придется. Однако по сравнению с сегодняшним СССР Бельгия начала века была все же чем-то иным?

Но прошу прощения за это отступление о полиции. Я пошел в Музей Ленина, чтобы узнать, где конкретно в Лондоне происходил Второй съезд РСДРП, чтобы указать это место в моем плане посещения Лондона. В выставленных документах ничего не нашел. Но я с торжеством увидел на стене большую картину, писанную маслом, с довольно сильной динамикой, по тому же примерно принципу, что “Ленин провозглашает советскую власть”: масса делегатов, энергичный одухотворенный Ленин обличает хмурого злодея Мартова и все это происходит в каком-то старинном большом помещении под сводами. Церковь, что ли? Или замок? Подпись под картиной не оставляла сомнений: “Ленин на Втором съезде РСДРП”. Сейчас не помню фамилии художника, но тогда я ее, конечно, записал, решив немедленно его отыскать, спросить, откуда он взял эти детали, этот зал в церкви или замке. Может быть, подумал я, он уже был в Лондоне и делал там этюды прямо с натуры.

Я двинулся искать кого-нибудь из работников музея, чтобы узнать, как снестись с художником, прошел в соседний зал — и остановился как вкопанный. В соседнем зале прямо передо мной на стене висела другая картина: за столом с чашками чая, в тесной темной квартирке поздним вечером сидит небольшая группа людей, довольно, впрочем, возбужденных, и энергичный, одухотворенный Ленин обличает хмурого злодея Мартова, а подпись под картиной не оставляла сомнений: “Второй съезд РСДРП”.

Походив от одной картины к другой, от этой массовой бурной сцены в церкви до камерной маленькой

группы спорщиков за чашкой чая в чьей-то квартирке, — я обратился за разъяснениями к экскурсоводам, но они ничего не знали. Провели к заведующему отделом. Ученый муж этот, тучный, ленивый мужчина, весьма удивился, когда я спросил, почему две картины изображают Второй съезд РСДРП так по-разному. Он сказал, что из всех посетителей, прошедших через музей, я первый заметил это противоречие. Что он сам не замечал. Но тут его осенило, и он высказал гениальную догадку: “Так съезд же был сперва в Брюсселе, а после вмешательства полиции переехал в Лондон! На одной картине — съезд в Брюсселе, а на другой — в Лондоне!” Я спросил: “Но на какой конкретно в Брюсселе, а на какой в Лондоне?” Он не знал. Я спросил, не писали ли художники, или по крайней мере один из них, интерьеры своих картин с натуры, — он засмеялся: “Да кто же будет посылать художника в Лондон за этим? Тем более что никто понятия не имеет, где конкретно происходил съезд. Мы запрашивали английских товарищей, им не удалось найти никаких следов”. А картины художников — это, так сказать, их собственная художественная интерпретация.

Вот тут я и испугался. Как же мне доказать обязательную необходимость побывать в Лондоне, если даже самим “английским товарищам” не удалось отыскать и следов того места, где случилось рождение партии Ленина, партии большевиков?! Зачем же тогда мне ехать в Лондон-то?

Но отступать уже нельзя было: я перед этим так уверенно доказывал необходимость побывать в Лондоне и *осмотреть* все, связанное со Вторым съездом, что каждый из тех, кому я доказывал, не имел ни малейшего сомнения, что я знаю, о чем говорю. Я же *ничего* не

знал, кроме того, что есть в учебнике по истории партии, — как и они, впрочем, тоже ничего не знают больше. Ведь мы же, хотя и учим историю КПСС всю жизнь, знаем в конце этого учения не больше, чем в начале. Все, от безусого комсомольца до министра образования. Так что, когда я, сам понятия не имея, что можно написать в форме романа о Втором съезде (и вообще, возможно ли это?), нагло заявлял, что вот-де я решил писать роман, — все начальники важно кивали головами и говорили: “Да, да, прекрасная мысль!” — и не вдавались в подробности, чтобы в беседе не показать свое полное невежество и неведение.

На это я решил сделать расчет после катастрофического визита в Музей Ленина. Ну и что же, что мест, связанных со Вторым съездом, не осталось в природе? Хм, вообще-то это странно. Так можно подумать: а был ли в природе, мол, и сам съезд или, во всяком случае, был ли он таким, как нам его описывают. Или и это, как у тех живописцев, художественная интерпретация? Но в данном случае меня это не трогало. Мне, главное, нужно было разрешение на поездку в Лондон. Я написал одно из самых филигранных произведений пера в моей жизни: план, что я в Лондоне буду посещать. Из него можно было вынести впечатление, что едва ли не самое главное в Лондоне — это места, связанные с историческим съездом РСДРП, что я буду посещать их с утра до вечера, но вместе с тем и нигде, ни полслова нельзя было найти, существуют ли они вообще. Вы знаете, я был почти уверен, что никто не станет уточнять — именно чтобы не открыть свое невежество. И никто не уточнил.

Все неясности, однако, очень помогла zapятать одна совершенно точная, конкретная ясность: посещение могилы Карла Маркса на Хайгейтском кладбище.

Единственная жизненная деталь, оставшаяся от Второго съезда РСДРП, кроме бумажных резолюций и перепалок, — это то, что после съезда большевики во главе с Лениным отправились на могилу Карла Маркса и спели там “Интернационал”. “История КПСС” умалчивает, ходили ли туда и меньшевики, пели ли и они что-нибудь. Но для меня, чтобы уехать в Лондон, и это было не важно. Главное, что каждый раз, объясняя очередному ответственному лицу план поездки, я, отозвавшись в общих чертах о необходимости для меня посетить места, связанные со съездом, точно переходил к могиле Маркса: “Ну вот, к примеру, хотя бы такое место: Ленин и большевики поют на могиле Маркса “Интернационал”. Ведь я должен посмотреть это место, чтобы написать реалистически? Есть ли там деревья и какие? Как могила выглядит? Поют ли птицы? Или слышны промышленные шумы?” Ответственное лицо с важным видом кивало, показывая, что оно, да, понимает все сложности создания литературно-художественного произведения, и соглашалось, что да, без поездки в Лондон и промышленных шумов хорошего романа о Ленине не получится.

Ох, выручила меня эта могила Карла Маркса. Разрешение я наконец получил. Что было дальше, я расскажу в следующий раз.

30 июля 1976 г.

Могила Карла Маркса

Беседа 3

Приехав в Лондон, я меньше всего, конечно, стремился в места, связанные со Вторым съездом РСДРП. Я больше был озабочен, как уйти от неусыпного моего стража (а он первые дни не отпускал меня ни на шаг), как и куда обратиться за разрешением остаться в Англии. И я остался — и что-то писал, у меня брали интервью. Потом была масса работы с переснятыми на пленку моими рукописями, все это я отпечатывал при очень сильном увеличении на фотобумагу. Перед отъездом из СССР я на каждый кадр обычной “фэдовской” пленки ухитрялся снимать по шесть машинописных листов — это чтоб пленки занимали как можно меньше места, и вот на некоторых кадрах резкость оказалась недостаточной, и я в Лондоне потерял много времени на расшифровку.

Потом готовил к изданию полный текст романа-документа “Бабий Яр”, привезенный на пленке. Да проверка переводов. Да простое, элементарное устройство в жизни. В общем, занят был по уши. Еще автошколу прошел, сдал на водительские права, купил автомобиль. В 1971 году купил дом, опять же — устройство. И где-то очень далеко, как во сне, остались и тот Вто-

рой съезд РСДРП, и могила Карла Маркса. Я вспомнил о Карле Марксе лишь потому, что, разглядывая карту Лондона, удивленно обнаружил, что живу в своем доме всего лишь в каких-нибудь десяти-пятнадцати минутах ходьбы от Хайгейтского кладбища, где могила Маркса. Подумал, что надо пойти посмотреть все-таки, но отложил, конечно, и опять забыл. Так я прожил в Лондоне пять лет, а могилы Маркса не видел.

Это бывает. Человек не удосуживается посетить что-нибудь именно потому, что слишком близко живет. Я как-то был в Ленинграде и остановился у одного приятеля, который жил буквально рядом с Петропавловской крепостью. Он за свою жизнь ни разу в ней не был. Я его потащил, мы обошли всю крепость, посмотрели рavelины, послушали экскурсоводов, он был очень доволен, все говорил: “Вот как хорошо, что ты меня вытащил, а то бы я никогда не собрался сам”.

А то еще жил я в Москве, на улице Горького у Моссовета, снимал комнату у двух старушек, матери и дочери. Они всю жизнь тут прожили — и никогда, ни разу не были ни в Мавзолее, ни в Кремле и Царь-пушки не видели. Все как-то собирались и не могли собраться, хотя от Моссовета до Кремля десять минут ходу.

Ну, а во-вторых, это ведь для коммунистов могила Маркса святыня и едва ли не достопримечательность номер один в Лондоне. Китайцы в Лондоне бывают, те прямо строем к Марксу идут, по стойке “смирно” становятся и “Интернационал” поют. Советские приезжают в Лондон — тоже организованно к Марксу, хоть и не строем, но — “Товарищи, не отставать, товарищи, не отрывайтесь от группы!”. Их сразу узнаешь.

Им бы, знаете, не к Марксу, а к Марксу и Спенсеру за покупками; нет, ведут на кладбище. “Маркс и

Спенсер” — это знаменитая фирма, магазины которой с дешевыми промтоварами очень популярны. И в Англии, если вы скажете “Иду к Марксу”, каждый, конечно, поймет только в одном смысле, что вы идете в магазин “Маркс и Спенсер”. И достопримечательности в Лондоне посещаются миллионами туристов совсем другие. Редко кто добирается до могилы Маркса.

Кто-то из англичан сказал мне однажды с улыбкой, что, кстати, там, на Хайгейтском кладбище, напротив памятника Марксу стоит памятник какому-то Спенсеру, так что и на Хайгейтском кладбище, собственно, тоже идете к “Марксу и Спенсеру”. Я подумал, что он просто болтает, но он повторял: “Будете там, обратите внимание”.

Но прошло пять лет, я редко вспоминал о Марксе и, может быть, по сей день не выбрался бы, если бы не мой приятель, писатель Григорий Свирский. Он приехал в Лондон, я пригласил его остановиться у меня, и как-то утром за завтраком я обмолвился, что вот-де рядом с моим домом Хайгейтское кладбище, а я там и не был. Он возмутился моей ленью. Предложил немедленно пойти. Я попробовал перенести на завтра, “на потом” — нет, он не согласился. Пришлось идти.

Для начала мы заблудились. Поскольку это совсем рядом с домом, я карты не брал, естественно, я так вроде направление помнил. Но там, где должно было находиться кладбище, был лишь очень красивый, утопающий в цветах, с озерами парк. Мы и в него входили, и вокруг плутали — нет Хайгейтского кладбища. Спросили двух-трех прохожих, — к нашему изумлению, они не знали.

Напротив парка шло строительство какого-то комплекса зданий, работало много рабочих. Мы сообрази-

ли, что рабочий класс уж должен знать, где могила Маркса, — и направились к ним. Каменщики, у которых мы спросили, не знали. Они стали перекрикиваться, спрашивать у других, пришел водитель самосвала, пришел бульдозерист, высказывались разные предположения. Наконец из будки вылез с бутылкой молока и булкой в руках ленивый мастер и стал нам долго и путано объяснять, что надо пойти на юг, до светофора, а там налево, а там направо... Какой юг, какой светофор, я помнил, что на карте Хайгейтское кладбище вот тут, прямо вот тут. Поэтому мы, поблагодарив, пошли все же опять в парк — и только когда углубились в него, увидели и кладбищенскую стену, и памятники за ней. Мой друг Григорий Свирский торжествовал: то, что рабочие не знали, где могила Маркса, произвело на него впечатление.

Кладбище как кладбище, чистенькое. Дорожки, правда, выложены булыжником с галькой, с промоинами от дождей; могила Маркса находится довольно далеко от входа, так что, если какие-нибудь посетительницы-дамы на шпильках, то доковылять довольно мучительно, особенно если — “Не отрывайтесь от группы товарищи!”. Памятник на могиле Маркса выделяется величиной и тяжеловесностью. Гранитный параллелепипед — и на нем голова, огромная голова с мясистым носом, рублеными чертами, самодовольно-холодным взглядом. И как-то так она на этом параллелепипеде посажена, словно это голова горбатого, косматого злюки. Скульптор думал, что изобразил величие, гордость или что там еще, а получился недобрый горбатый колдун. Очень плохой памятник. По сравнению с ним памятник в Москве на проспекте Карла Маркса покажется шедевром искусства.

Что написано на памятнике? Ну как вы думаете? Конечно же огромными буквами “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!”. Пониже: “Карл Маркс”. И еще ниже — цитата относительно того, что философы только объясняли мир, а задача, значит, в том, чтобы его изменить. Это знаменитая цитата, мы ее с младенческих лет учим и до того задалбливаем, что и не вдумываемся в смысл, а смысл в ней сомнительный, потому что изменять мир — это все-таки не дело философов. Их дело все-таки его попытаться постичь, понять, а он так безграничен, сложен и многогранен, что тот, кто закричит “Я уже постиг!”, мягко говоря, очень самоуверенный и не философ. А тот, кто к тому же возьмет на себя наглость добавить: “Я не только уже все постиг, но и указываю, как все переломать и изменить, кого убить, кого оставить и вообще как должно быть”, — это уже слепое, самоуверенное бедствие. Да, бедствие.

Кладбище было пустынно. Спустя некоторое время подошли несколько англичан, посмотрели на Маркса, пошли дальше. Я вспомнил, что должен что-то проверить, оглянулся — действительно, точно напротив могилы Маркса, по другую сторону дорожки, на скромном памятнике написано: “Здесь покоится прах Г. Спенсера, годы жизни 1820–1903”. Эта могила вызвала у меня как-то больше... симпатии, что ли. Без “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!” и без цитат. Это был, вероятно, просто человек, не претендовавший на то, что он уже все понял, и тем более на то, чтобы все переломать и какое-то энное количество человечества убить, а остальных организовать так, как он придумал, видите ли, благодетель... Не люблю я самозваных благодетелей человечества любых мастей. Если выбирать между та-

ким благодетелем и простым, обыкновенным человеком, я выбираю просто человека. Без претензий...

Потом я еще раз был на Хайгейтском кладбище — по оригинальному поводу. Какие-то ночные злоумышленники (как потом выяснилось, какая-то фракция анархистов) свалили памятник на могиле Маркса. Это им все-таки пришлось потрудиться, веревки накидывали, что ли, и тянули потом? Газеты напечатали фотографии: голова памятника так неприлично упала — прямо носом в землю. Газеты возмущались: вандализм. Можно не разделять взглядов и учения покойника, но зачем памятник сваливать — это дикарство. Ну да. Вот еще одни претендующие на роль благодетелей показали уровень своего ума и своей цивилизации. Междоусобная война разных благодетелей. Я ходил на кладбище из любопытства. Действительно, Маркс уткнулся в землю, взрыв ее мясистым носом, и скульптура кое-где пообломалась. Ее на время забирали, там, на средства британской компартии, где-то реставрировали — и опять водрузили.

Памятник на могиле Спенсера, конечно, никому в голову не придет сваливать, он стоит себе. Вокруг растут деревья — акации, клены, березы. В парке за забором много гуляющих, особенно вечерами, а по субботам и воскресеньям на открытой эстраде играют оркестры.

6 августа 1976 г.

Неправда как принцип

В Лондон советские газеты приходят быстро: иногда на второй день, иногда на третий. Время от времени я беру свежую “Правду” или “Литературную газету”, читаю. Раньше это меня раздражало, возмущало, что ли, потому что ведь прямо-таки что ни абзац, то искажение, неправда. С самых примитивных начиная: решения очередного пленума “вызвали небывалый трудовой подъем” — вдуматься только в эти слова. Небывалый — значит: такой, какого еще не бывало до сих пор. Все предыдущие подъемы были ниже. Но каждый из них, как мы помним, был “небывалый”. Так, за все десятилетия советской власти, рвясь от одного небывалого подъема к другому, выше, выше и выше, труженики уже давным-давно должны были бы лопнуть от усилий... не будь, к счастью, эти “небывалые трудовые подъемы” простой пропагандной неправдой, так же как и различные “встав на трудовую вахту в честь...”, “народ единодушно одобряет...”, небывалые энтузиазмы по поводу годовщин, выборов, сессий, съездов, пленумов, отдельных речей, снижения цен, повышения цен. Я не собираюсь разбирать примеры: те, кто в СССР сочиняет не-

правду, знают, что это неправда, — и те, кто ее должен читать или слушать, тоже это знают. *Но!* И те и другие должны делать вид, что все это якобы правда, таковы правила игры. Вернее, куда серьезнее: таков принцип, на котором построено общение между людьми. Неправда — как основополагающий принцип в жизни не одного какого-то человека, и не группки, и не прослойки, а громадного многомиллионного государства, супергосударства XX века... Ну, знаете, *в таких масштабах* — вот это, уж верно, *небывалый*... уж не знаю, подъем ли; но если к высотам неправды, то — подъем.

С годами жизни на Западе что-то со мной происходит. Я сегодня просматриваю советские газеты спокойно или, пожалуй, если точнее выразиться, задумчиво... вижу знакомые слова, они все из русского языка, если брать каждое по отдельности, но в целом... в целом это какой-то особый язык, настолько далекий от естественного человеческого, что с него можно делать переводы — с этого особого, якобы русского на нормальный русский, как переводы казенно-партийных штампов, так, главное, переводы с неправды на правду. В былые века такого странного мира, где все искажено, переставлено, перевернуто и в официальных понятиях, и в словах, и в поступках, — такого мира даже сказочники, даже писатели-фантасты не могли вообразить. Джордж Оруэлл написал свой роман “1984” в 40-х годах нашего века, глядя уже на СССР, так сказать, с натуры. У него там Министерством любви называется госбезопасность с застенками и убийствами, Министерством правды — государственная машина дезинформации и так далее.

Но как же это случилось и как это может так долго продолжаться? Уж сколько раз, казалось бы, твердили

миру... Что лгать плохо, мол, неправдой свет пройдешь, назад не вернешься. Мол, у лжи короткие ноги. Что ложь и счастье — вещи несовместимые... Так что, все это лишь в теории, так сказать, прекрасно? А на практике... А ну-ка, что, если вообразить себе на секунду, что в Советском Союзе вдруг на практике начиная с одного прекрасного дня газета “Правда” и все другие “Комсомольские”, “Казахстанские”, “Ленинградские” и прочие “правды” стали бы писать только правду? И все руководители, все власти от больших до самых маленьких стали бы говорить только правду? И весь народ вслух, естественно, не боясь и не задумываясь, стал бы говорить между собой и кому хочешь в глаза — только правду? Что бы тогда было?

Надо, во-первых, признать, что это картина трудная даже для смелого воображения. Принцип неправды так глубоко укоренился в СССР на протяжении ряда поколений, что вообразить себе уже хотя бы одну только газету “Правда”, пишущую действительно правду, и то почти невозможно. Нереальность! Абстракция!

Какая абстракция? Сколько угодно в мире есть газет, пишущих правду, но прежде всего сама же газета “Правда” до революции тем и занималась, что так и резала правду-матку в глаза царскому правительству, не так ли? Ну, может, где-то перегибала, может, случались искаженные информации, но — лишь как брак в работе, как нежелательное явление, а названа-то была “Правдой” именно за то, что ставила себе цель говорить правду. Значит, возможна газета, говорящая правду, это не абстракция. А вот поди ж ты, вообразить такое в конкретных советских условиях — уже почти невозможно. Как говорится, дошли.

А во-вторых, если все же напрямь воображение и кое-как, схематически, с грехом пополам, представить себе Советское государство с полным и безоговорочным торжеством правды и только правды во всем, то... То что?!

Конец всему, всеобщее светопреставление? Или, может... или наконец-то та самая, да наконец-то человеческая жизнь для потомков, обещаниями которой уже сами советские водители перестали подгонять к небывалым трудовым подъемам. С годами все более неловко: старики гробились, ну, для потомков. Нарождались потомки, гробились, гробились, старились, им говорили: это для ваших потомков. Следующие потомки — гробились для следующих. Да полноте! Это лишь тот, кто сам не умеет жить, ибо бездарен, разводит разговорчики о потомках. Партия коммунистов, взявшись устроить жизнь, наобещав три короба, нагромодив гекатомбы жертв, оказалась совершенно бездарной и не способной создать условия для счастья масс. Это выяснилось очень скоро после переворота. И по совести, *этой* партии следовало уйти тогда, давным-давно, уступив другим, может быть, более прозорливым или талантливым. Она же всех таких просто передушила, перетопила в крови. Так дальше, естественно, ничего иного не оставалось, как свою бездарность объявить гениальностью, нищету — благосостоянием, диктатуру — демократией, жизнь как в концлагере — свободой, а для доказательства сомневающимся, что это есть “правда” по-большевистски, ох как трудились ведомство товарищей Дзержинского, Менжинского и прочих Ежовых, Ягод и Берий. О, создание этого устойчивого общественного устройства на принципе неправды, как на фундаменте, — было нелегким, о, каким нелегким

делом. Подумать, на что бросались силы!.. Сколько сил! А создали!.. Куда там Вавилонская башня — детская игрушка по сравнению с вавилоном жизни *по лжи*, построенной и предписанной сотням, сотням и сотням миллионов — и отживших, и живущих, и еще не родившихся.

Жаль. Как жаль. Это ведь совсем неумно, жестоко, ненужно. Принцип неправды, если на нем выстраивается человеческая жизнь, начисто отменяет из жизни *гармоничность*. А ведь это — главное условие счастья: гармоничность. То есть когда человек себя чувствует в согласии с совестью, с окружающими, вообще с мирозданием. Следует удивляться стойкости и выносливости человека, если, живя от рождения по много десятилетий в такой дикой дисгармонической советской действительности, вынужденный быть денно и нощно таким — фактически — двуликим Янусом (официально одно, в душе другое, вслух этак, в мыслях наоборот), — человек не сходит с ума, не становится клинически больным психоневрастеником. То есть болезни такого порядка свирепствуют в СССР, но в главной своей массе люди как-то спасаются. Одни пьют сильно — до оглушения, тем самым интуитивно нащупывая путь к некоей разрядке. Алкогольное оглушение действительно снимает психическое невыносимое напряжение, но всего лишь на время. И сам алкоголь — другая беда. Беду бедой вышибать?

Есть другое. Религия. Увлечение любимым делом. Любовь. Семья. Природа. Спорт. Есть много еще, к счастью, вещей, государственному принципу неправды *неподвластных*, там можно иногда — с усилиями, а то с опасностью, а то в глубокой тайне — создать свой микромир, свою микрообласть жизни *не по лжи*.

Я давно потихоньку наблюдаю себя и тех, кто, как я, навсегда решается покинуть Советский Союз. Поначалу — разительный контраст между нами и людьми, родившимися и живущими на Западе. Выехав из СССР, мы перевозбуждены, испуганны, подозрительны, уязвимы, большинство, как минимум, неврастеники в той или иной степени. Иной вроде держит себя хорошо. Ну, думаешь, вот наконец первое исключение. Ничего подобного: при случае вдруг ка-ак проглянет его подлинное состояние нервов... Но смотришь, одному понадобился лишь год, чтобы все это с него сошло. Другому — два года, три, четыре... Сильна человеческая природа, она все-таки создавалась миллионы лет. Соппротивление противоестественным вещам в ней передается по наследству. Среди всего прочего — и сопротивление лжи, я так считаю. Иначе как бы в Советском Союзе, родившись при советской власти, в глаза не видел иного образа жизни, кроме советского, могли вырастать люди такого типа, как Сахаров, Солженицын, Буковский?

Так что если бы в Советском Союзе да прекратилась жизнь по лжи, то, может быть, никакого светопрествления не случилось бы, а лишь вырвался бы *всеобщий* и вот уж действительно *небывалый* вздох облегчения?..

26 сентября 1976 г.

Про Фому и сельское хозяйство

Хочу рассказать про Фому. Нет, не шутка, не про Фому да Ерему а про реального человека, простого крестьянина, когда-то доброго знакомого нашей семьи по имени Фома, а фамилии я не помню, вернее, просто и не знал. Фома да и Фома.

Он был высокий, несмотря на то что ходил согнувшись, глядя в землю перед собой — живая буква “Г”; очень тощий, с обветренным бурым лицом, заросшим седой щетиной. Малограмотный (расписываться умел), молчаливый-премолчаливый, словно апатичный; никаких эмоций на лице. И серый, серый, как все колхозники, — потому что одеты они всегда во все поношенное, выгоревшее, пропотевшее; на улице города сразу их видишь, сразу отличишь. Рассказ мой относится к временам еще моего детства, давно это было, и уже тогда Фома был стар, болен. Конечно, он уже в могиле, хотя когда он умер и как — я не знаю. Знаю лишь, как он жил. Это, значит, начало про Фому.

Теперь несколько слов про сельское хозяйство, один краткий эпизод, вставка, нужная для сюжетного плана.

Однажды, когда я уже считался известным писателем и где-то в годах 60-х по распоряжению самого Отдела культуры ЦК КПСС был поселен в городе Туле, так сказать, поближе к жизни, и Тульский обком партии счел своим долгом руководить моим идейным развитием, тульский секретарь обкома предложил мне поехать с ним в поездку по области, посмотреть, как сельское хозяйство поднимается на недостижимую высоту в свете последних решений и прочее. Надо сказать, что я потом не жалел, что поехал. Хотя мы ездили в обкомовской, конечно, самой настоящей черной “Волге”, перед которой с дорог шарахались грузовики, тракторы и стада; хотя питались в задних комнатах ресторанов в обществе местных предисполкома и начальников КГБ, а ночевали в специальных, бронированных для партийных приезжих квартирах, осколки жизни все равно, непрошенные, сами лезли в глаза, а главное — ездили-то мы, кроме шофера машины, лишь двое, общались, значит, и после этого путешествия я стал значительно лучше понимать внутренний мир этого типа людей — секретарей. Сейчас, однако, речь не об этом, а об одном эпизоде касательно сельского хозяйства. Ездили мы по колхозам, где секретарь собирал актив, говорил слова, давал указания и проч.

Я много видел в жизни нищеты, но то, что увидел в глубине Тульской области через пятьдесят лет после Октябрьской революции, все же было потрясающе. Деревня: неприкаянно торчат на юру бурые, разваливающиеся избенки. Ни деревца, ни цветочка, ни заборчика — земля усыпана лишь мусором и залита помоями. Крыша в провалившихся дырах — не чинится. Дверь повисла на одной петле — пока не отвалится вторая. Внутри — не жилье, а какая-то пещера зловонная,

ветхое тряпье, голые дети, мутный самогон в бутылке на столе. “Все губит у нас пьянство, вот где бич”, — вздыхал секретарь. И вот он велел шоферу ехать в показательное хозяйство, чтоб хоть настроение поправить. На подъезде к лучшему, показательному колхозу он велел остановиться. Мы вышли. Время было колоситься, но рожь не поднялась еще выше колена. Редкие стебли можно было сосчитать пальцами на каждом квадратном метре. Кроме того, во время сева не то тракторист задремал, не то по какой иной причине, — был сделан огромный огрех, получилась такая псутая вытянутая плешь в несколько соток, незасеянная. Столько земли, как этот огрех, было когда-то у моей бабушки под грядками у нашей хаты в Киеве на Куреневке. Сперва она собирала с них редиску, потом помидоры, лук, капусту, картошку, щавель, а под забором — и кукурузы рядочки, подсолнухов несколько. Нашей семье хватало этого и на лето, и до конца зимы. Потому что то были СВОИ грядки, которые пестуются, удобряются, поливаются потом без меры и без призывов и указаний.

Секретарь долго смотрел на этот огрех, на это поле и вдруг так устало, прямо безнадежно сказал: “Столько лет бьемся! Колхозы, комбайны, тракторы, сажалки, копалки, вырывалки... А дореволюционный уровень урожайности — недостижим”.

У Фомы была самая обыкновенная, но беленькая и опрятная хата — и с петухами по стенам, и с рушниками, и с мальвами под окнами, и с вишнями, — и корова, и пара лошадей. Жена и дочь. Иногда в воскресенье они привозили продавать на нашем Куреневском базаре то клубнику, то помидоры и огурцы, то картошку потом, к осени, мешками — и, не продав за день, долж-

ны были оставаться ночевать, так они с моим дедом и бабушкой познакомились и ночевали иногда. Наша хата была близко от базара, и у нас часто кто-нибудь из села ночевал. И мы ездили в село; мое детство, можно сказать, проходило равно как в городской, так и в сельской атмосфере.

Грянула коллективизация. То был форменный ужас. Я, между прочим, за всю мою жизнь не встречал человека, который бы о коллективизации отзывался с восторгом, вообще нашел бы для нее хоть одно доброе слово. Конечно, если не считать писателя Михаила Шолохова с его “Поднятой целиной”. Крестьян загоняли в колхозы револьверами, голодом. Как известно, на Украине, на Кубани, реквизируя подчистую все продукты до последней картошки и лепешки, создали искусственный голод, от которого в 1932–1933 годах умерло от шести до семи миллионов человек. Судьба Фомы, о котором рассказываю, была печальной — его раскулачили. Какой из него кулак? Сам работал, семья работала. Но известно, как это делалось. Пара лошадей — разве не кулак? У них забрали абсолютно все — вернее, просто выгнали из дому. И то еще было счастье, что не отправили в ссылку. Почему? Может, потому что все же не настоящий кулак, может, просто эшелонов на всех не хватило. Так — выгнали на все четыре стороны к зиме глядя, и все. Хоть в лес иди. Фома с семьей и пошел. Выкопал землянку при опушке. Желуди, грибы ели, потом зимой — кору и почки. Жена и дочь опухли и умерли. Фома чудом выжил, по весне ползал и ртом щипал дикий щавель, первые зеленые побеги.

Летом он плел корзины, приносил в город продавать и накопил денег, на которые купил курицу. Он носился с нею как с сокровищем, в деревню к петухам но-

сил, она нанесла яиц и высидела цыплят. На опушке вокруг землянки он сровнял кочки, вскопал и засадил огород и так оказался с запасом на зиму. А следующим летом у него, огороженная плетнями, с курятниками и навесами плетеными же, была уже, можно сказать, целая куриная ферма. Он постоянно привозил на базар корзины яиц. К зиме он построил себе вполне приличную хату — мазанку.

Тогда в один прекрасный день к нему нагрянули опять сельские активисты — и раскулачили вторично. То есть опять все забрали — и кур и хату, а самого выгнали на четыре стороны. И опять ему везло: опять никуда не отправили, оставили тут умирать.

Как передавали люди, куры на колхозной ферме, которых не успели съесть активисты, передохли, а Фома снова каким-то чудом выжил. На этот раз он ушел в другой район и уж в совсем глухие леса. Бобылем, дикарем жил неизвестно как. Только однажды встретила его бабушка на базаре — он продавал кроличье мясо. Он, оказывается, в лесу кроликов поймал — и кроличью ферму на этот раз развел. Они плодились, как саранча. Корм в лесу — под рукой. Фома и мясом торговал, и шкурками, и крольчат на продажу привозил. И опять где-то между болотами картошку посадил, пшеницы ухитрился засеять и гречки и уже строил новую хату.

Не дали ему достроить. Он чуял, к чему идет, потому что принялся по людям, по знакомым мешочки разносить: с картошкой, с морковкой, просил в погребке поддержать, мол, у него погреба нет. Даже в город привез и моей бабушке отдал на сохранность торбу гречки. Действительно, пришли. И в третий раз “раскулачили”! Кроликов перебили, начатую хату разломали, самого Фому до полусмерти избили — и выки-

нули с угрозами, чтоб носа в район не показывал. Мало того, пошли по доносам по его знакомым, где он мешочки разносил, забирали и то, а кто укрыл или как-то сумел отбрехаться, получили предупреждение: узнаем, мол, что он от вас что-то получил, — берегитесь!

Последний раз я видел Фому, когда он пришел к бабушке, робкий, несчастный, запуганный, и едва слышным голосом спросил про торбу с гречкой. Бабушка пошла и принесла. Он стоял и не брал, побледнел, потом грохнулся на колени и стал целовать бабушке руки: “Эта гречка — единственное, что мне отдали, вы единственная”. Посидел, перекусил, рассказал, как его крольчатник раскулачивали — и отправился куда-то да-алеко с торбой гречки за плечами. С тех пор мы его уже не видели.

Простая история, как видите, простого крестьянского человека, из тех, кто умел и мог бы поднять сельское хозяйство на недостижимую высоту.

17 декабря 1976 г.

Рождественский разговор

Сейчас Лондон весь сияет в иллюминации. Рождество. Здесь ведь Рождество — 25 декабря, до Нового года. Православное — после Нового года. На Рождество в Англии не работают два с половиной дня. Накануне, 24-го, кончают работу уже в обеденное время, затем 25-го Рождество, затем 26-го — второй день Рождества, он называется Боксинг Дэй. Примерно в переводе что-то вроде “день коробок”, от слова *box* — “ящик”, “коробка”. Объясняют, что, мол, в этот день все дарят друг другу подарки, коробки с подарками. Ну а на Новый год, само собой, тоже праздник, выходной.

Очень приятное, действительно праздничное время в году эта рождественско-новогодняя полоса, и конечно, многие так подгадывают, чтобы и между Рождеством и Новым годом тоже иметь свободные дни, скажем в счет оплачиваемого отпуска или хоть и без оплаты, — тогда можно поехать куда-то в гости основательно, устроить себе зимний “холидей”, как тут говорится. И это, кажется, единственное время в году, когда с билетами на самолеты и поезда творится, может, даже нечто похожее на то, что в СССР обычно и

повседневности: то есть очереди к кассам, “мест нет”, дополнительные рейсы. Но так как все наперед известно, то, естественно, 90 процентов едущих запасаются билетами предварительно, дополнительные рейсы известны предварительно, за месяцы, все это широко рекламируется, планируется, ожидается, предвкушается...

В нынешнем году благодаря шуткам календаря рождественско-новогодний период бьет все рекорды. День Рождества и Боксинг Дэй пришлись на субботу и воскресенье. Но так как это два законных нерабочих дня, то в компенсацию их Англия не работает в понедельник и вторник. Далее, 1 января, Новый год — в субботу. В компенсацию Англия не будет работать в понедельник 3-го. Итого, в промежутке от 24 декабря до 4 января оказались рабочими всего три дня — 29 декабря, 30-е и 31-е.

Должным образом вообразив, что это будет за работа в эти дни, большинство учреждений и предприятий объявили их тоже свободными. Итак, Англия, кончив работать в пятницу, 24 декабря, гуляет аж до 3 января включительно, десять дней.

На автомобильных предприятиях Форда рабочие с давних времен имели еще четыре зимних рождественских выходных в придачу на этот период. Им добавили их теперь по два с двух концов, и они гуляют с 23 декабря по 4 января включительно, четырнадцать дней.

Это уже похоже на отпуск. Но нет, отпуск само собой, а это всего лишь — праздники. Ничего себе праздники, а?

Если учесть, что в году еще есть целый ряд других праздников, а рабочая неделя конечно же пятидневная, то, право, может показаться, что англичане чересчур уж много гуляют. Ничего. В свои рабочие дни они уж ра-

ботаю так, как дай бог каждому. Нет, не “вкальвают”. Слово “вкальвать”, такое популярное в народе для обозначения рабочего процесса в Советском Союзе, совершенно не вяжется с английской манерой работы. Англичане работают медленно. Они работают так медленно, что, со стороны глядя на строительную площадку, цех, мастерскую, можно подумать, что собрались одни лентяи. Поработали немного — смотришь, уже чай пьют. Чаепитие — это у них свято. Если англичанин в определенный час и минуту не попьет чаю, он просто жить не сможет. Так они работают испокон веков. Но вот при всем при этом — какую они выстроили себе страну, ах, какую страну и какую жизнь! Да, они работают медленно, но зато умно, и если уж что-то сделают, то сделают. Если крышу настелили, то она не будет протекать минимум лет пятьдесят. Если пиджак-”твид” сшили, то будете носить его семь лет ежедневно, а вид такой, будто две недели назад куплен. И так во всем.

Англичане предпочитают не сами “вкальвать”, а предоставляют делать это машинам, конечно, тут, знаете, простую ямку лопатой не копают, а — “мини”, совсем уж миниатюрный экскаваторчик такой, прикатил, фыр-фыр — и яма. А чтобы они кирками долбили грунт тяжелой категории, да еще, как в России бывает, зимой, мерзлый, как камень, — да что они, сумасшедшие? Они простой шуруп — и тот с механизацией вкручивают, электроотверткой. А если уж не электро-, то — этакая хитроумная, с резьбой внутри корпуса, так что не крутишь ею шуруп, а как бы насос качаешь: ты на рукоятку просто нажимаешь, а наконечник крутится, завинчивая.

Я начал про Рождество, а съехал к отверткам. Отвертки сейчас в сторону. Итак, нерабочие дни. Лондон

в иллюминации. Сияют елки. Главная елка — на Трафальгарской площади, огромнейшая, конечно; доставленная из Норвегии. Это традиционный ежегодный подарок Англии от Норвегии. Под нею собираются любители, поют колядки. С колядками ходят по улицам от дома к дому, с фонарями, ряженые, больше всего, конечно, дети, уж им раздолье, насобирают подарков, и сладостей, и пенсов, чтобы — мечта каждого мальчишки — купить фейерверочных ракет и стрельнуть в небо...

Я в который раз смотрю — и в который раз завидую их детству. В моем детстве (оно называлось “счастливое детство, которое дали нам партия и лично товарищ Сталин”) в день Рождества конечно же родители шли на работу, я — на занятия в школу. Люди, отмечавшие Рождество, особенно если они не старики, брались на заметку, а рождественскую елку до 1937 года мои дед и бабушка устраивали так скрытно, с такими предосторожностями, словно собирались прокламации печатать или фальшивые деньги. Потому что и Рождество и елка были пережитками прошлого, буржуазными пережитками или — опиумом для народа; тот, кто за них держался, — был носителем пережитков, “не наш”. А кто не с нами, тот, известно, — против нас.

Лишь в знаменитом 37-м году додумались прекратить борьбу с ёлкой и, так сказать, взять ее на вооружение: приурочили ее к Новому году и назвали новогодней. А святой день Рождества, в который народ отдыхал во все столетия — и при татарском иге, и при Иване Грозном, и при крепостном праве, — от революции и по сей день рабочий. Я не знаю, в какой стране еще на земном шаре было бы так же мало нерабочих дней по случаю праздников, как в Советском Союзе, где бы так скупились дать трудящемуся человеку лишний

раз передохнуть, именно трудящемуся, партией которого называет себя коммунистическая партия, которая некогда, пока сама не пришла к власти, ах как выступала против безжалостной капиталистической эксплуатации. Но вот на шестидесятом году ее руководства — вот наглядный пример и сравнение: в проклятом капиталистическом мире эксплуатации на Рождество и Новый год — десять нерабочих дней, в Советском Союзе — на Новый год один.

Я смотрю в Англии на этих колядующих, ходящих с фонарями от дома к дому. Если бы мы в детстве вздумали этим заниматься, нас бы забрали в милицию. В одном из номеров самиздатовского “Украинского вестника” читал я, как в моем родном Киеве молодежь недавно попыталась колядовать — попыталась восстановить эту старинную народную традицию. Как на них накидывались дружинники и милиция! Как тащили в отделение, и допрашивали, и грозили, и потом посыпались увольнения с работы, с учебы. Ну да, ну да, кто не с нами, тот против нас. И человек уже пожизненно как бы занесен в волчий список, он через двадцать лет вздумает проситься в туристическую поездку за границу, но посмотрят в досье — и ему откажут: в таком-то году в Киеве ты пытался колядовать! Не наш.

По прошлым годам я уже знаю, как на Рождество в Англии вечером улицы пустынные, дороги свободны: все, все дома, этот праздник проводится в семейном кругу, ради него члены семьи прилетят хоть из Канады, хоть из Новой Зеландии. Это священный, именно семейный праздник. По гостям — потом. Рождество — в кругу семьи. Меня это трогает. Нас приучили по праздникам коллективно маршировать, колоннами. Да, и у нас в России когда-то было Рождество, в кругу семьи...

но это только древние бабушки помнят. Какой круг семьи, это что еще за пережиток? Жить в обществе и отделяться от общества нельзя. Человек — член коллектива. Поэтому если уж и приходится давать ему свободные от работы дни, они все равно должны быть заполнены общественно полезным делом, воспитывать чувство коллективизма: не демонстрация, так митинг, не субботник, так воскресник.

Вот уж наступает и год, в котором *они* будут отмечать шестидесятилетие насаждения таких и других нелепостей... Как быстро промелькнули десять лет. Не так давно, кажется, били в барабаны и трубили в трубы по поводу пятидесятилетия, а вот уж и шестидесятилетний *юбилейный* год. Господи, опять юбилейный. Скорее “встанем на трудовую вахту”. Однако вот насаждаются, шестьдесят лет насаждаются, нелепости, но, если так подумать по-серьезному, *они ведь не прививаются* в душе. У человека *в душе* — не прививаются. Внешне, казалось бы, да, но внешне — это в оболочке; глубже оболочки они не проникают. Например, давайте на секунду вообразим такое чудо: вдруг объявляется указ Верховного Совета СССР — восстановить празднование Рождества во всей его былой форме и величии... представляете себе, какое бы было по всей стране искреннее торжество?!

24 декабря 1976 г.

Многолетний сон

Беседа 1

Когда мне было чуть больше двадцати лет, у меня был в жизни эпизод, который очень крепко запомнился, и время от времени он вдруг, непрошенный, без всякой видимой связи с чем бы то ни было, вспоминается во всех подробностях и, надо сказать, чувствительно портит настроение.

Это было на строительстве Каховской ГЭС, где я работал в начале 50-х годов — сперва рабочим, потом меня взяли в редакцию многотиражной газеты стройки литработником. Однажды в порядке общественно-политической нагрузки мне поручили сделать лекцию по работе Сталина “Экономические проблемы социализма в СССР”, чрезвычайно гремевшей тогда, конечно, и изучавшейся по всей стране.

Я старательно приготовил конспект, цитаты, причем — вот первый неприятный для памяти штрих — мне книга понравилась. Так все просто, ясно, неопровержимо. Я прямо порадовался, что мне поручили прочесть лекцию, благодаря чему я по-настоящему проработал такую значительную книгу и понял многое, чего мог бы и не знать. Я предвкушал, как вдохновенно прочту лекцию,

как зажгутся слушатели, и заключительная фраза, этакая достойная точка в конце лекции, родилась в волнении, во вдохновении, прямо как словесный шедевр; я ее помню до сих пор дословно: “И в нашем великом строительстве работа Сталина “Экономические проблемы социализма в СССР”, как прожектор, освещает нам путь”... Повторяю, это было в начале 50-х годов, а я имел лет двадцать с небольшим хвостиком. Ладно.

Комитет комсомола велел мне явиться с лекцией на городскую танцплощадку в Новой Каховке к восьми часам вечера. Там, как всегда, была густая толпа молодежи. Комсомольские активисты прекратили танцы, оттеснили всех по краям танцплощадки, поставили в центре табурет, на который я встал, и, держа свои листики, без микрофона, я принялся кричать, чтобы всем было слышно, свою лекцию. Об экономических проблемах социализма, которые, как прожектор, освещают нам путь. Сравнение вышло вроде бы даже жизненным, потому что было уже совсем темно, танцплощадка освещалась со столба направленным фонарем — чем не прожектор? Он освещал тесно сгрудившуюся толпу парней и девушек, в глазах которых было лишь одно досадливо-унылое ожидание: скоро ли этот идиотский антракт, это *мероприятие* кончится? Мероприятие, черт бы вас взял, даже посреди танцев.

Когда я кончил, кто-то даже дисциплинированно поаплодировал, но видели бы вы, как бурно, и моментально, и радостно возобновились танцы. Я ушел обиженный: не поняли, какие замечательные вещи им излагались, пустые головы, дураки, ослы! Когда услышали мой вопль про прожектор, так даже заулыбались, зашевелились — поняли, что это уже конец... И знаете, понадобилось мне еще несколько лет, чтобы довольно

изумленно открыть, что тогда не люди были ослы, а комсомольские организаторы этой лекции и что уж совсем стопроцентным ослom был, оказывается, в какое-то время моей жизни я сам. Так, это я очень давно понял, но тогда сразу же встал вопрос: почему?

Сегодня я более чем вдвое старше, чем был тогда, и столько в жизни изменилось, и в голове изменилось все; и когда так, бывает, вспомнишь что-нибудь и сам с собой пробуешь проанализировать: почему вот тогда-то там-то ты совершил такую-то глупость, а не иную, — то почти всегда можешь теперь, издали, объяснить: и откуда глупость взялась, и каковы были корни, и почему она могла быть только такой, а не другой. Почти всегда.

Но, представьте себе, этот эпизод с лекцией, который я только что рассказал, у меня в моем сознании до сих пор остается в части необъясненной, не входит в это “почти всегда”, а продолжает и продолжает оставаться для меня загадочным феноменом. И здесь, пожалуй, время объяснить, к чему я клоню. Если бы такое явление, как мое бурное восхищение в свое время сталинской книгой “Экономические проблемы социализма”, было чисто моим исключительным случаем, то я бы уж как-то сам по себе с этим феноменом разобрался (или не разобрался), повздыхал бы, покраснел бы — и бог с ним. Однако я не ошибусь, если скажу, что сегодня среди живущих на Земле людей можно найти — уж не знаю, и сколько миллионов и миллионов, — людей, которые, если только будут честно вспоминать, признают, что и у них были подобные, мягко говоря, “феномены” восторженного преклонения перед Сталиным, сталинизмом, а другие — и того хуже, до сих пор Сталина боготворят или по крайней мере уважают. Есть даже та-

кие — но, к счастью, исключения, — которые не теряют своего уважения к Сталину даже после прочтения “Архипелага ГУЛАГ”.

Вот это явление меня и озадачивает. В этом явлении есть довольно много такого, что объяснимо — подчас даже самым примитивным путем. Однако объясни-ма лишь часть явления, а не все оно целиком. Это не исторический вопрос и не какой-нибудь схоластический. Я боюсь, что это один из насущнейших вопросов существования человеческого общества вообще. “Сталинский феномен” — назову его так для удобства — выступает сколько угодно и сейчас, и, возможно, много несчастий он еще принесет и в будущем. Он, знаете, как заразная бацилла, незримо существует в людском обществе, и время от времени вспыхивают его эпидемии то там, то там, и, заметьте, эти эпидемии сопровождаются катаклизмами, кровью, насилием и поразительным обольваниванием человеческой личности.

Видели ли вы документальные кадры в фильме “Обыкновенный фашизм” — каково было преклонение масс перед Гитлером? Немецкие женщины так искренне рыдали, переполненные восторгом и любовью, при одном только виде божества. Ну а, скажем, картины преклонения китайцев перед Мао Цзэдуном? Такие документальные кадры в Советском Союзе любят с иронией показывать. Однако картины поклонения советским — в тот или иной момент стоящим у власти — вождям показываются без иронии, не так ли? А картины поклонения предыдущим, уже не стоящим у власти, не показываются совсем, словно их и не было, вот как смешно.

Однако что было, то было, и сколько среди нас живет тех, постарше возрастом, кто был участником минувших поклонений, а среди них тех, кто был искренним

участником. Теперь об искренности сегодняшних ритуалов поклонения в Советском Союзе говорить, по-видимому, уже не приходится. Для большинства участников это всего лишь досадно-неизбежные ритуалы, а искренности чувств даже сами организаторы не требуют ни от кого, в том числе и от самих себя.

Вот, скажем, появляется сегодняшнее божество. Все должны встать и сильно бить ладонью о ладонь, стараясь иметь при этом просветленное лицо. Назначенный для управления ритуалом человек при этом отсчитывает в уме время, по истечении которого он даст сигнал к прекращению демонстрации восторга тем, что сам, первый, прекратит аплодировать — только у него такое право, и все смотрят, когда он, председательствующий, прекратит, тогда все прекратят и сядут. При этом, если запланировано заранее, другой выделенный человек, помещенный среди массы, должен будет выкрикнуть точно определенное число лозунгов, с точно известным и утвержденным текстом, а все остальные поддержат протяжным “ура”.

Далее тоже известно — божество будет читать отпечатанный крупными буквами, с расставленными ударениями, не им написанный текст; время от времени чтение будет прерываться новыми проявлениями восторга по сигналу — ну и заключительный ритуал восторга в конце, такой же, как в начале. Если текст предназначен для публикации, то он будет опубликован самым широким образом, и всем надо будет говорить: “Как это мудро, как это глубоко, гениально, изумительно, восхитительно, это прямо как прожектор освещает нам путь”, и желательно отрывки из этого текста к месту и не к месту цитировать всюду, от передовиц до поваренных книг, ибо если не процитировать, то

лица, назначенные следить за этим, сразу же спросят: “А почему вы не процитировали?”

Это все известно, это все отработано, в конце концов, и не сложно, и не так уж трудно. Вопросы относительно формального, чисто ритуального выражения якобы восторга меня лично не беспокоят. Да в конце концов, у любой эпохи и в прошлом были свои ритуалы, да еще сколько, одни умнее, другие глупее, и смешные и нелепые, всякие, и в повседневной жизни, в быту, у каждого из нас — сколько ритуалов, сколько всего такого, что “так принято”, уж никто и не помнит, и не может объяснить зачем. Один чихнет, другой говорит “на здоровье” — так принято, да и точка. “Так принято” — я понимаю.

Нет, меня беспокоит неритуальное, а искреннее проявление восторга там, где, по-трезвому, ни о каком восторге и речи не могло бы быть. Я начал с рассказа о своем собственном когда-то искреннем восторге перед трудом Сталина об экономических проблемах. И о том, как вскоре после того, как наваждение прошло, встал вопрос: “Почему оно было?”

И вот, даже сегодня, через много-много лет, я не вижу простого, однозначного ответа на этот вопрос, по крайней мере в отношении самого себя... представьте, не вижу. А я хочу все-таки в нем разобраться, хотя бы попытаться разобраться. Ограничиваюсь сегодня, однако, лишь постановкой вопроса, в моей следующей беседе эта тема будет продолжена.

28 января 1977 г.

Многолетний сон

Беседа 2

Да, вот я теперь вспоминаю и ясно вижу, как в какой-то период моей жизни я восторгался Сталиным. Период был, однако, относительно короткий, я был в возрасте где-то от двадцати до двадцати четырех лет. И что особенно поразительно: это были самые последние годы жизни Сталина — годы 49-й, 50-й, 51-й, 52-й... То есть когда сталинизм достигал уже последней степени ужаса, Сталин как личность был в глубине маразма... Самое простое: махнуть рукой, отделаться простым успокоительным объяснением типа “молодой я был, дурак был” и жить себе так, словно тех нескольких лет и не было.

Смотришь вокруг себя и видишь, что многим людям такой фокус вроде бы и удастся. Когда после XX съезда стало таким модным поносить на все заставки “культ личности Сталина”, было очень любопытно наблюдать некоторых беззаветнейших в свое время сталинистов, которые теперь чернили Сталина как только могли, и оказывается, они всю жизнь были антисталинистами, но скрывали это и так мучились, бедные. Даже те, кто всю свою карьеру построил благодаря неизвестным методам и приемам сталинских времен.

Даже те, кто в свое время прямо в истерике бился, выражая свое преданное преклонение перед отцом всех народов и гением всех времен. Что, значит, то была такая игра, этакий театр, что ли? Нет, не был то стопроцентный театр. Это задним числом трусливое сознание пытается убедить и других и себя: что оно-де не спало, что оно все понимало.

Известно, что если долго и упорно повторять какую-то ложь с собственным желанием поверить в нее, то в конце концов лгущий уже и сам действительно верит в свою ложь, верит, что все было на самом деле именно так, как он лжет, и верит искренне. Так что, может быть, кто-то из бывших искренне преданных сталинистов, говоря о своей якобы “внутренней оппозиции” Сталину (никогда не существовавшей), сегодня уже формально и не лжет, ибо уже сам искренне верит в то, что говорит. Но от этого, конечно, не легче. В конце концов, знаменитый лозунг “За Родину, за Сталина!”, с которым шли в атаку, — что, все кричавшие его и умиравшие с ним на устах, все до единого кричали и умирали с “внутренней оппозицией” к Сталину?

Я близко знал одного человека, совсем уж близко знал, потому что это был мой тесть, который, всякий раз бывая в кино, во время показа киножурнала “Новости дня” принимался безудержно плакать от счастья и любви, когда на экране появлялся Сталин. Без Сталина же в свое время не было ни одного киножурнала. Во время похорон Сталина мой тесть сам чуть не умер от горя в самом прямом смысле — с ним были припадки.

Некоторое краткое время затем он во время киножурнала “Новости дня” не плакал. Но после XX съезда, гляжу, он опять плачет в кино. Но теперь уже при виде Хрущева, “нашего дорогого Никиты Сергеевича”. А в

то время уже без Хрущева не было ни одного киножурнала. Его жену — мою, значит, тещу — это прямо бесило. Говорила, что с ним невозможно в кино сидеть рядом. Заготавливала ему несколько носовых платков. Только погасили свет, только лишь пошли первые кадры, только лишь появился “наш дорогой Никита Сергеевич” — старик в рев, зрители удивленно оборачиваются. С тем он и умер, царство ему небесное, и я не знаю, плакал ли бы он теперь, во время нынешних киножурналов. Но полагаю, что да.

Помнится, я ему однажды очень осторожно напомнил, как он плакал когда-то при виде Сталина на экране. Старик очень рассердился, прямо пришел в бешенство, но не стал ничего объяснять или доказывать, просто смолчал. И на том спасибо.

И вообще, *не мне* припоминать кому-либо такие вещи. У меня есть материал для исследования поближе: я сам. Я уже говорил в прошлой беседе, что те несколько лет моей жизни, когда я искренне восторгался Сталиным, до сих пор заключают в себе загадку для меня. Ах, как было бы гладко и хорошо, если бы их не было. Завидую тем людям, которые рассказывают, что они всю жизнь, начиная с детства, прекрасно видели нелепости и безобразия существующего в СССР устройства. Один автор, например, рассказывает, что, еще будучи в пионерском возрасте, он наотрез отказался вступить в пионеры по идейным соображениям. Я верю. И, веря, завидую: у меня все было не так ровно. Я с самого детства видел слишком много нелепостей, и безобразий, и прямого ужаса, а вот поди ж ты, вырос и в возрасте, когда человек только-только прекращает расти, вдруг очутился в состоянии готового искренне и вдохновенно хотя бы и идти в смертельную атаку с лозунгом “За Сталина!” на устах. Загадка? Да!

Попробую-ка ее сформулировать в виде вопроса: “Почему человек способен преклоняться до беззаветности перед вождем, о котором говорится, что он гениален, мудр, прекрасен, в то время как все факты прямо вопиют о том, что этот “вождь” всего лишь гнусная, преступная личность?” Почему?

Ну прежде всего напрашивается ясный и простой ответ, что все это, возможно, и происходит из-за элементарного недостатка информации. Я просто не знаю, что обожаемый мною вождь сделал то-то, то-то и то-то, несовместимое ни с гуманностью, ни с мудростью, ни с гениальностью. От меня скрыто, и я не знаю, какой он просто кровавый палач, а то, может, вообще психически ненормальный. Мне показывают лишь картины его якобы грандиозных, гениальных деяний, я им верю, не подозревая, что они — липа; я поклоняюсь из-за недостатка информации.

Как все было бы просто, будь это объяснение удовлетворительным. Но мой покойный тесть, например, о котором я рассказал, прекрасно видел все волны сталинского террора и поседел от ужаса перед ними, от ожиданий арестов, когда забирали друзей, коллег и казалось, вот-вот выпадет его номер, но номер не выпал. Он был ученым-специалистом и прекрасно видел, какие глупости творятся при сталинском хозяйствовании. И так далее. Он все видел, он понимал... И плакал при виде Сталина на экране.

Но помилуйте, а позже, когда он плакал при виде Хрущева на экране, — он плакал-то именно из признательности Хрущеву за то, что сталинский ужас кончился и разоблачен. Да, да, *теперь* он плакал при виде *подлинного* гения вместо былого разоблаченного.

Кстати, тут можно говорить о недостатке информации лишь в какой-то ее части, но не вообще о полном недостатке информации. Живя в любом закрытом, пусть сверхзакрытом, обществе, невозможно не знать, хотя бы отчасти, происходящего ужаса, и части для любого думающего человека вполне достаточной, чтобы усомниться: так ли уж это общество прекрасно, как об этом кричат, и так уж ли гениален его вождь? За всю свою сознательную жизнь, почти целиком прошедшую при Сталине, мой тесть имел информации более чем достаточно, чтобы хотя бы, по крайней мере, не плакать от восторга. А он плакал... искренне. Плакать в темном кинозале при виде вождя — этого даже при Сталине от человека совсем не требовалось, правда?

Оставим его. Обращаюсь к еще более убедительно-му для меня свидетелю: к себе самому. Первым сознательным воспоминанием моей жизни была коллективизация, сопровождавшаяся беспримерным голодом 1932–1933 годов. Отец мой был коммунист, был послан на село проводить коллективизацию, и он сам был в ужасе от происходившего, от гор трупов умерших от голода, от людоедства. Мои дед и бабушка, простые трезвые люди, считали советскую власть бедствием, я помню споры деда с отцом, и я, малыш, прислушиваясь к ним, был целиком, всей душой, на стороне деда, то есть с самого раннего детства уже я имел уйму страшной информации, при которой любить Сталина и советскую власть было просто невозможно. В восьмилетнем возрасте, видя знаменитый 1937 год, я воспринимал все то как опять-таки ужас. В школе все славословия Сталину и советской власти я принимал лишь как обязательный театр, как обязательные ритуалы, которые надо выполнять, чтобы элементарно не погибнуть. Войну

я пережил в возрасте двенадцати — пятнадцати с половиной лет, причем два года находился в оккупации, в Киеве. Вот уж когда хлынула лавина информации о Сталине и сталинизме! На оккупированной немцами территории начинались расследования сталинских злодеяний, заговорили тысячи свидетелей, в газетах публиковались жуткие разоблачения. Другое дело, что немецкие фашисты оказались еще хуже, чем сталинские большевики. В данном случае я хочу подчеркнуть лишь одно: что к зрелому возрасту я успел насмотреться на действительность и так, и этак, и с одной, и с другой стороны и не видеть ужаса сталинизма не мог. Не мог не видеть!

После войны я стал пробовать силы в литературе, и потому меня тогда особенно ужаснули ждановские расправы с Зощенко, Ахматовой, с музыкой, с кино. Я помню свою реакцию на эти расправы, и мне кажется, что и сегодня моя реакция была бы такой же точно: отвращение и ужас.

И вдруг: исполнилось мне двадцать лет, я пришел в восторг от “сталинских строек коммунизма”, сам поехал на такую стройку, читал с восторгом труды Сталина, а всех, кто не был в восторге, готов был считать врагами, в лучшем случае — ослами... Через три-четыре года это прошло. Но ЧТО было в эти три-четыре года? Что за наваждение?

Пожалуй, на сегодня хватит. Закончу вопросом, по-иски ответа на который продолжу в беседе следующей.

4 февраля 1977 г.

Многолетний сон

Беседа 3

Итак, это уже третья беседа, в которой я пытаюсь найти ответ на вопрос, почему человек способен преклоняться до беззаветности перед вождем, о котором говорится, что он гениален, мудр, прекрасен, в то время как все факты прямо вопиют о том, что этот “вождь” всего лишь гнусная, преступная личность. Я разбираю конкретно примеры массового поклонения Сталину — и потому, что это совсем свежо еще в памяти, но, главное, потому, что здесь у меня есть отличный материал для исследования под рукой: *я сам*. Я уже рассказывал, как до сих пор для меня остается загадкой, почему в период моей жизни от 1949 до 1953 года я восторгался Сталиным. Всего несколько лет, и было мне тогда двадцать и двадцать с лишним... “Молодой был, дурак был” — это не объяснение, потому что, когда я был еще помоложе, да вообще с самого детства, я видел так много ужасов сталинских времен, так много горя, жертв, что — говоря ученым языком, — обладая таким количеством и *такой* информации, уж никак невозможно было бы восхищаться Сталиным, и вообще большевиками, и вообще совет-

ской властью. И я не восхищался, пока мне не стукнуло двадцать лет.

Потом, через несколько лет, наваждение прошло. Прошло навсегда. И честно говоря, конечно же стыдно, что оно было. Но теперь, с расстояния лет, вопрос “стыдно — не стыдно” отходит на второй план, а на первом плане стоит: “ПОЧЕМУ то наваждение со мной было?” Я был всего лишь одним из миллионов, и с другими случалось то же самое, это было что-то типичное.

В прошлый раз я задавал вопрос, не объяснялся ли восторг перед Сталиным простым отсутствием информации о его черных деяниях? В моем случае — нет. Точно нет. Я рос в ужасное время, видел апокалипсический голод времен коллективизации, видел 37-й и другие годы, и вообще я к своим двадцати годам знал даже, может, слишком много о, так сказать, обратной стороне сталинской медали. В прошлый раз я рассказывал о человеке, который в седом ужасе прожил большую часть своей жизни при Сталине и тоже все знал, но тем не менее плакал от восторга всякий раз в кинотеатре, когда в журнале “Новости дня” появлялся Сталин, а после XX съезда точно так же с восторгом плакал, когда в “Новостях дня” показывался Хрущев.

Я думаю, что те люди, которые свое бывшее поклонение Сталину объясняют простым “ах, мы не знали”, кривят душой. Можно не знать всего, но невозможно не знать ничего. Живя в каком угодно закрытом, сверхзакрытом обществе, невозможно хотя бы части чего-то не знать. А для любого думающего человека и этой части должно бы быть достаточно, чтобы хотя бы усомниться, так ли уж прекрасен этот образ жизни и вождь, который его олицетворяет. Любое же такое со-

мнение логично никак уж не вяжется с искренним восторженным поклонением вождю, не так ли?

Это разве уж совсем глупенькие, наивные дети могли *еще* ничего не знать о преступности сталинизма, этакие Павлики Морозовы, у них в головах есть лишь то, чему их научили, и тут все понятно, тут не над чем задумываться. Это очень страшная категория — юные человеческие разагитированные личности в руках тирании, особенно когда им дают автоматы; а автоматы им дают довольно часто, к сожалению. Но юный Павлик Морозов, у которого есть только одна информация и никакой другой противоположной, — это хотя бы понятно, такой случай заслуживает не разбора, а — скорби.

Значительно хуже, но тоже абсолютно понятна другая категория захлебывающихся от восторга поклонников божества — политики.

Эти-то все видят, все понимают, но, не желая оказаться в числе жертв, предпочитают изо всех сил служить палачу, как тот же хотя бы Берия, как — я уверен в этом — большинство из уцелевшей от расправ сталинской номенклатуры. В литературе, например, таким был Фадеев; других писателей сажали, стреляли — Фадеев же был у Сталина подручным в этом деле, хотя прекрасно все видел и понимал... Тоже страшная категория, но тоже загадки не представляет. Ее преклонение перед Сталиным было *якобы* преклонением, даже часто, как в случае Берии, с ножом за спиной.

Якобы преклонения было много. Когда условия жизни в обществе таковы, что, не демонстрируя своего преклонения, человек просто не в состоянии элементарно выжить, то тут уж каждый должен участвовать в ритуале. Таких в сталинское время было, я думаю, куда

больше, чем искренне поклонявшихся, но меня интересуют в данном случае искренние.

Искренних поклонников Сталина, я думаю, можно разделить на две группы. Одни просто не верили сведениям о преступлениях сталинизма. Имели информацию, могли знать, но раз ни на йоту не верили, то как бы и не знали, потому восторг их перед Сталиным был искренним и горячим. Это главным образом заграничные поклонники. Очень любопытное явление; в сталинские времена таких была масса, теперь вроде меньше, но все же есть. С первых же лет советской власти из Советского Союза на Запад просачивалось множество сведений о подлинном положении в стране, и о концлагерях, и расстрелах, ужасах голода, террора, убегали живые свидетели, документально фиксировали многие ужасы и западные люди, побывавшие в СССР, — информации хоть отбавляй. Но западные восторженные поклонники Сталина просто отметали ее как чистопробную ложь. И все. Очень просто. Показательное перерождение случилось не так давно с французским писателем Пьером Дексом. Он был когда-то именно таким — восторженным. Считал, что в Советском Союзе концлагерей, например, нет и быть не может. После XX съезда он был ошеломлен, а почитав Солженицына, был так потрясен, что написал об этом целую книгу. Хотя мне и очень трудно проникнуть в психологию такого типа людей, но все же их каким-то образом понять можно. Во всяком случае, и здесь все в конечном счете объяснимо.

И вот остается теперь вторая группа искренних (к которой несколько лет относился я сам), которая и представляет, собственно, для меня загадку, потому что это те, кто имел информацию и верил ей, видел творящиеся вокруг ужасы, не оправдываемые никаки-

ми якобы целями “грядущего счастья человечества”, — и тем не менее боготворил Сталина.

Да, я знаю, что так называемые “честные коммунисты”, особенно пострадавшие в годы “культа”, имеют удобный подручный аргумент, так легко якобы объясняющий их поведение: “Мы знали, но мы верили, что так *нужно*”. И тому подобное вплоть до “лес рубят — щепки летят”. Но я позволю себе усомниться. Когда миллионы тружеников убиваются искусственно созданным голодом, когда всю свирепствует машина массового уничтожения, и геноцид в отношении целых народов, и “сын за отца ответчик, и все семья — ответчик” или то фантазмагорическое превращение в “агентов капитализма” самих же свершителей Октябрьского переворота, почти всех поголовно, и так далее, и так далее, — и что, вы хотите сказать, что при всем *этом* можно действительно думать, что “так надо” или что это — всего лишь щепки при рубке леса? Бросьте. Не нужно было иметь семи пядей во лбу, чтобы, видя все это, не засомневаться: мол, “да неужто все это *надо*?”.

Кому это надо? Не могли вы не думать. Потомкам, чтобы счастливо жили? Для этого, значит, надо обязательно современникам горло резать? И те потомки будут безмятежно-счастливы на своих сияющих вершинах коммунизма, поднявшихся от такого океана крови, лжи и нелепостей?

Нет, даже самый неразвитый человеческий мозг не до такой степени темен, чтобы *абсолютно* оправдывать сталинские ужасы словами “так надо”. Просто это “так надо для великой цели” играет роль удобной успокоительной пилюли. Сознание кричит, и совесть — даже у тех, кто, казалось бы, ее совсем лишен, — подспудно

мучает, тут в какой-то мере помогает успокоительная пилюлька. Гаркнуть на совесть: “Так надо — ради нашей великой цели”, — совесть вроде бы и притихла.

Нет, я отвергаю объяснение типа: “Мы видели, но считали, что так надо, — и потому верили и поклонялись Сталину”. В таком объяснении есть принципиальная внутренняя ложь. Это вообще не объяснение, а отговорки! Взамен же нужно сформулировать что-то другое, абсолютно честное. Что?

Я чувствую, однако, что от местоимения “мы” мне нужно вернуться все же к местоимению “я”. Я должен очень точно вспомнить свое состояние тогда, в двадцать лет. По частям. Первое: “Я видел ужасы сталинизма”. Второе: “Я не считал, что так надо”. Третье: “Я несколько лет был искренним поклонником Сталина”. Да еще в какие годы — самые последние годы жизни Сталина, когда уже он совершил все, что совершил... И, вы знаете, я не уверен, что в этом странном противоречии “видел — не считал, что так надо, — и поклонялся”, — не уверен, что в этом противоречии смогу до конца разобраться. Однако попробую. Но — уже в следующей беседе. Сейчас так, на знаке вопроса, и закончу.

11 февраля 1977 г.

Многолетний сон

Беседа 4

Да, вот уже моя четвертая беседа на одну и ту же тему: почему было такое массовое поклонение Сталину в свое время, а однозначного ответа я все не вижу.

Я отбросил категории тех людей, кто боготворил Сталина по детской наивности, кто просто не знал ровно ничего о сталинских преступлениях или категорически не верил сведениям о них, но к таким я отнесу лишь очень юных да еще восторженных идеалистов за рубежом. Я отбросил также двуличных, циников, преклонение которых было фальшивым. Загадкой для меня является та — и наиболее обширная — категория, которая боготворила Сталина *искренне*, хотя, живя в стране в условиях сталинского террора, *не могла не видеть*, что творится. В предыдущей беседе я пытался доказать несостоятельность оправдания такого типа: “Да, признаём, мы *видели*, но мы думали, мы верили, что иначе нельзя, что *так надо*”. Это не оправдание, это хитрая, успокоительная и неискренняя пилюля, чтоб совесть успокоить. Все было хуже, все было сложнее — я утверждаю это, в конце концов, как очевидец и в течение нескольких лет сам участник этой фантазмагорической комедии.

В прошлых беседах я говорил, как много ужаса, как много беды, вызванной сталинским правлением, довелось мне лично видеть — ребенку, мальчонке, подростку, юноше, самому обыкновенному, простому, типичному. Так что о том, какие ужасы творятся при Сталине в окружающей жизни, я, как и всякий другой советский человек, *знал*. Тем не менее, когда мне исполнилось двадцать лет, я вдруг почувствовал восторженное преклонение перед Сталиным — “гением всех времен и народов”. Я читал его труды — они казались мне гениально мудрыми. Тогда вовсю гремели так называемые “сталинские стройки коммунизма” — Волго-Дон, Сталинградская ГЭС, Каховская ГЭС, каналы, лесополосы. Я дрожал от восторга, читая о земснарядах и экскаваторах, и не выдержал и поехал на строительство Каховской ГЭС, работал там и думал, что нахожусь в центре всемирно-исторических событий...

Но довольно быстро это наваждение прошло. И после, все годы вплоть до сегодняшнего дня, я рассматривал Сталина не иначе, как личность преступную. Однако *почему было* то наваждение?

Старательно вспоминаю тогдашнее свое состояние. Скажи мне лично товарищ Сталин: “Иди и закрой грудью амбразуру” — пошел бы, не колеблясь ни секунды. Спросили бы меня: “Правильно ли все, что сделал Сталин?” — ответил бы: абсолютно правильно, правильнее быть не может. Ну, а голод 33-го года, а год 37-й и все ужасы всех сталинских лет? Концлагеря, ээка, НКВД и так далее, и так далее?..

А вы знаете что?.. Это все для меня как бы перестало существовать. Я его как бы не помнил. То есть как не помнить? В памяти это было, но — как бы отправленное в архив, упакованное, перевязанное, ненужное —

туда его, в дальний пыльный угол. Сознание просто не хотело, чтобы это было. Та часть сознания, которая любила Сталина, как бы приказала: “Спи!” — другой части сознания, владевшей *фактами* о сталинских ужасах. И та заснула. И спала как загипнотизированная несколько лет.

...Недавно мне на глаза попало описание любопытного случая в медицине. Некий двадцатилетний американский студент Джин Типс после автомобильной катастрофы остался жив, но не пришел в сознание ни в ближайшие дни, ни через месяц, ни через год. Что ни делали врачи — не помогало. Случай был признан безнадежным. Джин Типс был совершенно туп и ни на что не реагировал, хотя если его кормили, то ел, если поднимали на ноги и вели, то ногами переступал. Так прошло восемь лет. В 1975 году у него вдруг возникло воспаление желчного пузыря и надо было делать операцию. Сделали. Через шестьдесят пять часов после операции мать Джина, которая, надо сказать, все эти годы ухаживала за ним и никак не соглашалась поверить, что сознание сына угасло навсегда, сидела возле его кровати и задремала. Разбудил ее голос сына: “Мама, сколько времени я лежу в этой больнице?” Она смотрела на него потрясенно. Он опять спросил как ни в чем не бывало: “Мама, а когда это ты так поседела, ты белая, как голубь! Сколько дней я в этой больнице?” — “Три дня, сынок”, — пробормотала мать. Он всполошился. “Я должен сейчас же встать, я не могу прогулять больше пяти дней, а то меня исключат с курса”.

Он пришел в себя, понемногу узнал, что с ним было. Озадаченно говорил: “Но мне казалось, что я просто спал. И досадовал, что вы непрерывно стараетесь меня разбудить, мне же не хотелось вставать — так

ужасно хотелось спать”. Выясняется, что он все эти годы почти все происходившее вокруг замечал, слышал, но: “Зачем вы старались меня разбудить? Мне так хотелось спать!”

Любопытно, правда? В своей лвиной части сознание как бы получило откуда-то приказ: “Спи”. И заснуло, хотя ЗНАЛО, что его будят, видело, что вокруг беспокоятся, поделяывают какие-то вещи, чтобы разбудить. А оно: “Зачем вы меня будите? Я хочу спать”. Потом взяло и проснулось.

Чтение этой истории, собственно, и натолкнуло меня на воспоминания из своей жизни. Как это могло случиться, что в моей собственной жизни мое сознание — так странно — да, как бы спало в той своей части, которая располагала *фактами*, а жило, и плясало, и кривлялось лишь в той части, которая верила в иллюзии?

Странность явления усугубляется еще тем, что я совершенно точно помню, как где-то на переломе между двадцатью четырьмя и двадцатью пятью годами, давно с омерзением сбежав уже с “великой Каховской стройки коммунизма” (формально, правда, это выглядело как законное поступление на учебу в институт в Москве, но это-то и было как раз счастливо удавшееся бегство мое), — так вот, сбежав и живя уже в Москве, я однажды почувствовал себя как бы проснувшимся. Я удивленно смотрел на дома, на небо, на людей, собак, грузовики и троллейбусы — так, словно их первый раз увидел после долгого, полного кошмаров сна. “Как это я мог раньше делать то-то и то-то? — прямо-таки потрясенно спрашивал я себя. — Или какой черт понес меня на эти “стройки коммунизма”? Боже мой, сколько же времени я потерял!” Да, это было очень похоже на пробуждение. И потом это случилось еще

несколько раз, но уже не в такой сильной форме. Я даже привык к тому, что периодически раз в несколько лет я как бы просыпаюсь и смотрю на мир как бы протрезвевшим и обострившимся зрением.

В такой момент вспоминаешь, например, какой-нибудь спор с умным человеком, который тебе доказывал прямо противоположное тому, на чем ты упрямо как бык стоял, — спор до ссоры, до ненависти, бывало, — и теперь потрясенно понимаешь, что ведь тогда он был прав, а не ты... Почему же *тогда* его правота не была тебе ясна? Он стучался в твоё сознание, кричал: “Пробудись!” А ты его лишь возненавидел за это. Поистине: “Зачем меня будите? Я *хочу* спать”.

Скажите, а с вами не случалось такое?

Какая сложная вещь — наш мозг... Какие шутки он может проделывать! Причем этак исподволь, незаметно. Яркие, клинические случаи бросаются в глаза, имеют четкие приметы болезней сумасшествия, лечатся и прочее. А вот когда человек, выглядящий абсолютно нормальным по всем статьям психиатрической науки, ревет как белуга от счастья, видя живое божество, гения всех времен и народов, воплощение всех добродетелей, например по имени Иосиф Виссарионович; да когда Иосиф Виссарионович скажет: “Иди, закрой грудью амбразуру” — и он счастливо побежит и закроет; “А по-ди-ка и перережь горло вон тому врагу народа” — он радостно побежит и перережет горло хоть Бухарину, хоть Пушкину, хоть Льву Толстому, хоть даже самому Христу, ибо если вождь-божество сказал “режь”, то какие могут быть сомнения? Вот *это*, скажите мне, *что это такое*? Болезнь? Нет вроде. Сон какой-то здраво-мыслящей части мозга, который бывает и многолетним, а то и хронически-пожизненным? Да?

Не знаю. И вообще, вы будете правы, если упрекнете меня, что я столько уже времени толкую и топчусь вокруг поклонения Сталину, а вместо ответов лишь умножаю вопросы, а ведь тут еще можно было бы нагромоздить много других незатронутых факторов: например, удивительное и малоизученное явление коллективной истерии, древние стадные инстинкты или фатальность ошибок в нашей людской практической логике, так же как и в примитивном материалистическом мировоззрении... Очень многое может иметь отношение к отвратительному явлению массового поклонения вождям... Не охватишь всего. Итак, с вопросами я и кончу эту беседу, которой название дал “Многолетний сон”. Возвращаясь к слову “сон”.

Может, действительно нам, людям, полезно бы — да почаще! — придиричиво так спрашивать себя: “А не спит ли в этот момент какая-нибудь важная часть моего сознания; хорошо ли бодрствует полностью все мое сознание?”

18 февраля 1977 г.

Словарь имен

Недавно мне удалось купить наконец небольшую книжечку, выпущенную в СССР еще лет десять назад, но которую я, живя в СССР, никак не мог достать, как ни охотился. А в Лондоне она лежит себе на полке в отделе русской книги магазина “Фоялз”, рядом с другими такими книгами, которых в Москве днем с огнем не найдешь, и я как увидел, так и схватил: “достал” наконец! “Словарь русских личных имен”, издательство “Советская энциклопедия”.

Зачем мне словарь имен? Так писатель вечно мучается, подбирая имена своим героям, нужны бывают имена комичные, имена старинные, имена выпренные или идиотские, наконец, просто приятные имена, и когда пишешь роман, как на грех, нужные имена не приходят на ум, и вот, представьте, я, писатель, не мог достать в Советском Союзе элементарного словаря имен. В Англии вот достал, в Лондоне.

Теперь вечером в постели на сон грядущий листаю его, получая бездну наслаждения, и вот мне хочется поделиться хотя бы крупницами этой бездны. Конечно, в словаре представлены старые имена такого типа,

как Хавронья, Евпл, Акакий (помните, конечно, гоголевского Акакия Акакиевича?) или, скажем, Луп. Уменьшительное: Лупа, Лупка; дети будут Луповичи и Луповны.

А что за прелесть (как русские имена) Архимед, Клеопатра, Сократ, Паллада. Архимед Иванович! А дети у него будут Архимедовичи.

Словарь всюду, где можно, дает варианты уменьшительных имен. Вот, от Архимеда — будет, значит, Хима, или Меда. Сократ — Кратя. Клеопатра — конечно, Клёпа, и еще можно Пятя, Патька. От Паллады — Паля или Палка. Геракл — слава богу, Гера.

От такого имени как Вахтисий уменьшительное будет Вахта, Вахточка. Гаведдай — Гава. Сосипатр — Сося. Яздундокта — Дока или попросту Дуня, Ерминингельд — Ермиха, Ермиша и... Миша. А к Ексакустодиану не дано уменьшительных, и непонятно, как его в детстве звали: Ексакустоденька, Ексакустик — или просто Кустик. От имени Пуплий, совершенно ясно, будет, конечно, Пупа, Пупочка, Пупик. Но каковы отчества потом у их детей: Иван Ерминингельдович, Марья Ексакустодиановна, Клеопатра Пуплиевна...

А вот еще имя: Победа. Уменьшительное Беда, Бедочка. Гелий. Гигантий. Гений... Но, представьте, это все ничто по сравнению с другим, главным удовольствием, которое вы получаете от этого словаря. Главное удовольствие — это имена новые, послереволюционные, советские. Вот тут действительно россыпи.

Признаться, ни одного из перечисленных выше старых имен, от Архимеда до Пуплия, я лично в жизни не встречал. Архимеда знаю, как и вы, думаю, только одного: древнегреческого. А вот женщину по имени Красарма я

знал. Красарма, конечно: *Красная армия*. Кимов (*Коммунистический Интернационал молодежи* — КИМ) и Владленов (*Владимир Ленин*) знал просто даже многих. Приятельница из школьных лет была у меня: Диямара (*диалектический материализм*). В доме отдыха “Головинка” (под Сочи) долгое время работали физкультурниками муж и жена, которых звали Октябрь Иванович и Революция Михайловна. Октябрь Иванович даже шутил: “Вы знаете, — говорил, — когда я встретил Революцию Михайловну, так тут сразу и понял, что мы созданы друг для друга”. Конечно же имя в жизни человека очень много значит: от того, как его назовут, в будущем могут складываться совершенно определенные, те, а не иные черты характера, даже на целую судьбу может наложить чувствительный отпечаток, а потом, в качестве отчества, — и на судьбу детей. Какие же имена принесла новая эпоха, открывшаяся светозарной Октябрьской революцией 17-го года?

Ну, значит, кроме Революции Михайловны, родились: Рев и Рева (сокращенное *революция*). Ревмир и Ревмира (*революция мировая*). Рем и Рема (то же самое: *революция мировая*). Октябрин и Октябрина, конечно. Из-за путаницы со старым стилем — конкурирующие с ними Ноябрьрин и Ноябрьрина. Ор — просто Ор (первые буквы слов *Октябрьская революция*). Уменьшительно Оря, дети — Оровичи и Оровны. Рада (что значит — *рабочая демократия*).

Красномира, Краснослав, упоминавшаяся уже Красарма (уменьшительно-ласкательно Красармочка, Красармуля, Красармуся, что в устах любящей, но темной бабушки превращалось просто в Мусю).

Новомир — это уже прямо по Оруэллу. Новомир. А маленький — Новомирчик, Новомируля.

Заря, Звезда, конечно, и Искра, и Идея. Уменьшительно: Идейка. Эра — Эрочка, Эрка. Свобода — Свободочка, Свободка, Свободуля. Имя Люция — тоже от *революция*. Далее весьма мужественный Ренат (что значит: *революция, наука, труд*). Рикс — *рабочих и крестьян союз*, Рикс! Или, например, Донара — *дочь народа*. Тут, мне кажется, проглядывает какая-то двусмысленность, что ли, не знаю, удачно ли образовано это имя. Дочь народа — без отца, что ли? Народ — отец.

Под статью ей замечательные мужские имена: Ревдит — *революционное дитя*. Роблен — *родился быть ленинцем*. Или Икки — это значит — *Исполнительный комитет Коммунистического Интернационала*. Реввола (*революционная волна*). Ремиздан (*революция мировая занялась*).

Лорикэрик — тут довольно сложно и много, это значит: *Ленин, Октябрьская революция, индустриализация, коллективизация, электрификация, радиофикация и коммунизм*. По буквам: Эл, О, Эр, И, Ка, Э, Эр и Ка, Лорикэрик. А лихо ведь! Вся программа тут, кроме разве *борьбы за мир*, которую можно, в конце концов, и добавить: Лорикэрибзам. И куда в хвосте останется посрамленный Лориэкс, значащий всего лишь *Ленин, Октябрьская революция, индустриализация, электрификация, коллективизация и социализм*: Лориэкс... Боже мой, что было в головах людей, которые давали своим детям такие имена?

Но это только начало. Особым отделом стоит, так сказать, Лениниана советских личных имен. Она необозрима. Владлен, значит, и Владлена, тут же Владилен и Владилена, тут же Вилен и Вилена, тут же Виленин и Виленина. Конечно же Ленин и Ленина. Вил — инициалы *Владимир Ильич Ленин*, и просто Лен. Вило-

ра — значит *В.И. Ленин — организатор революции*. Лемира — *Ленин и мировая революция*. Марлен и Марлена — *Маркс и Ленин*. Нинель — перевернутое *Ленин*, с конца наперед. Как только не изощрялись!..

А пламенные тридцатые годы подарили обществу популярное имя Сталина. И целые косяки таких замечательных имен, как Трактор, Комбайн, Турбина, Дрезина, Дизель или Цас (что значит *Центральный аптечный склад*), Райтия (*районная типография*), Райком и даже Гласп (что значит *Главспирт*). Об этих именах словарь отзывается, однако, неодобительно, считая их неудачными, но только их. Вся Лениниана, конечно, очень даже рекомендуется. Не рекомендуются как неудачные словосочетания в качестве имен: Серп-и-Молот, Артиллерийская Академия, Догнат-Перегнат (в смысле *догнать-перегнать Америку*). Мамошки мои, как же это звучало? Серп-и-молот Иванович, Артиллерийская Академия Михайловна, Догнат-Перегнат Петрович! А дети его — Догнат-Перегнатовичи?.. Тут даже Дрезина Кузьминична покажется верхом благозвучия. Из этого следует помимо всего, что с именами, даваемыми детям в конкретные великие исторические моменты, нужны прозорливость и осторожность. В словаре не сказано, не встречались ли, хотя бы в качестве отдельных казусов, такие имена, скажем, как Берия Николаевна, Хрущина Васильевна или, допустим, по весьма популярной когда-то песне: Москва-Пекин Петрович? Или Ассуаноплотина Сергеевна? Не попадались вам?

К счастью, на общем фоне их все же не так много, этих “новых советских” имен. Надо отдать должное трезвости народной. Вы согласитесь, что если так посмотреть вокруг, то видишь больше все те же добрые, хорошие имена: Иванов и Маш, Алеш и Наташ и так

далее. Когда-нибудь, надо надеяться, не останется Марленов и Ленин, как и Сталин, как и Догнатов-Перегнатов. Словарь же имен, может быть, окажется неожиданно ценным подспорьем для исследователей — наших потомков, если они захотят глубже проникнуть в психологию странного феномена, происходившего начиная с 17-го года в стране, занимавшей одну шестую часть земного шара.

18 февраля 1977 г.

Хорошая нынешняя молодежь

Да, это уже стало прямо-таки законом для всех времен: старшие непременно ругают “никуда не годную современную молодежь”, со временем та стареет и в свою очередь начинает ругать уже новую, “никуда не годную современную молодежь”, и непонятно при этом, как же мир не движется вспять, а все-таки куда-то развивается да развивается.

Мысли этой моей беседы вызваны присуждением Нобелевской премии мира организации “Международная амнистия” — *Amnesty International*. Хотя в ней, конечно, состоит много людей старших поколений, но статистическое большинство конкретных, самых рядовых и беззаветных работников — это молодежь. Вот уж действительно молодежь, никак не укладывающаяся под ярлык “никуда не годная современная”. Молодежь *Amnesty International* — не приятное исключение, однако, а скорее типичный знак того, что происходит сегодня с западной молодежью вообще. Если сравнивать поколение молодежи 60-х годов и нынешнее поколение молодежи лет

70-х, то разница (и притом в пользу последних) сама бросается в глаза.

Поколение 60-х годов отличалось довольно-таки хаотичным бунтом против традиций, обычаев, взглядов, порядков. Были бунты в университетах и школах, бунты на фабриках, уличные столкновения — лихорадочный поиск некоей совсем уж новой программы действия. Молодежная мода, молодежная музыка, молодежный танец, полное отгораживание от старших и отрицание их. Выдумывали собственные стили существования с любой степенью неудобства, лишь бы отличаться от старших. Агрессивные практические действия как-то шли параллельно с попытками бегства от действительности. Хиппи, например. Мистицизм. И тут же маоисты, троцкисты, анархисты, утопические социалисты, последователи учений Будды и Конфуция, неохристианские страстные поклонники Христа. Секты, секты, секты... И наркотики.

Сейчас эти все молодые люди выросли, перевалили за тридцать и... обанкротились. Иного слова я как-то и подобрать не могу. Пошумели, пошумели и... кто махнул рукой и стал жить как все люди, а кто до сих пор цепляется за прежнее, но то, что было так к лицу в семнадцать-двадцать лет, сегодня выглядит смешно и жалко: сорокалетний хиппи, например, с кучей детей, которые чем больше подрастают, тем больше над ним же и смеются.

Новая молодежь, уже хотя бы по извечному стремлению не быть похожей на предшественников, теперь совсем другая и — вот приятный сюрприз! — хорошая в общем и целом, умная, серьезная молодежь. В общем, я говорю. Есть, конечно, тенденции разные, но скорее как спорадические и побочные, для целого не типичные, я же говорю о том, что становится типичным.

Вообще-то не одним только злым словом стоит поминать и бунтарей прошлого десятилетия. Надо отдать должное: и бунт в чем-то был конечно же обоснованным, и он вызвал немало изменений, исправлений или координаций в некоторых областях западного общественного демократического устройства. Часто совершенно конкретно исправлялись условия труда на фабриках и в учреждениях, условия и отношения в учебных заведениях.

Да, собственно говоря, и современное поколение 70-х годов от бунта не отказалось, хотя бы потому, что бунт в той или иной форме органичен для любой молодежи, без него она не была бы молодежью. Все дело в том, однако, в каких формах бунт. Так, современное поколение “бунтует” разумно. Оно не отрицает огульно всего, лишь бы отрицать. Отрицает то, что, пожалуй, действительно стоит отрицать. Вот как *Amnesty International*: она категорически отрицает преследования за политические убеждения, она взяла под защиту всех политзаключенных во всем мире. Она права!

Далее, у сегодняшней молодежи явно заметно обращение ко многим традиционным ценностям, таким, как дом, семья, школа, церковь, о чем их оголтелые предшественники и слышать не хотели. Но, в конце концов, ведь есть же ценности, которые — действительно ценности. Это сегодняшняя молодежь, оказывается, поняла! Да, молодые по-прежнему (и справедливо) высоко ставят свою собственную независимость — но при этом и слышны их же собственные призывы к дисциплине в школах, к уважению авторитета и опыта родителей. Это уже прямо, знаете, поразительно.

Далее: увлечение наркотиками явно уменьшается. Неразборчивость в сексе, эротическая извращенность

считаются уже не выражением протеста и независимости, а всего лишь выражением грязи. Начиная с появления книги, а затем фильма *Love story* среди молодежи снова воцарился культ глубокой, духовной, романтической любви. Идеальная, даже платоническая любовь, вызывавшая недавно такой град насмешек, опять пользуется великим уважением.

И что уж совсем удивительно: несмотря на заметно ухудшившуюся во многих странах Запада экономическую ситуацию, несмотря на определенный хозяйственный кризис и увеличение безработицы (а она касается обычно в первую очередь молодых), нынешнее молодое поколение не выказывает пессимизма, водопады которого прямо изрыгало поколение лет 60-х, хотя ему жилось куда удобнее и лучше.

Анкетные опросы, зондирования прессы показывают, что среди сегодняшней западной молодежи отмечается растущая вера в будущее мира, то же самое — с уважением и любовью к своей стране. Слово “патриотизм”, которое совсем недавно под влиянием анархизирующих леваков причислялось к категории постыдных, теперь обретает опять свое бывшее положительное значение. Молодые не стыдятся говорить, что их интересует работа для своей родины, верность своему народу, привязанность к культурным национальным традициям.

Далее, новые молодые на Западе отличаются довольно-таки завидной силой воли и стойкостью в борьбе с противоречиями; считается достойным не бросаться в истерику или панику при неудачах, а держаться спокойно, брать трудности, если нужно, так сказать, длительной осадой. Это обычно признак духовной зрелости. Если можно так выразиться, современная молодежь раньше, чем прежде, стала приходить

к зрелости духовной, гражданской, моральной и даже политической.

А сколько приходится видеть молодых людей, серьезно и глубоко озабоченных проблемами прав человека! Или вот другая область: вопросы загрязнения и уничтожения натуральной среды. Кажется, современная молодежь не в шутку озабочена тем, что будущие поколения будут иметь массу трудностей, может, даже размеров катастрофических, по вине живущих ныне, что человечеству придется дорого платить за близорукость и беззаботность современных людей, и движение молодых в защиту среды разрастается буквально не по дням, а по часам.

Еще, должен сказать, мне нравится в сегодняшней западной молодежи то, что как-то совсем уж затюкали крикуны прошлого десятилетия, — уверенное и горячее стремление к получению серьезного образования, максимума знаний, серьезной профессии. Почти не слышно больше о каких-то беспорядках в университетах, в них опять восстановлен дух уважения к учебе. Библиотеки переполнены. Явно наблюдается крен в выборе объекта учебы — большинство выбирает теперь дисциплины практические. На различных курсах, организующихся соответственно потребностям на рынке труда, обычно заняты все места. Не бросается в глаза пустая расточительность, бездумная трата денег, каковое явление было огульным в прошлом десятилетии. Ну это понятно: лишних денег у родителей стало меньше. Но, кажется, не только в одном этом причина. Это ведь тоже проявление общего более серьезного отношения к жизни.

Западные молодые явно менее циничны, чем их предшественники. Повседневный реализм они пыта-

ются объединять с идеализмом в лучшем смысле этого слова — и вообще с теми моральными критериями, которые выдержали экзамен времени.

Все эти тенденции в целом обнадеживают. Забавно, что они проявились, несмотря на то обстоятельство, что много школьных и университетских кафедр захватили преподаватели, которые как раз десять лет назад сами были юными и повыходили из групп, проповедовавших и моральную анархию, и экстремизм, и маоизм, и все тому подобное. Пожалуй, здесь играет роль принцип отталкивания, стремление к непохожести. Как ни стараются эти горе-преподаватели воспитать себе продолжателей, а молодежь как раз и не хочет на них походить. Приходилось не раз читать панические предсказания, что эта волна анархистствующих преподавателей ведет к катастрофе в области образования на Западе. А оказалось, как все в жизни, сложнее и неожиданнее, и худо вдруг привело к добру.

Конечно, и много всякого недоброго и неприятного есть среди сегодняшней западной молодежи, но я, повторяю, старался выделить главное, типичное, а оно оказывается крепким и многообещающим. И знаете, так хочется верить, что все в мире обернется все-таки к лучшему. Почему не верить? Если сильно верить, то уверенности прибавится, а это уже лучше.

28 октября 1977 г.

Мост и шпион

Плыли мы как-то на речном пароходе с мамой по Днепру, было дело еще в пламенные годы тридцатые, — первое мое великое путешествие, от Киева до села Британы, четвертым классом, палубные места, благодать, хоть под шляпкой спи, хоть под стенкой машинного отделения. Но поскольку было лето, то мы с узлами поместились наверху, у самого капитанского мостика, вона как — и солнышко греет, и от ветра укрытие.

Хорошо ездить четвертым классом. Я потом сколько плавал — и все норовил взять палубное место, потому что оно несравненно лучше, чем дорогое, с почти гарантированной площадью для лежания, третьего класса. Те буржуи, что едут третьим классом, лежат где-то в трюме вповалку впритык один к одному, вонища, духотища, вода по полу перекачивается, словно корабль тонет, пот с них течет, и клопы их поедом жрут. Что клопы? Какой же пароход без клопов? Клопы очень любят путешествовать. Я, например, встречал их и в купейных вагонах дальних поездов, и в каюте люкс океанского лайнера “Адмирал Нахимов”, ну про мелкий транспорт — автобусы там, электрички, трам-

вай — тут вы и сами, надеюсь, сколько раз видели, как по спине стоящего перед вами в давке пассажира так и чешет клопина, мерзавец; и возникает непонятная ситуация: снять его тихонько и казнить давка не позволяет, руку не высвободить; сказать человеку — так что это даст? Еще обидится, да и клоп-то, может, не его, а принадлежит городскому коммунальному хозяйству; и так вы себе стоите и наблюдаете, молясь лишь, как бы он на вас не пошел. Что лайнер “Адмирал Нахимов” — я в самолете, рейс Москва — Ленинград, с клопами летел, лично, видел своими глазами и отбивался своими руками. На космических кораблях, естественно, я не летал, но совершенно серьезно и не в порядке зубоскальства, а вполне естественно можно спросить: если они уже и в реактивные лайнеры проникли, то чем, в принципе, застрахованы корабли космоса? И когда начнем осваивать Луну и Марс, то не завезти бы туда клопа... Вы смеетесь, а я не шучу. Сейчас, конечно, соблюдаются меры, стерилизации там, но потом, когда это дело станет рутинным, там, глядишь, Валька-стерилизаторша заболтается, Верка-инсектологичка в буфет за апельсинами побежит, ну и...

Но я прошу прощения: отвлекся совсем в другую область. Я ведь начал рассказывать, как мы с мамой ехали на пароходе. Мне было лет семь, первое путешествие — плавание. И только мы совсем уже хорошо, благодатно расположились под капитанским мостиком, на солнышке, как началась страшная паника. Матросы побежали по палубам, по трапам, кричали, гнали: все вниз, с палубы вниз, окна закрыть!

Мост! Мост впереди показался. А мост, как известно, есть страшная государственная тайна. Никто из смертных не может видеть его даже краем глаза, если не

обладает на то особыми полномочиями. И потому на всех пароходах при приближении к мосту всех загоняли вниз, закрывали выходы, зашторивали окна и задраивали иллюминаторы, а отбой наступал, лишь когда мост уже был в километре или двух за кормой.

Да, да! Не верите мне — спросите пожилых людей. Ведь так-то было в добрые прежние времена. Оборона страны была у всех на устах. Шпионов было видимо-невидимо. Сейчас трое собираются — один стукач, а тогда трое собирались — один был шпион. Или хотя бы, по меньшей мере, какой-нибудь вредитель. Саботажник!

А Родина наша так велика, много в ней лесов, полей и рек. А на всех этих реках мостов!.. И все — стратегические объекты, и все — государственная тайна!.. Боже мой, сколько это раз надо было бегать с палубы в трюм и задраивать иллюминаторы! Да не с вещами же, а налегке.

И после второго или третьего моста вернулись мы с мамой к нашим узлам — а одного уже нет, того, самого важного, с буханкой хлеба и луковицами, и еще глиняный горшочек был с домашним смальцем — пропитание-то на все путешествие! Мама горевала, мама во-ра проклинала. А уже на горизонте следующий мост.

И вот... слушайте, слушайте, как рождаются саботажники, как готовы Родину продать за горшочек смальца. Я эту страшную тайну ни тогда, ни после никому-никому не открыл. Вот только теперь, когда прошло уже сорок лет, рассказываю наконец, что тогда было. В первый раз рассказываю.

Мы не пошли в трюм. Еще матросы не показывались, чтоб гнать, а мы тихонько залезли под какие-то брезенты, сваленные тут же под капитанским мости-

ком, сделали себе щелочки и — мама от узлов глаз не отрывала, а я... А я, маленький вредитель-”саботажник”, во все глаза, с замирающим сердцем и с душой в пятках смотрел на мост. И я запомнил его во всех деталях, так что хоть сейчас могу начертить. Правда, не знаю, где он, но — запомнил. Нет, я не старался, оно, как назло, само запоминалось. И был то, на мою беду, не какой-нибудь плюгавенький пешеходно-гужетранспортный, а настоящий, добротный железнодорожный, может, еще до революции строенный какой-нибудь немецкой компанией, так что у нее-то в архивах и чертежи, может, хранились, но не нашего ума было это дело, а главное было то, что смотреть-то — нельзя!

А вы знаете, как выглядит добротный железнодорожный мост снизу, если смотреть с проходящего под ним парохода? Этакое гулкое, железно-ржаво-величественное, с эхом между позеленевшими быками-устоями, вокруг которых жутко бурлит течение — это такое *нечто*, такая государственная, стратегическая тайна, в лицо которой я тогда, в свои семь лет, посмотрел как в лицо Медузе Горгоне. Но не обратился в камень, остался жив, и лишь погрёб увиденное глубоко в себе. С тех пор при словах “государственная тайна” у меня всегда смутно возникал образ того жуткого моста.

Потом, в конце войны, у нас в хате часто стояли постоем военные и даже какой-то маленький штаб однажды располагался, и я, конечно, крутился между ними — и я видел, как офицеры имели не советские карты, а немецкие преподробнейшие карты нашей местности, и Днепра, и мостов, конечно, и чуть не каждого колодца и одинокого дерева; это считалось удачей — достать немецкую карту, потому что на советских все было спутано, указаны дороги, которых нет, не указаны

мосты, которые есть, а если и указаны, то отнесены далеко в сторону. Так мы путали врага, так мы маскировали свои государственно-стратегические секреты. У нас всегда на этот счет — и прежде было, и поныне есть — ой как строго. Каждый ребенок уже в детском саду учится чему? Бдительности. Мы — самый бдительный на свете народ, наверное.

Вот я еще помню, как в вагоне московского метро шпиона поймали. Тогда метро было новинкой, шуму, крику. И поехали мы с мамой году этак в 39-м хоть краем глаза взглянуть на столицу нашей Родины Москву и на метро, конечно, первым делом. Сошли с поезда на Киевском вокзале, спустились под землю на лестниче-чудеснице (боже мой, как она мне понравилась!), впились в превеликой давке в вагон метро — и поехали.

А то была та, довоенная линия, что сразу от Киевского вокзала выходит на мост через Москву-реку. И вдруг на мосту — какое-то шипение, поезд тормозит, останавливается. В нашем вагоне движение, толкаются, кого-то бьют, крик... “Шпион, шпион!” Милиция прибежала по мосту с наганами, поднялись через открытую дверь в вагон, терзают кого-то, повалили. Ужас какой-то! Это первое впечатление-то от метро у меня. Пошел поезд медленно. На следующей станции “Смоленская” повели мерзавца по платформе, выворачивая руки. Какой-то хлюпенький, до предела растерянный, с открытым окровавленным ртом парнишечка, пацан совсем. Что за шпион? Разговоры: “А он на мосту экстренной ручкой дверь открыл. Зачем? А, зачем! Наверное, хотел прыгнуть и мост подорвать”. Фу-ты, опять мост!

Ну, я мал был, а все же подумал: какой же шпион среди бела дня скачет из вагона метро на мост, да никакого динамита к тому же при себе вроде не имея? И ли-

цо его разнесчастное, и этот вид плачевный — ну невозможно поверить, что шпион, собачий бред какой-то. Я стал приглядываться к этим экстренным ручкам у дверей, ну и, конечно, все стало понятно. Наверное, был то провинциал, может, как и мы, в первый раз в метро поехал. А на мосту качало, он, бедняга схватился за какую-то ручку, а она и повернись. Он ведь, может, и не понял, что случилось, за что его так, пошто столько бьют, милиция, оружие, пистолет меж лопаток. Но не сопротивлялся: известно, свалилось — терпи, значит, виноват. И что с ним было потом? Все могло быть, все могло быть... покатался, называется, в метро.

М-да. В последнее время почему-то у меня мысли все больше обращаются к тому, что, вот, мне так долго довелось наблюдать некую необычную страну на Земле, где, в отличие от других, люди находились в каком-то странном... ошалении, что ли. Я рискнул рассказать про тот мост или про этого “шпиона” в метро потому, что сейчас рассказываю для вас, для советских современных слушателей, которые понимают, о чем речь, и поверить не могут. Но если бы я так, без всякой подготовки, вздумал рассказать это какому-нибудь современному жителю Лондона, например моему соседу-англичанину, педагогу, то, хотя он и педагог, человек образованный и знает, что такое Советский Союз, он, пожалуй, ни капли бы мне не поверил. Да! И не вздумай пытаться. Не поверит.

3 ноября 1977 г.

Закономерности социализма

Беседа 1

На днях я ехал по одному частному делу к Анатолию Павловичу Федосееву. Он живет в Лондоне, как и я, в доме, который он напиговал разными техническими усовершенствованиями, и бывать у него чрезвычайно интересно, особенно человеку, который любит сам все мастерить.

По дороге я увидел на заборе объявление о каком-то митинге английских социалистов с большими, бросающимися в глаза буквами: “Почему вы должны быть социалистом?” Ну, я, проживавший в СССР при социализме почти сорок лет, лучшее время моей молодости терявший на зубрежку марксизма-ленинизма, изучивший, мне кажется, достаточно как марксистские первоисточники от доски до доски, так и повседневную практику, — я, в общем-то, знаю, почему человеку предлагается быть социалистом, и желания пойти на этот митинг объявление у меня не пробудило.

Приехав к Федосееву, я обмолвился, что видел такое объявление. “А, — сказал он, — я тоже видел. И, придя домой, сел и написал вот это. Как вы думаете, стоит предложить в печать?” Он протянул несколько

листочков, напечатанных на машинке, с заголовком: “Почему вы *не* должны быть социалистом”.

Я попросил один экземпляр — взять домой почитать, и вот по свежему впечатлению хочу рассказать об этой статье Федосеева.

Но сперва о нем самом.

Анатолий Павлович Федосеев — выдающийся ученый-физик. Он автор ряда открытий в области электроники, в частности в области радарной техники, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии; и вот однажды, несколько лет назад, во время поездки в составе советской делегации на авиационную выставку в Париже он отстал от делегации и обратился к властям с просьбой помочь ему остаться на Западе. Он выбрал страну для проживания — Англию. Здесь он продолжал работать в своей области в первоклассной лаборатории при Кембриджском университете и одновременно увлекся исследованием проблем социализма, результатом чего было появление ряда его статей и автобиографической книги “Западня”. Последняя статья “Почему вы *не* должны быть социалистом”, собственно, суммирует все, до сих пор написанное им на эту тему на Западе, в максимально сжатом виде.

Я не любитель читать исследования о социализме, как и о всяких “измах” вообще, от которых, однако, в сегодняшнем мире прямо никуда не денешься, но рассуждения Федосеева так меня поражают своей предельной ясностью, своим абсолютным здравым смыслом, что я готов был бы рекомендовать прочесть это всем и каждому, задавая при этом вопрос: “Неужели, прочтя вот это, вы и дальше сохраните какие-нибудь иллюзии относительно социализма?”

Вообще-то любопытно, что в современном мире, где слово “социализм” прямо не сходит с уст, очень мало людей могут толково и внятно определить, что же это такое по существу. Федосеев вскользь замечает, что на свете имеется, пожалуй, столько представлений о социализме, сколько есть на свете людей. И каждый понимает что-то свое, то, что ему интереснее или удобнее. Поклонники социализма исходят из чего? Из того, что старый капиталистический мир плох: у одних много, у других мало, одни богатые, другие бедные; плохо, конечно, несправедливо. Надо исправить, изменить. Корень зла — в частной собственности. Надо все делать общим — чтобы всем было поровну и чтобы все были равны. Неплохо ведь выглядит, не правда ли? Очень неплохо! И в этом сила социализма — и, разумеется, его конечного этапа, коммунизма, — что вообще, на первый взгляд, его принципы выглядят неопровержимо справедливыми. И большинство людей дольше этого первого взгляда не идут. Они знают лозунг: социализм — это хорошо.

Но помилуйте, вот наблюдается странное явление, которое даже можно назвать закономерным: во всех странах, где социализм восторжествовал, странах чрезвычайно разных (как СССР и Китай или Куба — уж такие разные страны, народы, традиции, истории, расы!), — наблюдаются одни и те же неприятности, и что-то не так уж хорошо. Свирепые нехватки того-се-го, вплоть до введения карточной системы, жестокий террор органов безопасности, закрытие границ и прямо-таки параноический страх перед проникновением идей извне и тому подобное. Что за наваждение? Насчет нехваток — помните ответ армянского радио на вопрос “Что будет, если в Сахаре придут к власти коммунисты?” — “Первым делом не станет песка”.

Но действительно, где бы ни пришли к власти коммунисты, объявив страну социалистической и проведя главные преобразования, то есть генеральную национализацию и сосредоточение управления решительно всем в едином центре (разумнейшие ведь, казалось бы, прекрасные меры!), — там сразу же чего-то начинает не хватать, да как не хватать! Так, что жизнь подчас превращается чуть ли не в кошмар. Тот, кому не нравится, хочет убежать — не может: границы закрыты. Высказавшего вслух недовольство — хватают, наказывают как злейшего врага. Нехватки и страх, страх и нехватки. Что это?

Стоящие у власти коммунисты объясняют, что это временно. Что это вызвано бешеным сопротивлением прежних эксплуататорских классов, они-де виноваты. Далее — трудности переходного периода и так далее, объяснений очень много, но вот и год “временно”, и два, и десять, а в Советском Союзе и пятьдесят и шестьдесят, а в принципе, как начало когда-то все общество трясти и колотить от нехваток и страха, так и продолжает. И ясно уже, что это совсем не “временно”, а что это, похоже, *суть* социализма?

Но откуда же это взялось? Лозунги-то такие прекрасные. Западные коммунисты нашли, как кажется им, объяснение: в Советском Союзе-де плохо все сделали, не так, а вот “мы-то сделаем как надо”. Но жизнь показывает, что и всюду, как на той же Кубе или в Китае, получают поразительно похожие на советские беды, отличаясь, может, лишь какими-то нюансами. Да, такое впечатление, что если бы социализм, скажем к примеру, восторжествовал в Италии, или в Испании, или в Англии, — то и там немедленно началось бы то же самое: страх, нехватки, а в Сахаре песок начнут распределять по карточкам...

Погодите, скажете вы, но вот, говорят, есть страны, где *умеренный* социализм оказался совсем неплох. Вот Швеция, например. Не то самый высокий, не то один из самых высоких уровней жизни в сегодняшнем мире. Да. Но здесь — одно из самых поразительнейших заблуждений сегодняшнего мира. Погодите! В Швеции 90 процентов ее хозяйства сегодня находится в частных руках. Какой же это социализм? 90 процентов хозяйства в частных руках — это же значит, что Швеция как раз является одной из самых капиталистических стран в мире. Другое дело, что в результате демократических выборов ею много лет управляло правительство, состоявшее из трезвых, умеренных социалистов, и ему удалось найти не революцию, нет, и не тотальную национализацию всего и вся — а удачные формы кооперации между государством, профсоюзами и частными предпринимателями. Кооперации, то есть сотрудничества в более или менее одном направлении: чтобы всем гражданам страны от этого было лучше. И в какой-то весьма ощутимой мере это удалось, хотя оказалось и много отрицательного и нестойкого, но этот шведский опыт удачной кооперации уж никак нельзя называть социализмом! Нет, давайте оставим Швецию: ее удачи и неудачи, ее ощутимый эксперимент — это предмет для совсем другого разговора, к социализму и коммунизму не имеющего никакого прямого отношения.

Настоящий социализм, в перспективе видящий как свою цель коммунизм, — это значит: первоочередная и немедленная *национализация* всех 100 процентов (или в крайнем случае почти 100 процентов) тех средств производства и богатств, которые при капитализме были частной собственностью.

Социализм — это такое общество, в котором все основные средства производства, как и национальные богатства, *обобществлены*. Согласны вы с такой формулировкой? Ну, там могут быть мелкие оттенки: до какой степени обобществлены? Может, какому-то кустарю-одиначке без мотора позволено чинить-паять, или даже мелкие частные лавочки, бывает, разрешаются, но неизвестно, надолго ли, и обычно их стараются задушить налогами. Это уже частности. Нагульников в “Поднятой целине” у Шолохова считал, что и частные куры должны быть обобществлены в колхозе, но партия решила, что кур можно бабушкам оставить. (Спасибо и за то, заметим в скобках, так по крайней мере наше общество не забыло, как выглядит натуральное яичко.) Но далее.

Итак, никаких капиталистов, никаких частных предпринимателей, никаких частных владений — все должно быть общим, все обобществлено. Это первое условие социализма.

Второе. Теперь то, что принадлежит всему обществу и никому в частности, должно хорошо использоваться. Нужно всем этим разумно распоряжаться, то есть управлять, разумно, толково управлять. Нужен единый, точный, общенациональный план, не так ли? Иначе начнется такой хаос, что и не распутаешь. План. Итак, при социализме общество управляется с помощью разумного национального планирования. Можно добавить: в интересах населения, ради всеобщего блага. А как же? Ради чего же вводился социализм, как не ради всеобщего блага? Всеобщий разумный план — это второе обязательное условие социализма. Согласны вы с этим? Два основных условия: обобществление средств производства и управление по всеобщему разумному плану. Это есть социализм. Федосеев пишет: “Я полагаю, что поборники

“социализма с человеческим лицом” не будут возражать против этого определения”.

Тогда, когда мы наконец установили, что же такое все-таки социализм, сделайте следующий эксперимент, предлагает Федосеев. Вообразите себя главным вождем в стране, где соблюдаются эти два условия социализма. Как вы будете действовать при едином плане? Что вы, например, будете делать, когда кто-то закричит, что план оказался ущербным в таких-то и таких-то частях? (А закричать могут тысячи и даже десятки тысяч.) Ну, примитивно говоря, вы запланировали выпускать туфли на низком каблуке на пять лет вперед, а тут мода пошла на высокий каблук. Что делать? На ходу изменять? Но таких изменений люди могут предложить миллионы. Причем самых противоречивых. На всех даже просто невозможно угодить! Не пошлете ли вы их всех в конце концов к черту? А они недовольны, гляди, еще забунтуют. Не организуете ли вы немедленно органы слежки и подавления? И так далее. Нет, попробуйте, пофантазируйте: что вам делать на месте главы социалистического государства? И является ли Советский Союз государством, где коммунисты сделали что-то “не так”, или как раз они-то из кожи вон лезли, чтобы сделать все именно “так”, как требует теория, как требует сама сущность социализма? Подумайте.

Но беседа моя затянулась, а я изложил лишь только первую часть размышлений Федосеева. Я прерву. О дальнейшем пойдет речь в следующей беседе, а пока — до свидания. До новой встречи.

18 ноября 1977 г.

Закономерности социализма

Беседа 2

Это моя вторая беседа о закономерностях социализма. В прошлой беседе говорилось о том, что такое социализм, каковы его две самые главные принципиальные особенности: государственное владение всеми средствами производства и национальными богатствами — это одна особенность, отличающая социализм от всех других общественных строев, и вторая, вытекающая из первой, — принцип разумного управления по единому и всеобщему разумному плану. Только так, говорится нам, можно осуществить лозунг “От каждого по способностям, каждому по труду”, а затем, на высшей стадии социализма — при коммунизме, — даже принцип “От каждого по способностям, каждому по потребностям”.

Я рассказывал о своем посещении в Лондоне выдающегося ученого-физика Анатолия Павловича Федосеева, который сделал много открытий в области электроники, был руководителем научно-исследовательского института электронных приборов Академии наук СССР, имел звание Героя Социалистического Труда, заслуженного деятеля науки и техники, лауреата

Ленинской премии и тому подобное. Но в 1971 году, поехав в составе делегации на международную выставку в Париже, он воспользовался этим, чтобы остаться на Западе, поселился в Англии и, работая дальше над научными проблемами при Кембриджском университете, одновременно увлекся исследованием существа социализма и его закономерностей. В результате появилась серия его статей и автобиографическая книга “Западня”. Я читал все им написанное на тему о социализме и часто с ним встречаюсь — и, собственно, излагаю здесь главным образом *его* мысли, которые мне кажутся очень сегодня актуальными, важными — настолько, что иногда хочется воскликнуть: “Неужели после ознакомления вот с этим и вот с этим можно и дальше питать иллюзии относительно социализма?”

В прошлой беседе я только подошел к главному. Социализм — это порядок, строй, при котором средства производства, все богатства обобществлены. При капитализме плохо; богатые, бедные — все из-за частной собственности. Упразднить! Обобществить все. Далее, естественно, нужно разумно всем этим распорядиться, разумно устроить жизнь.

Хорошо, говорит Федосеев, это красиво выглядит на бумаге, очень красиво. Но я предлагаю каждому такой эксперимент: вообразите, что вот вы — вождь социалистического государства. И не злой вождь, хороший, вы полны добрых намерений, вы хотите сделать все как можно лучше. Капитализм упразднен, провозглашен социализм. И всем руководить с чего вы начнете на практике?

Вероятно, в купе с массой специалистов, помощников, единомышленников вы постараетесь прежде всего составить план действий. И согласитесь, что план дол-

жен быть чрезвычайно подробный, до малейших деталей, потому что в стране нет и в помине частных, самостоятельных хозяев, из которых каждый сам себе планировщик. Нужно составить план, скажем, даже для самой крохотной мастерской в три человека, и для металлургических гигантов, и для исследовательских институтов, ну для всего решительно, причем все это должно быть согласовано — одни делают то, другие другое, чтоб не получилось каких-то белых пятен пропусков, чтоб все было взаимосвязано и сбалансировано и вместе взятое чтобы шло точно в главном русле наиглавнейшего генерального плана. Иначе если этого не сделать, то без плана — какой же это будет социализм, какое же разумное управление? Ведь начнется такой хаос и анархия, перед которыми прежние капиталистические так называемые хаос и анархия производства покажутся верхом порядка. Итак, план — титанический и скрупулезнейший план как основа разумного управления.

Теперь спрашивается, можно ли теоретически составить подобный план так, чтобы он был идеальным, чтоб все предусмотреть? Вряд ли. Жизнь — это нечто такое текучее, такое многообразное, такое меняющееся, что пока вот мы сидим и составляем план, исходя из сегодняшних условий данных, потребностей, в жизни что-то уже изменилось, и только лишь мы, вытерев пот со лба, поставили последнюю точку в плане, как видим, что и то, и то, и то в нем уже устарело и надо бы переделывать. Но переделка — это же только трюк! Все взаимосвязано: убирается одно звено — рассыпается целая цепь. Это, скажем, небольшая частная мастерская, к примеру, может очень быстро реагировать на изменения ситуации: сегодня лепили горшки, хватать, на рынке спрос на кувшины — завтра уже лепим кувшины.

Частный завод, наконец, может в несколько дней перестроиться, чтобы успеть за спросом. Ибо он, да, — часть того хаоса, который называется капитализмом и где все делается не по разумному, составленному для всех плану, а исходя из спроса: что сегодня нужно? А нам надо по разумному да на много лет вперед плану.

Так что же получается? Вот уже самый первый ваш шаг как главы социалистического общества вдруг упирается в неприятную стену: разумный идеальный план, так, чтобы были учтены ВСЕ связи, особенности, изменения пульсирующей жизни, составить невозможно. Составить можно лишь что-то условное, но, какое бы оно ни было подробное, оно все равно будет поверхностное — ибо, еще раз повторяем, все многообразие жизни, астрономические числа разных связей и случайностей, никаким сверхгениям или счетным машинам не учесть и не предугадать. И этот условный, поверхностный, неуклюжий план будет к тому же катастрофически стареть буквально с каждой секундой. Что же тут делать? Без плана нельзя, а всеобщий идеальный план не под силу. Вы, как вождь, примете скрепя сердце решение: пользоваться все же этим неуклюжим планом, на сколько он там составлен — на пять лет, на семь ли, на десять, и отдадите распоряжение: “Всем действовать по этому плану, и никаких отклонений”. Так, знаете, один отклонится, другой, сотый, тысячный — и плана нет. Да, мы не будем считаться с жизнью, а мы ее заставим подчиняться нашему плану.

Стоп. Вот мы и пришли. Так это, собственно, и делается при социализме: не за жизнью следуют, а за догмами плана. Даже когда это уже становится абсурдным, даже когда уже и ребенку ясно, что вот тут-то и тут-то элементарный здравый смысл подсказывает делать сов-

сем иначе! Но всеобщий социалистический план, после того как он составлен и запущен, — фатален, и он уже ни с каким здравым смыслом не совместим. Его нельзя нарушать, ибо это повлечет другие нарушения, а с каждым днем нарушений будет все больше, тысячи, миллионы, и план рассыплется, наступит хаос!

Здравый смысл вступает в конфликт с таким, уже теперь скажем, в кавычках “разумным” управлением. Возникает угроза со стороны здравого смысла — угроза и плану и строю. Что вы будете делать дальше как глава? А вам придется подавлять здравый смысл — а иного выхода нет. Вы устроите органы безопасности, чтобы подавлять, и изолировать, и казнить, и устрашать все то, что, будь оно хоть трижды право, противоречит, однако, проведению генеральной линии вашего плана. Чтобы лишить голоса этот возмущенный здравый смысл, вы введете цензуру. Чтобы глушить его в зародыше, вы введете тотальную слежку, доноительство обязательно! Вы будете всеми способами отвлекать умы людей от вопиющих проблем, направляя их, скажем, на футбол, пьянство, занимая их массой ритуалов, собраний, нагрузок, политзубрежек — и так далее, и так далее; короче говоря, будь вы хоть семи пядей во лбу, хоть святой, хоть пророк, но если вам надо управлять обществом, в котором а) все средства производства и богатства обобществлены и б) управление ведется по всеобщему твердому плану, — вы никуда не денетесь ни от жестокости, ни от нехваток, ни от архипелага ГУЛАГ, ни от перманентного недовольства. Это — закономерности социализма.

А так было, казалось, хорошо придумано! Так логично вроде бы Маркс, и Энгельс, и Ленин доказали как дважды два, что капитализм плох, что надо перейти

к чему-то лучшему. Ан нет, оказалось, что переход получается не к лучшему, а к *намного худшему*. Оказывается — к худшему. Несовершенен человеческий мозг, не предусмотрел не то что всех неожиданностей, — не предусмотрел даже такой простой вещи, что ведь придется подавлять, *неизбежно* подавлять здравый смысл! Здравый смысл же подавить можно, но уничтожить — нельзя. И начинается вместо ожидавшейся гармоничной счастливой жизни один лишь клубок противоречий.

Почему во всех странах, где восторжествовал социализм, странах чрезвычайно разных, таких, например, как Советский Союз, Китай или Куба, — все разное: истории, климаты, ресурсы, традиции, расы! — почему же и там, и там, и там наблюдаются чрезвычайно сходные, если не те же самые беды? Так вот, по-видимому, только один ответ: закономерности социализма. Закономерности.

Я излагаю в своем — правда, довольно вольном — пересказе размышления о социализме выдающегося ученого Федосеева, да и то лишь малую их часть. Ах, всем бы рекомендовал их прочесть, если удастся достать, нам так нужно докопаться и понять, в чем же корень тех противоречий, которые вот уже шестьдесят лет в Советском Союзе никак не проходят, а так мучают сотни миллионов людей.

24 ноября 1977 г.

“Поднятая целина”

Роман Михаила Шолохова “Поднятая целина” практически известен почти каждому в СССР. Он, как принято писать, “вошел в золотую сокровищницу советской литературы”.

Включенный в обязательные программы и учебники, он подробно изучается в школах, является наиболее популярной темой для экзаменационных сочинений, так что каждый школьник уже знает, что Шолохов в “Поднятой целине” “запечатлел революционный переворот в деревне в годы коллективизации”, что, “освобождаясь от власти частной собственности, люди освобождают себя для подлинно творческой жизни — такова гуманистическая мысль романа”. Кому не известны положительные образы коммунистов Давыдова, Нагульнова, проводящих коллективизацию? Хотя, впрочем, в народе более популярен дед Щукарь с его смешными злоключениями.

Общий тираж этой книги, включая переводы на несколько десятков языков, достигает примерно 10 миллионов экземпляров.

Разными косвенными путями, сопоставлением многих неопровержимых фактов и данных, число

жертв, вызванных коллективизацией, определяется примерно в 10 миллионов человеческих жизней.

Любой исследователь при желании, запросив данные издательств, Всесоюзной книжной палаты, может установить число экземпляров “Поднятой целины” с абсолютной точностью. Число человеческих жизней, принесенных в жертву коллективизации, с абсолютной точностью не установит никто никогда. Это не какие-то представляющие ценность книги, автомобили, тракторы или бриллианты, а всего-навсего человеческие жизни. Так, Гражданская война поглотила, по примерному подсчету, миллиона три жертв. Красный террор, или деятельность ЧК, от октября 1917 года до начала коллективизации стоила от 4 до 5 миллионов. С точностью плюс-минус миллион, ну кто же их там считал.

Миллионов 4—5—6—7 умерло от голода, эпидемий, бандитизма, замерзания, недоразумений, которые, не произойди переворот, не понуждали бы эти миллионы умирать, но это уже, так сказать, их личное дело. В 1929 году началась массовая коллективизация села — то есть “освобождение от власти частной собственности ради подлинно творческой жизни”, и “освобождение” потребовало еще 10 миллионов.

Цифра эта названа, между прочим, и самим Сталиным, отнюдь не с трибуны или в документах, а случайно, походя, в разговоре с Черчиллем. Уютно расположившись в креслах и покуривая, наверное, один трубку, другой сигару, два союзника, главы наций, разговаривали о том о сем, просто как два уставших человека, и конечно о трудностях, трудностях... В четвертом томе объемистых мемуаров под названием “Вторая мировая война” Черчилль приводит этот разговор. Цитирую отрывок из него:

— Скажите мне, — спросил я, — трудности этой войны — были ли они лично для вас так же тяжелы, как при проведении коллективизации?

Тема сразу возбудила маршала.

— О нет! — сказал он. — Коллективизация была ужасной борьбой.

— Я думал, что у вас должны были быть крупные трудности, — сказал я, — потому что тогда вы имели дело не с несколькими десятками тысяч аристократов или больших помещиков, но с миллионами маленьких людей.

— Десять миллионов, — сказал он, поднимая руки. — Это было страшно. Это длилось четыре года...

Как видим, даже смертельная война с Гитлером для Сталина не шла в сравнение со временем коллективизации. “О нет! — сказал он. — Коллективизация была ужасной борьбой”. “Это было страшно”.

Как крепко и живо это стояло в его душе, если он так возбудился, сразу назвал 10 миллионов, подняв руки, и четыре года. Во фразе имеется на первый взгляд неясность. Безусловно, это 10 миллионов противников или врагов. Черчилль не задал излишнего вопроса, Сталину излишне было добавлять: с противниками, врагами советская власть тогда поступала недвусмысленно — они физически уничтожались. К моменту коллективизации в стране насчитывалось более 100 миллионов крестьян, и Сталин, ясно, назвал не это число “маленьких людей”, с которыми пришлось иметь дело, а именно число, с которыми расправились.

Не думаю, чтобы он преуменьшил. Это не вяжется чисто психологически: он ведь жаловался, как это было страшно. В таких случаях есть искушение скорее

преувеличить. Но, допустим, число жертв составляло 9 миллионов. Это тоже мощная цифра. “Девять миллионов”, — мог бы сказать он, поняв руки... Нет, он просто, не задумываясь, привел число, которое кому как не ему лучше знать, но именно огульно, *округленное*. Так хозяин бесчисленного стада, прогнанного с невероятной борьбой через горные цепи в поисках сказочных пастбищ, должен знать примерную, плюс-минус, величину потерь от падежа в пути. Погонщики, безусловно, отчет ему представили. Отчет, запрятанный подалеже при помпезно-фанфарном банкете по случаю достижения намеченного пункта — “историческом” съезде “победителей”.

Потому что столько лет хлестали батогами, прогнали через пекло 10 миллионов голов падежа — и пришли в мертвую пустыню, поросшую чахлыми колючками. “Это есть земля обетованная, товарищи. Поднимаем целину!”

Новые поколения в Советском Союзе уже мало знают, а то и вообще не знают о том, что происходило во время коллективизации. Им предлагается официальная, ложная версия и книги вроде шолоховской “Поднятой целины”.

Ленинский лозунг “Земля — крестьянам”, сыгравший, пожалуй, решающую роль в победе большевиков, оказался лозунгом-оборотнем. Оказалось, что он толкуется диаметрально по-разному (как и другие лозунги, кстати). Когда отобрали у крупных помещиков землю и поделили ее, оказалось, что, собственно, дело не столько в земле, сколько в *плодах* с нее. А вот плоды-то новая власть и забирала, и не так редко случалось, что под метелку. Коллективизация же не оставляла крестьянину вообще ничего: ни плодов, ни самой земли. Это

было по существу восстановление крепостного права, вернее — одной из его форм, существовавшей и при царизме. Тогда, наряду с помещичьими, тоже были крепостные государственные, но скорее как частность.

Это новое крепостное право не могло не вызвать отчаянного сопротивления. В колхозы пришлось загонять револьверами. Возникали вспышки вооруженной борьбы. За неимением уже врагов-помещиков Сталину пришлось применить классический способ *“разделяй”* к самой крестьянской массе, натравливая менее зажиточных на наиболее зажиточных. Миллионы более старательных и только потому более *“зажиточных”* были раскулачены, то есть ограблены до нитки, вывозились в безжизненные места Севера и Сибири, выбрасывались среди диких лесов или тундры, где в большинстве погибали, или в концлагеря, где тоже гибли. А там, где и это не помогло, как, например, на Украине или Кубани, была сделана реквизиция всех продуктов пропитания подчистую и в качестве карательной меры применен голод.

Картины голода 1932–1933 годов были поистине апокалипсическими. Съев собак, кошек, лягушек, кору с деревьев, крестьяне бежали в города, но их ловили, устанавливали кордоны. Вдоль железнодорожных путей, у станций лежали тысячи опухших, умирающих, трупов. Среди обезумевших людей возникло людоедство. По подсчетам некоторых исследователей, один этот голод унес до 7 миллионов жизней.

Писатель, пишущий книгу о коллективизации с шуточками и прибаутками, изображающий ее всего лишь как процесс перевоспитания, проводимого для пользы самих же перевоспитуемых, — такой писатель поступает, я считаю, так же, как если бы написал веселую

повесть о перевоспитании в Бухенвальде или Освенциме с положительными гестаповцами, несознательными заключенными и смешным дедом Щукарем и его забавными злоключениями среди газовых камер. Уже хотя бы в свете того, что коллективизация унесла человеческих жизней *больше*, чем все гитлеровские концлагеря и фабрики смерти, взятые вместе.

Поэтому я считаю роман “Поднятая целина” книгой не просто сознательно лживой, но книгой *кошунственной*. То, что, будучи написана талантливо, с мастерством, она способна убеждать, своими огромными тиражами заслоняет массовую могилу настолько, что даже в свое время Шведская академия сочла вполне возможным дать премию Нобеля автору-”гуманисту”, — это мне кажется таким кошунственным парадоксом, что только руками развести. Но время все поставит на свои места. Все поставит.

2 декабря 1977 г.

“Не было этого!”

О том, что было, говорят: “Не было”.

Раньше я сильно нервничал, когда с этим сталкивался, но когда прочел Джорджа Оруэлла “1984”, стал относиться более спокойно. Философски спокойно — вряд ли это мудрость, это больше самозащита, иначе ведь никаких нервов не хватит. Когда я мальчишкой попал в подмастерья к колбаснику, делавшему колбасы из лошадей, от первого зрелища убийства лошади чуть не потерял сознание. А потом — ничего. Прозаическая работа с мясом. Банальная истина: человек привыкает ко всему. *Ко всему*, вдуматься только! Странно.

Но сейчас я хочу коснуться темы, которая сама по себе неисчерпаема, — и потому только коснуться, — которая в советской действительности выражается формулировкой “Этого не было”. Это с нею сталкиваясь, я нервничал или прямо-таки ошалевал. Когда вам говорят: “При сталинском терроре уничтожали и сажали в лагеря тех, кто этого заслуживал”, тут можно спорить, доказывать, выяснять. Но когда вам говорят: “При Сталине террора не было и никаких лагерей не было. Откуда вы это взяли? Да вы что?..” — и смотрят

при этом уверенными, невинными глазами, — что тут делать? Конечно, вы попытаетесь привести факты, а вам на это: “Так это ж клевета продажных империалистических агентов!” И рассказывайте и доказывайте, хоть головой о стенку бейтесь, — на это одно невозможное: “Не было этого”.

Сегодня это кажется поразительным, но данный пример — ведь не преувеличение, не фантазия. Когда на Западе еще при жизни Сталина оказывались люди, чудом спасшиеся из советских лагерей, западные коммунисты и вообще все, кто с симпатией глядел на Сталина и счастливейшую, первую в мире страну победившего социализма, не то что не стали слушать таких беглецов, но возмущенно объявляли их негодяями-клеветниками, а их показания — вымыслом от начала до конца, плодом в лучшем случае больной фантазии. Потому что между песней “Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек”, которую поют все народы по всей стране — это же факт! — и 15 миллионами в лагерях смерти — слишком неправдоподобный разрыв, ножницы, один конец которых есть ложь.

Но! Семи миллионов, уморенных искусственным голодом на Украине в 1933 году, — не было. Государственного геноцида, когда целые народы исчезали с их земель, а названия их республик — с географических карт СССР, — не было. Чудовищных массовых могил, наподобие винницкой, сравнимых с Бабым Яром, но бывших делом рук не гитлеровцев, а НКВД, как и массового уничтожения ими польских военнопленных в Катыни, — этого ведь не было... А знаменитое, объявленное когда-то на весь мир заверение Хрущева, что в Советском Союзе политических заключенных нет! С какими чистыми, невинными глазами... Если бы тогда из Вла-

димирской тюрьмы каким-то чудом вырвалась бы женщина, Галина Дидык, сидевшая с 1950 года за то, что руководила подпольной организацией Красного Креста в Тернопольской области, и рассказала, сколько тысяч одних только “националистов”, и украинских, и прибалтийских, и других, не коснулась и не коснется никогда никакая реабилитация, — разные коммунисты и их поклонники опять сказали бы: клевета.

Книга Оруэлла “1984” считается фантастической, но я не читал более реалистического описания Советского Союза. Называние вещей другими именами, гротескные приемы относятся ведь к чисто художественному арсеналу средств. Герой книги работает в отделе документации Минправа, то есть Министерства правды, где занимается вот чем. Он следит за малейшими изменениями в государственной информации на сегодняшний день и новую версию должен вставить всюду, где была версия прежняя. Скажем, какая-то личность считалась героем. Теперь объявляется, что она враг. Армия служащих изымает упоминания о герое из старых подшивок газет, книг, журналов, брошюр, афиш, фильмов, звукозаписей — и вставляет туда новую версию о враге. Старые экземпляры газет набираются и перепечатываются заново, куски фильмов вырезаются и переснимаются. Если упоминание о чем-то нужно убрать — оно изымается так, что не остается следов. Будущий историк даже не заподозрит, что оно было. *Не было.*

Этим как раз мы занимались, когда еще я учился во втором или третьем классе, перед войной. Нам велели вынимать учебники на парты и вырывать страницы с портретами Постышева, Косиора и других “врагов”, это делалось по всей стране вплоть до Книжной пала-

ты, далее их уже *не было*. Наводнявшая страну сталинская “История ВКП(б). Краткий курс” после его смерти вдруг исчезла бесследно, не было такой. Уж не говорим о том, что никогда *не было* процентов 90 литературы первых лет революции, отражавших роль Троцкого, Бухарина и других “врагов”, — все это общеизвестно, я упоминаю только затем, чтобы акцентировать результаты этого. А результаты мне кажутся иногда пугающими.

Как-то однажды, когда я еще жил в СССР, у меня дома в Туле мы разговаривали с одним молодым человеком, студентом. Зашла речь о Зощенко, Ахматовой, как в 1946 году их предали анафеме партийным постановлением о журналах “Звезда” и “Ленинград”. Молодой человек удивленно сказал, что я что-то путаю, этого не было. “Да как же, — воскликнул я, — в каждом учебнике — об этом постановлении!” Он сказал, что ничего подобного, они не проходили, он сам читает уйму, но не встречал нигде. К счастью, у меня случайно на полках были учебники по советской литературе и для школы и для вузов, я кинулся листать их и оторопел: действительно, о знаменитом постановлении ни слова. Молодой человек смотрел на меня с оттенком сожаления. “Это было! — закричал я. — Ведь без этого в литературе шагу нельзя было ступить!” Я кинулся листать тома по литературоведению, торжествующе обнаружил недавно вышедший сборник Зощенко. В предисловии — о знаменитом постановлении ни слова. Уже буквально трясущимися руками я принялся листать “Литературную энциклопедию”. Статья “Ахматова” — ни слова. Статья “Зощенко” — ни слова. *Не было*. Это в моей домашней библиотеке, оказывается, не было ни следа, ни намека об этой *позорной* ждановской

расправе с литературой, музыкой, кино. Как это случилось — я не мог понять, но я тогда почувствовал себя как в дурном сне, я бормотал: “Но, честное слово, это было”... Молодой человек, скорее из вежливости, сказал, что он верит моему честному слову, что, может, что-то такое и было, но...

Но в гораздо большей степени я был убит, когда некоторые умные, серьезные люди, прочтя в моей рукописи романа “Бабий Яр” главу-воспоминание “Людоеды”, о голоде 1933 года, недоуменно сказали, что я что-то путаю. В войну было голодно, да, но о голоде времен коллективизации они не слышали. Этого не было.

Да, сначала я в таких случаях очень нервничал. Но вот под категорию “этого не было” попал и сам. Когда в 1969 году я остался в Лондоне, в Москве был задержан готовый двухмиллионный тираж “Юности”, с него срывалась обложка, где в списке редколлегии была моя фамилия, и заменялась новой. С тех пор списки редколлегии “Юность” на обложке больше не печатает. В третьем и четвертом номерах “Юности” за тот же год печатался мой роман “Огонь”, и я в Лондоне с любопытством развернул номер двенадцатый, где обычно дается содержание всего журнала за год. Под рубрикой “Проза” ни моей фамилии, ни романа “Огонь” не было. В библиотечных экземплярах страницы с “Огнем” в третьем-четвертом номерах, как я узнал, вырезаны.

Не было!

Из-за меня у служащих министерства правды было много работы: одних книжек “Родная речь” для первого класса, где лет пятнадцать печатался мой рассказик “Деревцо”, — сколько миллионов! Миллионы моих книг, журналы и сборники с рассказами и статьями,

чтецы-декламаторы, календари, энциклопедии, учебные программы, кинофильмы, каталоги. Убрали, вычистили. Был? Нет. Не было.

Когда такое видишь со стороны — одно дело, но когда происходит с тобой самим — это особое ощущение. И не надо нервничать, есть от чего приходиться к философскому спокойствию. Словно, внимательно, наморщив лоб, смотришь на какой-то сюрреалистический феномен: да, общество с постоянно изменяющейся историей, с фиктивной, иллюзорной историей, от древнейших времен до вчерашнего дня. Да, это действительно “небывалый исторический эксперимент”. Будущим поколениям, по-видимому, нелегко будет поверить, что это не фантастика. Что это *было*, зачем-то...

9 декабря 1977 г.

Откуда они берутся?

Английская женщина задала мне вопрос, очень простой, тем не менее у меня не нашлось сразу ответа. Вопрос такой: “Русские люди, каких я знаю по литературе или каких я много встречала, — добрые, умные, человечные. Но когда видишь советских начальников, эту многочисленную, как их называют, касту, наблюдаешь, что они делают, что говорят, — я не узнаю в них ничего русского. Такое впечатление, что это не то что каста, но другая, особая раса. Посмотрите на снимки праздничных трибун, где они собираются вместе: у них даже во внешности что-то общее. Откуда они берутся?”

Подумав, я сказал: “Они получаются в результате естественного отбора. В каждом обществе в процессе естественного отбора выделяются те или иные личности. Жизнь общества в Советском Союзе построена на таких принципах, что в гору пробивается только данный тип. Как из мешка белой фасоли можно выбрать редкие фасолины рябые и их горсть будет отличаться от остальных в мешке, так и из масс выделяется этот тип советского начальника, и, собранные на трибуне, они отличаются от тех, кто в массе идет под трибунами.

Но когда в их песне поется: “Вышли мы все из народа”, — то здесь они не лгут. Это так”.

В Советском Союзе принцип наследственной власти, в отличие от монархий, практически не существует. Дети руководителей, например дети Сталина, дети Хрущева, не только не перенимают власти, но часто имеют самую изломанную судьбу. Дорога в начальники — и здесь коммунисты опять не лгут — подлинно демократически открыта для каждого. Но вся тонкость в том, *что* это за дорога.

В революционные времена принцип отбора руководителя, пожалуй, лучше всего иллюстрировался вопросом, который, по воспоминаниям современников, задавал сам Ленин: “Сколько врагов вы расстреляли собственноручно?” Говоря точно: естественно отбирался тип идейного самоотверженного палача. Дзержинский.

В сталинские времена этот тип почти целиком был перебит сменившей его категорией, более гибкой, хитрой и подлой, выкристаллизовавшейся по принципу: сколько доносов сделали, скольких соперников заклеили, перехитрили и утопили. Хрущев, например.

В эти два периода были возможны головокружительные взлеты, карьеры в считанные дни, как и расстрел в любую минуту.

Со стабилизацией режима стабилизировался и отбор. Сохранились те же сталинские принципы, но отбор стал спокойнее, длительнее и, с одной стороны, потерял свою кровавость, с другой стороны, приобрел почти абсолютную надежность. Головокружительных взлетов не стало, карьера строится всю жизнь, и в самом этом — залог прочности.

Кандидат в будущие руководители начинает вырисовываться буквально уже с детского сада. Это то не-

смышленное дитя, которое приходит к воспитательнице и, скажем, ябедничает на других. Советское воспитание, равняющееся на образец Павлика Морозова, донос одобряет — и такое дитя хвалится, поощряется, и оно начинает стараться. И песенку про Ленина оно поет громче всех, и когда никто не хочет есть вареную свеклу, оно от одной старательности свеклу ест.

Потом оно переходит в школу, построенную на субординации среди учеников. Привыкший к похвалам старших, вертящийся перед ними, умело ябедничающий ребенок — для директора и педсовета это находка и клад. Такой ребенок не откажется рисовать стенгазету ценой отказа от футбола во дворе — наоборот, он малюет самые яркие знамена и лозунги, он же будет старостой или председателем совета пионерского отряда, затем и всей дружины; он не мигнув оком, когда прикажут, пишет заявление в комсомол и становится секретарем ячейки.

Комсомол — это уже выход в большое море: райкомы, обкомы, заседания, резолюции, отряды, прикосновение к крупным материальным средствам — и осязаемые награды, премии, путевки в молодежные лагеря. Масса пойдет на заводы, особо талантливые и способные, если удастся, продолжат учебу. Но отобравшиеся единицы пойдут “по комсомольской линии”. Для этого не нужен талант, более того, он только помешает. Требуется умение следовать схеме, догме, улавливать и выполнять распоряжения сверху буква в букву. Талант же непременно попытается внести что-то свое, оригинальное, на чем рано или поздно погорит. Так несколько парадоксальным образом в гору выбиваются не талантливые, а бездарные, но активные. Деятельные ничтожества. Доносчики.

Из них отбираются слушатели ВПШ — Высшей партийной школы. Это уже гарантия на руководящий пост по их окончании. Это Царскосельский лицей, Итон, клуб для избранных. Отсюда они и “берутся”. Кадры руководителей планово и продуманно готовятся, и они всей системой жизни выдвигаются так, что никто талантливый, независимый, слишком умный, оригинальный и честный автоматически в их ряды попасть не может. Если же каким-то чудом попал пусть не далекий, но хотя бы порядочный, то он не выдержит дальнейшей борьбы. Потому что дальше разгорается борьба уже между ними самими, в которой побеждают наиболее ловкие, хитрые, изворотливые, беспринципные, то есть умеющие моментально перестраиваться, следуя всем зигзагам политики, умеющие себя подать, а других потопить, и так далее. Слабые останутся на постах инструкторов в захолустных райкомах. Наиболее пробивные дойдут до праздничных трибун, и поскольку у них сходные черты характера, одинаковые методы борьбы, склад ума, образы жизни — например, сплошное сидение за столами в президиумах, на пленумах, совещаниях и тому подобное, — одинаковое питание по “спецсесте”, как правило чрезмерное, вызывающее ожирение при сидячем образе жизни, и даже одинаковые условия беспокойного, озабоченного отдыха в спецсанаториях (“ты тут отдыхаешь, а там тебя подсилят, и слетишь”), — видимо, все эти факторы, как и масса других еще, приводят к тому, что даже внешне они становятся похожи и отличаются от масс — действительно уже как особая раса.

“Раса квадратов” — слышал я такое определение в Москве. “Раса партийных скобарей” — слышал опреде-

ление в Ленинграде. Их жизнь — это нечто совершенно особенное, где ценности измеряются не величиной благородной радости, чистой совестью, творческими достижениями, а высотой партийного или административно-хозяйственного поста, количеством орденов, местом в президиуме и, главное, количеством обойденных соперников.

Я был знаком с секретарем Тульского обкома Иваном Юнаком. У меня всегда было ощущение, что кто-то из нас — или я, или он — существо с другой планеты, что мы люди с совершенно разным мышлением, лежащим в разных плоскостях под крутым углом. То, что мне кажется верным, ему представляется боком, и наоборот. Однажды он преподнес мне с дарственной надписью... свой собственный предвыборный плакат с изложением блестящей — по-видимому, так должно считаться у них — биографии. Я снял этот плакат на пленку, у меня до сих пор хранится его фотокопия. Мне кажется, интересно вдуматься в факты жизни одного из руководителей. ЖИЗНИ, подчеркиваю.

После партийной подготовки он начинает очень низко. Заведующий отделом животноводства, директор межрайонного пункта “Гострахфонд”, главный агроном райсельхозуправления в городе Тальное Киевской области.

Это человек, который в будущем будет наместником и безраздельным владыкой Тульской области, равной по размерам доброму государству, владыкой во всем — культуре, искусстве, промышленности, науке, ракетостроении и языкознанию, один из тех секретарей обкомов, на которых, как на столпах, и стоит строй.

В 1949 году Юнак избирается первым секретарем Ладыжинского райкома КП Украины. С 1953 по 1954 год — он первый секретарь Корсунь-Шевченковского райкома партии.

В 1954 году — первый заместитель председателя исполкома Черкасского областного Совета депутатов, а затем — инспектор Центрального Комитета КП Украины.

Видимо, он чем-то здорово отличился в этом 54-м году, во всяком случае развил деятельность, потому что тут же, в 1954 году, становится председателем облисполкома в Днепропетровске. Это неплохой пост. На нем он находится семь лет, когда вдруг, как написано в биографии... “В июле 1961 года пленум Тульского обкома партии избрал Юнака первым секретарем обкома КПСС”. Где Днепропетровск, а где Тула! Как это тульский пленум влюбился в товарища Юнака? Украинца, который даже по-русски грамотно не говорит! С чего это его в Тулу? Может, он был поклонником Толстого?

Нет, тогда он был поклонником Хрущева. Он мне рассказывал, как это вышло, как это делается вообще. Хрущев был в Днепропетровске — банкетовали за столом, главе государства понравился тучный, квадратный, деловой предисполкома, он в это время вспомнил, что у него дыра в Тульской области: проштрафился секретарь обкома Хворостухин, дававший липовые цифры по мясу и молоку в попытках перегнать Америку. Сказал: “Иван, пойдешь в Тулу”. Хворостухина немедля вон, послом в Монгольскую Республику, а “пленум Тульского обкома партии избрал тов. Юнака первым секретарем”.

Для полноты представления: тов. Юнак, конечно, неперемный депутат Верховного Совета, делегат всех

последних съездов и член ЦК. Член планово-финансовой комиссии Совета Союза. Пятнадцать орденов и медалей и даже две Большие золотые и две просто Золотые медали ВДНХ.

Подумать только!.. Будь у меня такая биография, я бы считал, что жизнь пропала, угробленная на фикции, на ничто.

Но, собственно, против плоскости существования, которую избирает себе тот или иной тип людей, возразить бы нечего, потому что дело каждого — положить свою единственную жизнь на то, что ему нравится. Возразить бы нечего — если бы данный тип не требовал от всех остальных жить так, как он указывает. Это хуже. Я ему не указываю, а он мне — указывает. Я его ни в лагерь, ни в сумасшедший дом и не подумался бы направить — только за то, что он думает не так, как я, живет не так, как я... А он, куда ж там, распоряжается мной, как каким-то предметом, как крепостным. Поэтому лично я рассматриваю данный тип как общественно опасный, а взятие им власти в свои руки — как большую историческую трагедию.

16 декабря 1977 г.

Особенности советского языка

Мне кажется, что уже давно назрела потребность составления особого словаря — как бы его точнее определить? — толкового словаря, в котором на общепринятый, исторически сложившийся культурный русский язык переводились бы слова и выражения официального советского языка. Нет не только объяснения таких послереволюционных образований, как, ну, скажем, колхоз, ГПУ, политбюро, кагэбист или рабкор, — это естественно: жизнь движется вперед, развивается, одним словом, и возникают вот такие новые слова, но я говорю не о словаре новых слов, а о словаре старых, общеизвестных и даже очень хорошо известных слов, которые стали употребляться в совершенно ином смысле, иногда даже диаметрально противоположном тому, какой они имели до революции и в каком их продолжает понимать остальной мир, то есть нужен перевод с советского языка на русский. Ну любой пример из тысяч и тысяч. Правда. Что такое правда? Правда есть правда, истина, то, что есть на самом деле. Так считалось веками и так считается во всем мире сегодня. Но по-советски “правда” значит совсем

другое; по-советски правда — это только то, что полезно делу коммунизма. Я лично слышал это на закрытом партсобрании в конце 60-х годов.

Разберем. Вот утверждение, что уровень жизни советского человека катастрофически низок, даже просто позорен для развитой страны в XX веке, такое утверждение вряд ли полезно делу коммунизма, не так ли? Каждый спросит: “За что же мы боролись шестьдесят лет, да еще с таким количеством крови, десятками и десятками миллионов жертв?” На Западе некоторые специалисты на основе расчетов приходят к выводу, что шестьдесят советских лет стоили нашей стране шестьдесят миллионов погибших, не считая при этом жертв войны. Шестьдесят миллионов жертв правления, таких, как умерших в концлагерях, расстрелянных в годы террора, уморенных голодом и высылкой во время коллективизации и тому подобное. Это только шестьдесят миллионов смертельных жертв; а сколько мучений вообще, лишений, неудобств, нервотрепки, страха выпало на долю буквально всем, целым поколениям. Это — правда. Так спрашивается, может ли эта правда быть полезной делу коммунизма? По крайней мере каждый здравомыслящий человек в СССР с полным правом задаст вопрос, не пора ли остановиться и оглядеться, что это мы строим? Что же это за такое дело “изма”, если после шестидесяти лет борьбы за него человек, оказывается, живет хуже, чем до начала этой борьбы? Нет, такая правда не полезна делу коммунизма. Тогда по-советски объявляем это неправдой, а выдвигаем другие утверждения: ну, “Жить стало лучше, жить стало веселей”; “Живем мы весело сегодня, а завтра будем веселей”; “Наши достижения немыслимо грандиозны” и так далее. Формально, по-общечеловечески, это

неправда, но это полезно делу коммунизма, полезно. Значит, по-советски это и есть правда. Только это есть правда по-советски, а все другое — ложь. Правильно и логично, если исходить из положения, что правда — это то, что полезно делу коммунизма. И каждый настоящий коммунист обязан это знать, и он это знает; но беда в том, что далеко не все, особенно некоммунисты, не все это знают и в самом Советском Союзе, и особенно за его пределами; из-за этого происходит масса недоразумений, иллюзий, обид, ошибок, трагических ошибок — и все из-за того, что до сих пор, слыша из уст коммуниста разные знакомые слова, люди понимают их в общепринятом смысле и не подозревают, что они по-коммунистически, по-советски значат нечто совсем иное, как только что было продемонстрировано на примере слово “правда”.

Кто это, наивный, возмущается, что газета “Правда” не пишет якобы правды? Да газета “Правда” есть правдивейшая из правдивейших газет, какие только существовали на свете, только в свете той маленькой огорки, что мы уславливаемся считать правдой лишь то, что полезно делу коммунизма. Ну надо еще добавить — в данный момент, потому что полезным делу коммунизма в разные моменты могут оказываться разные и даже диаметрально противоположные вещи; когда в определенный момент, в определенной ситуации газета “Правда” пишет, что “Сталин — ум, честь и совесть нашей эпохи”, что “Сталин самый большой гений, гуманист из всех, какие были на земле”, то, поскольку это помогает делу коммунизма в данный момент, это есть чистая правда, и только правда. В другой момент та же газета “Правда” напишет, что “культ личности Сталина сопровождался преступлениями, а пар-

тия разоблечила ошибки, злоупотребления Сталина” и тому подобное; так ведь на данном этапе, будучи полезной делу коммунизма, это же чистейшая правда, и только правда. Газета “Правда” всегда, во все времена, в любой день, на любой странице, в любой строке, говорит только правду — по-советски, никогда ни разу не запятнав своего названия, да будет вам известно, — но где и кто это толково и внятно объясняет? Вот в чем беда.

Нет такого объяснения, и потому я, без всяких шуток, считаю, что толковый словарь, объясняющий такие вещи, чрезвычайно был бы полезен не только советским людям, но и всему миру; было бы легче, если бы советские коммунисты хотя бы прибавляли прилагательные к таким вот принципиально важным словам, как “правда”: “советская правда”, “коммунистическая правда”; ведь прибавляют же они, хоть далеко не всегда, но иногда, уточняющие прилагательные “социалистический” к слову “гуманизм”: не просто гуманизм, а “социалистический гуманизм”. Не так ли? Так почему бы не говорить “социалистическая правда” в отличие от просто правды? Все же это хоть как-нибудь останавливало бы внимание, было бы сигналом, что данная газета называется, по существу, не “Правда”, а “Социалистическая Правда”; все в ней написанное есть не просто и чисто “правда”, а “социалистическая правда”. Но этого по разным причинам не делается: люди оказываются в заблуждении. Вообще-то это странно, что даже через шестьдесят лет безудержного, лавинного шествия совершенно особого советского языка до сих пор далеко не всем понятны его, в общем, простые и совсем несложные, но такие принципиальные или, как сказал бы Ленин, “архипринципиальные” особенности. До

какой-то степени это, я думаю, объясняется все-таки вуалью секретности со стороны самих советских коммунистов: они не распространяются много о своих принципах толкования терминов; знают сами — и довольны. А другие люди слушают, удивляются: “Как можно — черное называть белым? Как можно так лгать?!” Да не лгут они, давайте же поймем наконец.

Если мы вот с вами твердо договорились, например, все черное называть белым, то всякий раз, видя черное, мы будем восклицать: “Белое! Какое белое!” И будем ли мы при этом лгать? Мы же договорились, что сажа, смола, ночная тьма, космическая пустота или краска под названием “кость жженая” — это все — мы договорились! — белого цвета, белого! Теперь, когда мы при виде всего черного скажем, что оно белое, то это не будет — формально — ложь, это будет всего лишь особенность нашего языка; и не упрощайте дело, указывая на нас пальцем, говоря, что мы лжецы; нет, мы не лжецы, мы говорим правду по законам нашего специфического языка; у нас черное называется белым — только и всего.

Так у советских коммунистов, в их специфическом советском языке, диктатура и называется демократией, бедность — изобилием, несвобода — свободой, или, скажем, ритуал получения неких бумажек и бросания их в урну — это выборы, и так далее, и так далее.

Коммунисты — еще раз подчеркнем — сами, между собой, давным-давно договорились именно это и считать демократией, изобилием, свободой, выборами и так далее. Только за пределами их коллектива отнюдь не все это знают. Вот и удивление, вот и возмущение, а то, на свою беду, кто-то придерется к какому-то термину и станет на своем: “Вот, мол, написано то-то и то-то — почему в действительности не так?” И за разъяс-

нениями, бывает, отправляют его в тюрьму или в сумасшедший дом. Но здесь я уже, так сказать, слишком мрачно шучу; вернемся к словарю. Нет, если бы кто-то взялся да составил толковый словарь советского официального языка, то, я думаю, такой словарь был бы нарасхват; причем — уже без всякой иронии, не какая-нибудь там политическая сатира или агитка, а действительно ученый, академически серьезный, строгий словарь, как такие-то и такие-то слова трактуются в мире коммунистов, ибо часто получается, что люди, говоря даже на одном и том же языке, говорят как бы на разных языках или как люди с разных планет. Допустим, некоммунист говорит коммунисту: “Будем гуманными людьми”. На что коммунист отвечает: “Совершенно согласен! Будем гуманными людьми”. Ну, довольны оба: взаимопонимание, братья! Ничего подобного: первый сказал: “Будем гуманными” — то есть “не убий”, “будь добр”, “понимай”, “жалей”, “прощай”. А второй ответил: “Совершенно согласен! Будем по-социалистически гуманными; а наш социалистический гуманизм значит “убей врага”, “будь в борьбе беспощаден, безжалостен, непримирим”. Согласитесь, что без словаря, где можно было бы узнать, что же коммунисты понимают хотя бы вот под словом “гуманизм”, “гуманность”, — без такого словаря действительно трудно в современном мире.

10 февраля 1978 г.

Размышления о книге

Известно, что за всю свою жизнь человек может прочесть максимум двадцать тысяч книг. Всего двадцать тысяч книг. На практике обычно мы, конечно, читаем меньше. Если не верится, то вот самый элементарный расчет. Допустим, что какой-то книголюб проглатывает по книге в день. Не работает, не отдыхает, ничем другим не занимается, только читает книги. Но книги есть — такие томищи, что уже никак за день не проглотить, и они забирают по два-три дня. Короче говоря, я думаю, мы сойдемся на том, что этот фанатичный читатель поглощает 300 книг в год. Книг, я имею в виду, не брошюр там каких-нибудь или журнальчиков, а “Братьев Карамазовых”, “Воскресений”, “Кавалеров Золотой Звезды”, “Историй КПСС” и так далее. 300 книг в год, и читал он без передыху 70 лет, пока не умер. 300 умножить на 70 — 21 тысяча. А поскольку мы работаем, отдыхаем, смотрим телевизор, пьем водку и играем в домино, и мало ли чего еще мы ни делаем, то дай бог, чтобы самый отчаянный из отчаянных книголюбов из нас прочел за свою жизнь 10 тысяч книг.

Из этого следует, естественно, что выбирать книги для чтения надо, по-видимому, ох как придирчиво. Но следует и другое: полное и абсолютное отсутствие надежды прочесть хотя бы микроскопическую часть того, что, может быть, так хотелось бы прочесть...

Книг на свете рукописных было не так уж мало еще до того, как было изобретено книгопечатание. После изобретения книгопечатания мировая продукция книг с каждым веком увеличивалась в фантастической прогрессии. Если точно подсчитано, что через 50 лет после изобретения искусства книгопечатания, то есть в начале XVI века, в Европе было уже около 30 тысяч различных, напечатанных большими или меньшими тиражами книг (принято говорить “названий” — 30 тысяч названий уже в начале XVI века), что, конечно, было цифрой фантастической уже тогда, и уже тогда это все было не под силу прочесть одному человеку, — то уже к концу того же XVI века европейская, так сказать, “библиотека” выросла до 250 тысяч названий. Ну и дальше — больше, в XIX веке цифра названий перевалила через 7 миллионов.

А текущий XX век? Осторожные подсчеты предсказывают к концу текущего столетия цифру в 25 миллионов названий.

Однако при всем этом все чаще слышно и о своего рода парадоксе. Имея налицо такой фантастический “урожай” на книги, казалось бы, живя в “золотой век” книги, некоторые указывают на зловещие знаки на горизонте. И все чаще слышны голоса, что книга — это динозавр на пороге вымирания. Что именно наше время заключает в себе уже ясно выраженные зародыши болезни, которая приведет к смерти книги.

Ну да, конечно, кончилась, так бы сказать, монополия книги в области духовного насыщения человека:

кино, радио, телевидение, магнитофоны, видеокассеты, микрофильмы, разные достижения кибернетики, а вот скоро еще голография грянет — объемное изображение, — все это лавиной ворвалось на орбиту, где всего каких-нибудь несколько десятилетий тому назад безраздельно царила книга, и только книга.

Конечно, много есть сегодня ярких защитников любимой книги, поносящих, иногда очень горячо и убедительно, все новые феномены, отвлекающие человека от традиционной книги. И с другой стороны много таких, кто уже махнул на книгу рукой как на обреченное вымирать старье. И они также иногда витийствуют весьма горячо и убедительно. Ни те ни другие, мне кажется, не окажутся абсолютно правы в своих предсказаниях или поношениях.

Ну, все-таки главным и важнейшим фактом остается то, что пока что и число названий, и количество тиражей книг в мире не уменьшается ничуть, а именно растет, да еще как. Растет, несмотря и на телевидение, и на кино, и на радио и так далее. Так вот, например, точная цифра: по данным ЮНЕСКО всемирная продукция книг в промежутке между 1955 и 1968 годами возросла от 285 тысяч названий в год до 487 тысяч названий в год. Нет, это с трудом укладывается в голове (а может, и не укладывается): за один год на земле печатается полмиллиона названий книг — чтобы поставить их на полках, нужна библиотека со многими залами, а чтобы прочесть одному человеку, ему надо — по 300 книг в год — полторы тысячи лет или более! Какое счастье, что 99 процентов этой продукции, наверное, либо что-нибудь сугубо специфическое, для узких специалистов, либо пропаганда или прочая макулатура, так что жалеть не стоит и полторы тысячи лет на чтение тратить не надо.

Любопытные данные, касающиеся географической стороны современного книгоиздательства. Наблюдается поразительное расхождение между географической величиной и густотой населенности ряда областей — и интенсивностью книгоиздания. По данным последних лет, Европа, Соединенные Штаты Америки и Советский Союз издают вместе взятые 75 процентов мировой книжной продукции, в смысле названий. Рекордсмен — Европа, на которую приходится 45 процентов мирового количества названий, хотя она занимает лишь 13 процентов земной поверхности. Азия, в которой живет 56 процентов всего земного человечества, издает лишь 20 процентов мирового количества названий книг. Вся Южная Америка, как и вся целиком Африка, могут похвастаться только лишь 2 процентами каждая.

Не нужно доказывать, что развитие просвещения, науки и развитие книги — процесс, так сказать, неразрывный. Идет ли развитие просвещения, науки? Идет. Будет ли идти? О чем вопрос? Поймите-поймите. По данным той же ЮНЕСКО, сегодня на Земле имеется что-то порядка 800 миллионов неграмотных. Я не оговариваюсь: 800 миллионов. По крайней мере я беру эту цифру из весьма ответственных источников, и если там опечатка или если они врут, то пусть это останется на их совести, а я продаю за то, за что и купил: неграмотных на Земле сегодня 800 миллионов.

Другими словами, на земном шаре есть огромнейшая людская, так сказать, нетронутая целина, которая ждет семян “разумного, доброго, вечного”. И сеять оные семена можно все-таки главным образом с помощью все той же книги, несмотря на шумное существование множества иных средств передачи информации,

вроде того же радио и телевидения. Хотя фактически в иных развивающихся странах такое чрезвычайное значение радио и особенно телевидение уже имеют: в самом деле ни книга, ни печать, периодическая или ежедневная, не могут быть средствами распространения насущной информации там, где 75, а то и все 90 процентов жителей не умеют ни читать, ни писать... Господи, какие контрасты все еще сегодня на этом свете!

Но вернемся к апокалипсическим ужасам, которые кое-кто предсказывает судьбе книги. Любопытно, что это уже не ново. Уже несколько раз на протяжении последних лет семидесяти предсказания такие появлялись. В первый раз — когда появилось немое кино. Футурологи тех лет сразу сказали, что и театру и книге пришел конец. Нет, ничего. Кино стало звуковым, цветным, широкоэкранным, панорамическим, объемным, а театров не меньше, а больше, а число названий и тиражи книг все растут. Особенно уверенно некоторые предсказывали конец книге с появлением телевидения: мол, уж такое заманчивое развлечение и информация, вошедшие к каждому в дом, начисто заберут время, уделявшееся раньше книге. Ну, в некоторых домах оно, может, так и случилось. Но почему же тиражи новых книг растут? Я знаю совершенно точный ответ на этот вопрос касательно такой части земного шара, как Советский Союз. Там, кроме футбола, хоккея и фигурного катания, смотреть по телевизору нечего. Остальное, знаете, все о сталеварении и свекле. Но западное телевидение — особенно лучшее в мире, я считаю, телевидение вот здесь, в Англии, где я живу, — это что-то такое, что действительно не оторвешься с утра до ночи. Но... не отрываешься, не отрываешься — а потом рано или поздно когда-то поворачиваешь выключатель,

берешь с полки книгу и... и в поездах все только и делают, что читают, и в метро, и в постели, и в кресле, и проходишь вечером мимо стеклянных английских дворцов-библиотек — народу! Очереди стоят на выдаче. Так что бы это значило?

Значит это, по-видимому, то, что каждому свое, то есть каждому средству сообщения информации своя область. Комбинация звука, изображения, цвета, объемности и прочее — это прекрасно, когда имеем дело с информацией более или менее динамичной, но *не-сложной*. Когда же информация очень сложна, глубока, многогранно-многозначительна, то здесь обычная напечатанная страница куда нужнее, куда эффективнее. Вообще процесс впитывания серьезных, глубоких вещей куда более эффективен при чтении, чем при слушании или восприятии с экрана. Ну, крайний пример: какое серьезное философское образование можно было бы получить только и единственно с экрана телевизора, если бы нашлась такая сумасшедшая станция, которая задалась бы целью — не по верхам, не примитивно-популярно такое образование предложить? Нет, я не могу вообразить себе настоящего современного философа, который бы никогда книг не читал, а только телевизор смотрел.

Нет, вопроса о том, что значение книги упадет, — по-моему, такого вопроса сегодня нет совсем и завтра не предвидится. Вопрос есть лишь в том, как справиться с книжной лавиной, как в ней разобраться, как отобрать те 5 или 10 тысяч книг, которые — из 25 миллионов к концу нашего столетия! — только-то и дано каждому из нас прочесть, да и то только если читаешь регулярно и много. 5 или 10 тысяч книг, максимум 15–20 тысяч. Обидно. Прямо ужасно.

Я так жалею, что в свое время потерял время на чтение “Цемент” Гладкова или “Кавалера Золотой Звезды” Бабаевского. А то еще “Шаг вперед, два шага назад”, “Вопросы ленинизма” и многие другие труды, вплоть до трудов по языкознанию одного ныне полузабытого автора... Это же значит, что я в моей отпущенной мне жизнью квоте не прочту никогда других, более увлекательных, более нужных, более умных книг.

17 марта 1978 г.

Откуда берется земля

Беседа 1

Одно время когда-то я был миллионером, даже, точнее, мультимиллионером. У меня было примерно полмиллиарда рублей. Может, даже уже можно сказать, что я был полумиллиардером. К сожалению, это была всего-навсего коллекция старых, выпускавшихся в разные времена бумажных денег, рублей, вышедших из употребления, от старых царских до советских сталинских, замененных новыми денежной реформой 1947 года. Теперь уже и тех нет: хрущевской реформой они были заменены на еще более новые.

Это все надо помнить. На днях я у одного автора в воспоминаниях о годах войны прочел, что он тогда, ужасно голодая, жил на 50 рублей в неделю, и он в скобках добавляет: “То есть это пять рублей по-нынешнему”. Нет, это не так. Сталинская реформа в декабре 1947 года заменила прежние деньги довоенных и военных времен в пропорции 10 старых рублей за один новый. Значит, 50 рублей во время войны можно было бы сравнить с пятью рублями в 1948 году и дальше, но Хрущев уже эти деньги снова заменил на еще более новые и опять-таки в пропорции десять к одному.

Следовательно, один рубль в 47-м году был заменен 10 копейками, а затем эти 10 копеек были заменены копеечкой. 50 рублей во время войны — это, строго арифметически, 50 копеек по-нынешнему, а не 5 рублей.

Может быть, я был бы и круглым миллиардером, если бы купил однажды битком набитый мешок денег, большой мешок, просто огромный мешок денег, который продавал на базаре какой-то цыган, и он недорого просил, всего буханку хлеба или папирос пачек десять, кажется, и можно было, поторговавшись, вообще взять этот мешок за бесценок, и я уже прямо готов был и купить, но подумал: а на что он мне, ну и потом так жалел, так жалел, что не купил...

Ну да, конечно, это было в те самые пламенные годы войны, зимой 1941–1942 года. Мне было двенадцать лет. В оккупированном немцами Киеве я бегал по базару и продавал поштучно папиросы. Я не знаю, откуда цыган взял этот огромный мешок советских денег. Скорее всего выгреб из сейфа в каком-нибудь банке в те дни, когда советские войска ушли, а немецкие только входили и происходил великий грабеж магазинов, учреждений, складов, пустых квартир и всего, чего только можно. Нагреб человек мешок денег, а оказалось, что ошибся: при новом режиме эти деньги стали недействительны. Стали ходить только немецкие марки и особые оккупационные деньги — кстати, все в той же магической десятичной пропорции: 10 оккупационных рублей равнялись одной твердой немецкой марке. Ну и цыган решил продать мешок бесполезных денег хотя бы за несколько пачек папирос. И он и мы, мальчишки, и я в том числе, были плохими футурологами: не поверили, что эти деньги еще когда-нибудь снова станут ценными. А они были ценными — во-

первых, на всей остальной территории Советского Союза, куда немцы еще не пришли или вообще никогда не пришли. Как раз в это время упомянутый автор воспоминаний вот и жил на них именно, на 50 рублей в неделю. Ему бы тогда да этот мешок! Просто чисто географически мешок находился не там, где он был бы так нужен и ценен.

Во-вторых, политически мешок опять-таки находился не в том, так сказать, кругу, где бы он мог быть правильно оценен. Будь цыган горячим советским патриотом, не сомневающимся, что не Сталин, а Гитлер будет побежден и “наши еще придут”, он, конечно, запытал бы мешок, как клад, да и сидел бы тихо, ожидая.

Уже 6 ноября 1943 года Киев был взят советскими войсками — и в один момент, конечно, стали пустыми клочками бумаги все марки и все оккупационные деньги, а стали ходить опять именно те самые, с мешком которых цыган носился, и ходили вплоть до декабря 47-го.

Бесполезные марки и оккупационные, довольно смешные рубли, которых я насобирав где-то чуть ли не среди мусора, и положили, собственно говоря, начало моему коллекционированию. Чего только не валялось тогда как мусор. У кого-то я увидел кипу керенок, выпросил. У одних соседей на нашей улице, оказывается, хранились в дальнем углу чердака пачки старых царских радужных сторублевок, пятисотрублевок с Петром Первым в доспехах, и какие-то сибирские деньги, и деньги Войска Донского. Видимо, какой-то грабитель, обшаривая их пустой дом (они эвакуировались), наткнулся на эти деньги и вышвырнул в слуховое окно, во всяком случае, крыша была усыпана ими, ветер носил их по всей улице. Я знаю, многие люди во все долгие годы советской власти вплоть до окончания войны

и даже после еще хранили старые деньги, особенно солидные дореволюционные, царские: не верилось, не верилось, что они навсегда превратились в ничто...

Так я постепенно, но довольно быстро насобирал подобных денег на общую сумму около 500 миллионов, но львиная доля этих миллионов была за счет тех курьезных бумажек, которые после революции, в годы Гражданской войны, во все 20-е годы выпускались как советской властью, так и всеми, кому не лень, со все большим количеством нулей, без всякого обеспечения, естественно, так что доходило, бывало, дело, что коробок спичек стоил и 10 тысяч рублей, и 100 тысяч рублей. Дрянная такая полоска непрочной бумаги, наклепаны аляпистые какие-то там завитушки, и буквами, значит: “Один миллион рублей”. “Пять миллионов рублей”. Забавно, черт возьми.

Всерьез я собирал тогда по свалкам размокшие, заплесневелые книги, то было серьезно, то была ценность. А бумажные деньги собирал так, скорее для смеху. Вы спросите: откуда книги на свалках? Но во время войны именно чего только не выбрасывалось вон. Ценность был сухарь, полусгнившая свекла, стакан соли или наперсток масла, а книги, например, выбрасывали немцы из занимавшихся ими под казармы или лошадиные стойла библиотек, школ. И сами люди при советской власти выбрасывали все, что было не последних лет издания, на случай обыска, вплоть до дореволюционных классиков, а чем черт не шутит: вдруг сегодня родилась установка и то-то и то-то рассматривать как антисоветское... а потом, когда немцы нагрянули, полетело на свалки все советское, от Ленина и Сталина до Шолохова. Советские опять пришли — скорее вон все, что накопилось за время оккупации. Так что литература

лежала кучами, мокла и гнила под дождями. Я рылся и вытаскивал из середины что более или менее сохранилось, и попадались очень даже хорошие, ценные, и знаменитые, и антикварные книги.

...Да, ведь и еще один был случай, когда мне предлагали купить деньги, тоже мешок, но небольшой, вернее — такую суму. Но я уж был так богат, что к этому случаю отнесся совсем уж равнодушно. Старуха, которая продавала, говорила, что там миллион царских рублей. Это было так.

В Киеве на Куреневке есть большой кожевенный завод. До революции он принадлежал фабриканту Кобцу. Фабриканта в революцию расстреляли вместе со старшим сыном и поставили к стенке младшего, мальчика, и все на глазах у жены Кобца, матери. Она упала перед чекистами на землю, целовала их сапоги, умоляла пощадить мальчика, и они его не застрелили, но он сошел с ума. Конечно, потом эта мать с помешанным ребенком были “лишенцами”, скитались и жили бог весть как, но когда в Киев пришли немцы в 41-м году, городская управа дала им квартиру в соседнем с нами доме, и тогда моя мама и я узнали близко старую больную Кобчиху, как все ее звали, и ее тихопомешанного, уже пожилого усатого сына. Потом опять приблизился фронт, немцы выгнали все население Киева на Запад, и старуха Кобчиха с сыном с котомками за плечами поплелись среди общих толп, и след их пропал.

Потом через несколько лет (война уже давно кончилась, Сталин уже писал труды по языкознанию и душил так называемый “космополитизм” и прочее), шел я, уже тогда не мальчик, а молодой человек, по улице и увидел очень древнюю, совсем уже “живой труп”, старуху, которая не могла поднести полведра воды от

колонки. Ну, естественно, я подлетел, помог — и тут увидел, что это старуха Кобчиха. Донес ведро до ее жилья — я не говорю дома, но, наверное, не годится и слово “жилье”, потому что ютилась она под лестницей в очень старом бревенчатом доме — знаете, под лестницами бывают такие кладовочки, где метлы дворники ставят, так вот у нее в этой кладовочке помещались топчан из досок и скамейка, на которой стояло ведро с кружкой. Мы поговорили, она рассказала о мытарствах последних лет, о том, что сын в сумасшедшем доме, ему там хорошо, он тихий, подметает дорожки, сын в тепле, а вот ей, собственно, не на что жить, и она хотела бы кое-что продать. Не знаю ли я коллекционера, покупающего старинные деньги?

Она полезла под топчан и вытащила суму, набитую пачками царских денежных купюр. “Здесь примерно миллион, — сказала она. — Я бы недорого отдала”. А я говорю: я был и так богат-перебогат, зачем мне был лишний миллион? Я пробормотал, что мне лично не нужно, но я поспрашиваю... потом все собирался как-нибудь ей помочь, ну да, все собирался, а вскоре слышу: старуха умерла. Не знаю, кому достался тот миллион, или его выбросили в мусор.

Не рискуя больше отнимать ваше время сегодня, я на том кончу, отнеся на следующий раз историю о том, что же случилось с моими собственными пятьюстами миллионами. А судьба их была занятная, прямо смех и грех что случилось... В следующий раз.

24 марта 1978 г.

Откуда берется земля

Беседа 2

В моей прошлой беседе я начал рассказывать о том, как в юности (а это были первые послевоенные годы) я почти шутя собрал коллекцию вышедших из употребления бумажных денег на общую сумму в 500 миллионов рублей. Я сам удивился, когда однажды сел и для интереса пересчитал: полмиллиарда рублей, батюшки! Мультимиллионер я.

И вся эта уйма денег, представьте, умещалась в одном кожаном портмоне — правда, большом, этакое что-то среднее между большим кошельком и ученическим портфелем, где-то я на какой-то свалке его подобрал да и стал понемногу набивать деньгами.

В прошлый раз я подробно уже рассказывал, как много в те времена валялось иногда прямо на улице или на свалке старых, ненужных, навсегда аннулированных бумажных денег — от солидных дореволюционных царских, и керенок, и первых советских до немецких гитлеровских и оккупационных, и советских сталинских, прекративших хождение после денежной реформы 1947 года.

До войны многие люди хранили старые деньги, особенно царские, втайне надеясь, что, может, случится

чудо и старый режим восстановится, а с ним и его деньги, и облигации, и другие ценные бумаги. Но когда война окончилась полной победой Советского Союза и стало ясно и младенцу, что это уже действительно серьезно и старое уже действительно никогда не вернется, тут и полетели на свалку бумажки, бывшие когда-то деньгами, пачки радужных сторублевек-”катеринок” — за каждую из таких радужных бумажек, говорил мой дед, до революции можно было купить самую лучшую корову; пачки керенок, и каких-то сибирских денег, и каких-то денег Войска Донского. Девяностолетняя вдова фабриканта Кобца предлагала мне где-то в конце 40-х годов купить у нее мешок царских денег, общей суммой один миллион царских рублей, — купить для коллекции, естественно. А я не купил: зачем мне был лишний миллион? Я имел уже 500 миллионов, уж так был богат!

Будь я настоящий фанатичный коллекционер, я бы, конечно, купил бы, из жадности, впрок, для обмена с другими коллекционерами, как это положено, но я-то к своему этому занятию относился несерьезно. Валялись на земле какие-то бумажки, называвшиеся когда-то деньгами, — ну, я их подбирал. А покупать еще, настоящие деньги за это платить — еще чего не хватало! У самого на хлеб не было. Я жил в Киеве, а тогда после войны голод на Украине был страшный. Сейчас, через много лет, та коллекция, может быть, и представляла бы собой какую-то ценность, но тогда — тогда я собирал ее так, для смеху.

А занимали мои 500 миллионов рублей так мало места (повторяю, этакое туго набитое портмоне размерами с половину школьного портфеля), потому что большую часть миллионов составляли те курьезные бу-

мажки, которые лавинами печатались в послереволюционной инфляции вплоть до начала 30-х годов, когда случалось, что коробок спичек стоил и тысячу рублей, и 10 тысяч рублей, ну и, соответственно деньги были: дрянная такая, словно оберточная, бумажка, какие-то аляповатые завитушки, серп и молот, надпись: “Пять миллионов рублей”. Тогда все без исключения были миллионерами и миллиардерами.

В годы, когда я собирал свою коллекцию, мы с мамой жили на киевской окраине Куреневке, в одной комнате площадью шестнадцать квадратных метров с маленькой кухонькой, и хотя мать была учительницей младших классов и вела две, а то и три смены, работая с утра до позднего вечера, на зарплату прожить было, конечно, не то что невозможно, а просто тут не о чем было и говорить. И я работал с малых лет и кем только не был (в то время я уже работал, по-моему, статистом в оперном театре), а жить не на что.

И мать брала постояльцев — коечников, или “угольников”, от слов “снимать угол”, студентов какого-то техникума на Куреневке. Ну, койками были заставлены все шестнадцать квадратных метров. Летом хорошо — летом мы могли распространяться и на чердак, и в сарай, а зимой ужасно. И мне пришла в голову прекрасная мысль. Я взял лопату, выкопал яму и выстроил себе землянку по всем правилам рядом с нашей хатой. Я даже печку там сложил, стены досками обшил и даже какими-то обрывками обоев оклеил — и поселился там как фон-барон, чувствуя себя независимым и счастливым, как лендлорд какой-нибудь, — первое в жизни отдельное, изолированное, мое собственное помещение! Я снес туда все свои богатства: книги, рукописи, коллекции. Там был только один недостаток:

нужно было постоянно топить и сушить, потому что из земли поступала сырость и в несколько дней все могло отсыреть и заплесневеть.

Там, в этой яме, я написал свои первые удачные рассказы, за которые получил премии на конкурсах в Москве и Киеве. Потом черт меня понес на “великие”, как тогда они назывались, очень гремевшие “стройки коммунизма”, а землянка осталась на попечении матери, которая сама в ней зимой жила, полностью отдав комнату жильцам. Потом она мне однажды написала, что недосмотрела, что в период дождей землянку залило и она завалилась.

Прошло еще года три. Я приехал в гости к матери надолго, посмотрел равнодушно на провал в земле на месте моей бывшей, такой милой земляночки. Было немного жаль некоторых ценных книг, погребенных там, пачек рукописей и писем в шкатулке — и особенно вдруг стало жаль той денежной коллекции в 500 миллионов. Я взял лопату и стал копать в надежде, что, может быть, что-нибудь еще и откопаю. После нескольких часов работы я добрался наконец до, так сказать, “культурного слоя” и особенно рылся в том углу, где оставил шкатулку, книги, коллекцию. Точно! Подцепил лопатой и вытащил совершенно целое то кожаное портмоне. Кожа, правда, разлезалась при прикосновении, но портмоне было цело и битком набито. Осторожно я слой за слоем снял кожу, ожидая внутри увидеть — ну, слипшиеся, пусть даже безнадежно слипшиеся, заплесневелые, пропащие, но все же бумажки. Знаете, что было внутри этого туго набитого бумажника-портмоне? Черная жирная земля.

Портмоне пролежало три года явно без прикосновения. Оно было битком набито, точно так же, как я его

оставил. Внутри было на 500 миллионов былых бумажных денег. Но они превратились в первоклассную черную жирную землю. Я ковырял эту землю палочкой, растирал пальцами — ни малейшего следа, ни намек на то, что это были когда-то деньги. Земля! И царские хрустящие, солидные, и инфляционные оберточно-бумажные миллионы, и советские сталинские — все было землей.

Конечно, после этого потрясения я уже не удивился, когда докопался и до шкатулки, то есть до бурой деревянной гнили в форме шкатулки, и, соскребя эту гниль, обнаружил внутри вместо своих рукописей и писем все ту же черную жирную землю. Три года. Три года, оказывается, нужно, чтобы из денег или книг, из рукописей и тому подобного в сырой земле образовалась “сыра земля”.

Ах, этот верхний слой земной поверхности, этот темный культурный, плодородный слой почвы от нескольких сантиметров до метров, который мы, в простоте душевной, считаем результатом перегнивания лишь растений!..

Хм, сейчас мне пришло в голову, что я мог бы и не пытаться после трех лет откопать в земле бумажник, если бы вспомнил более ранний случай. Это уж я совсем мальчишкой был, и у нас собачка умерла, и я погоревал, а потом — любопытен был! — придумал: дай я ее зарою в землю, она сгниет, а я потом землю осторожно сниму и увижу, как устроен ее скелет. Чтобы скорее процесс шел, я закопал — очень неглубоко — собачку в том месте, где с крыши вода стекала, чтоб сыро. И через год вспомнил. Пошел осторожно раскапывать. И знаете что нашел? Землю. Ни следа от собачки, и только два или три земляных комочка показались мне

похожими на косточки, но и они рассыпались при прикосновении. Черная земля. Подчеркиваю: под водостокom. В сухом песке сохранялось бы дольше. Да, это было, и если бы я тот случай вспомнил, я бы и не подумал работать, раскапывать землянку, надеясь найти что-то.

Это особо долго сохраняется что-то в исключительных условиях: в идеальной суши некоторых гробниц, пещер, а так, нормально, все, что на свете крутится-вертится, геройствует, страдает, борется и побеждает, в конечном счете превращается в этот верхний темный плодородный слой почвы от нескольких сантиметров до метров толщиной. Истина, конечно, не новая. Скажите мне лучше: избитая истина, до пошлости избитая.

Я и сам это знаю и знал, начиная эту беседу. Я не к этому выводу хотел подойти к концу, а совсем к другому. Так вот, умозрительно знаешь ведь многие вещи, знаешь вроде. Но оказывается, нет, не знаешь. Только когда сам, своим телом, существом, руками, глазами, чувствами конкретно притронешься, как я к тому бумажнику, набитому землей, — тогда только понимаешь, что оно такое да как же это!..

Тоже не новый вывод? Тоже не новый, согласен, конечно. Так вообще можно сказать: а что ново под луной? Оставим это дело вообще без выводов. Я рассказал, вы послушали, и спасибо, и на том я закончу.

31 марта 1978 г.

Искусство жить в обществе и большевистская непримиримость

Человек — существо общественное, как сказал Аристотель. Человек тянется к другим, себе подобным, ищет с ними контактов, находит таких, с которыми его объединяют одинаковые вкусы, взгляды, чувства, интересы, цели. Не каждый мог бы или хотел бы быть совершенным отшельником, хотя такие и бывали и есть, особенно религиозные отшельники, но то вопрос особый: вместо суетного общения с людьми они общаются с Богом. Но любой отшельник, и верующий и неверующий, — это что-то исключительное, согласитесь, это то самое исключение, которое подтверждает правило.

Подавляющее же большинство людей жить без тесных контактов с людьми же просто не может, хотя искусство жизни с этими самыми контактами на практике оказывается не легким и не простым.

Очень часто, несмотря на самые искренние, добрые намерения и желания сторон, возникают недоразумения, противоречия, конфликты, часто ненужные, мучительные, которых надо бы и можно было бы избежать, если бы знать, как это сделать. Иные глупые недоразумения перерастают в полный разрыв отношений

и даже ненависть, хотя к тому, казалось бы, и не было действительно серьезных причин.

Человек является человеком только благодаря воспитанию. Те несчастные дети, которые в джунглях вырастали среди зверей, потом, будучи пойманы, имели лишь внешние черты людей, но по существу были животными. Что в нас вложат в детстве, с тем мы и будем жить.

Конечно же, каким-то искусством жить в обществе овладевает любой из нас с самого раннего детства автоматически. Обжигаясь, набивая шишки, каждый как-нибудь по-своему, да учится. Но, боже мой, как по-разному это происходит и какие разные результаты дает! Один вырастает уживчивым, покладистым, добрым, другой — горлохвatom, неуживчивым и злым. Чему там научат родители, чему там научит улица? Есть ли в школе хоть крохотный курс, хоть три-четыре урока: что такое хорошо в общении с людьми, а что такое плохо?

Каждый вырастает, понимая это на свой лад, и чаще даже не головой понимая, а где-то скорее спинным мозгом, и так мы и живем, не зная самой элементарной техники обхождения с ближними, что особенно катастрофически дает себя знать, когда возникают отношения нетиповые, нечастые или когда нами овладевают страсти, неконтролируемые, идущие из подсознания. Далее, с течением жизни, сюда примешиваются комплексы, целые гроздья комплексов, основанных на пережитом, на разных травмах, неудачах или же, и наоборот, на удачах.

Короче говоря, каждый из нас — это клубок противоречий, клубок всего такого разного, в том числе массы такого, что болит, мучает. И вот этот клубок должен жить среди других, таких же, и тянется к ним,

сам того не видя, что ошетинен как еж, — но другие тоже ошетинены, как ежи... Так и живем. И глупо и обидно.

Старинная французская поговорка гласит: “Понять — значит простить”. Может быть, этому надо учить нас с первых лет нашей жизни: стараться понимать, как можно больше стараться понимать, а значит, и прощать? Взаимно прощать. Но хватит ли лишь одного взаимного прощения обид, когда мы толком не знаем, как бы так поступать, чтобы этих обид вообще не возникало или, по крайней мере, возникало как можно меньше?

Наткнулся я как-то на старинную книгу, изданную еще в 1824 году, под названием “Беседы” Джона Локка, знаменитого английского философа, которого называют отцом английского либерализма, но, собственно, это была даже не его оригинальная работа, а его изложение с обработкой другой книги теолога XVII века Петра Николае, и я был поражен, насколько современной и нужной была бы такая книга сегодня.

Этот старый теолог школы Декарта рассуждает так. В общении с людьми мы можем ожидать самых разнообразных реагирований. Одни будут заносчивы, другие чем-то разгневаны без видимой для нас причины, третьи могут быть обидчивы на любое наше слово или движение, которое почему-либо им не понравится, и так далее. Что нам делать? Как себя вести? Он пишет:

Чтобы сохранить спокойствие в мыслях и спокойствие в общении с другими людьми, недостаточно никого не обидеть либо не ожидать от кого-то непременно любви, уважения, благодарности, даже вежливости.

Помимо этого, как главное, мы должны быть вооружены терпением — терпением, защищающим нас от чужих настроений. Далее, мы должны согласиться с фактом, что все мы имеем недостатки, которые усложняют наше сосуществование.

Надо понять, что нет большего абсурда, чем вести себя возбужденно только потому, что иной человек поступает так, а не иначе. Недостатки других вредят прежде всего им самим. Поэтому они заслуживают скорее сожаление, чем гнев.

Недостатки других — это как болезни, которые и нам самим угрожают. Нет таких недостатков, которым и мы сами не могли бы быть подвержены. Таким образом, не имея основания ценить себя выше, чем других, убедимся же, что не имеем и оснований, чтобы на них обижаться.

Так писал человек еще в XVII веке.

А я думаю о воспитании моем и миллионов подобных мне в XX веке в Советском Союзе. Никто никогда ничего даже хотя бы отдаленно похожего мне не сказал. Мне прививали “непримиримость”. Непримиримость к врагам, ко всем, кто не похож. Это знаменитое: “Тот, кто поет не с нами, — тот против нас”. Большевицкая непримиримость, большевицкая монолитность всех: только так, а не иначе. Кто хоть чуть-чуть пикнул: “А может, иначе?” — немедленно враг.

Какой ужас! Всеобщее государственное воспитание не покладистости, не примиримости, не умения помнить, что все мы с недостатками и что нам нужно не ранить друг друга углами, а убирать эти углы, жить добрее, уважительнее, умнее. Нет! Воспитание как раз

именно непримиримости к недостаткам (да еще: что такое недостатки? Это вам скажет партия), обострения отношений, воспитание в людях истерического, кликушеского осуждения всех, на кого им укажут пальцем. Это самое “Заклеймить!”.

Непримиримость — первая добродетель во всех биографиях знаменитых “железных”, “стальных”, “непоколебимых” и прочее коммунистов. Еще бы, сам великий кормчий избрал себе прекраснейший, по его представлению, псевдоним “Сталин”, стальной, так что Феликсу уже оставалось быть только “железным”. Грустное, сожаления достойное время, стыдный период истории такой хорошей, такой большой, столько переживавшей страны...

26 мая 1978 г.

Размышление о счастье

Однажды, будучи пареньком лет шестнадцати-семнадцати, ехал я на крыше поезда из Киева в Москву. В свое время я довольно много наездился на буферах да на крышах поездов, потому что носила меня куда-то нечистая сила, а денег на билет не было, да и тогда (то были первые послевоенные годы) сам-то билет достать было такой дикой проблемой! Много народу ездило на ступеньках, буферах, а на крышах вагонов бывало черным-черно, и милиция просто не справлялась с этим. Были лишь особые станции, где снимали с буферов и крыш. На линии Москва — Киев такой станцией был Бахмач, жуткая для зайцев станция, посидел и я там пару раз в отделении, а потом научился спрыгивать на ходу за сто метров от перрона, обегать станцию и поджидать мой поезд метров за сто после того, как он отойдет от перрона.

В смысле комфортабельности я тогда даже считал, что на крыше куда приятнее ехать, чем в переполненном душном вагоне. Летом, конечно. Лежишь себе на горячей крыше вагона под солнышком, привязавшись для верности веревочкой к выступающей трубе venti-

лятора; ветерок освежает, пейзажи вокруг; поезда тогда ходили медленно; тридцать часов тащился от Киева до Москвы. Одно плохо: сажа из трубы паровоза. Приезжаешь на конечный пункт черный, как трубочист. Ну и еще лежать нужно, потому что бывают мосты такие коробчатые, низкие, и я два раза сам видел, как не успевавшему пригнуться “крышному” пассажиру вдребезги разбивало голову об этот мост.

Самым трудным участком были Брянские леса. Как-то всегда приходилось проезжать их ночью. А там всё леса да болота, туманы, холод собачий, и на крыше уже не усидишь: замерзнешь насмерть от ледяного пронзительного ветра. Одно спасение — на буфере, в промежутке между вагонами, но и туда все равно ветер задувает и режет тебя как ножом. Уж дождешься какой-то остановки и бежишь, окоченевший — руки-ноги не сгибаются, — к крану с кипятком. Жестяная кружка всегда при себе, набрал кипятку — и пьешь его мелкими глоточками, греясь, набираясь тепла на следующий перегон.

И вот на каком-то перегоне я почувствовал, что все, вот конец мне приходит, еще четверть часа — и я просто свалюсь с поезда прямо в Брянский лес, как ледяная сосулька. В отчаянии я перебрался с буфера на ступеньку и толкнул дверь. Чудо из чудес: она открылась. Это было действительно чудо: проводники обычно наглухо закрывали все двери, и пытаться нечего, ну а потом если и войдешь, то зачем? Сразу тебя за шкирку и на первой же станции — в отделение. А тут — вот такое чудо: проводник, видимо, забыл запереть дверь. И я ввалился в тамбур и бессильно упал на полу.

Вы знаете эти холодные, с железным полом тамбуры вагонов, где стоит невероятный грохот во время

хода, окна в инее и куда уединяются разве лишь парочки поцеловаться, но, замерзнув, быстро убегают. Но мне показалось, что я попал в печь — так мне показалось тепло по сравнению с тем, что снаружи. И самое поразительное — никогда этого не забуду! — пол. Пол в тамбуре был теплый, теплый, как плита. Я лежал и ладонями, боками, прижатым ухом ощущал такое тепло, словно я лежал на русской печке. На самом деле этот заплеванный железный пол тамбура был, видимо, холоден как лед. Но мне-то он казался теплым, как печь! Я корчился на нем, прижимаясь то одним боком, то другим, то спиной, все греясь, греясь, как котенок на печи. И меня охватило такое счастье, что большего счастья уже, кажется, и невозможно испытать. Я вскоре заснул и спал так крепко, так счастливо, так безгранично счастливо, и спал долго, потому что это был вообще глухой тамбур, не тот, которым пользуется на остановках проводник. Выскользнул из него, проснувшись, никем так и не замеченный, когда уже было светло, и опять был так счастлив от целой этой своей полосы удач...

Я потом не раз вспоминал этот случай, едучи и в купейном и в мягком вагоне, и в международном, с постелью и даже душем в туалете при каждом купе. Ну да, удобно, хорошо, едешь, как фон-барон, как шишка какая-то, но подобного счастья, подобной лавины счастья я никогда не испытывал ни в каких люксах-перелюксах. Даже наоборот, однажды в ленинградской “Стреле” проклял с ненавистью мягкий диван, потому что на большой скорости вагон начинал так интересно вибрировать, что вас подкидывало на мягком диване мелко-мелко, так, что печенки перемешивались с селезенками, и после часа-другого такого подкидывания я сгреб постель и улегся на полу головой к дверям купе,

на твердом полу трясло меньше, чем на пружинах дивана, и так кое-как до утра перемучился. Это в международном вагоне. Перемучился. Приехал в Ленинград разбитый и несчастный.

Несколько лет назад (довольно поздно, я считаю) мне пришел в голову оригинальный вопрос. Ну хорошо, ну вот ты, сказал я себе, всю жизнь чего-то хочешь, борешься, предпринимаешь, добиваешься — все потому, что хочешь, как и все, счастья, счастья. А посмотри трезво на свою жизнь: когда же оно бывало? Когда же бывали такие моменты, что ты мог бы закричать, как Фауст: “Остановись, мгновенье!”?

И я потрясенно обнаружил, что если эти моменты были, то это были совсем не те моменты, за которые я боролся, на достижение которых ухлопывал массу сил и достигал, но вдруг оказывалось, что это достигнутое — совсем не счастье, а скорее одно неудобство, как в том международном вагоне ленинградской “Красной стрелы”...

Я перебираю в памяти жизнь: когда я был так полон, так безмятежно, гармонично счастлив, без малейшей ноты диссонанса? Ну, в детстве много было таких моментов. Но не получение дорогого подарка или получение пятерки в школе, а, например, когда летом с ребятами ходили купаться на Днепр. Через заливные луга, на дикие песчаные пляжи между Киевом и Вышгородом, где было полно птиц, безлюдье, девственно нетронутый песок хрустит под пяткой, как сахар; песчаная коса Днепра, до которой сперва доплывешь — чуть не до середины реки, а потом бежишь по ней, спугивая чаек, и кричишь просто так, неизвестно от чего, от счастья...

Став зрелым, я воображал свое счастье в том, чтобы сделаться знаменитым писателем, и иметь много

денег, и путешествовать, и прочее. И ужасно много старался, учился, работал и достиг в какой-то степени. После того как очень популярной стала моя повесть “Продолжение легенды”, писали про меня, на выступления звали-разрывали — бывало, что я каждый день перед тысячными аудиториями читателей выступал, и денег было навалом, и в президиумы тебя тащат, и киностудии разрывают, и почтальон каждый день приносит сумки писем. Когда я вспоминаю это мое бурное время, то даже сейчас кажется, что холодный пот выступает на лбу, шею стискивает, как обручем, а желудок корчится от кислоты язвенной болезни, которую я тогда получил. То было все, что угодно: суета, барахтанье, судорожная гонка, все что угодно, только не счастье. Фальшь какая-то.

Но тогда что? Ну-ка, ну-ка, а что же было не фальшь? Не фальшь?..

А вот, например, когда мы с любимой женщиной сели в автобус и поехали в леса под Ясной Поляной. Такой был ослепительный летний день, и еще не было сенокоса, трава была густая, и на огромных полянах сплошь полевые цветы, причем преобладали желтый и лиловый оттенки, так он и остался в памяти, этот день, как “лиловый день”. И просто лежа в траве и глядя в небо, я бы тогда, пожалуй, мог сказать: “Остановись, мгновенье!”...

А вот я уже почти девять лет живу в Лондоне. И сколько таки всего было. Кажется, что за эти девять лет пережил целую вторую жизнь, ведь из Советского Союза переселиться на Запад — это, знаете, как на другую планету попасть. И однажды, остановившись, я задал себе опять тот же вопрос: постой, а на Западе за эти девять лет какой момент был самым-самым полным,

момент номер один, “остановись, мгновенье”? Когда вышел наконец без цензурных сокращений мой роман-документ “Бабий Яр” — слово в слово, точка в точку, как я написал и как я хотел, чтобы он был? Да, это было хорошо, но, так сказать, по-деловому, что ли. Но только и всего. Когда мои фотографии пестрели в газетах, меня разрывали на интервью, сыпались сотни приглашений? О, нет! Все что угодно, только не это, это ужас, от этого только язвенные болезни наживать. Ну тогда — когда смотрел, ездил, узнавал этот мир? Калейдоскоп, калейдоскоп всего, но... Но был, да, был момент куда выше, куда прекраснее, когда я действительно уж так себя полно и гармонично чувствовал, как тогда на Днепре в детстве, как в тот “лиловый день” под Ясной Поляной.

Это было в моем тихом маленьком саду позади моего дома в Лондоне. Я вырастил чудную траву, цветы и задался честолюбивой мечтой еще построить и маленькую оранжерею. И строил ее месяца два. А когда закончил, и ввинтил в дверь последний крючок, и поставил внутри первые горшки с экзотическими растениями и простыми гераньками, там внутри стал такой запах, как в ботаническом саду. И был солнечный день, шмели жужжали в траве. Я был весь перемазан цементом, руки в ссадинах и занозах, а я ходил вокруг своей оранжерейки, любовался ею, такой счастливый, что ноги подкашивались, и лег на теплую траву, заложил руки за голову и посмотрел в небо. Да, это был *самый лучший* момент за мои последние девять лет. Все остальное, что было, — а его же было так много! — я поставлю после этого момента. Этот момент — на первом месте.

Я никогда не боролся за власть, за высокие посты, за богатство — и знаю, что не буду бороться. Я не верю,

что те не очень многие, которые в этой области достигают того, за что боролись, — что они счастливы. Возможно, чего-то тут не понимаю. Вообще, все в жизни для меня получалось не так, как мне предлагали делать и чему меня учили. Учили меня в СССР.

Сами учителя боролись за власть, карьеру, благополучие, богатство, а меня учили бороться за идеи, за светлое будущее. Какое-то время я им даже верил и действительно поборолся и за идеи, и за светлое будущее. Вспоминаю об этом с омерзением. Как с омерзением вспоминаю и те случаи, когда доводилось сидеть в президиумах.

Не знаю вообще, как закончить эту беседу, а кончать пора. Прошу вас, примите все это просто: вот я что-то рассказал, какие-то штрихи мыслей, кусочки опыта, искренне, как это мне представляется. И что еще?

Вопросы, одни вопросы.

2 июня 1978 г.

Приливы и отливы

Мама научила меня читать, когда мне было четыре года. Ни тогда, ни после я не был на нее в претензии за это. Когда я пошел в школу, в первый класс, у меня за плечами была уже целая библиотека прочитанных книг. Где-то лет в шесть я прочел “Труженики моря” Виктора Гюго и был просто потрясен картинами моря, вернее пролива Ла-Манш, который там описан. Потрясли картины величественных приливов и отливов. Герой кончает самоубийством, используя прилив, как и положено труженику моря: он просто сидит на уступе скалы, а море подымается и подымается, вот уже лишь голова его видна над поверхностью... вот уже не видно и головы.

И можно сказать, с шести лет во мне жила мечта увидеть приливы и отливы на Ла-Манше. Ну и вообще везде, но на Ла-Манше в особенности. Мечта волнующая, потом мучительная, потом тоскливая и почти безнадежная. Потому что кто иногда разрешит тебе поехать на Ла-Манш, если ты скажешь правду: что вот хочешь посмотреть приливы и отливы, потому что это твоя мечта до слез, еще с тех пор как в шесть лет прочел

“Труженики моря”? Никто не пустит, естественно, а, гляди, еще направят на обследование к психиатру. После такового же, даже если бы и нашли тебя здоровым, все равно ты уже на учете, уж тогда тем более прощай все заграничные поездки. И вообще, что тут говорить. Миллионы рождаются, проживают жизнь и умирают, никогда не увидев ни океана, ни даже кусочка Черноморского побережья, а ему, видите ли, чего захотелось — Ла-Манша между капиталистическими Францией и Англией!

Да, представьте, вещи вот такого рода, как желание увидеть океанские приливы и отливы, побывать где-нибудь на Канарских островах и в Британском музее, побродить по Нотр-Даму в Париже и тому подобное, — вещи такого рода, столь, по-моему, естественные, но по воле властей столь недоступные для большинства людей страны советов, — сыграли очень большую роль в моем личном решении покинуть Советский Союз. А мне — да! представьте, что да, — хочется, живя на этой земле, прежде чем умереть, увидеть то, о чем, может, с шести лет мечтаешь. Какое мне дело до ваших политических, стратегических, экономических и прочих “-ических” соображений, из-за которых вы обнесли землю, на которой я родился, колючей проволокой со всех сторон. А я живой человек, а я не хочу прожить, умереть и не увидеть того, что так хотел увидеть. Получается, что нет другого выхода для меня, как, вопреки вашим запретам, уходить прочь, за пределы вашей колючей проволоки. И вот я уже девять лет живу поблизости от пролива Ла-Манш, правда, не со стороны французской, а со стороны английской. От моего дома в Лондоне до ближайшей точки на берегу — примерно час езды автомобилем; когда быстрее

(однажды я доехал за 35 минут), когда дольше — в солнечный день, когда дороги забиты едущими на пляж.

И вот интересно: как еще тогда, в шесть моих лет, романтический ореол прочно окружил этот пролив в моем сознании, так это не проходит и по сей день. Это изменяется, да! Но, изменяясь, по-прежнему остается волнующим. В первый раз, когда я, уже свободным, уже не советским человеком, поехал впервые на побережье пролива в первые же дни моей жизни в Англии, так я вообще чуть не заплакал. Потом обрыскал каждый километр английского побережья пролива, когда уже стал водить машину, по всей южной Англии. Дувр, Портсмут, устье Темзы, или, скажем, самый-самый юго-западный узкий хвостик Англии, глядящий в сторону Испании, называется Ландс-Энд, “Конец земли”, тоже романтично, я считаю; там действительно скалистый мыс, первозданно-дикое нагромождение скал, океанские валы лупят в эти скалы, и дальше, кажется, действительно ничего уже нет, одна вода, конец земли — все эти места для меня теперь знакомы, облажены, а все равно не надоедают, тянет и тянет, вплоть до того, что, бывает, в последней вечерней сводке погоды по телевизору сообщают, что разыгрался шторм, — я, вместо того чтобы ложиться спать, вскакиваю в машину и лечу сломя голову в ночь, на побережье, смотреть стихию. Не смейтесь, она того стоит, это то еще впечатление. Это не то что шторм на Черном море, на котором и приливов нет. Самый-то шторм — это когда он совпадает еще и с наивысшей точкой прилива.

Эта моя беседа навеяна впечатлением от вчерашней поездки в Саутенд. Это в том месте, где кончается широчайшее устье Темзы, сливаясь с каналом. Это туда я однажды доехал за тридцать пять минут. Туда я езжу

ради приливов и отливов. Я накануне смотрю в газете время приливов. Я хочу приехать во время полного, наивысшего прилива.

Вчера он был в девять часов утра. Я выехал в восемь и вскоре был на берегу, в маленьком городке со всеми курортными атрибутами-развлечениями, рестораничками, гостиничками, всякими устрицами и прочей морской снедью, которую покупаешь и ешь прямо на набережной. Вдоль набережной стоят сотни машин, под набережной полоска культурного пляжа. Это не для меня.

Я проезжаю вдоль моря до самой последней окраины городка и за нее. Там есть огромный луг с высокой травой на самом берегу. Ставишь в траве машину и окунаешься в тишину. Волны прибоя шуршат, и в небе жаворонок заливается. Необычное сочетание. Море искрящееся, какое-то полное-полное, словно вздутое. Вода здесь самая теплая в Англии, потому что здесь мелко. Идешь и идешь — пока зайдешь так, что можно плыть, но и плывя, стоит вытянуть ногу или чуть окунуться, как чувствуешь дно. На три-четыре километра от берега тянется эта отмель с глубиной не больше двух метров в самый прилив.

Через час-другой начинается что-то странное. Вы сидите на берегу и с удивлением замечаете, что там, где недавно вы плавали, не касаясь дна, бегают собака и бегают дети, и воды им по косточки. Далеко-далеко видите кого-то, едва различимого, кто ушел туда и бредет, кажется, по колено в воде.

Еще через час вода уходит совершенно. До самого горизонта — оголившийся мокрый песок дна. Моря не стало, совершенно. Сколько видит глаз — мокрый песок с лужицами воды. И здесь начинается великий ис-

ход. Все, кто был на берегу, идут по этому дну. Людей мало. Редкие фигурки бродят там и сям; кто-то гоняется за крабами, ныряющими в лужи; многие собирают съедобные ракушки, которых тут миллионы: они очень вкусны, только возни с ними много: варить, выковыривать из раковин, долго промывать от песка, мариновать; проще купить в лавочке готовые, они тут как семечки. Тишь, мир, простор.

Но самое главное — это необычайный подъем настроения, который испытывают все, буквально все, кто идет вот так, шлепая ногами, по теплым, как чай, соленым лужам, в этом просторе. Я много раз проверял это на себе и наблюдая других. Прямо магия какая-то. Солнце сверху греет, ветерок обвеивает ласково, вокруг все искрится, а в воздухе марево, и если идти так час-полтора, то уже за маревом не видно берега, вы — в каком-то таком чудном пространстве, между небом и землей, и так хорошо, и хочется бегать, дурачиться, разбрызгивая ногами лужи, а которые поглубже — так шлепаться в них и лежать, как в ванне, болтая руками-ногами среди водорослей. Дети, те вообще с ума сходят; да и взрослые становятся как дети. Столько сил вдруг в теле, ноги пружинистые. Идешь километр за километром, дыша всей грудью, и никакой усталости, идти бы так и идти...

Кое-кто, однако, начинает сдаваться, поворачивает обратно. Я иду. Впереди, на горизонте, в дымке виден силуэт корабля, стоящего на рейде. Если он стоит, то должен же он в чем-то стоять? Должно же быть где-то там все-таки море? Я дохожу. Где-то в километре справа от меня, я вижу, тоже кто-то дошел. Пески кончаются, дно круто уходит вниз, и тут оно, море, катит валы, вода холодная, глубокая, бурная. Я бросаюсь в нее,

плаваю быстро-быстро, обжигаемый холодом; вижу, что мой сосед в километре справа делает то же. Потом надо согреться, бегать. Крабы, куски дерева, выброшенные волнами обрывки сетей с поплавками. Сосед уже пошел обратно. Я теперь совсем один; кажется, неизвестно где; вокруг одно марево и блеск. Иррациональный мир.

Пора уходить, скоро начнется прилив. Медленный-медленный, совершенно безопасный прилив. Прошлый раз я был с моей собачкой. У меня такая маленькая шавка есть, размером с кота, очень отважная и верная. Она всю дорогу носилась и бесилась от счастья, язык волоча по земле. Когда я пошел купаться в глубокой воде, я положил на песке далеко от воды рубашку и велел собаке сидеть и стеречь. Когда через десять минут вышел, оказалось, что это место уже залила поднимающаяся вода, рубашка плавала в волнах, а собачка моя сидела, только голова торчала из воды, готовая утопиться, но с поста не уйти. Спокойным шагом мы пошли обратно, сперва среди волн, потом среди первых мутных струек прибывающей воды, потом совсем опередив прилив, оставили его далеко за собой, и когда где-то через час вышли к берегу, то там еще и признаков прилива не было видно, он подошел к берегу еще где-то через час. И опять бегали по щиколотку в воде дети с собакой, а потом вода все поднималась, опять стало море до горизонта, полное-полное, словно выпуклое. Цикл этот занимает одиннадцать с лишним часов. Такая симфония длиной в день, целая гамма изменений, состояний, а со всем этим и ваших чувств. В общем, едешь после этого домой переполненный, обгорелый, счастливый. С чего? Я не знаю. До сих пор мне кажется, что там, в этом месте, есть какая-то нераз-

гаданная мистика. Вот — счастье, и все. И не объяснишь. Детское счастье, телячий восторг. У всех, повторяю, у всех без исключения. Я же вижу.

Ну и вот, пока ходишь так, в том мареве и блеске, между небом и землей, то чего только не передумаешь. И вспомнишь вдруг евпаторийский или сочинский пляж, где место надо занимать в пять часов утра, потому что, видите ли, львиная доля побережья отведена под “спец”, под ведомственные санатории, а с заходом солнца — патрули, собаки, прожектора! Как же — граница!.. Вы знаете, тут, в Саутенде (где, кстати, тоже ведь граница Англии, но об этом никто не помнит), — вы знаете, тут, значит, когда так идешь и ощущаешь себя переполненным жизнью, как в детстве, то те осколки советских воспоминаний кажутся прямо невероятными, смешными, как те порядки в стране Лилипутии, на которые Гулливер даже не обижался, а с любопытством смотрел как на казус. “Да, — думаю, — хорошо тебе теперь отсюда вспоминать это как казус...”

Как все это обидно, что я не могу вам показать эти приливы и отливы. Вот, рассказываю. А это что — одна стомиллионная часть того, что есть на нашей красивой планете Земле. Жизни наши так коротки. Смотреть надо скорее, пользоваться этим богатством (всем хватит) — а не тархтеть оружием, потеть в маневрах да обгораживаться стенами и колючей проволокой.

30 апреля 1978 г.

Все для человека

Беседа 1

Живя в Советском Союзе, я всегда мог по внешнему виду безошибочно отличить приезжего иностранца от советского человека. Прежде всего, конечно, по одежде — западные люди выглядят элегантно, одежда отличного фасона, качества и не висит мешком. Но не только это. Сами они — какие-то ухоженные, здоровые, прямо выхоленные какие-то. Идут иностранцы с Запада по улице — сразу видно: люди из другого мира.

Может быть, они такие холеные потому, что мы видим избранных, — думал я, пока сам не попал на Запад и не убедился, что на Западе — все такие. Так в Советском Союзе где-нибудь в глухой деревне сразу можно узнать идущего по улице горожанина, но у себя в городе он ничем не будет отличаться от других: в городе все такие.

Так вот, например, англичанин или англичанка, резко выделяясь даже в Москве (не будем уже говорить про Рязань или Тулу) своей одеждой, своим здоровым, прямо-таки холеным видом, у себя в Англии затеряются среди миллионов подобных, потому что здесь все такие. Здесь, между прочим, и городского жителя от сельского отличить по внешнему виду невозможно.

Моя бабушка умерла в шестьдесят лет, и к этому возрасту она выглядела действительно как бабушка, изможденная согбенная старуха. Сколько я знал женщин — и одноклассниц моих по школе, и соседок, и сослуживиц, которые к тридцати годам уже выглядели пожилыми, изможденными, больными целыми букетами болезней, а к сорока... боже мой, да кто же в сорок лет в Советском Союзе считается молодым? В некоторых профессиях — например, охранники в концлагерях — в сорок лет уже выходят на пенсию.

В Англии сорок-пятьдесят лет — это самый-то расцвет человека, и мужчины и женщины. На них свысока, как на молодежь, смотрят активные, энергичные семидесяти-, восьмидесятилетние. На иную женщину смотришь и совершенно не можешь определить: сорок пять ей уже лет или, может, еще только двадцать пять. И не в косметике здесь дело, и не в одежде, а в том, что я когда-то определял как “холеность”. Образ жизни холит.

Они не знают, прежде всего, совершенно не знают того особого вида страха, под прессом которого человек в Советском Союзе находится буквально с ясельного возраста, страха, угнетающего нервную систему, а с нею и весь организм в целом. Далее, они не мордуются так, как советские люди, на работе, а затем в погоне за тем, чтобы что-то достать. Они гораздо менее подвержены “ошибкам”, как некоторые врачи именуют состояние, когда все существо человека хочет одного, а вместо этого вынуждено делать другое. Это страшные катаклизмы для организма, и если они систематичны, то разрушают его как систематический артиллерийский обстрел. “Хочу!” Нет, нельзя! Делай то, что “не хочу”, что, может быть, “ненавижу”. Западному человеку совершенно неведомы многие и многие психопатологи-

ческие разрушители организма, которые при советском образе жизни введены в норму.

Больше психологической уравновешенности, больше естественности, больше хорошего настроения — каждый согласится, что это важнейшие факторы для здоровой и долгой жизни, не так ли? Но это одна сторона дела.

С другой стороны — питание. Как говорится, наше тело есть то, что мы едим. Здесь разница между жителем, скажем, Москвы и жителем Лондона еще более разительная.

Когда я однажды в открытке из Лондона написал матери в Киев, что вот, в январе сию и ем арбуз, то советская цензура, по-видимому, эту открытку изъяла, не дошла открытка. Я попробовал написать это еще раз, и еще, и еще — совершенно верно, ни одна из подобных открыток не пропускается.

Я написал, что помидоры и огурцы в Англии есть свежие в продаже круглый год, как и салаты, как виноград, как и дыни, в общем — все; здесь не знают понятия сезона или, чтоб быть совсем точным, почти не знают. Черешня вот почему-то бывает только весной и летом, зимой вроде нет. Остальное, по-моему, есть все круглый год, с той только разницей, что летом клубника местная и стоит дешево, а зимой клубника из Австралии или другой страны Южного полушария и стоит в два раза дороже. В два раза дороже, но только и всего. Ну, этого я мог бы и не писать — не дошло, конечно. По-видимому, такие вещи советской почтовой цензурой относятся под рубрику страшной подрывной пропаганды.

Я уж самым простым образом написал, что поскольку, вот, Лондон стоит на пересечении путей, со всего света сюда попадают продукты, даже из Киева —

вот, вчера купил в магазине банку киевских кабачков в томате. И это письмо не дошло. Грешным делом подумал: неужели в киевских магазинах нет уже и кабачков в томате? И киевлянам нельзя знать, что они продаются в Лондоне? Так или иначе, на все дотошные вопросы матери типа “Чем ты там питаешься?” — вопросы такие естественные и для любой матери первостепенные, я так за все девять лет моей жизни в Лондоне и не могу пробиться к ней с ответом. Потому что ответы эти с пропагандно-политической точки зрения, видимо, странны, что ли.

Да, любой англичанин и летом и зимой имеет на столе свежие салаты, всевозможную зелень. Помидоры, огурцы, редиска, цветная капуста, всевозможные петрушки, репки, артишоки, сельдерей, зеленый лук и так далее, и так далее, даже молодая картошка здесь есть круглый год, потому что она везется постоянно из самых разных частей света, и вы, скажем, в декабре или феврале можете купить старую картошку, а можете и молодую и в том же декабре или феврале возвращаетесь с покупок точно с такой же зеленью в корзине, как и в июне или августе.

Представьте себе овощной... нет, не магазин, а овощной ряд на советском рынке, “колхозном” рынке, как их официально называют, а на самом деле-то как раз антиколхозном, частно-приусадебном, ибо продается там не то, что выращено в колхозе, а то, что люди сами вырастили, несмотря на колхозы, — так вот, представьте себе такие овощные ряды в начале осени на самом богатом рынке, далее прибавьте сюда те же ряды в начале весны и лета и в разгар лета, то есть так, чтобы были и редиска, и помидоры, и яблоки, и дыни, и арбузы, и виноград, и тыквы; теперь добавьте сюда горы

апельсинов и мандаринов, а также ананасы, манго, бананы, коксовые орехи и еще десятки таких плодов, которые вообще видишь в первый раз, — и тогда вы сможете (и то весьма приблизительно) вообразить себе один из бесчисленных лондонских овощных рынков в *любую пору года*. В любую пору года, подчеркиваю, ибо лондонские овощные рынки выглядят совершенно одинаково что в январе, что в мае, что в сентябре.

Первое время я ходил на эти рынки как на выставки. У меня кружилось в голове. Это изобилие, казалось мне, могло только присниться. Может быть, перу Гоголя было бы под силу описать это.

Далее, конечно, фруктово-овощные магазины на каждом шагу и овощные отделы в крупных супермаркетах — то же неопишущее изобилие, хотя и не такое грандиозное, как целые базары. Нет такого фрукта или овоща, которого вы не могли бы найти, причем круглый год без перебоя. Цены только варьируются в зависимости от того, как далеко пришлось его везти, но варьируются, как я уже сказал, максимум в пределах двукратном: летом помидоры стоят 20 пенсов фунт, зимой — 40.

Что это значит? Сколько вы можете себе этого купить? В Советском Союзе зимой гроздочку винограда вы можете купить, да и то чудом, на базаре у грузина — не для себя, для больного — по баснословной цене. Можем посчитать по такому принципу. Скажем, в Советском Союзе человек, получивший после вычетов 120 рублей чистыми на руки в месяц, имеет таким образом (разделим на 30) 4 рубля на день своей жизни. И на квартиру, и свет, и газ, и транспорт и тому подобное — вот, 4 рубля ежедневно на все. Допустим, что сегодня он решил истратить эти 4 рубля только на фрук-

ты и овощи и пошел с корзиной на базар. Что он купит за 4 рубля? Это вы можете посчитать сами.

Я же скажу, что купит англичанин за такую же свою сумму на один день его жизни. Средний англичанин — рабочий, служащий, — беря очень скромно, имеет на руки чистыми от 200 до 400 фунтов в месяц. Возьмем для верности самое бедное — 200 в месяц или уж, чтоб делилось на 30, 210 фунтов, — тогда на день выйдет по 7 фунтов. Это, повторяю, очень малая зарплата, это очень бедно, самое уж малое. Но — для верности.

За эти свои 7 фунтов англичанин купит помидоров летом 14 килограммов, зимой 7 килограммов. Яблоко (и летом и зимой цена одна) купит килограммов 20. Апельсинов купит так же и летом и зимой 20 килограммов. Осенью купит 14 отборных арбузов или дынь, зимой только 7. На 7 фунтов — я сейчас пойду в лавку за углом и куплю 12 ананасов, каждый как поросенок. А лимонов на 7 фунтов... тут надо посчитать, лимоны тут как мусор — лимонов на 7 фунтов можно купить от 150 до 200 штук.

Первое время у меня эти вещи не укладывались в голове. Я тогда привык покупать лимоны в Москве по 25 копеек штука. 4 на рубль. На мои 4 рубля — 16 штук. Здесь — 150 или 200.

Яблоки по государственной цене, если их достанешь в очереди, или апельсины в Москве по 1 руб. 40 коп. кило — на 4 рубля нет и трех кило. Англичанин с самой низкой зарплатой может на свои 7 фунтов купить 20 килограммов апельсинов или яблок. И так все.

Ну, так и покупают. Утром, смотришь, рынок полон, а к вечеру уже опустел. И свежие фрукты и овощи едят в больших количествах круглый год. Вот, после

отсутствия давления, ошибок и страха перед властями, вторая причина, почему западный человек так разительно отличается от советского своим внешним видом. И можно найти еще и еще причины: вообще вся пища куда разнообразнее и лучше, чем советская; очень сильно поставленные системы здравоохранения, куда лучше, чем в СССР, и так далее, но все сведется к одному: тут без всяких марксизмов и строителств коммунизма давно осуществлен на практике лозунг “Все для человека”, хотя никто его не произносит и не выставляет на транспарантах, как в СССР, где он вызывает лишь грустную усмешку как чистой воды демагогия.

7 июля 1978 г.

Все для человека

Беседа 2

В прошлой беседе я говорил о том, что вот, живя на Западе, конкретно в Англии, в Лондоне, я буквально поражен теми возможностями, какие имеет здесь человек, чтобы нормально питаться, чтобы подобрать себе самую здоровую и нужную ему пищу. В частности, в Англии круглый год, включая все зимние месяцы, люди едят помидоры, огурцы, виноград, персики и ананасы, редиску и всевозможные салаты. Фруктово-овощной магазин или базар ничем не отличается по своему ассортименту в любой месяц года. В январе или феврале вы покупаете арбуз или дыню, в марте имеете сколько угодно капусты, головки которой, кажется, только вчера срезаны в поле, то же самое относительно зеленого лука, свежей петрушки и прочей, и прочей, и прочей зелени. Это все потому, что очень хорошо происходит доставка всего этого. В июле продается клубника местная, английская. В декабре или январе — прибывшая из разных стран Южного полушария. Даже мелкая молоденькая картошка есть в продаже опять-таки круглый год: в каждый месяц непременно находится такая страна, где как раз копают молодую картошку, оттуда она

быстро и поступает на рынок в Лондоне. Я первое время, покупая, скажем, свежую тугую головку капусты или арбуз в феврале или марте, спрашивал: откуда это? И продавцы охотно отвечали, называя подчас такие далекие страны, вроде Новой Зеландии, или вообще такие, о которых я слышал в первый раз, что я только диву давался. Всю географию мира можно изучить на лондонском базаре.

Я приводил также цены. Я делал такое сравнение. Если в Советском Союзе человек получает, допустим, 120 рублей в месяц чистыми на руки, то на один день своего существования он имеет (разделим на 30 дней месяца) четыре рубля. На все про все. И вот допустим, что сегодня эти свои 4 рубля он решил истратить на фрукты-овощи. Что он на них купит? Ну, еще при условии, что он их найдет. Апельсины, скажем. Даже по государственной цене 1 рубль 40 копеек за килограмм он купит апельсинов неполных три кило. То же самое яблоки. Про базарные цены уже не будем говорить. Я девять лет жил в городе Туле, и лишь два или три раза случилось достать в очереди апельсины по рублю сорок, два килограмма в одни руки, а на базаре они ведь были и по 5, и по 6, и более рублей кило.

Скоропортящиеся сезонные овощи, как помидоры, например, зимой, естественно, дороже, иногда в целых два раза. Летом на 7 фунтов выйдет 14 килограммов помидоров и больше, зимой — только 7–8. То есть вообразите себе, что житель Советского Союза со своими четырьмя дневными рублями пошел на базар в феврале и купил полпуда помидоров, а летом так и вообще пуд.

Вот какие цены в Англии, причем я беру овощи и фрукты, но так можно пройтись по всему — от мяса до тортов, и разница будет потрясающая. Если я скажу, что

на свои дневные 7 фунтов наш отчаянно бедный англичанин может купить яиц, например, 200 штук — 20 десятков! — то вы же можете мне не поверить. Для советского человека это невообразимо: чтобы со своими дневными четырьмя рублями пойти и купить 20 десятков яиц. И я сам, как попал в Англию, не мог поверить своим глазам. А как же экономические кризисы, инфляции, безработицы, обнищание в странах капитала и так далее?

А вот так. Раньше англичане покупали этих самых яиц на свою дневную квоту не 200, а 300–400 штук, поэтому им сейчас кажется, что стало значительно хуже, и они об этом все время пишут, кричат. А советская печать добросовестно цитирует ОБЩИЕ фразы, доводя впечатление до того, что может показаться, будто в Англии вообще голод. Мне рассказывали про одну польскую бабушку, которая, наслышавшись в Польше подобных вещей, собираясь в дальнюю дорогу проведать свою дочку, которая живет в Лондоне замужем за англичанином, нагрузила полные чемоданы кулями с рисом, вермишелью, с величайшим трудом достала за взятку из-под прилавка краковской колбасы (потому что в Польше сейчас такую колбасу, как и все знаменитые польские копчености, можно достать только из-под прилавка) — и приехала со всем этим в Лондон, спасать от голода дочку.

Дочка только охнула и руками развела. Повела мать-старушку в польский магазин, их в Лондоне полным-полно, и был там такой выбор колбас, прямо из Польши, разных кабаносов, полендвиц, кашанок и так далее, и так далее, что старушка не поверила своим глазам. Все то, чего в самой Польше сегодня днем с огнем не найдешь, все тут, в Лондоне, есть в богатейшем выборе — горы, и по цене вдвое более доступной для англичанина с его зарплатой в Англии, чем для поляка с его зарплатой в

Польше. А с вермишелью и рисом, что с ними делать? Когда тут, в Лондоне, этого самого риса сортов 20 или 30 в любом магазине, со всех концов света, и вот, пожалуйста, опять цена: на свои дневные 7 фунтов англичанин может купить *пуд* риса. Пуд! Я не оговариваюсь. Пуд риса в день. Сколько риса может купить москвич, ленинградец, киевлянин, туляк или рязанец со своими четырьмя рублями на день жизни?

Но есть еще один продукт, который меня лично вообще не то что потрясает, а как-то... прямо в грусть вгоняет, что ли. Сало.

Я, видите ли, с Украины родом, киевлянин. На Украине любят сало со шкуркой. Сало там ценится выше, чем мясо. Это и традиционное национальное, тут есть и отзвуки страшных голодных времен. Я был четырех-пятилетним ребенком, когда на Украине разразился апокалипсический голод времен коллективизации, созданный искусственно Сталиным, унесший, говорят, от 6 до 7 миллионов жизней. У меня остались в памяти картины этого голода, рассказы очевидцев, в том числе и моего отца, как вымирали целые деревни, как доходило до людоедства.

В войну, а затем после нее в 1946 году опять было что-то страшное, опять вплоть до людоедства. Я помню, как моя мать зарабатывала на тогдашние деньги 600 рублей в месяц, а килограмм говядины был на базаре — как раз те самые 600 рублей. Месяц работы за килограмм говядины. Сало же — как сейчас вижу — на нашем куреневском базаре — 1000 рублей кило. Более чем полтора месяца работы за килограмм сала. Поэтому у меня осталось представление о сале, что это невероятная ценность. Ценность. Когда пожил в Москве, увидел, что больные желудками москвичи не так уж за

салом и гонятся, ветчину и ту в магазине просят попо-
стнее, телятину ценят выше жирной свинины. Но все
равно — это оттенки. Мясо, сало — все равно вещи
очень дорогие. Сколько наш человек со своими че-
тырьмя рублями на день может купить сала сегодня в
Киеве, где оно по-прежнему дорого, или в Москве, где
относительно дешевле? Это вы посчитайте сами, а я
скажу, что меня в Лондоне вгоняет в грусть в связи
с этим самым салом со шкуркой, и можете мне верить,
можете не верить. Я бы сам не знал, верить или не ве-
рить, если бы мне, когда я еще жил в Советском Сою-
зе, кто-нибудь нечто подобное сказал.

Так вот, в связи со всякими модными теориями о хо-
лестерине и прочее, сало на Западе считается чем-то во-
обще вроде отходов. Англичане, как и москвичи, предпо-
читают мясо тощее. Я тут, знаете, однажды захотел банку
тушенки купить. Ищу, ищу, не могу найти. Спросил
знакомых англичан: “Где купить элементарную банку ту-
шенки, такую, знаете, как во время войны была?” Да вот
же, в любом магазине, сколько угодно. Купил — одно мя-
со, ни прожилок, ни крошки сала, чистое мясо. “Нет, —
говорю, — мне такую, как во время войны была”. — “Так
вот же она и была”, — отвечают. Я описал: такая банка,
говорю, полная кусков свинины пополам с салом. Пер-
вый раз слышали, никогда в глаза не видели. Такой бы
никто здесь не покупал и не ел. Так я открыл, что ту зна-
менитую свиную тушенку, наполовину свиной жир, ви-
димо, делали исключительно для посылки в Советский
Союз. *Такой* тушенки действительно я на Западе так и не
вижу. Это к вопросу о том, как здесь ценится или, вер-
нее, никак не ценится свиное сало.

Ну, а оно все-таки на свинье вырастает, ну, и чтобы
не выбрасывать, его все-таки продают. Почему? В боль-

шом магазине-супермаркете, в трех минутах ходьбы от моего дома, в мясном отделе — это такие огромные холодильники, как закрома, битком набитые расфасованным мясом, мыслимым и немыслимым, — в одном углу лежат завернутые в целлофан этикие целые рулоны свиного сала со шкуркой, и наклеена цена: “10 пенсов”, “15 пенсов” за килограмм. Самое дешевое мясо все-таки один фунт, то есть сто пенсов килограмм. А сало — 15–20 пенсов. На свои дневные 7 фунтов бедный англичанин может купить до семи килограммов мяса, или — считайте: даже по 20 пенсов, на фунт 5 килограммов, на семь фунтов ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ КИЛОГРАММОВ свиного сала со шкуркой... Я смотрю и теряюсь. У нас в семье когда-то в Киеве на Куреневке уж как свинью закололи, да бочоночек сала насолили, это уж такая ценность была! А тут хоть каждый день бочку соли... и что с ним делать?

Бедная бабушка из Польши, которая везла в Лондон краковскую колбасу и вермишель, — жертва бессовестной, лживой коммунистической пропаганды.

Я заканчиваю эту беседу без всякой уверенности, что те, кто меня слушал, поверили тому, что я рассказывал. Я считаюсь с этим, потому что, повторяю, я сам, когда жил в Советском Союзе, слушая такое, тоже не знал бы, верить или нет. Это, чтобы поверить, надо видеть собственными глазами. Я вот — увидел. Увидел, что лозунг “Все для человека”, который в Советском Союзе является чистой пробы демагогией, на Западе осуществляется фактически, хотя никто его не ставил и не склонял во всех речах и на всех транспарантах.

14 июля 1978 г.

После болезни

Это моя уже 233 беседа с тех пор, как я начал регулярно, раз в неделю, выступать с беседами перед микрофоном Лондонской студии “Радио “Свобода”. Этой беседы, собственно говоря, могло уж и не быть: в сентябре прошлого года со мной случился инфаркт, причем очень тяжелый. По мнению врачей, я остался жить лишь чудом. Долго я лежал в больнице, потом долго отходил дома и отошел.

Но в смерти я побывал. Недолго, правда, но два раза. Один раз у меня сердце полностью остановилось на 6 секунд, через час-другой остановилось на 15 секунд, и это на медицинском языке называется клинической смертью; оба раза врачам удалось пустить его снова — с помощью сложной современной медицинской техники и их собственной самоотверженности. Они бились со мной, не отходя, 10 часов, но когда потом, валясь с ног, пошли поспать, то, как я позже узнал, звонили дежурной медсестре много раз среди ночи, потому что (опять-таки, как потом они сами мне сказали) не были уверены, что я доживу до утра. Я дожил.

Лень мне сейчас рыться в старых рукописях, но год или два тому назад была у меня беседа о том, что чувствуют люди, побывавшие в клинической смерти, а затем вернувшиеся к жизни. Я рассказывал, что на эту тему написано в западной литературе: что некоторые оживленные говорят, что в те секунды, когда они были клинически мертвы, они якобы парили в воздухе, видели сверху врачей, пытающихся оживить их тело, затем летели куда-то не то через подобие туннелей, не то через подобие долин, встречали близких, давно умерших, те им говорили: “Нет, еще не пора, возвращайся обратно”; но, главное, все те, кто это рассказывает, переживали неопишемое счастье, такое, что нельзя выразить словами, до такой степени счастье, что некоторые даже потом, после оживления, были в претензии к врачам: “Зачем вы меня оживили?” На эту тему выпущены книги, причем некоторые написаны самими врачами, которые долго и кропотливо собирали подобные показания по всему миру.

И многих людей эти книги, естественно, взбудоражили, и меня в том числе. Я с самых юных лет, еще с времен войны, помню, был ужасно неудовлетворен, когда читал в газетах, что врачи оживляли тяжелораненых, у которых сердце остановилось, возвращали их из клинической смерти. Ну и что говорят эти ожившие люди? Ведь они могут рассказать нам, как выглядит смерть! Никогда ни строки, ни слова, ни полслова в советской печати об этом не было. А самому лично встретить человека, вернувшегося из смерти, мне все никак не удавалось.

Недомолвки печати заставляли невольно подозревать, что тут что-то кроется. У нас все тайна. Разбился самолет — тайна. А если там были иностранцы и тай-

ну уж никак нельзя сохранить, то напишут две строки, что разбился, — а как разбился, почему, какие люди погибли, или если кто-то спасся, то как? Тайна, черт возьми. Самое главное, самое важное — никому не положено знать, а это же ведь так естественно: нам хочется знать.

Ну вот уже сколько тысяч и тысяч людей за последние десятилетия были оживлены после того, как пережили клиническую смерть, и на Западе не замедлили воспользоваться их показаниями, выпустили целые книги. Ваше дело, верить им или нет, но по рассказам некоторых получается, что *тот* свет, загробный свет, — вроде есть... Может, по этой причине в СССР *утаивают* показания оживленных: тогда же ведь все материалистическое учение окончательно рассыпается в прах.

И так я был зол тогда, в юности, что придумал вот что. Был тогда жив еще мой дед, Семерик Федор Власович. Иногда мы с ним вели такие богословские разговоры на уровне: “Есть Бог или нет? Есть тот свет или нет?” Дед, конечно, не сомневался, что есть, но я был уже весьма начитанный и ловкий спорщик, и деду приходилось признавать, что для такого спора ему явно не хватает аргументов. Тогда мы и договорились, что когда дед умрет, он любой ценой даст мне знать: есть ли тот свет и как там. Причем не раз, не два, а много раз я просил его, и он очень искренне обещал дать знать. То ли привидением явиться, то ли сообщить какими-нибудь знаками; наконец, во сне явиться. Так договорились.

Мало мне этого, боялся я, что дед все-таки забудет. Такой же точно договор заключили мы с отцом. Тут было вообще забавно, потому что мой отец, Кузнецов Василий Герасимович, был стопроцентным атеистом, член партии с 18-го года, важная шишка. Я, правда, вырос без

него: они с матерью развелись, когда я был еще ребенком. Но на старости лет они с матерью опять сошлись, и только тогда я узнал своего отца — уже в старости, на пенсии и отнюдь не того большевика-ортодокса, каким он был всю жизнь, а скорее наоборот... И мы с отцом тоже договорились: что если он умрет и окажется, что тот свет есть, то он даст мне весть оттуда любой ценой. Поскольку в те времена я сам был своего рода шишкой — известным советским писателем и членом партии, конечно, то это должно было выглядеть забавно: такой договор между двумя коммунистами, из тех, кого называют элитой советского общества: дать, мол, друг другу знак с того света, если он есть.

Дед умер глубоким стариком в 1962 году, прожив девяносто два года. Он был 1870 года рождения, ровесник Ленина, только никто его юбилеев не справлял. Бурная и тяжелая жизнь большевика свела моего отца в могилу гораздо более молодым: он умер шестидесяти пяти лет от роду, через два года после деда. С тех пор *ни разу* никакого знака, ни ползнака я от них не получал. Я говорил об этом близким и знакомым, разводя руками: ну уж какое там привидение, ну хотя бы уж просто приснился бы тот или другой! Снились все, кто угодно: Сталин мне снился, с Лениным я однажды в ложе театра сидел, Гитлер снился, Хрущев — тот вообще почему-то больше десятка раз снился, и все знакомые, и близкие, ну все кто угодно снились. Отец же и дед — *ни разу!*.. Ни разу.

До прошлого, 1978 года. Это, значит, со смерти деда прошло шестнадцать лет, со смерти отца — четырнадцать.

И вдруг в прошлом году они мне приснились *оба* сразу, в одном сне. Приснились как-то прозаически, ни-

чего особенного не говорили, не делали, просто мы все трое были в одной комнате. Обычное для снов нарушение реальности было в том, что каждый из нас выглядел в максимальном своем возрасте: дед как девяностодвухлетний, отец как шестидесятипятилетний (хотя такими они в жизни не встречались, последний раз дед и отец видели друг друга задолго еще перед войной). И я с ними был не довоенный мальчик, не послевоенный спорщик, а я сегодняшний, взрослый человек под пятьдесят.

Этот сон приснился мне в ночь на 4 сентября 1978 года. Я имею обыкновение записывать оригинальные сны — некоторые пригождаются при литературной работе, а кроме того, я давно исследую очень интересную разновидность снов: так называемые “эмигрантские сны”, очень любопытная вещь. Так что я знаю точную дату, потому что сразу этот сон записал. К сожалению, проснувшись, я не помнил, о чем мы с дедом и отцом говорили, осталось лишь впечатление, что — ни о чем важном. Но поразительно все же было, что они так долго — четырнадцать и шестнадцать лет! — не снились, а тут вдруг взяли и приснились сразу оба! И я был разочарован, что ничего такого не случилось: ни тот ни другой в порядке выполнения договора ничего из того, о чем я их так просил, не рассказали. Ну простой себе обычный сон, когда плетется все что угодно, ну вот наконец и дед приснился, и отец приснился, вынырнули наконец и они из глубин компьютерной памяти мозга. Лишь чуть-чуть странно было, что вот сразу — *оба*. Нет чтобы как-нибудь по очереди, а именно *оба*. В целом я был разочарован. Ну записал для порядка — и тут же забыл. Итак, значит, этот сон был у меня в ночь на 4 сентября 1978 года. Следующую ночь, на 5 сентября, я не спал — признаться, я писал бе-

седу для “Радио “Свобода” номер 233. Она писалась плохо, долго, мучительно, а я уперся: вот кончу во что-бы то ни стало, и все равно она получилась такая слабая, что я ее потом забраковал. Вместо нее 233-м номером идет теперь эта, что вы слушаете.

Утром 5 сентября, после бессонной ночи, я сел завтракать — и вдруг словно два ножа ударили в грудь и пошли разрезать грудную клетку на две части: это и был инфаркт. Ну, карета “скорой помощи”, больница и так далее. Потом я лежал в палате и думал: так что же получается, дед и отец все-таки дали сигнал? С этим вопросом остаюсь и по сегодня. Примечание: и опять, с тех пор, они больше мне не снятся. Снились только раз, за двадцать с чем-то часов до инфаркта, в последний раз, когда я спал перед инфарктом. И я, знаете, как-то уже больше и не хочу, чтобы они снова приснились...

Ну вот, а теперь о самом главном: вот получилось так, что мне и спрашивать не надо у людей, переживших клиническую смерть, я сам прошел ее дважды в больнице, в Лондоне.

Что я в это время видел?

НИ-ЧЕ-ГО.

Как жаль... Право, жаль. *Моя* смерть выглядела оба раза как самое обычное засыпание. Вот я еще вижу врача, вот что-то делают, я закрываю глаза — и как бы заснул, без сновидений. Просто ничего. Потом открываю глаза, вижу того же врача, думаю, что прошло пять минут. Оказывается, прошло несколько часов, и за это время мое сердце останавливалось, подключали машины, вставляли в горло шланги, кололи, метались, боролись несколько часов, а у меня впечатление, что я всего лишь вздремнул, забылся на пять минут. Уснул. Без всяких снов. Проснулся — живой. Если бы не проснул-

ся — то, значит, умер? И не знал бы, по-видимому, уже ничего об этом?

“По-видимому” — я осторожно оговариваюсь. Потому что как же быть с показаниями тех, кто что-то видел? Опять загадка. А вообще, пока я лежал в английской больнице, такого насмотрелся, что, право, стоит рассказать. Ей-богу, только ахнуть можно. Я попробую как-нибудь — в будущих беседах.

13 апреля 1979 г.

CORPUS

**АНАТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ
НА “СВОБОДЕ”**

Главный редактор ВАРВАРА ГОРНОСТАЕВА

Художник АНДРЕЙ БОНДАРЕНКО

Ведущий редактор НАТАЛЬЯ БОГОМОЛОВА

Ответственный за выпуск МАРИЯ КОСОВА

Технический редактор ТАТЬЯНА ТИМОШИНА

Корректор НАТАЛИЯ УСОЛЬЦЕВА

Верстка ЕЛЕНА ИЛЮШИНА

ООО “Издательство Астрель”,
обладатель товарного знака “Издательство Corpus”
129085, г. Москва, пр-д Ольминского, 3а

Подписано в печать 20.07.2010 Формат 84х108 1/32

Бумага офсетная. Гарнитура “OriginalGaramondC”

Печать офсетная. Усл. печ. л.

Тираж 5000 экз. Заказ №

Общероссийский классификатор продукции

ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

Охраняется законом РФ об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ЗАО “ИПК Парето-Принт”, г. Тверь, www.pareto-print.ru

По вопросам оптовой покупки книг
Издательской группы “АСТ” обращаться по адресу:
г. Москва, Звездный бульвар, 21, 7-й этаж
Тел.: (495) 615-01-01, 232-17-16